

Вадим Кожевников

9

В
К **Вадим**
ОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

К Вадим Кожевников

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Москва
«Художественная
литература»
1988

КВадим ОЖЕВНИКОВ

Собрание
сочинений
Том
девятый

Корни
и крона

Роман



Москва
«Художественная
литература»
1988

ББК 84Р7

К58

Оформление художника

Ю. Боярского

К $\frac{4702010200-021}{028(01)-88}$ подписное

ISBN 5-280-00126-0 (Т. 9)

ISBN 5-280-00125-2

© Корни и крона. Издательство
«Советский писатель», 1983 г.
Оформление. Издательство «Худо-
жественная литература», 1988 г.

Корни
и крона

Часть первая

В последние дни Егор Нилович Горохов сильно отощал, стал плохо спать.

Встревожившись, жена посоветовала:

— Сходи в поликлинику. Пусть тебя прощупают. В рентген поглядят, лекарство подходящее выпишут.

— В медицине не нуждаюсь, — хмуро объявил Горохов.

— Если от нервов, — задумчиво произнесла жена, — тогда есть средство — валерьяновый корень заварить.

— Клади в щи. Со щами не возражаю.

— Я к тебе всем сердцем, а ты грубишь!

В критические моменты семейной жизни Егор Нилович применял защитный способ: придавал лицу сонное выражение, произносил с нарочитой покорностью что-нибудь вроде:

— Вас понял. Учитываю.

И теперь он также прибег к испытанному способу. Но жена гневно заявила:

— Это у меня от тебя нервы разошлись, а у тебя, Егор, нервов вовсе нет.

— Значит, я феномен, — охотно согласился Егор Нилович.

Обычно Горохов ездил на работу на мотороллере, одетый в плотный спортивный костюм; на голове — пластмассовый шлем с прозрачным забралом. Теперь он уходил пешком, медленно, в старой кепке с уныло свисающим козырьком. В довершение ко всему Горохов сбрил пышные баки и холеную, чистую бороду. Эти украшения, особенно среди молодежи, почитаются модными, из чего следует, что носители их должны выглядеть моложаво.

Но сам Горохов завел и баки и бороду давно и из соображений не эстетических, а чисто практических: дабы за-

крыть глянцеви́то-розовые шрамы от ожогов, по которым любой ветеран войны мог безошибочно определить, в войсках какого рода служил Горохов.

В танковых. Правильно! И горел он в танке заживо и при этом выжил.

Увидев мужа бритым, жена горестно воскликнула:

— Ой, Егор! Зачем же ты так оголился? Теперь тебя любой за старика примет.

— Любые меня не интересуют, — отвечал Горохов.

— Ты, Егор, упрямый, как козел, — вздохнула жена. — Когда женились, я тебя о чем просила? Не зарастай шерстью. Мне этого не надо. Оказалось, борода тебе к лицу — пришлось и мне самой всякие прически себе придумывать, чтобы получше выглядеть. — И пригрозила: — Теперь вот тоже возьму и обкорнаюсь под мальчика!

Горохов кротко поглядел на жену и вдруг заявил решительно:

— Не возражаю! Будешь снова такой, какой я тогда из всех связисток тебя высмотрел.

И, очевидно, во взгляде его и в словах угадывалась такая трогательная признательность за жизнь, прожитую вместе, что супруга не выдержала — всплакнула. Потом, вытерев слезы, произнесла, отворачиваясь:

— Я же все твое, как свое, переживаю, за тебя мучаюсь; только всегда молчу, чтобы тебя еще хоть этим не расстраивать.

Как мы уже сообщили, Горохов часть своей жизни провел в танке — в соответствии с воинской специальностью механика-водителя, приобретенной на фронте. И даже после боя, когда экипаж благополучно покидал машину для отдыха, Горохов не считал себя вправе расставаться с танком и боялся уйти, доверив его ремонтникам без своего взыскательного глаза.

В бою же он был обычно озабочен тем, чтобы справиться сразу с двумя задачами: разгромить противника и уберечь свою машину от попаданий.

Добиться того и другого одновременно, надо признаться, весьма трудно. Бой есть бой. Занятие обоюдное. Ты в него, он в тебя.

Но даже в тех случаях, когда прямыми попаданиями удавалось разбить вражеский танк, а то и два или даже три, Горохов, осматривая после боя свою машину и вмятины от снарядов на ней, горестно произносил:

— Техника отчего страдает? Оттого, что ей живучесть недостаточно обеспечивали под огнем. Значит, неаккуратно воевали. А кто виноват? Я. Механик-водитель. Вел машину не увертливо, без учета профиля местности. Буду теперь ходить весь во вмятинах, в стальных заплатах.

Так же, как на фронте, где Горохов ощущал себя и танк единым существом, так и на «гражданке» — на заводе в цеху, он чувствовал, что сросся со своим токарным станком, на котором проработал уже свыше тридцати лет, приобрел квалификацию, отмеченную высшим, шестым разрядом.

Труд доставлял ему удовольствие, и даже более того — наслаждение, упоение. И как, скажем, виртуоз-пианист не задумывается во время игры, какую клавишу нажать, так и Горохов ни на миг не задумывался, какой инструмент взять в руки, какой применить режим резания, какие использовать приспособления. Стоило ему только взглянуть на рабочий чертеж самого сложного или впервые срабатываемого изделия, и он сразу же мог сказать, как пойдет дело.

Словом, Егор Нилович достиг такого уровня мастерства, который обеспечил ему прочное уважение всего заводского коллектива, руководства завода, широкой общественности. Заработок его, надо заметить, превосходил зарплату самого начальника цеха.

И если к этому прибавить то обстоятельство, что работа его радовала, что быт его был прочно налажен, а семейная жизнь протекала без крупных конфликтов, то можно сделать вывод: Егор Нилович Горохов достиг вершины полного благополучия. Действительно, не было такой заготовки из труднодоступного для холодной обработки нового сорта металла, с какой бы Егор Нилович не справился. А все почему? Свое рабочее время он делил на «очное» — за станком и на «заочное», когда дома в свободное время обдумывал в уме ту технологию и те приемы, какие понадобятся ему для выполнения следующего заказа. Супруга, зная уже привычку мужа думать только о деле и замечая на его физиономии отсутствующее выражение, выражение этакой озабоченной мечтательности, обиженно вопрошала:

— Опять?!

И Горохов, встрепенувшись, точно со сна, оправдывался:

— Да я только чуть, только прикинул как и что.

— Чуть! — возмущалась супруга. — Я тебе про соседей рассказываю, а у тебя лицо — как у лунатика. У них зять охотник, привез щенка, говорит — овчарка, а по всем повадкам — волчонок. Выходит, в нашем доме волк проживать будет. Как на это реагировать?

— А никак, — пожал плечами Егор Нилович. — Если он волк, то от жизни у людей в собаку перевоспитается, только и всего. — Помолчав, добавил задумчиво: — Мне вот в прошлую смену дали заготовку из жаропрочной стали высокой твердости. Технолог руками разводит — дескать, все в ней против того, чтобы фрезерной обработке поддаться. Только инструмент поломаем. А я ее чем взял? Предложил не фрезой, а на электроискровой установке обработать. Каждый металл своего обхождения требует, и ума тут больше надо, чем для волка, чтоб из него собаку вырастить. Новая техника сейчас сильно на рабочий класс жмет. А мы ее новой технологией одолеваем.

— Ох, Егор! — вздохнула супруга. — Свихнешься ты когда-нибудь от своих железок.

— На фронте от прямого попадания у нас даже башню на танке заклинило, так я танком наводку орудия по противнику производил, хотя так тряхнуло — думал, действительно мозги наружу. Оказалось, только кожа со лба в стружку завилась. А от мыслей повреждений ума не бывает. Это ты зря, — урезонивал жену Егор Нилович.

Хотя на заводе Горохов был заметной фигурой, у себя в цехе на своем участке он держался скромно, незаметно. И только в тех случаях обнаруживал себя шумно, когда его не обеспечивали заготовками.

И мастер, и начальник участка, и даже сам начальник цеха упрекали его:

— Ты что на нас, как на фашистов, кидаешься? Загрипповал, что ли?

— А то, — горячился Горохов. — Если б на фронте нас боеприпасом вовремя не обеспечивали как положено, от простоя моторизованной боевой техники сколько бы противник, пользуясь подобной заминкой, пехоты нашей навалил? Представляете? А на гражданке можно?

— Вы нас, товарищ Горохов, такими крайними сравнениями не стращайте, — осаживали Егора начальники. — Тут у нас производство, а не фронт.

— Все едино, — упорствовал Горохов. — На фронте я танком управлял, а здесь — станком. На фронте в боевой обстановке и то порядок, аккуратность соблюдали. А

в мирной тем более следует. На то она и мирная, чтобы обходиться без потерь в живой силе и технике.

— Ну, это уж вы загнули!

— Ничего не загнул, — твердо объявил Горохов. — Вот я — живая сила, а часы и минуты своей рабочей жизни теряю, поскольку нет заготовок. И техника, станок мой, простаивает. Значит, его станочное время тоже пропадает. Стало быть, и вся страна наша в этот момент теряет то, что ей по плану от нас получить положено.

— Может, и планета также? — съязвил начальник участка Серегин, бывший фронтовик, как и Горохов. Уж больно его задели высказывания Горохова.

— А что планета? — строго посмотрел на Серегина Егор. — На планете имеются народы и государства, которые тоже нашей продукцией пользуются. От их имени протестую против отсутствия заготовок.

Начальник цеха улыбнулся такому глобальному обобщению, но начальника участка вдруг обидела его улыбка, и он взорвался:

— Товарищ Горохов правильно в нас из идейной пушки бьет, и бьет, что называется, наповал. А с вашей улыбкой я не согласен. План — закон, а он у нас дальше цеха или даже участка не распространяется, до отдельного рабочего места не доходит. Поэтому и срывы. Выходит, Горохов нас клеймит как нарушителей закона. И никакого перегиба нет в том, что про фронт напомнил. Я вот в тяжелой артиллерии служил, так нам, бывало, подносчики снаряды доставляли прямо под огнем, в рост снаряд несли, в обнимку. Несли, как герои. А у нас обыкновенная доставка заготовок не налажена должным образом и вообще не механизирована — вручную, на тележках возят. И это всем, и мне в том числе, втык.

Егор Нилович, ощутив неловкость от того, что стал причиной раздора между начальником цеха и начальником участка, произнес примирительно и даже виновато:

— Я, конечно, из-за себя погорячился, извините. А что мне по норме положено, все равно за смену наверстаю.

Однако Серегин, рассердившись уже на эти кроткие слова, сурово произнес:

— Горохов при своей квалификации наверстает, а другие не смогут. И вообще при вашем шестом разряде, Горохов, вам всегда первому заготовки несут. Так ведь у нас заведено? У кого тарифная высокая, тех в простое не держат. Справедливо это?.. — И добавил уже тише, словно

самому себе: — Если организация труда на производстве плохая, то и хороший человек от этого может плохим стать. За себя только начинает просить, а о коллективе, мол, пускай начальство заботится.

В этом роде по адресу Егора Ниловича высказывались не впервые.

Жизнь, как известно, пестра и разнообразна. В жизни все случается. Бывают люди со степенями, которые многое знают, но одного не знают — как эти знания применить к делу. Бывают художники, которые среди братьев считаются малярами. Бывают руководители, которые любят отдавать приказания, но сами не знают, как их выполнить.

Словом, есть у нас еще не совсем гармонически развитые личности. С одной стороны, взглянешь — фигура! Посмотришь с другой стороны — а там ничего нет, один вакуум. Как бы полчеловека получается. Феномен, для цирка годится. Но в эпоху развитого социализма требуются только цельные люди. Поэтому однобоким все труднее приспособляться к обстоятельствам. Однако они еще существуют и действуют. Посетишь, бывает, предприятие, где заготовительные цеха — на уровне первобытной техники и обслуживает эту технику целая толпа. А поднимешься в дирекцию — увидишь в красивом застекленном помещении АСУ — визитную карточку технического прогресса. Но АСУ само по себе план не выполняет. Оно тут как свежая, яркая заплатка на изношенной спецовке; вот и получается с одного боку — отсталость, с другого — самый что ни на есть технический прогресс.

Жалуется иной хозяйственник на неритмичное снабжение комплектующими деталями. Взглянешь — у него на столе под стеклом список предприятий, которые он сам должен снабжать своими изделиями. Предприятия посolidнее, от которых он зависит, в списке по времени впереди — их он обслуживает в первую очередь, а против тех, от которых не зависит, стоят совсем другие даты — конец квартала, а то и будущий год.

Выходит, в одной ситуации, когда ему недодают, он чувствительный и ранимый, а в другой — вовсе бесчувственный, и у тех предприятий, от которых он не зависит, но которые зависят от него, все бока, что называется, болят.

Или приедешь в колхоз — тебе в чистом поле железобетонный дворец для коров показывают. Но добирался ты до этого «дворца» в болотных сапогах, тащился по расквашенной осенними дождями земле, дотащился совсем без

сил. Строили летом, когда было сухо. Спрашиваешь: джорк вы, значит, на работу будете доставлять вертолетом? А корма вездеходом? Люди умные, понимают шутку, отвечают серьезно:

— На дорогу средств не хватило.

— Что же, она в смете не была предусмотрена?

— Была, как же. Но проектанты смету коровника занизили, а в натуре получился перерасход.

— Для чего же они этот проект сочиняли? Ради украшения местности или в интересах подъема животноводства?

Скорбно отвечают:

— Проектировщик, он и есть проектировщик. Науку свою знает. В чертежах все красиво было, и дорога нарисована.

— Они что же, считать деньги не умеют?

— Умеют. Все, что им за коровник причиталось, сполна потребовали. Но только коровник при перерасходе дорожные суммы съел. Знали бы — из своего кирпича стены возвели. У нас кирпичный завод имеется. Сэкономили бы средства. Но проектировщик сказал: нельзя. Типовой проект. Железобетон — на века...

Однобокие — они же одноглазые. Свое видят, а не на свое другой глаз прикрыт. В народе одноглазых кривыми называют. И нет дельного дела только для себя, а есть — для всех.

А всесторонне развитую личность мы понимаем так: ей мало быть умельцем только в своем деле. Когда на любом месте человек чувствует себя как на ответственном государственном посту и в масштабах всего государства мыслит, труд его становится преобразующей силой, управляющей поступью самого времени, самой истории.

Что касается Егора Ниловича Горохова, то, как мы уже сказали, он работал с наслаждением, особенно когда, применяя разного рода придуманные им приспособления, работал, как он выражался, «по-своему». Конечно, к этому он пришел не сразу и благодаря накопленному опыту, высокой квалификации, увлеченности делом.

Кроме того, он продолжал считать свою работу на заводе вроде как отдыхом после войны, физическим и душевным. Душевым — потому что войну полагал противной природой человеческой.

И на фронте после успешного боя он не ликовал, не хвастал, а чувствовал себя удрученным тем, что вот он

живой, целый, в то время как другие товарищи не вернулись в строй, и танки их остались на поле боя обгоревшими стальными развалинами. Получается, что он вот вроде счастливчика, а столько семей после сегодняшнего обожжет неутолимое горе.

Человеком он по складу своего характера был тихим, застенчивым, даже чувствительным. Однако в бою вопреки характеру обретал мстительную дерзость, становился самозабвенно отважным и бесстрашным, сливаясь воедино со своей грозной машиной. Но такое ощущение самого себя в бою, как и мастерство вождения танка, пришли к нему не сразу, а по мере того, как с ходом войны он проникался ненавистью к ее ужасам, к человекоубийству. В душе его вызревало сознание того, что покончить с войной можно лишь силой человеческого духа, которому война ненавистна. И его ненависть к войне обращалась в ненависть к тем, кто ее зачал, кто напал на нас. Когда его награждали за проявленную в бою храбрость, он, конечно, испытывал радость, но чувствовал и неловкость: ему казалось — особо его хвалить не за что, потому что действовать иначе, чем он, значило бы только не выполнить достойно долг советского солдата.

Сколько усилий требовал фронт от человека! Не выдержало бы этого напряжения ни одно, даже самое могучее животное на земле.

Бесчисленное количество кубометров грунта вынул из земли Горохов, сооружая капониры для своей машины. И рычагам управления отдал столько силы, сколько, пожалуй, хватило бы для сооружения египетской пирамиды среднего размера.

Сидя на своем водительском месте, он в общей сложности одолел расстояние, которого могло оказаться достаточно для кругосветного путешествия.

Как известно, на фронте не соблюдался восьмичасовой рабочий день, не было воскресного отдыха. Он по многу суток не покидал свой пост, и, когда потом засыпал на танковой броне, его можно было принять за покойника. Лицо черное, покрытое пороховой копотью, глаза и щеки ввалились. Переутомление было настолько сильным, что и сновидения не посещали. Уснуть — значило провалиться в черную бездну.

Летом в танке горячо, как в печи. Зимой холодно, точно в леднике. В бою угораешь от пороховых газов. А дуреть нельзя: и так в триплекс смотришь с напряжением. Ну,

и понятно — ты бьешь, по тебе бьют. А когда идешь на танк, может так тряхнуть, словно с пятого этажа на твердый грунт бросили. Очнешься — живой! Снова за рычаги, разворот и — с ходу на нового противника... После боя экипаж — на отдых, а ты, механик-водитель, — с ремонтниками. Доверять им, конечно, можно, но и нельзя: мало ли что без тебя наслесарят. Машина с виду грубая, а механизм в ней должен быть отлажен точнее, чем ход часов. В машине — твоя жизнь, жизнь экипажа.

Но вот что странно: хоть на войне все это и было именно так, Егор Нилович, вспоминая фронт, говорил мечтательно:

— Главное что? Главное, людей повидал вершинных. Великой душевной красоты и силы духа. От таких получается полная заправка на все дальнейшее прохождение жизни и нам и тем, кто за нами. Помню — горит моя машина, я из своего переднего люка нырь — и на землю, катаюсь по траве — гашусь, значит, гляжу — что такое? Снаряды из нашего танкового орудия словно сами собой вылетают. Это в дыму, в пламени командир и заряжающий из укладки через башню снаряды выбрасывают, чтоб, значит, не взорвались они в танке, не разворотили машину окончательно. Выходит, когда я самогашением занимался, они машину спасали.

Когда я потом танк этот, благодаря им уцелевший, водил, все о них думал, на них равнялся. Они мне впереди светили. И награды, которые получал, вплоть до самого Берлина, по существу, им причитаются...

Вот мы теперь себе уровень жизни поднимаем. Квартирами, мебелью, красивыми вещами всякими. Это, конечно, хорошо, приятно.

А вот когда тебя ранят, а тот, кого чуток прежде ранило, с себя на тебя бинт свой мотает, чтобы ты кровью не истек, при жизни остался — вот это уровень. На него только очень высокий человек подняться может. И кто он был, этот спаситель мой неизвестный, не знаю: обеспамятел я, не спросил. А ведь он тоже весь в крови был...

Или, например, мы в своем подбитом танке на ничейной полосе целую неделю бой ведем, чтобы фашисты не уволокли к себе машину тягачом. Оголодали, без воды все нутро иссохло. Боеприпас на исходе. Вдруг слышим — по броне кто-то вежливо железкой стучит. Командир чуть приподнял крышку люка. Видит — наш боец. Приволок на разостланной плащ-палатке боеприпас. Ну, ясное дело,—

спасибо! Погрузили, говорим: «Баляй назад». Он: «Никак нет. Боюсь». — «Чего боишься? Сюда-то дотащил!» — «Сюда не боялся, потому как вам боеприпас очень нужен, а обратно — другое дело: пространство просматривается — жуть!»

Слыхали? Что человека на подвиг ведет? Мысль, что он ради людей это делает. Тут в нем и бесстрашие и сила рождаются.

Без идеи, как и без цели, человек — слабак.

Показуху мы на фронте очень не уважали. Воевать тоже нужно аккуратно: противнику урон нанести надо, но и технику свою сберечь ты обязан. Таранишь батарею, орудие свалил — смири свой азарт, дальше не утюжь, а то можешь о вражеский орудийный ствол гусеницы порвать. Это все равно как азарт в нашем станочном деле: станок берет не назначенную ему, излишнюю глубину, стружка идет вроде как самотеком, а в моторе перегрев. Ты норму перевыполнил, а мотор до положенного срока на капиталку пустил. Вот и подсчитай, где прибыль заводу, а где убыток. Получится, что передовик ты показушный, липовый.

Вообще-то Егор Нилович редко предавался воспоминаниям о войне, а если это и происходило, то обязательно соотносил пережитое с днями и делами нынешними.

Дружил Горохов с Маратом Васильевичем Должиковым.

Во-первых, одинаковые профессии, во-вторых, оба — бывшие фронтовики. В-третьих, соседи по дому.

Были различия. Егор Нилович чувствовал себя ответственным лишь за то, что происходило на его рабочем месте. Работал он, не отрываясь от станка, целиком поглощенный делом. Должиков же, тоже будучи мастером высшей квалификации, своим рабочим местом считал не только весь участок, где работали фрезеровщики, но и весь цех. И неполадки в цеху он переживал так же сильно, как Егор Нилович то, что касалось его личных деловых забот.

Егор Нилович, как мы уже знаем, служил в танковых войсках. Марат Васильевич воевал в пехоте и был по войсковой специальности политработником.

У Егора Ниловича в квартире всегда тихо. У Марата Васильевича шумно и потому, что родни много, и потому, что Марат Васильевич вообще человек общительный и, как он сам говорит, того, с кем не доругается в цеху, потом за-

зывает в гости, чтобы доказать свое или, напротив, дать возможность оппоненту полностью высказаться.

Егор Нилович вступил в партию на фронте после тяжелого ранения, как он считал, перед смертью, чтобы не умереть беспартийным.

Марат Васильевич пришел на фронт, будучи членом партии; политработник, он был всегда там, где складывалась тяжелая обстановка. Поэтому и по госпиталям лежал немало. Нашивок за ранения у него было больше, чем орденов, но для понимающих каждая такая нашивка значила не меньше ордена.

Кроме увлеченности работой, их роднила страсть к рыбалке.

Как и к работе, к рыбалке Егор Нилович относился самозабвенно, серьезно. Не любил отвлекаться. И если вылавливал рыбы больше, чем Должилов, испытывал в эти минуты настоящую гордость.

Марат Васильевич наслаждался рыбалкой не меньше, чем Егор Нилович, но совсем иначе.

Его восхищали река, лес, кустарник, вся окружающая природа. Но скрывать эмоции Должилов не умел и иногда даже пугал рыбу своими шумными восторгами.

— Ты гляди, — восклицал он. — Вода! А ведь она живая. И цвет ее беспрестанно меняется от того, какое небо над нами светит. Закидываешь леску, думаешь — в реку, а поглядишь — в небо, в облачко, которое в воде отражается...

— В пасмурную погоду клев лучше, — замечал Горохов. — При сильном солнцепеке у рыбы аппетит снижается. А ежели холод, то она ближе к мелководью, к теплу тянется. И клюет прожорливо. — Егор Нилович словно конфузился от того, что Марат Васильевич так по-детски беспечно ликует на просторе, а в садке у него пока пусто, в то время как у самого Егора Ниловича уже шесть окуней и один щуренок плещутся. Добыча.

Но Марат Васильевич был чужд рыбацкой зависти; не глядя на поплавок и обращая взволнованный взор к Егору Ниловичу, он говорил:

— Конечно, и у нас на заводе есть своя красота. Красота многозначительная. Погляди на новые полуавтоматические машины — сколько ума в них, изящества, совершенства. На них прямо с благоговением работаешь. — И добавлял задумчиво: — А все-таки природа, она человека по-особому во всем утешает, силой своей живой и живой

красотой. Мы вот заказ на новые сверхмощные двигатели получили. Будем производить. А цветок сделать нам не под силу.

— Садоводы редкостные цветы разводят, глянешь — ахнешь, — возразил Горохов.

— Так они только содействуют природе, а произвести цветок заново только сама природа может.

— Загнать в один наш двигатель силу табуна лошадей в тысячу голов — на это у природы мочи нет, — сухо произнес Горохов.

— А вулканы?

— Так то у нее аварийный прорыв земной поверхности.

— Ученым, между прочим, извержение вулкана открывает тайны недр. От этого догадки идут о том, как наша Земля-планета получилась.

— Лучше б занялись тем, чтобы доменщиков нормально рудой снабжать, а то жалуются на разносортницу, — сердясь на разговорчивость Должикова, невольно ввязывался в длинную беседу Горохов.

— Доменное производство отживает свой век. Теперь будем получать металл, минуя доменный процесс, — парировал Должиков.

— Скажи это снабженцам. А пока их критикуют без всякого снисхождения.

— И правильно критикуют, — согласился Должиков. Помедлив, он продолжал с вызовом: — И вообще, придет пора, когда нас, холодных обработчиков металла, переквалифицируют.

— В кого же?

— А в электрохимиков, лазеролучерезчиков, электроискровиков, плазмосварщиков. И во всех, кого наука назначит.

— Это уже будет в пенсионном возрасте, — съехидничал Егор Нилович и вдруг закричал в отчаянии: — Да подсекай же, клюет!

Бережно снимая плотвичку с крючка, рассматривая ее, будто увидел впервые, Марат Васильевич говорил:

— Плотва, простая рыбешка, а как в ней все гениально приспособлено для подводного существования. И мы это совершенство — в уху.

Горохов рассердился:

— Заведи аквариум, сунь ее туда и сиди дома, любуйся. Мы-то ведь рыбачить пришли, а рыба хоть и немая, но не глухая, ее от наших разговоров на глубину тащит.

— Молчу! — поспешно согласился Марат Васильевич и тут же добавил: — Не знаю, почему, но только меня на природе всегда к размышлениям клонит.

— А я так считаю, — сухо заметил Горохов, — встал к станку — все из башки выкинь, думай про свою работу. Взял в руки удилище — обо всем забудь, думай, как хитрые рыбы повадки переловчить.

Марат Васильевич вдруг нахмурился, косо посмотрел на Егора Ниловича.

— Я тебе, Егор, как фронтовик фронтовику сейчас врежу. Ни в бою, ни в труде человек начисто забываться не имеет права. Он помнить обязан, что он не сам по себе; оттого он настоящий человек, что ради людей действует. И чем лучше, надежнее человек, тем больше он о людях думает.

— Ты это сейчас к чему? — подозрительно осведомился Горохов.

— А к тому, — не унимался Должииков. — Чванство в тебе завелось. В цеху ты, конечно, мастер. Второго такого нет. Ни второго, ни третьего, ни пятого, ни десятого равного тебе по мастерству не существует. С Доски почета не слезаешь. Ты и доволен. А настоящий мастер, он умеет не только заготовки стругать. У него высокая потребность должна быть — мастерство свое размножить в других. А на это и души и ума больше надо иметь, чем на то, чтобы всегда на минимальных допусках с первого предъявления свои изделия сдавать.

— Так, ясно, — обиженно сказал Горохов. — Опять на меня жмешь, чтобы я в бригаду ушел со своего рабочего места.

— Место твое при тебе останется. Но со сдельщиной пора расставаться, индивидуальность твоя от этого не пострадает, а выиграет.

— Я за целковым не гонюсь: мне хватает.

— Знаю. Но тебе твое самолюбие дороже денег. Вот что. Бригада может быть отстающей, а ты всегда непременно передовик.

— Вот именно, — кивнул Горохов. — Для меня существует не работа, а жизнь в работе. Почему же на скло- не лет я себя ломать должен? К иному приспособливаться?

— Как знаешь, — пожал плечами Должиков. — Но вот в танке, в экипаже у вас была взаимная зависимость.

— Взаимодействие, — поправил Горохов. — Оно у нас было так отработано, словно все мы вместе — один боец. Отсюда и успехи в бою. От слаженности, от взаимопонимания.

— Выходит, на фронте у тебя взаимопонимание с людьми было, а вот на гражданке, даже сейчас со мной, нет?

— Почему же нет? Я понимаю, чего ты хочешь, и сочувствую. Бригада — коллектив, а коллектив, он — сила.

— Чего же тогда ерепенишься?

— Да не ерепенюсь я, — досадливо произнес Егор Нилович, — не против я бригад. Умом я — за. Но душа не лежит. Не хочу радость свою терять, которую мне работа моя приносит. Ты вот от природы заходишься: какая, мол, в ней для тебя красота. А я захожусь, когда заказ дают сложный, другим не по плечу. Маюсь, прикидываю, во сне даже эту заготовку вижу, дома соображаю, как, чем ее взять. Возьму! И тогда из грубого литья изделие такой красоты перед глазами — почище, чем твоя эта живая плотва. Блестит, сверкает, будто оно тоже живое, и ума в нем побольше, чем в рыбешке. Заберут мое изделие в кладовую, и я по нему какое-то время тоскую — захожу даже снова поглядеть на свою работу. Да чего там, — пошутил Горохов, — ты же сам за мной такое хорошо знаешь.

Задушевное, скорбное признание друга произвело, видно, впечатление на Должикова; сочувственная улыбка появилась на его скуластом лице. Он развел руками, произнес почти восхищенно:

— Послушать тебя — верно: душа твоя прямо припаяна к делу, не отдерешь. И не надо. — Живо осведомился: — Так что ж, моя плотвичка, твой улов — уха будет?

— Уха у нас с тобой получится, — уныло отвечал Горохов. — А вот то, чем ты меня донимаешь... С этим мы обождем...

— Ладно, повременим, — весело произнес Должиков, — но только ты имей в виду — я политруком воевал. Под огнем ходил в вертикальном положении, чтобы других, залегших, в атаку поднять. И подымал, между прочим. Враг из всех средств бьет, а я с бойцами разговариваю, по-человечески разъясняю им, что к чему. Человека, если терпе-

ние иметь, и под огнем убедить можно, а наша мирная обстановка душепониманию еще больше благоприятствует.

— Бери нож,— ухмыльнулся Горохов,— и потроши улов, а меня потрошить хоть на рыбалке повремени.

— Похлебаем уху, после закурим, я тебе еще кое-что доложу,— пообещал упрямый Должиков, на что Горохов скромно ответил:

— Сытого слова не тревожат. Сытый, он на всякое слово смирный.

Вечерело. Закатное солнце погружалось в воду, пушистые робкие облака опаленно розовели, впитывая в себя последние отблески небесного зарева. Было так тихо, что стали слышны слабые вздохи реки, осторожно шевелящейся в берегах, шорохи в камышах, веселый плеск студеного родника, заросшего пышным иван-чаем.

С опушки леса доносился разноголосый птичий крик. И только соловей, уютившись на одинокой березе, пел профессионально, и если замолкал, то словно для того, чтобы насладиться замирающим вдали отголоском собственной песни.

Живая вода реки плыла в берегах, отражая краски неба, и казалось, что вместе с ней утекает свет дня и наплывает мрак ночи, прозрачной и теплой.

Река пахла свежестью, лес — нагретой хвоей, в траве замирали тонкие запахи цветов, и в лунном свете начинали поблескивать капли росы. Свет луны прозрачным озером растекался со своей выси над всей землей; и от реки и от луны тянуло зыбкой прохладой.

Марат Васильевич Должиков глядел не на поплавки, а куда-то вдаль. Не оборачиваясь к Егору Ниловичу, он произнес:

— У меня, знаешь, это еще с детства,— мысли эти в голове. Вот труд человеческий, что это такое? Выйдешь на улицу — стоят здоровенные здания; и у себя дома и всюду мы окружены вещами, изделиями — от мельчайших до самых больших, от простейших до непостижимо великих. И в каждой вещи, в каждом изделии частица труда человеческого. Труда далеких предков, близких твоих современников. Мы живем в мире, созданном трудом многих поколений, и пользуемся этим трудом, и он для нас так же привычен, как и сама природа естественна, понятна каждому живому существу.

Вот дядька мой, Семен Фомич... У него целая рота сынов, а чего он не прощал в жизни, так это пренебрежения

к вещи. Лупил и приговаривал: «Не ты стул сделал, не ты его лаком крыл, а с ногами на сиденье лезешь. От тебя еще ничего существенного люди не видели, а ты уже чужой труд топчешь». И лупил. Но не от скупости. У соседей свадьба была, мы им свою мебель снесли. Потом он не велел ее обратно брать. Сказал: «Нас, работающих Должниковых, много, целый коллектив, нам скинуться на новую мебель ничего не значит. А жених без родни, после ремесленного, и, кроме табуреток, пока ничем не обзавелся. Соображать надо». — Помедлив, Должиков сказал, словно в себе самом к чему-то прислушиваясь:

— Вот есть такое понятие — «материальная культура». Существуют даже музеи истории материальной культуры человечества. В них все с самого начала — каменный топор, обугленная палочка, вращением которой добывался огонь. Но к чему это я? Вовсе не к тому, чтобы наши с тобой изделия когда-нибудь в такой музей попали. А к тому, что с возникновением новой, высшей формы общественных отношений — социалистических — родилась и новая культура отношения человека к труду. Труд стал мерой достоинства человека, он наполнен духовным, творческим содержанием. И человек связан плодами своего труда со всеми другими людьми. И всякий труд у нас обрел общественное значение.

— Это точно, — поспешно, бездумно согласился Егор Нилович, которому сейчас вовсе не хотелось возвращаться снова к их производственным делам. И чтобы дать понять это Должикову и попутно отомстить ему за упрек, будто бы он, Горохов, пренебрегает чарами природы, сообщил деловито: — На вольном воздухе человек получает полное отдохновение. Вот, говорят, запах черемухи любой микроб бьет наповал. А луг, каким цветком он только не пахнет! Значит, с помощью одного лишь его запаха можно полную дезинфекцию организма получить. И тишина теперь тоже полезной считается для нервной системы... — Впрочем, он тут же признался: — Но, знаешь, тишина тишине рознь. Вот производили у нас полную реконструкцию цеха. Зашел я в него, как только закончили. Людей еще нет, оборудование стоит. Тихо, чисто. Все, конечно, красиво, но, как в склепе, без людей мертво. Тишина, она вообще мертвая. — Тут Егор словно устыдился своих признаний. — Конечно, такие мысли у меня от переживаний возникли: пока реконструкция шла, я все за свой новый многошпindleльный агрегатный беспокоился, как я с ним сживусь, сразу

или не сразу? Вдруг я от него отстал, хоть на курсах повышения квалификации все вечера просиживал? Поминальник себе завел: что особо надо учитывать.

Марат Васильевич, кивая, слушал, потом напомнил:

— Гляди, у тебя клюет!

— Это не клюет. Это пока играет, водит, — тоном знатока объяснил Егор Нилович и продолжал негромко: — Глупых тварей на земле нет, у всякой свой ум соответственно ее натуре и обитанию. Я вот не любитель на хоккей глядеть, а «В мире животных» — очень увлекательная передача. Даже про гадюк информация интересная. Ведь это надо — каждая тварь сама по себе с ходом огромного времени очень целесообразно и разумно развивается, приспособляясь к условиям существования — климата, питания и прочего, и тут ума даже занять следует. Вот ракушка, ну, кто она? Так, слизняк, а какая у нее сила и мудрость в присоске. Вот нам бы так деталь крепить пневматикой: раз, и готово — держится, не оторвать; раз, и готово — отпустило.

— Что же ты в БРИЗ не подашь идею?

— А у меня это только сейчас в голове мелькнуло, к рассуждению, что у природы свой ум имеется, и еще какой. Пожалуй, ученые у нее много взяли: продумают, как, что — и в дело.

— Наука от нас теперь не вдалеке, а совсем рядом, — бодро сказал Марат Васильевич. — Есть у нее открытия, которые фундаментальными называются. Ну, такие, что спервоначалу, кажется, ни к чему не приложишь. Глубинную тайну материи открыли, а выяснилось, что вроде как только еще по верху поскребли; дальше еще больше непостижимого. Но и от того, что узнали, большая практическая помощь предвидится. Вот ведь литейные заготовки у нас теперь просвечивающим аппаратом исследуют — нет ли в них пузырька.

— Нас, станочников, такое, конечно, не трогает, но у литейщиков от этого брак вырос, — деловито объявил Горохов. — Раньше мы от плохой заготовки страдали, теперь литейщики сами от себя страдают.

— А в вакуумном литье брак снизился, — возразил Должиков.

— Наука выручает, это точно. — Горохов сильным рывком подсек увесистого красноперого окуня. Оба бросились ловить его в траве, трепещущего, сверкающего, словно слиток из нержавеющей стали.

— Ну и везучий ты, Егор, — завистливо вздохнул Должиков. — Какого короля ухватил!

— Везение везением, а умение умением, — возразил Горохов, опуская окуня в плетеный садок и испытывая при этом расслабляющую душевно теплоту рыбацкого счастья.

Должиков закурил, сменил приманку на крючке, с силой снова забросил удище, повернулся к Горохову:

— Только ты имей в виду, Егор Нилович: рыбалка — рыбалкой, дружба — дружбой, но разговор наш с тобой о бригаде, считай, еще по-настоящему не состоялся, так вроде, перстами легкими пока коснулись.

Егор Нилович, дабы не терять счастливого расположения духа, сказал равнодушно:

— Ты с моего места закинь, оно удачливое, а я пойду пошарю, где еще клюет. — Он ушел с пучком своих удищ, тем самым избежав дальнейшего разговора на тему, тревожившую его уже далеко не первый день.

У гаснущего костра, примостившись на надувном резиновом матрасе рядом с уже глубоко и уютно спящим Маратом Васильевичем, Горохов долго вглядывался в его крупное лицо с тяжелым подбородком и глубокими продольными морщинами на щеках. Первый раз они встретились с Маратом Должиковым на вокзале сразу после демобилизации. Стояла ночь, но суетно и шумно было на вокзале: люди встречали родных и близких, приехавших с фронта.

Егор томился здесь вторые сутки. Еще в сорок втором он узнал, что не только дом, где он жил в Смоленске, но и всю улицу фашисты разбомбили, превратили в пепел. Куда теперь деваться? Для развлечения несколько раз сходил в санпропускник тут же на вокзале, парился вместе с другими демобилизованными, и все его обмундирование крепко пропахло карболкой после дезинфекции.

Свой вещмешок он оставлял знакомой связистке, тоже демобилизованной, которой настойчиво и радушно предлагал пойти в санпропускник освежиться, но она почему-то все отказывалась и сидела на своем вещмешке, скорчившись так, словно ей было зябко. Горохов продолжал настаивать на своей рекомендации, в конце концов она раздраженно воскликнула:

— Отстань. — И добавила тихо: — После ранения я. В бинтах. Нельзя их трогать.

— А ты в лечпункт! Желаеть, лично отведу!

Связистка уже доверчиво глянула на Горохова.

— У меня своих только одна бабка. Я к ней приехала, а она снова замуж вышла. Дед мой еще в гражданскую воевал, орден имел, под Кенигсбергом пал. А бабка — замуж. — И, зло блеснув глазами, объявила: — Вот куда мне теперь, понятия не имею.

Не зная, как выразить девушке свое сочувствие, Горохов предложил закусить.

Расстелил на каменном полу плащ-палатку, выставил свой сухой паек.

— Присаживайся, — сказал. Снял пластмассовый стаканчик с трофейной фляги, налил, подал.

Девушка выпила не морщась, по-фронтальному.

Глядя на такую повадку с удовольствием, Горохов приказал:

— А теперь закусывай вволю! — И добавил, как знак: — В бой идти с полным брюхом не рекомендуется, а вот ежели ранение получил и аппетит есть, — тогда полная гарантия выживаемости.

И вот, когда они стали не спеша ужинать, к ним подошел этот самый Марат Должиков.

Был он уже без погон, но в сером офицерском плаще. Защитная фуражка, через плечо на ремне планшет.

— Здорово, фронтовички!

Горохов машинально встал, сделал выправку, как положено.

Однако Должиков дружески улыбнулся, похлопал его по плечу, сам уселся на плащ-палатку и заявил уверенно:

— Гляжу на вас и вижу: еще неприкаянные. Ну и решил увести к себе, на жизнеустройство. — Объяснил: — Я тут по вокзалу хожу, высматриваю, кто из фронтовиков маршрута твердого на дальнейшее прохождение жизни не имеет, зазываю. — Произнес озабоченно: — Город наш несколько раз то отдавали, то брали. Кто из заводских не успел эвакуироваться, партизанили. Многих фашисты казнили на площади, где горком партии. Ну и не все вернулись из эвакуации. Есть такие, кто прирос там к местному заводу, стал он им свой. Так что прошу к нам. Завод еще, конечно, на земле лежит, — добавил он уже менее уверенно, — но поднимаем и подыдем в самой скорости... Так как? — Выждал, спросил Горохова, кивая на девушку: — Жена? — И, все поняв без слов, тут же с воодушевлением пообещал: — Ничего, поженим, регистрируем по всей форме. Женатым в будущем семейном общении отдель-

ное помещение будет. Есть смысл жениться. — А потом, не спрашивая у них согласия, стал складывать провиант с палатки в вещмешок и, сложив, приказал командирским голосом:

— А ну, вольным шагом за мной.

И так уверен в себе был этот человек, и такая сила исходила от него, что Горохов и связистка молча зашагали следом за политруком по улицам в темноте разрушенного города, и сигарка в зубах Должикова слабо освещала им путь в неизвестность.

Все получилось так, как предсказал Марат Должиков.

Завод был восстановлен, он поднялся над землей всеми своими могучими корпусами. Горохов женился на связистке. Ему, бывшему механику-водителю, легко далась профессия станочника. А потом пришла к нему и слава передовика. Его ставили к лучшим станкам, старались неукоснительно обеспечивать заготовками, наряды на заказы получал он самые сложные и, значит, зарабатывал много.

От воздаваемой ему всевозможными средствами чести и славы Горохов испытывал душевный подъем. Работа доставляла ему личное удовольствие, и жизнь в цеху казалась самой лучшей жизнью еще и потому, что каждый раз, уходя после смены и покосившись уголком глаза на Доску почета, он видел на ней свое имя на самом заметном месте.

Бодрость и легкость не покидали его. Каждое утро он заранее предвкушал, как и что будет делать в цеху, как станет работать лучше, чем другие, и главное — сноровистей, с большим умом. Его приспособления распространялись по всему механическому цеху. И он снова мудрил, упорно и увлеченно думал во время работы, как облегчить труд техникой, и любил технику как воплощение человеческого ума в металле и восхищался ее достоинствами так же, как Марат Должиков восхищался достоинствами человека, его умением управлять техникой, властно владеть ею.

Сам же Марат, будучи тоже отличным станочником, часто только укладывался в норму; он безропотно отрывался от работы, если его просили, и шел оказывать помощь, советовал, наставлял, учил; становясь к чужому станку, показывал приемы обработки. Он же отправлялся «давить» на начальника пролета или начальника смены за неритмичное снабжение рабочих заготовками и даже захаживал в литейку, в кузнечный, чтобы выяснить, почему задерживают работу их механического цеха. Но там он не

шумел, а только досадовал на то, что механический имеет современное оборудование, а в заготовительных цехах оборудование устарело и условия труда тяжелые.

Горохов возвращался домой вместе с Должиковым, испытывая удовольствие от своего труда и ощущая лишь приятную, необременительную утомленность, вроде как после исполнения своих лучших желаний. Марат, напротив, был неуспокоенным после целого рабочего дня, раздраженным и как-то воодушевленно злым. Говорил о неполадках, об узких местах на производстве усталым, осипшим голосом, объяснял, что производственный процесс должен быть организован иначе — так же совершенно, как новейшее оборудование, на котором работают в механическом. Говорил, что нельзя допускать, чтобы станок, машина, был умнее, чем порядок в цеху.

— Люди, — говорил он горячо, — все разные, у каждого свой нрав. Одинаковых не имеется. Научить каждого стружки с заготовки снимать — полдела. Надо, чтоб человек чувством проникся, что он часть коллектива. И как целое от части зависит, так и часть от целого. Сознание особое должно быть: ты — производственник. А на заводе у нас пестрота.словно в прибывшем на фронт пополнении. Одни обстрелянные, другие необученные. Но там, на войне, дисциплина и армейский порядок делали свое дело. Да и фронтовик доучивал пополнение, потому что слабый солдат его же в бою подведет.

— Нам, кадровым, надо не только у станка себя работой доказывать, но и работать с другими, подтягивать их! — гневно восклицал Марат. — Кто у нас сейчас главный противник? Беспорядок. План до цеха доходит, а дальше затор — не знаем сегодня, что завтра делать будем. Человек на работу приходит, ждет наряда. Каждый раз переналадкой занимаемся. Поэтому люди ловчат, у мастера выгодные наряды на завтра заранее льстиво выпрашивают. Выпросят — без переналадки станок больше изделий даст. Таким манером хороших людей портим. Плохая организация плохих людей плодит. Это понимать надо.

Что касается Егора Ниловича, то он не очень-то вслушивался в речи Марата Должикова, в душе сохраняя убеждение, что хорошего станочника всегда чем надо обеспечат, поскольку выгода цеху от него гарантирована. Он обычно молча и иронично выслушивал взволнованного

Должикова и даже вежливо соглашался с ним, чтобы не терять приятного расположения своего духа.

На рыбалку с ними часто увязывался инженер Емишев, с недавнего времени исполнявший в цеху обязанности мастера.

Был Емишев непомерно долговяз, с нежным по-девичьи лицом и серыми грустно-простодушными глазами. Лоб, однако, Емишев имел большой, выпуклый, с синими прожилками на висках.

Он обладал незаурядными техническими знаниями, но отчего-то не умел ладить с людьми. Возможно, от самолюбия, возможно, от застенчивости...

Отец у Емишева был директором НИИ, мать преподавала в консерватории.

Емишев-старший долгое время был рядовым инженером и только благодаря отчаянной, иступленной работоспособности, феноменальной памяти, жесткому режиму жизни и неистовой настойчивости в работе он достиг того высокого положения, которое теперь занимал.

Однажды в узком кругу академик Наумов отозвался о Емишове следующим образом:

— На куриных крыльях весьма ограниченного воображения Емишев взлетел довольно высоко. — И добавил уже без насмешки, даже с уважением: — Однако трудяга он могучий. И одержимо верит в механику. Технологические способности — фантастические... Жаль, — снова улыбнулся академик, — воображения нет. И получается что-то вроде живой счетной машины.

Отец воспитывал сына рационально. Еще в школе мальчик знал некоторые предметы не хуже студента технического вуза. Эти преждевременные знания так заметно и как-то нехорошо выделяли Емишева, что это с самого начала послужило причиной его отчуждения от товарищей.

В институте ему учиться уже было неинтересно. Вся его техническая эрудиция, полученная главным образом от отца, была как бы умерщвлена и обесценена эгоистическим стремлением учителя воспитать не работника, а кладезь премудрости. Он отключился от нормальной учебы, едва не завалил диплом. По мнению профессоров, из него мог выйти только весьма посредственный инженер.

Александра Евгеньевича Емишева очень скоро в цеху стали запросто именовать Шуриком.

Сразу раскусив его, начальник участка и начальник цеха, занимавшие инженерные должности, — в то время как были всего лишь опытными практиками, — стали пользоваться Емишевым для сочинения всевозможных отчетов-справок; по их просьбе он даже бегал в смежные цеха в качестве «толкача», когда срывалась поставка заготовок, недоставало нужного инструмента или оснастки. Рабочие высшей квалификации не нуждались в нем, так как их деловые знания и опыт превосходили его собственные. Рабочие низшей квалификации тоже пренебрегали его советами; «в натуре», на станке Александр не умел доказать им правильность своей точки зрения.

Правда, когда кто-нибудь вдруг просто так делился с ним соображениями по рационализации процесса или инструмента, Емишев преображался, оживлялся; он быстро вникал в суть дела и мог тут же на бумаге набросать нужную схему — да так, что из рацпредложения получалось почти изобретение.

Вначале у его собеседника возникало подозрение, что мастер это все делает, чтобы пристроиться к рацпредложению. Но эти подозрения быстро рассеивались; Емишев, ликуя, начинал возносить техническую мысль рационализатора по всему цеху, по всему заводу. Здесь он был просто пламенно-неудержим. И проявлял твердую напористость, чтобы внедрить в жизнь идею рабочего. А если это осуществлялось, испытывал полное счастье. Даже, пожалуй, больше, чем тот, от имени которого было внесено предложение.

Вот именно за это и любил Марат Васильевич Должиков Шурика Емишева.

Он прямо, без обиняков говорил начальнику пролета и начальнику смены:

— Вы что же это инженером помыкаете? Он вас, конечно, по мягкому своему характеру с должностей не вытеснит. Но оттуда сам научно-технический прогресс вас поперет, само внедрение новой техники и технологии погонит. Опыт, он, конечно, фундамент для человека, но если выше фундамента ничего нет, — на такой пустой площадке не удержаться. А Емишев — парень знающий. Но знания применяют не только через технику, а через сознание человека. Тут он еще слабак. Вот он войдет в коллектив, поймет, что через человека надо воздействовать на научно-технический уровень производства, и тогда вам себя покажет.

Рабочим объяснял:

— Вы, конечно, мастера будь здоров! Но если самого директора завода к станку поставить, он не справится. А между прочим, и не надо. От директора нам требуется, чтоб башка, как у министра, была. А Шурик, он по обыкновению простак. Но знаний у него по нашей линии целая сберкасса. По делу обратиться — выдаст. А вы к нему спиной поворачиваетесь, и получается, как говорится, ни себе, ни людям. Ведь то, что ему в институте в голову вложили, не ему одному принадлежит, нам всем, только надо уметь деликатно, по-умному этим пользоваться — при полном к инженеру уважении. Знания, конечно, накопить каждый может, да не каждый умеет их сразу в дело пустить. Вам самим на курсах повышения квалификации теории сколько накидали, а чтобы ее на практике использовать — на это много сил, терпения надо, да и полное понимание, какая от знаний польза тебе и всему коллективу и как они способствуют повышению производительности труда.

На бюро парткома Марат Должиков досадовал:

— У нас что получается? Ежели инженер, то, значит, представитель администрации и функции у него административные. А по существу, вся наша работа инженерная, и сознание у квалифицированного рабочего инженерное, только что по знаниям он ниже. Вот как бы такое сообразить, чтобы наш инженерный состав с рабочим сблизить, чтобы ученые головы к рабочим рукам приставить...

Посмеивались:

— Гибрид хочешь создать, вроде знаменитой «антилопы-гну»?

— Гибрид не гибрид, — сурово отвечал Должиков, — а должны инженеры наперед в уме прорабатывать, что нам сработать предстоит, да чтобы было получше, полегче и побольше. Пристегнуть бы их, как говорится, к рабочему месту, тогда от нашей премии и им доля — в зависимости от эффекта, какой их мысль в нашем деле произведет.

— На это технолог есть.

— Технолог, он по должности обязан. А я о другом говорю. Инженер не чиновник, и если он инженер, то, значит, организатор, творец техники, а не смотритель при ней и не канцелярист. Инженеры — наш офицерский состав, они должны при подразделении находиться. И как на фронте без взаимодействия всех родов войск сражение не выиграешь, так и у нас без положенной взаимосвязи цехов производительность труда не поднимется.

Общевойсковой командир, он все во внимание принимает, в том числе обеспечение тыла. А наш начальник механического дальше цеха ничего не видит. Какой же он командир, когда, не основываясь на взаимодействии цехов, решение принимается?! А ведь отсюда простой получается. Отсюда и то, что механический цех — прямо выставочный зал новой техники, а заготовительные — прошлый век. Все равно это, как если бы «катюши» возили на конях. — Сделав паузу, Должиков продолжал: — Говорить надо не о том, чего мы достигли, а о том, чего достичь обязаны. Если руки сегодняшним заняты, в будущее должны головой лезть. Да и вообще будущее из нынешнего вырастает, так что дожидаться его не приходится... — Он улыбнулся. — Мне критически мыслить можно: тыл себе обеспечил, нормы даю аккуратно. Не укусишь. Значит, имею право.

— Выходит, собой доволен, — усмехнулся секретарь парткома.

— Поддел! — добродушно произнес Должиков. — Правильно поддел. — Сощурился: — А может, мои слова тебя за живое задела?

— Задела, — согласился секретарь. — На меня самого собственное сердце кулаком стучит, как наш директор по столу, когда план провисает. Но не станочный парк план выполняет, а люди. Поставили станки с программным управлением, чудо техники — не станки, а на них наши корифеи не желают работать. На них себя умником-виртуозом не покажешь. Вот и чураются. А молодые, хоть и сильно обучены, но ведь без большого производственного опыта. Они считают, что можно нахрапом такую сложную машину взять, ну, и спотыкаются. А мы, партком, обязаны их обучать не столько умению обращаться с техникой, сколько уважению к этой самой технике и даже больше того — благоговейной любви к ней. Самостоятельность — одно, а самоуверенность — совсем другое. И это втолковывать надо. Технику завтрашнего дня ребятам доверили, значит, им надо самим по всем душевным параметрам к новому рубежу подтягиваться.

— Не только им, — сказал Должиков.

— Это точно, — кивнул секретарь, задумался. — Эпоха наша скоростная, нынешнее с завтрашним стыкуется. Хоть на полкорпуса, а в будущее самим влезть надо, тут ты прав. А то оно потом тебя не признает. — Помедлил и произнес дружелюбно: — А про тебя, Марат Васильевич, пря-

мо скажу: ты на плохое и на хорошее через преувеличительное стекло смотришь; от этого и горячишься.

— Характер такой, — буркнул Должиков.

— Характер... Не характер должен человеком управлять, а человек характером.

Инженер Емишев уныло, лениво и бесстрастно хлестал реку леской заграничного спиннинга. Только вид делал, что рыбачит. И увязывался он на рыбалку лишь для того, чтобы побыть с Должиковым. Должиков нравился ему независимостью, горячностью суждений и какой-то особой прочной мужественной уверенностью.

— Мы кто? Мы фронтовики, и нет теперь ничего такого, что могло бы нас запугать, утратить. Мы все видели, все испытали, каждый из нас только тому удивляется, что живым остался, — говорил в сердцах Должиков, комкая только что прочитанную газету. — Эти вот из своего заглаженного всякими пакостями «свободного мира» что хотят? Чтобы им предоставили свободу давить другие народы. Дудки! Это им не давние времена, и народы теперь не те, какими раньше были. Сила на стороне тех, кто не оружием сильнее, а духом. Сорок пятым годом мы это на все времена всему миру доказали.

— Вы на фронте с первых дней были? — спросил Емишев.

— Военкомат меня сначала не пускал, но я через горком комсомола на них, формалистов, нажал. Под Смоленском меня и обновили в солдаты. Спервоначально осрамился: пошли в атаку, а я впопыхах затвор винтовки потерял, чуть не сгорел от стыда, но добежал, зажмурился и ковырнул фашиста штыком. Потом отделенный меня перед строем честил за этот затвор, так что я ему после этого, как ангел богу, стал послушен. Кадровый отделенный у нас был, — добавил Марат Васильевич, — военное дело знал, ну, вот... — Он оглянулся на Горохова, — как Егор свое. Пока я под огнем не перестал ежиться, отделенный меня неподалеку от себя держал — под наблюдением, значит, как теперь наставник ученика. — Он потянулся, вздохнул. — Внушал, что храбрость без особой нужды не храбрость, а показуха, что осторожность не трусость, а смелость без ума не доблесть. Мы вот в наши дни тоже говорим: бережливость не скупость, а уважение к труду, который люди затратили, чтобы тебя заготовкой снабдить.

— Ну, а страх смерти вы испытали?

— Больше всего боялся инвалидом стать. А если напал — это ничего. Слез меньше. Вообще-то война — такое дело... Ты его, он тебя, обижаться не приходится... — За-молчал, как бы не желая вслух рассуждать о чем-то сокровенном. Потом вернулся к разговору. — Эту войну мы никогда никому забыть не позволим. Но говорить о ней самому — все равно что болячку расчесывать. Ты живой, а тех, может, самых лучших, нет. Такое не заживает всю жизнь.

Геннадий Семенович, старший в семействе Должиковых (не считая, конечно, отца), был заметный на заводе человек.

Но когда его называли знатным, сердился. Ехидно осведомлялся:

— Это что? Порода такая или масть?

Был он слесарем-механиком широкого профиля. Владел множеством специальностей по холодной обработке металла. Занимал должность начальника сборочного цеха. Достиг он этого в силу неуголимого влечения ко всему, им еще не освоенному и потому невероятно увлекательному.

Однажды на вопрос настойчивого представителя прессы, интересовавшегося, что он считает самым важным для повышения производительности труда, Должиков-старший ответил:

— Самое главное, чтобы каждый на каждом своем месте работал с удовольствием, и не тогда, когда будет полный коммунизм, а исходя из потребностей нашего текущего времени.

— С удовольствием и без всяких трудностей?

— Трудиться — это и значит одолевать трудности, — сурово объяснил собеседнику Геннадий Семенович. — Удовольствие человек испытывает как раз тогда, когда силой ума и сноровки с трудностями справляется. Ясно? — И добавил, слегка конфузясь, очевидно, оттого, что заговорил о чем-то очень личном: — Если человек красиво, увлеченно работает, у него и качество и количество на высоте, а если иначе, тогда, честно говоря, ничего и не получится.

Шестой разряд — высший: это самое большее, что может присвоить квалификационная комиссия. Официально такого звания — рабочий высшей квалификации — нет. Но оно существует в жизни, в сознании заводчан. И означает, что человек может сработать такое, что даже конструкторы и технологи не смогли сами домыслить.

Конечно, рабочий — на первый взгляд только исполнитель. Но сравним технический чертеж, скажем, с нотами. И то и другое нанесено на бумагу. Читая ноты, музыкант-виртуоз может сыграть так, что самого композитора, написавшего эти ноты, приведет в восторженное изумление. Вот и рабочий высшей квалификации, вникнув в чертеж, с помощью своих простых инструментов и благодаря природному дарованию способен создать изделие, которое у людей, разбирающихся в холодной обработке металла, вызовет, может быть, не меньший восторг, чем у ценителей музыки игра знаменитого исполнителя.

Слово «творчество» — высокое слово. Произносить его следует с чрезвычайной осторожностью. Но, кроме художественного творчества, существует и творческий труд рабочего — тот, о котором шла речь. Потому что есть и другой — нетворческий. И он самый унылый, самый изнурительный, ибо в нем человек лишен возможности проявить себя как личность.

И когда Геннадий Семенович Должиков сказал: «Главное, чтобы человек работал с удовольствием», — он, я полагаю, думал именно о творчестве, но стеснялся произнести это высокое слово. Потому что если человек в свою работу вносит нечто от себя, тогда труд становится творческим. И лишь тогда он дарит радость.

Итак, нет такого официального звания — рабочий высшей квалификации, но оно существует и утверждается авторитетным признанием всего заводского коллектива.

Чтобы получить диплом инженера, требуется пятилетняя учеба в институте. Но, между прочим, чтобы получить шестой разряд, токарю-универсалу понадобится срок не меньший.

В первом случае человек приобретает обширные знания, во втором — незаурядное мастерство, профессионализм высшего толка.

Человеку с дипломом предстоит научиться применять свои теоретические знания на практике; но при всех обстоятельствах он сохраняет звание инженера.

Что касается рабочего высшей квалификации, то он живет с сознанием, что квалификация у него временная. Временная — поскольку на него ведут неослабное наступление крупные силы новой техники, новой технологии, новых методов, новых металлов, не поддающихся прежним способам обработки, новые изделия мудренейшей конфигурации. И чтобы не утратить свою высшую квалифика-

цию, ему приходится неустанно приобретать знания — на вечерних курсах, на заочном отделении института, — те самые знания, с какими молодой инженер приходит на производство. Последнему, однако, в свою очередь, приходится учиться практическим методам у мастеров. Вот какая получается карусель.

Путь к должности начальника цеха был у Геннадия Семеновича долгий. Для наглядности можно было б его изобразить, выстроив в длинный ряд станки различных лет выпуска, теперь морально устаревшие и поэтому списанные. Еще убедительнее было бы тоже самое совершить с изделиями завода; начало им когда-то положили насосы чугунного литья для бытового употребления, но уже в предвоенные годы завод стал выпускать двигатели со всевозрастающей мощностью.

Уважение в цеху к Геннадию Семеновичу Должикову было обусловлено его вдумчивым характером, выдержкой. При всех обстоятельствах он сохранял убедительное достоинство. Еще недавно Геннадий Семенович с вечера под выходной уезжал на охоту, потом стал ограничиваться рыбалкой, затем перешел в грибники, но и от этого пришлось отказаться. Стал экономить время своей жизни в связи с возросшими обязанностями, а их становилось все больше и больше по мере того, как росло доверие рабочего коллектива к своему руководителю.

Аккуратный в работе, как и в жизни, за все годы старший Должиков ни разу не бюллетенил. Берег здоровье не по самолюбивым соображениям в расчете на сверхсрочное продление жизни, а просто из строгого расчета, согласно которому при хорошем здоровье и работается хорошо.

Геннадий Семенович никогда не повышал голоса, хотя иногда внутри у него все кипело. Умел управлять собой, а это гораздо труднее, чем управлять другими.

Если работа шла нормально и деталями цех был обеспечен, он держался неслышно, незаметно, самопоглощенно трудился и огорчался, когда отвлекали. В этом смысле он был похож на Горохова.

Но если случались неполадки в цеху, преображался. Оживленно рассуждал на летучке о причинах неполадок и очень радовался, когда не сам, а кто-нибудь другой находил способ, как их устранить. Изобретая новые приспособления или внося рационализаторские предложения, объяснял сдержанно:

— Зряшний труд самому себе в тягость. Приятно, когда соображаешь не только, как лучше, но и как легче и как работу с себя на технику сгрузить. На то она нам и служит.— Усмехался добродушно:— Первобытный человек тоже догадался: привязал к палке камень — получился топор...

Когда двигатели из сборочного цеха поступали на испытательный стенд, Должиков, закончив смену, бесцельно, уныло слонялся у проходной и ждал результатов испытаний. При этом лицо его обретало тревожно-тоскливое выражение.

Если отдежурившие на испытательном стенде на миг останавливались у проходной и молча, бодро жали ему руку, Геннадий Семенович умиротворенный отправлялся домой и ужинал, поскольку время было позднее, один, не испытывая при этом ни малейшего одиночества.

Род Должиковых с недавних пор стал почитаться династией. Долгое время он развивался исключительно по мужской линии. Можно сказать, что Геннадий Семенович Должиков вырос среди толпы родных и двоюродных братьев.

Отец, Семен Фомич Должиков, которого теперь в семействе величали дедом, хвастал:

— Мы, Должиковы,— поставщики его величества рабочего класса и, понятно, Красной Армии.

Может, именно по причине многочисленности представителей мужского пола в семействах Должиковых властвовали женщины. Им, например, отдавали получки, отчего потом возникало ощущение, будто благоденствие семей зависит от жен и матерей; к ним и относились с особой почитательностью.

Дед говорил наставительно:

— Нас, мужиков, природа облегчила от главной обязанности, а вот на женщину навалила: хошь не хошь, а человеческий род продолжай. Мать — всему начало. И жизни и лучшему, что есть в человеке. Сама недоест, недоспит, а все что имеет — ребятенку. Я вот, к примеру, отчего в четырнадцать лет за винтовку взялся. Отца на империалистической убили, мать в шахту каталом пошла, а я в забое — подсобным, а на братишек все равно пищи не хватало. Тела — шкилеты, пузы вздутые. А мне не братишек жалко, мне мать жалко: она их родила, мучилась, и как кто совсем затихнет — сама мрет в муках. Одно спасение — жизнь под самый корень менять. Революция сразу

ничего нам дать не могла: на нее со всех сторон враги напали. Отвоевался, вернулся — жить можно. Главное, и голодающих нет и сытых, зажавшихся тоже. Что страна имела, то на всех делила. За это одно отдать жизнь не жалко. Вам такое теперь не понять. А для нас тогда это уже была мировая победа. — И Семен Фомич заключил многозначительно: — Вам каждый нынешний день — обыкновенный. А я его с той поры сравниваю, с какой мы начинались, и хотя я уже и поживший, но все новое мне заметней, чем всем вам. Ясно?

Собираясь вместе, Должиковы рассуждали о заводских делах так, что можно было подумать — они на заводе самые главные. Семен Фомич, будучи на пенсии, еще продолжал работать в мартеновском цехе и от этого смуглый, как после крымского курорта, утверждал:

— Вся сила народа в металле. — Щурился. — Однако весь вопрос в том, как им распорядиться. К примеру, в девятнадцатом тяжелом году была у нас выплавка на уровне минувших первобытных веков. Но чтобы белую гвардию вместе с армиями четырнадцати империалистических держав расколошматить, этого металла нам хватило. Почему хватило? А потому. Весь металл безотходно использовали. Каждую железку, обрезок, стружку с пола подымешь — и в печь. У себя дома или на дворе найдешь что бросовое из металла — в рогожку и с собой на завод.

Какое у рабочего класса понятие? Он хозяин. Но служащих ему не дано, на которых можно было бы с себя заботу свалить: чего нету, сам добудь. После смены, бывало, ходим по городу, как мусорщики: кто с тачкой, кто с мешком; собираем, как нынче говорят, утиль. Если б революцию без металла оставили, на чем бы она устояла без оружия, без снарядов? — Тут Семен Фомич с укоризной глянул на племянника, Марата Васильевича, заметил ехидно: — А вот у тебя возле станка стружка навалена, как бурьян. Заготовка в пуд, а изделие из нее — в фунт. Из слона муху делаешь. За такой фокус тебе не красный выпел положен, а знамя из рогожки. Мы, бывало, как за такое наказывали? Сделаем черный гроб, в него металл, который зря израсходовали, сложим и этот гроб с фамилиями виновников на самом видном месте в цеху выставим. На позор, на обозрение. Теперь, конечно, народ стал ласковый, вежливый, интеллигентный. Разве что в стенновке распнут. — Произнес с сожалением: — Черные доски отме-

нили. А будь моя власть, я бы на ней твой портрет большими гвоздями прибил.

— Какие заготовки из литейки дают, такие и строгаю,— смущенно оправдывался Марат Васильевич.

Дед перевел взгляд на сына:

— Вникаешь?

Теперь уже Яков Семенович сконфуженно пробормотал:

— А что? Припуски у меня законные.

— А я говорю — незаконные. Воровские и даже хуже. Вор сам себя не обворовывает.

Олег Семенович угрюмо произнес:

— Вот вы, отец, на нас кидаетесь, а сколько я у клети с пустыми клещами простаиваю? Нет металла — сталевары подводят.

— Мы подводим!— воскликнул Григорий Семенович возмущенно.— А если нам ковшей не хватает? Металл готов, вылить не во что!

Тут уж все посмотрели на Петра Семеновича; тот пожегил, но объяснил:

— Настыли не успеваем выбивать; ковши горячие, мы с одними кувалдами да ломом в них лезем.

— Интересно!— сказал, ни на кого не глядя, Яков Семенович.— Мы единогласно отца в завком выбирали, чтобы он за всем доглядел. А что получается?

Семен Фомич опустил глаза, затем стал неловко обороняться:

— А вам бы по причине семейственности следовало воздержаться от голосования.

— Это почему?

— А потому. Я человек невоздержанный. Вас вот сейчас в пот вогнал. От меня валерьянку и наш предзавкома пил, когда я ему спокойно, четко на парткоме все разъяснил и даже предложение внес: все отходы металла собирать в кучу на заводском дворе для всеобщего обозрения и наглядности.— Семен Фомич повернулся к Олегу Семеновичу, сообщил с коварной усмешкой: — И твои, Олечка, обрезы торцов от полос тоже туда же следует. Катаете металл в слабом темпе, он и стынет с обоих концов. Отсюда большие обрезы...

Каждый Должиков отличался особым характером; профессии у всех были разные, внешне они не слишком походили друг на друга, но на заводе их всех одинаково уважали и ценили за мастеровитость, считали зубастыми,

потому, как если дело касалось интересов производства, они, не сговариваясь, выступали, и всегда единомысленно, испытывая при этом даже некоторое удивление: откуда и как мог один Должиков отгадать мысли другого Должикова?

Жены одевали их всех в соответствии с модой: длинные двубортные пиджаки, широкие брюки, желтые ботинки на низких каблуках, и только один Семен Фомич решительно отказался от шляпы, упорно носил кепку, ссылаясь на то, что в цеху он и так ходит в шляпе. Это была тяжелая войлочная шляпа сталевара, на полях ее висели очки с синими стеклами в прочной железной оправе, защищавшие глаза от пламени мартена.

Когда Геннадий Должиков только пришел слесарем на завод, Семен Фомич внушал сыну:

— Главное в твоем деле сейчас — учеба: если окажешься способным всю свою жизнь учиться, многого достигнешь. Тогда у тебя на работе каждый день интересный будет, любой день станет как новенький, потому что хоть что-то новое приплюсовать к своей работе сможешь. Мастер — это не звание, а призвание, это увлеченность человека своим делом.

Война принесла большую убыль семейству Должиковых. Жили трудно. Приходилось помогать тем, у кого кормильцы погибли на фронте.

Геннадий Должиков довоевывал после Берлина на Дальнем Востоке, командовал тяжелой батареей большого калибра. За годы сражений его расчет достиг виртуозного, можно сказать, мастерства. Огонь бойцы вели с почти снайперской точностью, добиваясь при этом неслыханной для тяжелых орудий скорострельности. Они обрушивали на противника такие залпы неиссякающего ураганного огня, что можно было подумать, будто в горах Большого Хингана началось извержение вулкана; обломки укреплений противника, казалось, висели, не падая, колышась в багровом дыму на взрывных волнах. Когда поступала команда прекратить огонь, бойцам представлялось, что они оглохли от наступившей тишины. Разговаривая, продолжали кричать во весь голос, еще не привыкнув к затишью.

После демобилизации комбат Должиков вернулся на завод и принялся переучиваться — сначала на станочника, а потом на вечернем отделении института и на инженера-механика. Обзаводиться собственной семьей он долго не решался, поддерживая изрядное количество осиротевших

родственников. Женился Геннадий Семенович, уже достигнув солидного возраста, на бывшем старшем сержанте Елене Егоровне Пшонкиной — звукометристке, указаниями которой пользовался, когда командовал огневым взводом тяжелых дальнобойных орудий на Западном фронте. Еще тогда они прониклись симпатией друг к другу: он за безошибочность ее вычислений, она за восхищение, которое он ей оказывал после того, как разведка доносила, что его контрбатарейный огонь обратил оружие противника в металлолом.

Была она тощенькая, большеглазая, с двумя русыми косичками, убранными под пилотку. Никогда ни в чем не отступала она от уставных правил субординации, что давало ей возможность при всех обстоятельствах сохранять дальнюю дистанцию с теми, кто пытался такой дистанцией пренебречь.

Расстилая перед Должиковым лист бумаги, на котором самозаписывающие приборы отмечали фиксируемый звукоулавливателями вылет снаряда из канала ствола вражеского орудия и затем разрыв, она расшифровывала звукозапись нараспев, потому что после контузии заикалась, а потом, показав уже на карте расположение вражеских орудий, снова нараспев произносила, но с гневной интонацией, словно провозглашала приговор:

— Залпами из всех стволов! — И после, растирая себе ладонью шею, судорожно вздыхала.

— А если их батарея уже передислоцировалась? — опасливо осведомлялся Должиков.

— Нет! — категорически отвечала Елена. — Наши слухачи тогда бы засекли звук тягачей. — Помедлив, почти приказывала: — И сразу смените свою позицию после артонала. А то фашисты могут накрыть вас огнем из необнаруженных орудий. — Лицо ее приобретало сосредоточенное выражение, и Должиков воспринимал это как некое признание в особом чувстве к нему лично. Но думы о чувствах быстро улетучивались из его головы, стоило ему прийти к себе на батарею и скомандовать — к бою!

Встретились случайно после войны. Она его узнала сразу, а он ее нет: она была в гражданском, и одну ее щеку сильно изуродовало глубоким шрамом. Но когда она повернулась другой щекой, он мгновенно понял, что это она. Время ее словно и не коснулось.

Поврежденная щека вызвала у Должикова щемящую жалость, а неповрежденная напоминала о том, что он ис-

пытался тогда — робко, неуверенно; теперь он вдруг ощутил это полузабытое всем своим существом.

Стали встречаться. Все-таки однополчане, воспоминания, разговоры...

Однажды она ему сказала:

— Ложусь в госпиталь, решила на пластическую операцию.

Должиков страстно и решительно заявил:

— Это зачем еще? Отставить!

Она посмотрела ему в глаза, склонила голову и заплакала.

Должиков растерялся и стал лепетать такое, от чего она улыбнулась, кивнула и согласилась остаться такой, какая есть.

И они пошли в загс.

В родильный дом он отвез ее досрочно и потребовал уложить в постель, потому что Елена Егоровна, не считаясь со своим положением, рьяно занималась устройством жилья, добытого в результате обмена двух «неполнометражных» комнат в разных районах на одну «полнометражную», но сильно нуждавшуюся в ремонте.

Когда Геннадию Семеновичу сказали: «Девочка!» — он застыл в изумлении. Медицинская сестра, приняв изумление за обиду, что не мальчик родился, искренно возмутилась:

— Эх, вы, мужчины! На фронте на всем готовом воевали. Кто вам изготавливал и то, из чего пулять и чтобы вы сытыми были — мы, женщины!

Тут Геннадий Семенович пришел в себя:

— Вы не поняли. Это же великая радость для меня, поскольку в нашей фамилии одни парнишки заводятся. Вот я и обалдел! — И стал благодарить сестру так, словно дочка появилась на свет по ее воле.

И всем остальным Должиковым тоже было необычно и приятно, что у Геннадия дочь.

Дед Должиков настаивал, чтобы ей дали имя Сталина. Бабка предлагала Маечку.

Брат Егор решительно заявил:

— По имени бабушки назовем! Фенечкой.

Но Елена Егоровна прекратила дебаты:

— Света ей имя. От слова «свет». Именно Света, а не Светлана.

На том и порешили, так и зарегистрировали.

От привалившего к нему вдруг двойного счастья Геннадий Семенович даже вроде как бы оробел. Роды всегда омолаживают женщину и придают ей особую мечтательно-нежную красоту: именно эту особую красоту художники много веков ловко использовали при заказе на иконы, используя своих жен и даже не жен в качестве натурщиц. Вдохновенно озаряли их облик восторженным, священным благоговением, в полном соответствии с тем чувством, какое к ним испытывали.

Елена Егоровна не была исключением: она похорошела.

А Геннадий Семенович Должиков этого преобразования почти не заметил, полностью захваченный нежностью к появившейся на свет малютке. Верховным владыкой новорожденной была все-таки супруга. Она произвела девочку на свет и распоряжалась всем в доме. Никогда Геннадий Семенович не попадал в такое подчиненное положение. Их было двое, а он один, и жена командовала теперь им и от своего имени, а главное, и от имени дочери. Он стал покорным и даже несколько запуганным. Но не роптал. К примеру, он обожал ритуал купания, но тут ему отводилась лишь роль подсобной силы. Жена не позволяла ему касаться Светы, считая его неквалифицированным родителем.

Он суетился вокруг ванночки, держа на расprostертых руках нагретое мохнатое полотенце, жмурился, ежился, хихикал так, словно купали не Свету, а его самого.

Не допускали его и к пеленанию, хотя он с обидой доказывал, что на фронте никто так ловко и плотно — без единой складочки — не обматывал ноги жесткими портянками, как он.

Когда Света научилась лепетать, умиленный Должиков с энтузиазмом усвоил ее лепет и стал пользоваться им в домашнем обиходе, за что и получил строгий выговор от жены, разъяснившей недопустимость такого лепета в его устах, поскольку Света должна усваивать слова только в правильном, культурном их произношении. Это привело к тому, что Геннадий Семенович ударился в другую крайность — стал разговаривать с девочкой так, словно та уже все понимала и могла разделять его производственные интересы.

Жена насмешливо сказала:

— Ты что, одурел? Малышке про завод!

Должиков ответил серьезно:

— Я ей не про завод, а про себя. А то подумает, что отец только железки строгают.

— Ты ей сказку почитай, пусть у нее воображение развивается.

— Что сказки,— пренебрежительно отмахнулся было Должиков.— В них все на волшебников сваливают. А сейчас люди в натуре почище волшебников дела делают, без отрыва от действительности.— Но потом, конечно, сдался и читал сказку на разные голоса.

Однако девочка так эмоционально реагировала на приключения геросов, что Геннадий Семенович, прервав чтение, упрекнул жену:

— Вот разволновал только ребенка!— И принялся поспешно разъяснять дочери:— Тут все понарошке, выдумка. На самом деле колобок кто? Кусок теста, и все. Разве тесто соображать может?!

Тогда Света начала безутешно рыдать. Должиков совсем потерялся и в отчаянии стал давать задний ход:

— погоди! Но ведь колобок старуха скатала, так? Он от старухи ума и набрался и стал вроде как живой.

А потом скорбно жаловался жене:

— Соврал! Вижу по глазам — больше она мне теперь не верит.— Вздыхал:— И с детьми надо принципиальной линии держаться.— А потом вдруг оживился:— Вот растение, оно, в сущности, кто? Ума в нем нет. А в «Науке и жизни» читал — на музыку реагирует. Растет от нее шибче. До такого ни в одной сказке не додумались. А что, не факт?— И тут же деловито решил:— Завтра куплю проигрыватель с полным набором пластинок. Пусть Света музыку слушает, если музыка даже растениям полезна.

Первый механический цех был чем-то вроде двора феодала: все остальные на него работали.

Богатый станочный парк механического был заключен в светлый, как оранжерея, и просторный, как спортивный стадион, корпус. Черные, шершавые заготовки, поступавшие из подсобных цехов, здесь превращались в сверкающие, красивые изделия. Тут собрались самые квалифицированные мастера по холодной обработке металла; каждый из них отлично знал свое дело, обладал познаниями в смежных областях.

Работали сдельно.

Это значит — по такой системе оценки труда, когда каждый способен выявить себя, показать, что и как он может сработать и заработать.

Каждый рабочий, таким образом, преуспевал в зависимости от своих личных возможностей. Возможности соседа его по большей части не касались.

Вот в этот механический цех и поступил Марат Васильевич Должиков, самый молодой среди Должиковых, сын покойного Василия Фомича, младшего брата Семена Фомича Должикова. Василию Должикову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Во время боя он на проводе подтаскивал под гусеницы вражеских танков мины, взорвал два танка и сгорел заживо под струей из огнемета, когда подползал с миной к третьему (пылая, он все-таки успел доползти).

Благоговейная память о нем сохранялась в семье.

Марат Васильевич вернулся из армии несколько позже остальной родни, потому что остался служить в Германии, в войсках, выполнявших свой мирный долг за рубежами Родины.

На радость всем Должиковым вернулся он в орденах, изрядно, как уже говорилось, израненный пулями, но бодрым и статным старшим лейтенантом запаса. Вместе с тем принес он родным и душевное смятение тем, что вернулся не один, а с женой-немкой. Стройная молодая женщина застенчиво прятала в рукав от чужих взглядов искалеченную левую руку, подобно сизой лопаточке. Всех пяти пальцев на руке не было.

Почувствовав смятение своих сородичей, Марат Васильевич рассердился и самолюбиво, строптиво, независимо поселился с женой отдельно от них — в заводском общежитии.

Но первым с шумом заявился к нему дед Семен Фомич.

— Ты что, сукин сын, нас расистами считаешь? А ну, зови невестку, я ей сюрприз принес.

И когда из-за занавески вышла, потупив глаза, Эльза, он торжественно достал из кармана потертую кожаную коробочку и вынул серьги. Увесистые, золотые, бережно хранившиеся с тех пор, как жена умерла родами. Тут же он приказал:

— А ну, надевай.

Эльза порозовела, развела руками и, прикоснувшись к ушам, пролепетала:

— Нет дырочек! Но очень вам спасибо.

Дед смутился было, но тут же нашелся:

— Тогда одевайся, пойдем в поликлинику, там проколют.— И похвастал:— Старинное золото, девяносто шестая проба, и камни-самоцветы настоящие...— Объяснил:— Это я супруге когда-то приобрел. Сильную премию получил, как начал первым выдавать скоростные тяжело-весные плавки. А к тому же, между прочим, товарищ Орджоникидзе лично при всех за такое дело мне руку жал.— Улыбнулся:— Знаешь Орджоникидзе? Нет? Ну, ничего, обживешься — узнаешь. Я тебе такое еще про себя расскажу, ахнешь.— Уселся плотно на табурет, закурил.— У нас в гражданскую интернациональный батальон был, так там целый компот из всех наций имелся, и германцы тоже попадались — которые военнопленными царскими были, а за революцию с нами, большевиками, пошли. Кто такие большевики, знаешь? Ну, вот Ленина, Владимира Ильича, знаешь?

Эльза кивнула.

— Так выходит, ты Рот-фронт,— просиял дед.— Ну тогда подставляй щеку, я к тебе приложусь, по-стариковски, конечно.— Усмехнулся плутовато и, обернувшись к Марату Васильевичу, добавил одобрительно:— По фигуре она пока тощевата, но вполне глазастькая.

Марат Васильевич сказал:

— Эльза в подполье была, мы с ней по линии работы с противником были связаны.

— Вижу, какая у вас связь имелась,— покосился Семен Фомич на Эльзу, подмигнул:— Внуком пахнет. А ты, подлая твоя душа, хотел его от меня утаить.— Заявил гордо:— Я еще в империалистическую с ихними солдатами на фронте братался, когда империалисты поперек горла всем трудящимся стали...— Задумался на миг, усмехнулся.— Конечно, в феврале месяце мы им поддали, когда на революционный Питер полезли. Я к тому говорю, что нас не трогай, мы не тронем. Это я не к ней, Марат,— обратился он к племяннику,— а насчет тех, кто теперь опять замахивается, пузырится, что чужие земли своровать не довелось.

Эльза спохватилась:

— Я сделаю кофе. Хорошо?

— Хорошо, да не очень,— торжественно ответствовал он.— У меня вот с собой напиток покрепче.— И, вынув из кармана бутылку коньяку, похвастался:— Генерал-полковник, три звезды.— Спohватившись, сокрушенно пока-

чал головой: — Мужской напиток, а про дамское деликатное вино, извините, упустил из виду, спешил очень.

Эльза сказала виновато:

— У нас еще не красиво, только стаканы.

— Сойдет вполне, — обрадовался Семен Фомич. — По-куриному из рюмок клевать не любитель.

— Вы хороший, — тихо произнесла Эльза.

— А у нас плохих нет, — гордо объявил он, — а если плохие заводятся, мы их в людей перевоспитываем. У меня вот подручный был на печи — бывший вор, взял его без удовольствия, а теперь радуюсь: хоть сноровка еще слабовата, но давно в человека вылупился. Работает честно, из всех сил.

— Я тоже буду стараться, — сказала, вздохнув, Эльза.

— Да при чем тут ты? — воскликнул с горячностью Семен Фомич. — Это я так, для разговора про свою бригаду. — Построжал: — Ты, Эльза, раз навсегда запомни: мне и всем Должиковым ты теперь родня. Теперь ты... Как твоя фамилия?

— Мюллер. Эльза Мюллер.

— Вот, была Мюллер, а теперь, поскольку в законном браке — Эльза Должикова. — Улыбнулся радушно. — Такая вот у нас теперь семейная фирма — Семен Должиков с сыновьями, племянником и тобой, Эльзой, бывшей Мюллер, с внуком, еще не рожденным.

— А если девочка? — спросила Эльза.

— На девочек в нашем роду дефицит, — самодовольно кашлянул Семен Фомич. — Все мужики получают. Но ты не думай, женский пол мы уважаем за доброту, ласковость, душевность.

— Но это не про меня, — печально произнесла Эльза. — Я была очень злая. Я была диверсантка.

Семен Фомич ошеломленно уставился на племянника.

Марат Васильевич помедлил, объяснил не без тайной гордости:

— Она из боевой группы подпольщиков.

— Ясно. — Семен Фомич невольно глянул с жалостью на беспалую култышку, выглядывавшую из рукава невестки.

Эльза перехватила его взгляд:

— Это в гестапо. Привели, спрашивали. Я молчала, они молотком били, чтобы я говорила, а другую руку не успели. — Оглянулась на Марата Васильевича. — Он приехал на танке, стал из пушки стрелять, все на пол легли,

а я выползла, он из танка вылез и в танк меня втащил. А потом не отпустил обратно.

— Из танка, что ли?— спросил дед.

— Нет, вообще не отпустил.

— Не в танке,— улыбнулся Марат Васильевич,— а на самоходке мы прорвались. А не отпускал — это верно.

— Его за меня хотели наказать!— сказала Эльза.

— Объяснительные писал по всем инстанциям, было дело.

— А кто генералу сказал,— тихо напомнила Эльза:— «Вот вам все мои ордена и офицерские погоны — разжалуйте в солдаты. Но жену отбирать не дам»?

— Ну, правильно, было,— согласился Марат,— погорячился. Но этот же генерал вскоре велел тебя на его машине в главную комендатуру доставить и оформить на должность — как бы сказать... полупереводчицы. Поскольку по-русски ты самую чуть понимала, но местному населению нашу линию могла разъяснить вполне четко.

— Генерал меня просто пожалел,— вздохнула Эльза.— Всех моих родных фашисты в концлагере убили. И его родных тоже. Только в Ленинграде. Голодом.

Вытирая слезы тыльной стороной ладони, Семен Фомич произнес хрипло:

— Теперь все до единого Должиковы будут твоя родня. И не как-нибудь, а из всех сил души и сердца.

Поспешно налил по второму разу в стакан, торопливо, с жадностью выпил, понурился, потом поднял глаза.

— Ты, дочка, вот что поймей в виду. Горь от войны у всех хватает, но жить теперь человек обязан для счастья.— Встал, объявил решительно:— Приходи, я тебе портрет его покойного отца покажу,— кивнул на племянника,— и при самом его лице скажу, что хорошая у его сына супруга, самая подходящая. Такая и у него наверняка была бы точка зрения.

У кого бы из Должиковых ни собирались остальные члены семьи и какой бы ни был к тому повод, общий разговор всегда сводился к заводу.

Вот и сегодня Семен Фомич говорил, постукивал пальцами по ручке кресла:

— Раньше как было? Два-три поколения рабочих смеются, а оборудование стоит прежнее; люди помирают, а оно действует. Но и мастера, конечно, были выдающиеся.

Станок — телега, а он на нем фигурные детали вытачивает, и без всякого чертежа, поскольку читать чертежи не умеет. Образования-то никакого, на одной сноровке работали да на испуге. Запорешь деталь — штраф. Бывало, и за год не выплатишь, а если очень уж дорогую заготовку запорешь, то с завода в шею. А на другой потом не возьмут, разве что в чернорабочие. — Семен Фомич помолчал, затем, вспомнив, по какому поводу предался мыслям о прошлом, продолжал сурово: — Помещение на заводе старое, а оборудование вам в него суют новое. Даже которое не изнашивалось, меняют, подпирают вас со всех сторон техникой. Так и забаловать недолго, а вас послушать, получается, что всю свою работу на технику свалить желаете.

— Техника служит для облегчения человеческого труда, — заметил Геннадий Семенович.

— Не она вам, а вы ей служить должны, — строптиво прервал Семен Фомич.

— А мы ее производим!

— А как? С помощью той же техники! Она вам мозги управляет.

— Тут дело обоюдное. Она — нам, мы — ей.

— Станок — машина умственная, его ученые придумывают, и чего он может, а чего не может, ему в паспорт записывают.

— А нам со своим умом виднее, что он может еще сверх паспорта дать.

— Это откуда вы такого шибкого ума нахватались?

— У техники и набрались. Ученые в нее много ума вложили, а мы им пользуемся и еще свой добавляем.

— Шибко грамотными стали, от легкой работы, что ли?

— Легкой работы не бывает. Только центр тяжести в ней сместился.

— Это в какую же сторону?

— А в сторону головы!

— Если вы такие башковитые, тогда скажи, почему у вас план — как качели: в начале квартала — вниз, в конце — вверх? Вниз-вверх, вниз-вверх?

Геннадий Семенович, смутившись, начал оправдываться:

— Имеются разные объективные обстоятельства.

— Ты что мне тут, Гена, мозги пудришь, — возмутился дед. — Или я не знаю, что механический не полностью загружен, а заготовительные перегружены? В механическом

новые станки, как на параде, а в заготовительных вроде как на заднем дворе,— оборудование, какое было при мне, таким и осталось.

— Марат этот вопрос собирается на бюро ставить,— заметил Егор Семенович.

— Собирается?— иронически произнес дед.— Что за сборы такие? Ума, значит, набрались, а что делать с ним, понятия не имеет. Конечно, мы, бывало, чуть что — митинг. Но вы-то — башковитые! Вам-то зачем говорильню разводить?

— Вопрос на министерском уровне решается,— сказал Геннадий Семенович.— Мартеновский цех снесу подлежит. Будем в электропечах выдавать высоколегированный металл большой чистоты,— значит, и литейный соответственно переоборудуется, а вместо кузнечного создадим кузнечно-прессовый цех. И прессы будут с усилием в несколько тысяч тонн.

— То, что будет,— то ладно. А я про то, что есть, говорю,— упорствовал дед.— Министерство тоже можно за горло брать. Примите решение о капитальном ремонте. Нынче модно. Выпросят ремонт, а под него полную реконструкцию производят.

Братья переглянулись, Егор Семенович осуждающе покачал головой:

— Ловчить советуете.

— Не ловчить, а действовать в интересах производства.— Дед улыбнулся доверчиво.— Я ведь, ребята, не сам такое придумал, а мой бывший выученик, Мишка Савельев; он теперь директорствует на котельном. Встретились, поговорили. Спрашиваю: чего ты такой худющий и суевливый, все на часы нервно поглядываешь? Может, дома не ладно? Ну, он мне и сообщил, отчего он такой нервный. Ему капремонт разрешили, а он его в реконструкцию обратил. Но план-то производственный при этом ему не сократили. И получается такая у него петрушка: завод и работает и переоборудуется в одно и то же время. В цехах строители, монтажники. Закончат участок, и сразу туда производственников перегоняют. Я ему: значит, хаос получается. А он мне: зачем? Перемещаемся по строгому графику. Но признался: вообще-то, говорит, как на пожаре, только огня и дыма нет. Я ему: зачем же в такую суматоху полезли? А затем, говорит, что останавливать завод — государству дороже обойдется. И личному составу вовсе не интересно без дела только на тарифной ставке сидеть.

С ходу обновленное оборудование осваиваем... Видали, какой хват! Завод без призора не оставил и людей своих не обидел; они со строителей и монтажников хозяйских глаз не спускают, требуют для себя все, как получше. От таких заказчиков не отвертись. — Дед снова задумался. — Я ведь, ребята, на флоте тоже служил. А у флотских правильный обычай. Весь экипаж будущего корабля на строительстве его или, допустим, на капремонте в доках с самого начала работы до полного конца присутствует. А на корабле машин напихано побольше даже, чем в силовом цехе.

Если послушать со стороны такие разговоры, создалось бы впечатление о мужской части семейства Должиковых как о людях строптивых, склопных к раздражительности. Однако на заводе после таких пылких домашних стычек каждый из Должиковых — будь то производственное совещание или заседание парткома — говорил обо всем четко, впушительно, с полным самообладанием, озабоченный единственно тем, как, исходя из возможности, без суматохи и нервов устранить помехи.

— Новое, — говорил солидно Геннадий Семенович, — надо внедрять, прикинув абсолютно все, аккуратно, без шумихи, общим умом и, значит, надежно.

Семен Фомич с выходом на пенсию (а ему вручили при этом пожизненный пропуск на завод и оставили на партийном учете в цеху) обрел еще большую живость и задиристость, чем ему даже прежде было свойственно.

— Нас, старых большевиков, считанное число осталось, — говорил он впушительно, — но кость у нас крепкая и мясо жилистое, живучее — без сала. Мне нашу историю читать ни к чему. Я ее наизусть знаю, поскольку личный всего свидетель, и не со стороны; я ее собственноручно налаживал, как партия велела. Я завсегда работал без отрыва от лозунга «Чтобы сильнее мы стали, давай больше стали!». Стих! И за самое сердце прямо клещами брал, вытаскивал на дело.

— Это какой же Пушкин вам такое сочинил? — подзадоривая старика, улыбнулся Егор Должиков.

— Пушкин не Пушкин, а допускаю — Маяковский, — сердясь на то, что прервали, сказал Семен Фомич. — По существу, в самую точку попал. Мы не только «Интернационал» пели, а и всякое другое полезное, духоподъемное. И в самую разруху, в голодуху, на субботах, которые у нас были каждый день с рассвета до темна. Уже ног-рук

не чувствуешь, а как затянешь свою, революционную, так от прилива сознательности, от одной перспективы грядущего даже самые заморенные снова загорались работой. А Пушкиным ты меня не задирай,— пригрозил Егору.— Я его еще с гражданской войны знаю. Барышня к нам в госпиталь ходила, вслух читала. Это вас теперь в больницах до отвала лекарствами кормят. Или воткнул шприц в задницу и, пожалуйста, без всякой боли брюхо вспорют, снова зашьют, а вы глаза раскроете, и словно ничего такого с вами не было. А нас в гражданскую не баловали, поскольку нечем было. Вот эта барышня тем и читала Пушкина, у кого нестерпимая боль от ранения. Чтобы отвлечь. Лежишь на койке, думаешь — помереть бы лучше, чем дальше свое такое страдание терпеть. Послушаешь — и снова жить захочешь. Вот он какой, Пушкин. После я его при полном своем здоровье читал — и то же самое получалось.— Семен Фомич улыбнулся во весь рот, показал новые вставные зубы.— Омолодили, видал как!— И пообещал уверенно:— Если наука и дальше так пойдет, она не то что зубы, а и кое-какие внутренности сообразит. Полный капремонт организму наладит.— Что-то вспомнив, он сурово глянул на Геннадия Семеновича:— Был я у тебя в сборочном. Не цех — гастроном. То одних узлов недопостав, то других. На одни детали дефицит, другие лежат навалом. В телефон орете. В цеха, в отдел снабжения очумело бегаєте, не то за горло там хватать, не то выпрашивать-вымаливать. Вот ежели б в больнице, допустим, так, как вы, работали бы, что получалось? Распорол человека, лежит он разрезанный на столе, а доктору чего-то там не хватает, так он в аптеку или в соседнюю больницу людей посылает.— Дед совсем разошелся.— А сборочный цех работу всего завода итожит. Он наши изделия в жизнь запускает. Тут порядок четкий должен быть, как все равно, ну, в госпитале в Отечественную; там, прежде чем тебя, раненного, на стол определить, все что надо разложат аккуратно, в полном комплекте, чтобы с руки.— Похвастался:— Как завод стали бомбить, меня и шваркнуло железом. Так из уважения не в больницу забрали, а в военный госпиталь. Поскольку работа для фронта равнялась воинской.

— Я тебе так на это скажу...— начал Геннадий Семенович, задетый за живое.

Но Семен Фомич махнул на него рукой, словно не желая слушать.

— Я вам чего пришел объявить? За Марата свое беспокойство. Была Германия одна, фашистская, а теперь, как вам известно, их две. Одна нам сродни, а другая совсем наоборот. И получается, что у Эльзы-то теперь имеется свое социалистическое отечество. Нам это, конечно, очень приятно, а ей от того радость и гордость...

— Понятно! — согласился Геннадий Семенович.

— Ничего тебе не понятно, и не суйся, пока существо не понял, — вконец рассердился Семен Фомич. — Страна нам теперь ГДР — братская. И выходит, у Эльзы своя родина завелась. У Марата же давно своя имеется. Вот и войди в ее положение. Эльзу родина тянет, тем более не какая-нибудь, а такая, какой ее родители хотели, чтобы она стала, и за это их фашисты казнили. Я вот помню, в гражданскую надо нам было Перекоп брать. Ну, один красноармеец из интеллигентов всем нам расписывает этот самый Крым, мол, красота, зори, море, виноград и прочее. А для меня Крым — это барон Врангель, Турецкий вал и орудий без числа; словом, неприступная крепость. Гляжу на ребят и думаю, сколько же их здесь смертью полягут. Взяли Крым, и ничего я такого в нем замечательного не увидел. От моей роты полвзвода осталось, и те в сырых бинтах. Но вот когда на митинге нас комиссар поздравил, что, дескать, с последним оплотом белой контрреволюции мы покончили, облегчился я душой и оглядел местность, поскольку вся она уже была советская. И прямо вам скажу — красота! — Старик поглядел с прищуром, спросил: — Поняли, куда гну? Раньше-то Эльза стыдилась, что она из фашистской Германии родом, а теперь гордится своей новой Германией и, как всякий, свою родину любит. Вот я и говорю, что в их жизнь, Марата и Эльзы, такое затесалось, что может их расклинить.

— Она что же, вернуться собирается?

— Такого предположения я не высказываю, — насутился Семен Фомич, — но если политически рассуждать, им там надежные кадры требуются, а Эльза-то их юнгштурм. А по-человечески, — Семен Фомич потупился, вздохнул, — очень она мне пришлась, про Марата и не говорю — припаялся сердцем.

— Да он ведь ей жизнь спас! — воскликнул Геннадий Семенович.

— Так не для себя же, для нее, — сумрачно ответил Семен Фомич и вдруг заявил решительно: — Я ей путевку туда туристическую схлопотал в завкоме. Марат, как

узнал, аж дыхание потерял, но справился, дохлым голосом сказал: «Спасибо». Я ему врезал. «Если опасаясь, — говорю, — значит, правильно я путевку достал. В открытую надо идти. Жмуриться на такое — себе и ей жизнь испортить».

Геннадий Семенович с этого дня стал сильно тревожиться за прочность семьи Марата.

С одной стороны, рассуждал он сам с собой, Эльза, конечно, нашла здесь любовь, заботу и уважение. Антифашистка! Можно считать — герой. Отец, тот прямо заявил: теперь в нашем семействе Коминтерн. Но вот возникло у немцев свое социалистическое государство, а ведь могли все свободно удрать на Запад, где наши капиталистические союзники своей оккупацией капитализм не только охраняли, но даже на свои средства восстанавливали. А люди не ушли, сплотились; конечно, кое-кто и сбежал, как все равно у нас было в революцию. Теперь в Германии, выходит, два разных государства. Одно — капиталистическое, другое — социалистическое. Эльза сознательная, она понимает, что к чему. Если она при фашистах за новую Германию на смерть шла, то нынче на родной земле силы свои приложить наверняка захочет. Потянет ее родина...

А Марат что? Он нашей, должиковской, породы. Политически, конечно, возражать ему нечем. Но мы-то, Должиковы, однолюбы. Когда бабка померла, год маялись все, как неприкаянные. Егор вот жену потерял после войны. После ее смерти — аж посерел, осунулся, зубы стиснул. И до сих пор — что дома, что у себя в цеху, словно только по делу скучает, и все. Выжег себе горем сердце. Какие женщины подходящие его пожалеть хотели — из конструкторского бюро, из канцелярии заводской. Даже одна инженерша пожелала с ним технологию нового метода скоростной плавки подработать. А он на всех на них, как на стеклянных, — сквозь глядит и совсем ничего не замечает.

Бригаду свою он на двух человек уменьшил. А почему? Не только из экономических соображений и в интересах завода, а чтобы самому в смену до измора в печи шуровать, и летку пробивать, и шихту совковой лопатой лично заваливать. Глядел, как он работает. Просто ярость какая-то. И сон у него ненормальный — короткий. Без храпу спит, но стонет, бормочет что-то. Горе свое, видно, мыкает.

И все мы, Должиковы, такие — однолюбь. Взять вот меня самого, соображал Геннадий Семенович. Без своей кем бы я был? Сиротой непоправимым. Даже думать об этом жутко — в горле перехватывает.

...Когда Света пошла в заводской детский сад на пятидневку, Геннадию Семеновичу стало без нее невыносимо скучно в доме. Тем более что жена, работавшая мастером на радиозаводе и занятая многочисленными общественными делами, возвращалась домой поздно.

И Геннадий Должиков стал охотно соглашаться на сверхурочные, и заработок его значительно возрос. Но с некоторых пор он чувствовал неловкость при каждой большой получке. Выходило, что не за мастерство ему прибавка, не за сноровку или сообразительность, а только за то, что дома скучно без дочери...

Поскольку сборщики, по существу, итожат работу целого завода, каждого рабочего, не говоря уже о себе самом, Геннадий Семенович Должиков почитал себя фигурой, облеченной высшей ответственностью.

«Кадры решают все». Этот лозунг Геннадий Семенович считал безупречно правильным. Поэтому принимал активное участие (на общественных, конечно, началах) в работе заводского отдела кадров. Беседу с поступающими на работу проводил осторожно, с деликатностью.

— У каждого предприятия, — говорил он, — собственная биография — все равно как у человека. Я вашу биографию из бумаг узнал. Моя тоже здесь, у кадровиков, записана. Но фактически биография из чего состоит? Из того, сколько и каких изделий я на свет произвел. В изготовлении каких марок машин участвовал. Они мне мерка. Если с таким прицелом вы на наш завод работать пришли, тогда попадание ваше точное. Если в рассуждении заработка, так и он по интересу к работе определяется. А работа наша, она что ж... Чем больше механизирована, тем тебе поворачиваться легче, но зато тем больше мозгам достается. И все время приходится учиться у новой техники. Она наш профессор, а мы ее студенты-многогодники, так сказать. С одной стороны, все мы народ квалифицированный, машиностроители. С другой — всегда ученики завода. Так что если стесняться учиться не будете и разряда достойного добьетесь, то и получка тоже соответственной окажется.

К молодежи, которая приходила на завод не без задней мысли приобрести кратковременный рабочий стаж, чтобы

потом было легче поступать в вуз, Должиков относился без предубеждения, бытовавшего среди кадровиков:

— Ну и что? То, что они — временные? Зато заводская закалка — она всегда долгосрочная: и в учебе и в жизни пригодится. Она человека только упрочит.

Беседуя со срезавшимся на филфак Борисом Фетисовым, долговязым юношей в полинявших заплатанных джинсах и повой замшевой курточке, Должиков осторожно осведомился:

— Почему вы, собственно, в цех стремитесь? У нас библиотека немаленькая имеется, библиотекарем по вашим интересам было бы в самый раз.

— Да я филфак-то выбрал — лишь бы выбрать.

— Значит, главное — диплом?

Фетисов добродушно улыбнулся:

— Да не для меня, для родителей.

— А они у вас, извиняюсь, кто?

— Тоже заводские, на металлургическом трудятся.

— Что же вы не по их стопам?

— В горячем цеху хоть и самая высокая оплата, но после такой работенки на стадион не пойдешь. А у меня разряд. Кандидат в мастера спорта.

— Ну что ж, — уважительно сказал Должиков, — мы тоже за свой спортивный заводской престиж болеем. — И принял решение зачислить Фетисова в механический цех, на ученичество. К Ивану Ефимовичу Полозову, которого уже дважды торжественно провожали на пенсию, и оба раза он возвращался на завод. Работал теперь Полозов у станка всего шесть часов, остальное время занимался педагогической деятельностью — учил других тому, чему ни по каким учебникам не выучиться.

Спустя некоторое время Иван Ефимович сказал Должинову:

— Фетисов, меня не спросясь, на разряд сдал. Теперь самостоятельно вкалывает.

— Значит, с огоньком парень оказался!

— С огоньком; вот не знаю только, с какой стороны этот огонек ему светит.

— Что так?

Иван Ефимович помедлил, произнес:

— Да понимаешь, в расчете на ОТК только работает, а вот чтобы лишний раз по чистовой пройти, чтобы высшего класса работу мне предъявить — на это не склоняется.

— Ну, это придет с полной выучкой.
— Да ведь он уже сейчас может, а не хочет.
— Значит, опасается заготовку запороть.
— Удовольствие от работы когда получаешь? Когда лично твое, особо приметное обозначается, — сказал Полозов. — С одним уменьем да без рвения — это вроде как обслуга при станке.

Однако начальник полета Бобров отозвался о Фетисове самым лучшим образом:

— Парень осмотрительный, выдержанный. Наряд просит, какой ему по силам, вперед самого себя не забегает.

Геннадий Семенович отвечал на это уклончиво:

— Человеку без азарта работать, конечно, скучно. Ну, да ладно, еще вработается, тогда, может, огонек настоящий в нем и засветится.

Как бы тщательно ОТК ни проверял изделия, поступающие из механического цеха, меркой для него был ГОСТ, диктующий допустимые отклонения на плюс и минус. Но когда все эти детали поступали в сборочный, приходилось самим дошлифовывать поверхность при крайних допусках, а то и дополнительно производить чистовую обработку на шлифовальных, фрезерных, зуборезных станках, что, конечно, отвлекало сборщиков от их собственной работы и отражалось на выполнении плана. Образовывался перерасход фонда зарплаты, сокращались премиальные. Бывало, что двигатель, поставленный на испытательный стенд, сначала шел туго, не давал сразу положенное ему число оборотов. И тогда такие люди, как, например, Егор Нилович Горохов, знающие чувство профессиональной гордости, одержимые любовью к своему труду, работали при минимальных отклонениях от заданного размера.

В сущности, это было проявлением самоотверженности, поскольку работу на минимальных допусках с них никто официально не спрашивал и не мог спрашивать.

Но были в сборочном и охотники просто получить лишние деньги на таких доделках, дотяжках, дошлифовках деталей. Они, конечно, никаких претензий механическому цеху не предъявляли. И когда Геннадий Семенович Должиков ратовал на производственных совещаниях за снижение допусков, опускали свой взор долу и молчали. Укорять же потом их за это Должиков не решался. Станочники-то они были первоклассные и всегда выручали, потому что отсылать обратно в механический цех детали

на доделку — канитель, потеря времени. Да и кто примет? ОТК пропустил — и точка.

И всегда, когда двигатель туго притирался на стенде, Должиков испытывал муку. Багровел, потел, дышал загнанно, словно волок на себе непосильную тяжесть.

Зайдя во время смены в механический цех, он подходил к Егору Ниловичу Горохову и, чуть не кланяясь, благодарил его за поставленные им детали с минимальными допусками и горячо говорил о том, что это дает двигателю по всей совокупности его назначения.

Егор Нилович глядел на него так, словно он не работал, а спал и Должиков его разбудил.

Отвечал потерянno:

— Там же, на моей работе, клейма нет. Сдаю, как все, в ОТК, а не вам.

— Так я по рукам узнаю, кто с душой, а кто — лишь бы норму выдать! — восклицал Должиков.

Горохов как-то произнес задумчиво:

— Я сам, пожалуй, свою работу узнаю, когда она еще теплая. Но чтобы после — вряд ли. Хотя, по правде говоря, сдашь, а перед уходом тянет еще раз поглядеть. — Он вздохнул: — Ну, если от вас претензий нет — спасибо. А то сваливаешь работу — точно в яму. Как она там впоследствии себя покажет — не говорят. Конечно, заходят от вас, из сборочного: давай, давай, жми, без твоей выработки комплекта нет. Ну и думаешь сердито: я свой план выполнил, даже сверх плана дал, а вам не хватает. — Он помолчал и произнес внушительно: — Я без горячки работаю. А если у вас горячка — значит, план у вас не твердый, а бумажный. И что получается?.. А в механическом каждый по силам трудится, по возможности. Все на съезде. Один — согласно опыту, квалификации, сноровке — сверх плана детали срабатывает, а другой до нормы не дотягивает...

— А нам все в комплекте требуется; бывает, без копейной муфточки простаиваешь, — сказал Геннадий Семенович.

— На муфточки и без разряда ставят рабочих, — ответил Егор Нилович, — безопытных, где же им сразу с нормой справиться?

— Вот, — строго произнес Должиков, — цена муфточки двугривенный, а нам ее бывает ох как не хватает. То же и с крепежным материалом. Специализированный постав-

щик не обеспечит, и мы высокой квалификации людей на изготовление его ставим, чтобы простая избежать.

Егор Нилович нахмурился:

— Вы это зря на сдельный труд тень бросаете. Как нынче учесть, кто есть кто, кто что может и кто чего не может? Суть даже не в получке, а в личной рабочей чести. — Кивнул на доску цеховой выработки. — Вы глядите: поименно каждый назван, про всякого сказано, что за смену выдал. Картина ясная. И поглядеть на доску эту приятно, если работал с полной выкладкой. — Он помедлил и произнес с некоторой долей смущения: — Воодушевляет!

Иванов — фамилия простая и от этого сильно распространенная. С одной стороны, запомнить ее легко. С другой стороны, где тот Иванов, который тебе нужен, среди всех многих Ивановых, сразу не обнаружишь. А директором завода, о котором наш рассказ, был именно товарищ Иванов.

Крупным мужчиной, исходя из комплекции, назвать его было нельзя. Был товарищ Иванов среднего роста, средней упитанности. Не плешивый, но с пролысинами. На работу всегда приходил в таком виде, словно его наверх вызывают: костюм черный, рубашка белая. Галстук в полоску, брюки выглаженные. Волосы поперек головы зачесаны так, что пролысин не видать. Глаза маленькие, черные, да еще с прищуром, живые такие глаза, взгляд острый — «сквозной», как считали некоторые.

Был он в меру хитроват, осмотрительно предприимчив. До новой техники жаден. Начальство уважал, но держался с достоинством. Он не просто работал, а всеми своими мыслями, мечтами был предан заводу, и самочувствие его полностью зависело от того, как на заводе идут дела.

Обремененный самыми разнообразными заботами, он далеко не всегда пребывал в хорошем расположении духа. Стоило, скажем, заводу перевыполнить плановые показатели, он не успевал еще насладиться успехом, как сейчас же поступала директива сверху: считать достигнутое нормой. И ему тут же спускали новое задание, значительно превосходившее предыдущее. Получалось, будто бы он сам себя стегал достигнутыми успехами.

Но завод — это вам не натуральное хозяйство. Это хозяйство, зависящее от поставщиков. Поставщик, скажем, с планом справиться не в силах, и ему план снизят. Полу-

чается что-то вроде законного беззакония. Выходит, твой завод вперед забежал, от снабжающего тыла оторвался. Если мерить фронтовыми мерками — с такой тактикой победу одержать можно лишь на основе героизма и самоотверженности.

Как всякого героического хозяйственника, Иванова награждали высокими правительственными наградами и, как всякого излишне предприимчивого хозяйственника, охлаждали выговорами, взысканиями. Прорабатывали на разного рода совещаниях за то, что в борьбе за новые высокие показатели он прибегал порой к запрещенным приемам.

Например, у него имелся отлично оборудованный инструментальный цех, хотя он мог обойтись без этого цеха, получая инструменты со специализированного завода.

Но в тех случаях, когда завод, поставляющий комплектующие детали, срывал поставки, инструментальщики выручали.

Недополучили, к примеру, новые станки. Опять же выручили инструментальщики, реконструировали давно работающие станки под предлогом капремонта. Директор даже создал систему конвейеров, которые забирали готовые детали, подавали заготовки на рабочие места.

Словом, было много такого, что официально не значилось в производственных фондах завода, но существовало, возникало на основе хозяйственной самостоятельности и инициативы.

Что касается некоторых других факторов вынужденной хозяйственной предприимчивости, то о них упоминать не будем; они записаны в выговорах и прочих взысканиях как отступление от законных норм, несмотря на то, что были рождены стремлением перевыполнять производственные нормы по всем показателям.

Таким образом, директор завода товарищ Иванов был, как и многие другие хозяйственники, многострадальным праведником и грешником в одном лице. Был он человеком, пламенно верующим в союз науки и производства. И вместе с тем, прежде чем заказывать дорогостоящую электронику АСУ, установил на каждом участке световые цифровые табло, которые каждый час фиксировали число изготовленных деталей и даже их назначение.

Таким образом, стоило молча пройти по цеху, поглядывая на эти световые табло, и сразу становилось ясным,

какие детали уже изготовлены впрок, а каких не хватает, чтобы составилась комплект для цеха сборки изделий.

Обошлось начинание недорого, но картину хода дела на производстве давало точную.

С помощью такой светящейся памяти управлять начальству, конечно, было легче. Такая память ежечасно и прилюдно уличала отстающих и безмолвно восхваляла передовиков, разжигая дух соревнования.

Сам товарищ Иванов обладал тоже очень цепкой памятью на людей. Он помнил всех. И не только тех, кто сейчас работал на заводе, но и тех, кто горячо и с выдумкой трудился в давние нелегкие времена.

Директор завода — он, в сущности, кто? Универсал. Должен, во-первых, обладать широчайшими инженерными познаниями. Ну, на то у него и диплом инженера. Но необходимы ему не меньше и глубокие экономические знания — хоть и без диплома. И социологом он обязан быть, и психологом тоже. Хозяйственник, он, по существу, кто? Государственный деятель. И дипломатические способности ему нужны: отношения между ведомствами иной раз все равно что отношения между государствами с различными системами. Великого такта, изворотливости требуют.

Словом, директор завода товарищ Иванов обладал не только обыкновенной фамилией, но и действовал в обычных для многих других директоров обстоятельствах, в меру своих сил и возможностей стараясь трудные обстоятельства одолевать, как того требует могучий поступательный ход нашей жизни.

И каждый год, безмерно волнуясь, он проходил самую главную для него самую проверку на годность: признают ли его заводские коммунисты во время отчетно-выборного партийного собрания достойным войти в состав бюро парткома? Ведь можно быть директором-универсалом, но все те знания, которые мы выше перечислили, должны зиждиться на гранитном фундаменте, имя которому партийность; иначе самый умелый хозяйственник становится подобен капитану судна, у которого в рубке есть все, кроме главного — компаса.

Анатолий Кузьмич Иванов, можно прямо сказать, вырос и выучился на заводе; там он получил высшее образование без отрыва от производства, там занял командную должность, и не только по назначению сверху, а еще и по единодушному желанию самих производственников. Свои организаторские способности он проявил еще тогда, когда

самого завода, в сущности, не было — одни развалины. Легче было построить новый, чем из металла, годного только на металлолом для мартенов, восстанавливать старый. Но люди работали среди этих развалин, словно археологи, обнаружившие в пустыне остатки древней цивилизации, уничтоженной варварами. Работали при свете костров, греясь возле них, жили в землянках или уцелевших подвалах разрушенных домов. Ели из общего котла, получая похлебку в отслужившие свое солдатские котелки и стальные каски.

А за что потом люди признали Анатолия Кузьмича? Да за то, что в этих нечеловеческих условиях он, хотя и имел под рукой чертежи старого завода, добивался того, чтобы фундаменты под будущие цеха закладывали более мощные, чем прежние, и несущие колонны чтобы тоже были мощнее, и чтобы кровлю поднимали выше, и мостовое крановое хозяйство, прежде слабосильное, укрепили.

Он говорил только простые, понятные вещи:

— Победу наши воины на фронте одержали. И не какую-нибудь, а всемирно-историческую. А мы что же, рабочий класс, свой завод только по довоенному, старому фасону скроить можем? Новую жизнь надо закладывать в расчете на нашу победу во всем, а не на временную бедность.

И когда госкомиссия приняла героически восстановленный завод, в заключении ее было записано: «...вместо прежних насосов чугунного литья можно приступить к производству двигателей внутреннего сгорания».

Исполняющим обязанности директора назначили товарища Иванова А. К., хотя доверие пока было оказано не ему лично, а его диплому инженера-механика.

Чем значительнее хозяйство, тем прочнее прикован его руководитель к телефонному аппарату, тем тяжелее его лоцманская служба на бумажных разливах, в море входящих и исходящих. Анатолия же Кузьмича Иванова всегда тянуло в цеха, как любое живое существо тянет на волю, к природе, среди которой оно выросло, как генерала, которого, когда его войска сражаются, воинская душа влечет на передовую.

Бывало так: обойдя цех, выслушав всякого рода претензии и высказав их в свою очередь, Анатолий Кузьмич останавливался возле станка, на котором работал Егор Нилович Горохов, и стоял долго, молча, завороченно любуясь виртуозным, вдохновенным мастерством рабочего,

подобно тому, как человек, понимающий толк в живописи, стоит за спиной знаменитого художника, когда тот волшебной своей кистью рисует, допустим, обыкновенное дерево под названием береза, а получается у него не просто береза, а нечто одухотворенное, доброе и такое прекрасное, что самому хочется стать лучше. И уж наверняка, несмотря на разнообразные неприятности, возвращается хорошее настроение.

Сам Егор Нилович, погруженный в работу, не замечал, что кто-то стоит у него за спиной. Директор или сам министр — он все равно не обернулся бы, не отвлекся бы от захватившего все его существо труда.

Совсем по-другому в аналогичных случаях вел себя Марат Должиков. Однажды, выключив станок и вытерев паклей руки, он вежливо ответил на рукопожатие директора и тут же, с маху, вполне невежливо бросился на него:

— Что же получается! Начальник цеха — вроде тормозной колодки для молодежи! Поставили новейший многооперационный агрегат с автоматической сменой инструментов, с начинкой электронной, а он к нему молодого парня со среднетехническим не допускает, доверяет только тем, у кого шестой разряд, вроде Горохова. У таких, конечно, позади большой опыт, практика. А молодого зато учили овладевать современной техникой. Зачем же его назад пихают, к древнему станку времен минувших пятилеток?

— Вы что же, ветеранов не уважаете? — уклонился от прямого ответа Анатолий Кузьмич, чтобы не обсуждать сейчас поступки начальника цеха.

— Ветеранов мы почитаем! Мы сами постановили: тем, кто на пенсии и при силе, установить шестичасовой рабочий день; дополнительные отпуска даем, путевки в дома отдыха для поддержания их здоровья на высоком уровне в первую очередь выписываем.

— Такой приказ, между прочим, за моей подписью вывешен, — напомнил директор.

— А, между прочим, насчет премий за качество; до сих пор нормативы не разработаны, — не унимался Должиков. — Вот Елисеев, строгальщик. После него станину ни шабрить, ни шлифовке подвергать нужды нет. Глянешь на нее — все равно как зеркало сверкает. Значит, все, что положено за шабровку и шлифовку, все ему причитается. А по существующему положению — нельзя. Вот вам бы и распорядиться! А то человек из одной сознательности

терпеливо, самоотверженно трудится, и с таким лицом, будто не станину строгают, а доски для гроба. Неполную зарплату кому хочется получать!

— Главк должен нормативы на качество спустить, пишу докладные — все обещают.

— А вы сами, не дожидаясь, отдайте приказ — и все. Анатолий Кузьмич только грустно улыбнулся, спросил:

— Вы «Шагреневую кожу» Бальзака читали?

— Не читал, по телевизору видел.

— Ну, все равно. Так вот, мои директорские права вроде этой самой шагреневой кожи получают. Вначале думал — вот оно, прекрасное самостоятельное право на исполнение всех наших производственных желаний. Вначале будто бы так — шли навстречу. А как поползли потком дополнительные разъяснения, инструкции — кожа-то эта в мышиную шкурку сжалась.

— А главк, он что, государство? У него свои законы? Мы ведь его можем законно, по-партийному поправить. Партия во всем нас на качество нацеливает — и по линии производства и в смысле спроса с человека, — вызываясь заявил Должиков.

— Вы меня, что ли, имеете в виду? — обиделся Анатолий Кузьмич.

— Все и всех, — нашелся Должиков и уже добродушно признался: — У меня вот из-за собственных дел кошки на душе скребут. Поглядите на наши цеховые табло с цифрами. С одной стороны, нас передовиками радуют, с другой — укоряют отстающими, а с третьей — теми, кто лишь на норме топчется. От такой пестроты не только в глазах рябит, но и сердце сжимается. Конечно, люди — человеки, они все разные, но дело-то, оно у нас общее. А получается, будто каждый только за себя в ответе.

— Что же вы предлагаете? Назад к уравниловке? — осведомился директор.

Должиков задумался, опустил глаза.

— Зачем к уравниловке... Раз линия на качество, и не только продукции, а человека, то кто лучше, тому и больше. Кто качество дает по совести, тому премию надо начислять — после сборочного цеха, конечно, где работе окончательный итог подводится.

— На это ОТК существует, — строго напомнил директор.

— А что ОТК? Он равняется на ГОСТ. А надо было б по-другому — судить по качеству окончательной продукции и награждать премиями, а не рассыпухой — каждому только за себя.

— Вы напрасно со мной темните, — сухо произнес директор. — Я понял, куда вы клоните. К организации бригад, работающих по единому наряду. Так это не новость. Для строителей такое подходит. Поддай им только вовремя материал, они дом скоренько сложат. А мы машиностроители: у нас сложнейшая технология, высокий уровень квалификации, механизация. Двигатель из многих тысяч деталей монтируется. Это вам не кирпичи, не панели, не бревна и доски. У нас изделия микронной точности. И без таких, как Егор Нилович Горохов, нам не обойтись. Без индивидуальностей. А вы хотите лишить нас права понимать их исключительную одаренность и создавать им заслуженные благоприятные условия для работы.

— Такое право иметь все должны, — не очень уверенно, но все-таки упрямо проговорил Должиков. — А нам гордиться перед строителями ни к чему. На парткоме решили делегацию к ним снарядить, чтобы занять у них опыта. Уразуметь, что от единого наряда получается.

Директор пожал плечами:

— Было бы разумнее у передовых предприятий нашего профиля поучиться. — И иронически добавил: — А не у каменщиков и штукатуров.

— А мы и у производителей своего профиля учимся, — горячо заверил его Должиков. — Вот мой брат, который на сборке командует, на часовой завод ходил.

— На часовой? — удивился директор. — Так там вся продукция только под микроскопом видна.

— Видна, да не всем, — сердито сказал Должиков. — У них там лазерная технология, ориентировка деталей на сборке магнитным полем, и конвейер пульсирующий: тем, кто лучше работает, дает возможность себя выявить и не дожидаться, пока отстающий догонит.

— Был и я на часовом, — грустно признался Анатолий Кузьмич. И добавил со вздохом: — Можно сказать, несбыточную мечту машиностроителей наяву увидел.

— Несбыточную... — погрустнел Должиков. — Придет время, за такую несбыточность с нас спросят. Вот на пресовом молодой парень работает, тонкий лист из пачки подает прикосновением рукавиц, в которые магниты вделаны. Поглядишь — чудо: вроде как Иисус Христос длани

простер. И к ним сам собой стальной лист восходит. А если вдуматься, то ведь из человека робота сделали. Поставь вместо него манипулятор с магнитом, и человек человеком станет, освободится от своего глупого труда, и будет нам новый станочник.

— Мысль правильная, — одобрил директор. — Расскажите в КБ. Ценное предложение.

— Да какое оно ценное, — отмахнулся Должиков, — невооруженным глазом видно. А вот что мы все, станочники, только стружку гоним — это за сердце берет. Оттого, что мы деталь из заготовки выстругиваем, качество металла остается каким было, только что на стружку металла идет больше, чем сама деталь весит. А вот если ее прессом из заготовки выжать, металл станет плотнее, а стало быть, прочнее, и потери самая чуть.

— Запросы мои в министерства относительно кузнечно-прессового оборудования, которое, вы правы, эффективнее, уж сколько времени мертвым грузом лежат. И заводы нашего профиля за этим оборудованием в очереди стоят, — усмехнулся директор, — как домашние хозяйки за апельсинами.

— А вы на министерство в ЦК партии жалуйтесь, — посоветовал Должиков. — Товарищ Брежнев за кузнечно-прессовое оборудование высказывался. От имени партии и от себя лично, как тонко понимающий инженер. Вот ведь какая сила за нас, — с воодушевлением произнес он. — А людей, надежных для передовой техники, нам хватает. Поставили в цех токарно-винторезный станок с числовым программным управлением. Позвали к нему Егора Ниловича Горохова. Он на нем проходку свою сделал, показал станку последовательность операций. Станок своей электронной башкой все запомнил и теперь без Горохова по-гороховски работает, высшего качества изделия дает. Мы вот все скулим насчет кадров, а такой автомат за многих вкалывает.

Только что у нас плохо? Крупносерийные заказы добывать не можем, по мелочам подбираемся — суета вместо поточного производства. Или вот новейшие точнейшие станки используем для изготовления простейших деталей... А еще...

— Вы обо всем этом уже на отчетно-выборном партийном собрании высказывались, и в мой адрес, — обиженно сказал директор.

— Ну и что? — добродушно улыбнулся Должиков. — Вас же в состав бюро все равно единогласно выбрали. Коммунисты дело понимают: с прицелом на будущее вас критиковали. И не вас только: по себе тоже били за то, что недостаточно поворотливыми на инициативу оказались.

Собственно, на этот длинный и не во всем для себя приятный разговор с Должиковым директор решился из деловых соображений.

Он давно хотел перевести Марата на должность сменного начальника цеха. И сейчас Должиков своей смелой, толковой, напористой речью подтвердил, что именно такой мыслящий и бесстрашный руководитель нужен цеху. Нужен он и директору завода как соратник-единомышленник. Вместе с тем где-то на дне души таилась у Анатолия Кузьмича Иванова одна хитрая мыслишка. Если переместить Марата Должикова в командный состав, он и сам за многое отвечать будет и уже ему самому другие станут предъявлять претензии. Тогда он поймет, что идея, конечно, вещь прекрасная, но добиться ее осуществления порой ох как трудно. И главное — не по собственной вине. Тогда он узнает, что начальник еще не бог, что не все от него зависит. И не всегда желаемое в мгновение ока становится действительным.

Не только директора завода задевали за живое упреки Марата Должикова. И прислушивались к нему и спорили с ним многие. Наступил день, когда в дело вмешался партком.

Секретарь парткома товарищ Зубцов все пытался установить карандаш в вертикальном положении и, говоря, пристально глядел на него — главным образом для того, чтобы не смотреть в глаза Марату Должикову.

— Так вот, Марат Васильевич! — произнес секретарь самым душевным своим голосом. — Мы тут с членами бюро посоветовались и признали: твоя правота, твой верх. То, что строители смогли, то мы, машиностроители, тем более сможем. — Оглянулся на полки с книгами за спиной. — Еще классики марксизма предсказывали, что у нас будет развитой, зрелый социализм. Теперь он есть — в натуре. — Зазвонил телефон, секретарь снял трубку и прихлопнул ею рычаг, чтобы никто не мешал разговору. — Идея бригадной организации труда еще, считай, до первых пятилеток существовала. Но... — Зубцов высоко поднял бровь и твердо произнес: — Но теперь она наполняется но-

вым содержанием в соответствии с объективным законом нашего времени.

— Да ты не тани,— взмолился нетерпеливо Должиков.— Позвал — руби.

Зубцов сощурился, решительно сшиб ладонью на стол карандаш, вставший наконец по стойке «смирно», и пристально взглянул в глаза Должинову:

— Бригадира нам надо в комплексную бригаду, работающую по единому наряду. Ну, как этот самый строитель Злобин. Не знаю, кто он по специальности — каменщик, плотник или маляр. Но только коммунист он далекоприцельный.— И добавил с завистью:— Нам бы сюда такого.

— Ну, конечно, куда до него нам, машиностроителям,— усмехнулся Должиков,— наше дело только движки из железок собирать.

— А ты не шути,— посоветовал Зубцов.— Ведь догадался, к чему я разговор веду.

— Догадался!— яростно произнес Должиков.— Чего темнить! К нынешней осени я инженер с дипломом, а ты меня — в бригадиры.

— Не ты, а вы,— поправил строго Зубцов.— Потому что это не я один так считаю, а мы, бюро парткома. Ясно?

— Заочно решили,— возмутился Должиков.

— Решение мы не принимали, только обсудили — рекомендовать. Сама бригада еще будет выбирать себе руководителя.

— А где она, бригада?

— Вот про это мы у тебя спросим. Сначала убеди, потом собери, потом сплоти в коллектив.

— Раз, два, три — игра на три счета получается,— мрачно пробурчал Должиков.

— Я тебе, Марат, начистоту скажу,— тяжело вздохнул Зубцов.— Я ведь за тебя переживаю.

Ну, вот, разберемся, что такое коллектив. Как в двигателе: деталей много, и все разные, и если хоть одна не соответствует назначенным параметрам, дизель работать не будет. Но с машиной все гораздо проще. Не соответствует деталь заданной технологии обработки — сменить на другую, качественную. И все. А тут — люди. Каждый сам по себе — личность, и приладиться к каждому трудно.

Да еще так бывает. Сегодня человек в одном настроении, завтра в другом. Учитывать приходится. А твой настрой обязан быть всегда ровным — пусть у тебя и зуб болит, и дома что-нибудь случилось.

Такая может быть ситуация. Один, например, хочет норму перевыполнить, а не может. Другой может, но не хочет: так сказать, мастерство при себе «удерживает». Одни хотят повысить квалификацию — наряд на сложную работу просят. Другие не уступают наряды из соображений престижа или просто из жадности.

Бывает, заготовками не обеспечат в достаточном количестве. Кому угодать? Самым квалифицированным. А если, как это случается в конце месяца, надо жать на полную катушку и сверхурочно? Тут самые умелые требуют себе работу попроще. Оплата-то повышенная, а на сдельщине, на несложной работе можно больше выработать и заработать.

Кроме того, есть такие, которые в канун сверхурочных работ сверх нормы деталей наработают, затаят их и сдают по повышенной сдельной оплате. С одной стороны, у таких людей — изъян в совести, с другой, не было б сверхурочных — не соблазнились бы на подвохи. Но и в самой сдельщине есть полезное (каждый свои возможности выказывает), а есть и вредное: весь интерес только к своей работе, к своей выработке; выращивают люди в себе индивидуализм. Хоть и обычная бригада, не комплексная, не по единому наряду работающая, но все же коллектив! А при сдельщине получается, как разнопрочные и разновеликие кирпичи, сложенные без раствора.

Конечно, люди понимают, что между ними не только связь, но и взаимозависимость. Сварщики, лекальщики, фрезеровщики, шлифовальщики, сборщики... Пока все по очереди свою работу не выполнят, изделия в окончательном виде не будет. Но при сдельной работе каждый только за себя отвечает: сколько сработал — столько заработал. Потому-то в цеху как бывает? Общая выработка по всей номенклатуре неполная, а передовиков производства, перевыполнивших свои трудовые нормы, много. Значит, кто отвечает за невыполнение общего плана? Отстающие. А самые сильные — передовики — к этому непричастны. Они свое дали с плюсом. Им почет и уважение. На планерках, на собраниях передовиков восхваляют, ставят остальным в пример. Конечно, отстающих бьют рублем — что не наработали, за то и не получили. Но если человек долго в отстающих ходит, он к этому своему положению привыкает. Он уже усвоил, что отстающий, и даже на критику не обижается. А это хуже всего, когда человека критика не задевает. Одних оттого, что привыкли, других от-

того, что для них завод — только окошко к кассиру. Им все равно, из какого окошка брать. И не за что, а сколько. А летуны, а пьяницы... Их разве малой получкой вылечишь? Воробьиной породы. Наклевал на пол-литра — и хватит. Передовиков, понятно, на заводе большинство, они заводу — вывеска, они рабочая гвардия. Но опять же при сдельщине так выходит, что они сами при себе состоят. А если вдуматься поглубже, то, конечно, все из общего котла хлебаем. Чем больше приварок от всех, тем и каждому больше по заслугам должна выдача быть.

Да и работает человек не только для того, чтобы деньги получить. Надо ведь и стране отработать все те блага, какие ему не за наличные предоставляют, а за общенародный счет. За возможность жизни радоваться и не беспокоиться насчет завтрашнего дня. Все, что есть в наличии у государства, все людям наградой за труд служит, и чем больше эта наличность делается от всеобщего народного труда, тем больше награда каждому — сверх любой получки.

Зубцов все это выговорил быстро, взволнованно, будто видел перед собой не одного Марата Должикова, а всю его будущую бригаду.

Должиков слушал, машинально катая по столу несчастный карандаш. И речь Зубцова пролетала мимо его удрученного сознания. Одно дело — произносить слова, как их совсем недавно с горячностью произносил сам Должиков, другое — обратить собственные слова в дело.

Да и его ли это дело?

— Мне теперь что же, — глухо осведомился Должиков, — свой диплом под стекло, и пусть его мухи заспиживают?

— Некрасиво говоришь, — оборвал его Зубцов, — некрасиво. Нынче какая наша эпоха? Эпоха научно-технической революции. Ты, конечно, инженер, но не только по части техники, а по людской части тоже. Нам такие инженеры и требуются. С душой, с головой, с инициативой, и насчет твоей кандидатуры наше попадание в самую точку.

Должиков встал, промолвил, деревенея лицом:

— Разрешите выполнять ваше указание?

— Не ерепенься, сядь! — громко приказал Зубцов. Помолчал и дружески заговорил: — Ты, Марат, и меня и себя пойми. Коммунисты мы с тобой или не коммунисты? — Опустил голову, задумался, внезапно выпрямился и засиял бурым лицом с черными пороховыми отметинами: — А вдруг это то самое, что нам больше всего нужно не толь-

ко для производства, а чтобы человек наш все свои душевные и умственные силы на полную катушку развернул?

— Это точно, — кивнул головой Должиков и вдруг, будто его осенило, воскликнул: — Есть у меня кандидатура! Второго такого не сыскать. — И объявил торжественно: — Егор Нилович Горохов, мастер-уникум, высший авторитет!

— Т-а-ак, — недоверчиво протянул Зубцов. — Выходит, вывернулся. — Но вдруг взбодрился: — А что! Посоветуемся, прикинем, вполне возможно — так и порешим. Но насчет тебя, — погрозил он пальцем Должикову, — идея пока остается в силе. Так что соображай, чтобы в случае чего быть, как говорится, на высоте и в полной боевой готовности!

После реконструкции механический цех выглядел как выставочный зал с шеренгами новых, сверкающих высокопроизводительных автоматизированных станков. Сюда приходили экскурсии любоваться самоповейшей техникой. Здесь заводская администрация старалась подольше задерживать внимание всякого рода руководителей, чтобы затем поскорее провести их по остальным цехам.

А вот заготовительные цеха, кузнечный и литейный, какими были прежде, такими оставались и теперь. Здесь была установлена самая высокая тарифная зарплата при самой низкой механизации трудоемких работ. Это рождало брак, текучесть рабочей силы. Молодежь избегала работать в этих цехах, не видя там никакой для себя перспективы. Именно здесь, поскольку нужно было выполнять плановые задания, людей со второй половины месяца обычно переводили на сверхурочные с двойной оплатой. И многие, соблазненные высокими заработками, мирились с тем, что заработки эти добываются тяжелым и изнурительным трудом.

После смены рабочие механического цеха уходили с завода легкой походкой измученных людей; из литейного и кузнечного цехов брели утомленно, словно одолевая крутой подъем.

Большинство рабочих механического занимались на разного рода курсах повышения квалификации. В заготовительных цехах, если и учились, то лишь ради того, чтобы сменить специальность.

Подмечая все это, Марат Должиков давно уже пришел к выводу, что сдельщина, на которой так хорошо зарабо-

тывают в механическом цеху, — это плод технического неравенства механического цеха и заготовительных. Пользуясь этим неравенством, в механическом цеху в начале месяца (в соответствии с обеспечением заготовками) только-только укладываются, и то не всегда, в нормы выработки, а со второй половины на сверхурочных с лихвой перевыполняют нормы, и заработная плата растет пропорционально горячке в цеху к концу квартала.

Платить партвзносы Должиков приходил в свое цеховое партбюро. Секретарь партбюро Куликов обычно хвалил его за большую выработку, дававшую высокий заработок. Однажды Должиков хмуро осведомился:

— А в счет стоимости двигателя наша высокая зарплата входит?

— А как же?

— Значит, дерем за то, что лишнее берем.

— Что значит — лишнее?

— Да ведь грабим же. За счет низкой техники в заготовительных себе высокую оплату на сверхурочных обеспечиваем. У нас в механическом оборудовании новейшее, а у них древнейшее. Это все равно что трактор в телегу запрячь.

— Ты что же, считаешь, надо было сначала заготовительные цеха на новую технику переводить?

— Да ведь завод — это же, по существу, большая машина. Если в ней какой-то узел слабоват, вся машина плохо тянет.

— Ну факт.

— Да и не только это. — Должиков нахмурился. — Я понимаю, завод полностью сразу реконструировать невозможно. Откуда и деньги возьмутся, если наша продукция государству дороже обходится, чем может стоить? Но если уж прямо говорить, у нас одна неприглядная видимость большой полочки. На самом-то деле мы меньше зарабатываем, чем могли бы, если бы выработка была постоянная, ритмичная. И люди бы себя лучше чувствовали, за полный труд получая полностью. А мы в первую половину месяца недорабатываем, а во вторую из последних сил тянемся. Выходит, заработок не за работу, а за то, что умом недорабатываем.

Куликов задумался, потом сказал:

— У вас в механическом у многих такая психология, что вроде вы — это один завод, а заготовительные цеха — другой. Вот организовать бы хоть одну сквозную бригаду,

совместную, из рабочих механического и заготовительного. Это бы вашу психологию, глядишь, и поколебало бы.

— Ну это все равно что к тачке дизель прилаживать, — усмехнулся Марат. — Кто из наших согласится?

— Если бригада будет общая, то и заботы станут общие, — возразил Куликов. — Когда механический цех обновляли, станочники помогли монтажникам и фундаменты под новые станки уложить и оборудование устанавливать. Значит, проявили сознательность?

— Вот ты бы от нашего цехового бюро в общезаводской партком и вошел бы с такой идеей, — посоветовал Должиков. — Наш Зубцов, он сила. Освобожденный, на правах секретаря райкома, с ним спорить даже наш директор на собрании стесняется, только с глазу на глаз себе позволяет.

Виктор Степанович Самохин работал в мартеновском цеху сталеваром, а значит, главным кормильцем завода. Металл — всему начало.

Самохин сказал Должинову:

— Работа станочника — она рассыпчатая. Готовую свою продукцию вы, в общем-то, не видите сразу. Мы же, сталевары, в каждой плавке свою сталь видим полностью. Дал металл заказной марки большим весом — все! Чем больше плавов, чем выше их марка, тем, значит, и наш общий показатель выше. Соревнуемся печь с печью. То есть коллектив на коллектив. А если кто в бригаде с чем-нибудь не справляется, наваливаемся коллективом, потому что в коллективе все друг в друге заинтересованы. Спайка это называется. Все один к другому, точно сталью приваренные. А если и попадается чужеродный элемент, так он либо пройдет рабочую закалку, прочувствует, что в бригаде каждый не сам по себе, что всеми нами командует печь, либо по общему уговору состав бригады будет сокращен на одну единицу. — Хитро подмигнув, добавил: — Потому что попереть безнадёжного лодыря с завода нынче гораздо труднее, чем взять на себя его работу. А вот в том, что ты мне сейчас бормотал, есть и правильное, есть и неправильное. А неправильно то, что ты обо всем этом как следует думать стал не раньше, чем когда в бригадиры собрался...

Бригада — это не кучка людей, а сплоченное подразделение. Работать человека обучить нетрудно, а вот объясни ему, для чего он работает, и чтоб он уразумел. Тогда и по-

чувствует себя на рабочем месте, как на передовой. — Самохин вздохнул. — И насчет передовиков, что от них вред, не разделяю. На фронте по лучшим равнялись, и теперь надо так же. Но лучший боец на фронте собой не хвастал, и настоящий рабочий-передовик тоже хвастать не станет. А вот требуется изучить, почему одни худшие, а другие лучшие. Распространи опыт лучших, вдохнови остальных — вот твоя задача. — Упрекнул: — Слов ты много сказал, а вот дельных маловато. А теперь они с тебя по новой должности особо причитаются. Бригадир — руководитель, начальство! Начальник должен начало всему правильному давать, всему нужному в общих интересах. Над делом надо уметь начальствовать, а не только над людьми.

— У меня прицел есть, — сказал Должиков.

— Ну? — выжидательно сощурился Самохин.

— Перейти всей бригаде на единый наряд.

— Это с разными разрядами да чтобы всем равная получка? — усмехнулся Самохин. — Тут ты загнул.

— Разряд при расчете сохраняется, но будет еще с общего котла приплюсовка соответственно коэффициенту трудового участия. Значит, все будут заинтересованы друг в друге.

— А зачем мне, если я первейший мастер, от других зависеть?

— Так ведь производительность труда вырастет.

— Допустим. Да я-то каким мастером был, таким и останусь. При мне мой куш и останется.

— Но раз общая производительность труда поднимется, значит, и твоя доля станет больше.

— А почему вдруг отстающие ни с того ни с сего выравниваются?

— Почему же ни с того ни с сего? Ты сам и будешь их подтягивать до своего уровня.

— Это что же, рабочее время на них тратить?

— Так ведь если человек благодаря тебе свою квалификацию повысит, и твоя выработка в конце концов увеличится. Ведь выручка с наряда общая.

— Ну, ладно, пусть так, — согласился было Самохин, однако тут же пошел на попятный: — Но смотри: у меня, к примеру, шестой разряд, я соображаю — на разряд накидка, значит, я могу и не стараться, мое при мне останется.

— А бригада что? Бригада — коллектив. Обсудит, кто как работал, и из твоей полочки за то, что не старался, вычтет.

— А я это обжалую; норму выполнил — плати полностью согласно моему разряду.

— А мы, раз производительность труда поднялась, и норму выработки повысим. Значит, не выйдет по-твоему.

— Так уж она и поднимется сразу!

— Не сразу, а с ходом времени.

— А я ждать не стану, пока у вас все получится. Снова уйду на сдельщину.

— Если уйдешь, то временно.

— Это почему же?

— Когда мы своего достигнем, от сдельных работ выгоды не будет. Куда тебе тогда деваться? Попросишься обратно в бригаду.

— Ты что же думаешь, бригада у тебя из самых лучших, самых сознательных рабочих будет состоять — без прогульщиков, без лодырей, пьяниц, шкурников?

— Бригаду я принимаю какая есть, со всякими людьми, — задумчиво ответил Марат Должиков. — Есть, конечно, люди совсем без рабочей выправки...

— Ну, вот. — Самохин будто даже обрадовался такому признанию. — Сам, значит, понимаешь, что не все доросли до полной рабочей сознательности.

— Так ведь сознательность человека растет оттого, что он самолично может определять, кто как работал, оттого, что он становится хозяином производства.

— Хозяином! — иронически улыбнулся Самохин. — Хозяин — это когда один, а когда все, получится склока.

— Хозяин в том смысле, — сердито сказал Должиков, — что его и своя выработка, и твоя, и другого, и третьего равно заботит.

— А если у него самого меньше, а у других больше, тогда как?

— Другие с него спросят. И он должен перед ними ответ держать.

— А не захочет?

— Стало быть, с уставом бригады не согласен. Тогда и в бригаде ему нечего состоять. На единый наряд согласие будут давать добровольно. Кого не сумею убедить, те не пойдут.

— Да ведь надо сначала нашему заводу в передовики выйти. Заготовительные цеха у нас — слабое место. Ну

начнете вы жать. А заготовками мы вас ритмично не обеспечим. Что же, значит, опять сверхурочные в конце месяца? Ты об этом подумал?

— Подумал, — твердо заявил Должиков. — Подумал и с инженером нашим, Александром Евгеньевичем Емишевым, прикинул возможности и механического и заготовительных. Надо по нашему цеху выше поднять план производства и тем доказать техническую отсталость заготовительных цехов.

— А что доказывать? Она палицо.

— Возьмем, кого надо, за яблочко.

— Маленьких? — усмехнулся Самохин.

— Зачем? Доберемся до главка, а то и до министра.

Докажем.

Самохин добродушно улыбнулся.

— Ты еще мне лично делом не доказал, что у тебя получается, а уже на министра замахиваешься. — Посоветовал: — Сбавь температуру, не горячись. Дело это большое, настоящее, прямо скажу — коммунистическое. Но обдумать как следует надо. Дело не только производственное, оно и человеческое... Знаешь, я вот с тобой спорил, а душой-то я, конечно, «за». Спорил, чтобы тебе польза была, чтобы с разных сторон к вопросу подойти. — Он похлопал Марата по плечу. — Валяй, курс правильный.

Должиков, как и многие на заводе, почтительно относился к Виктору Степановичу Самохину, мастеру мартеповского цеха. Тощий, узкоплечий, похожий на подростка, хотя уже и в годах, он обладал поразительной силой и выносливостью. Шуруя в печи ломом, не уставал любоваться кипящим металлом, словно самодельным солнцем, и понимал свое дело до таких тонкостей, что ошеломлял даже главного плавильщика завода, отличного специалиста со степенью кандидата наук. Если заходил разговор об искусстве сталеварения, Самохин с наслаждением часами вспоминал подробности самых давних своих и сложных плавов. А вот о себе рассказывать не любил. Говорил: «Биография у меня простая, с печки началась, у печи и продолжается».

А началась заводская жизнь Самохина еще в годы войны, на Урале.

Виктор еле упросил, чтобы его взяли в литейку. Производство там считалось вредным, и за это было положено молоко — пол-литра в смену.

В анкете, в графе «семейное положение», Самохин написал: «холост»; возраст первоначально необдуманно указал настоящий, а потом исправил цифру пятнадцать на шестнадцать.

И его зачислили в литейку.

Сестре Фросе, которая была моложе Самохина на два года, он сказал:

— Ты здоровая кобыла, а мать у нас слабая. Ей лекарство молоком запивать надо. Значит, будешь говорить, что тебя от молока мутит.

— А мама не поверит.

— Ну, соври тогда что-нибудь другое.

— Маму не переврешь, она лучше нас с тобой соврать может. Ей рыбий жир как лекарство выписали, а она на нем нам картошку жарит. Говорит: «Получила в пайке вместо маргарина».

— Она на нас обоих — одна. Вот вернется отец с фронта, узнает, как ее дети родные объедали, и презирает нас.

— Ладно, — согласилась Фрося, — скажу маме, что молоко не от тебя, а из госпиталя — за ее кровь донорскую. У нее почти отказались было брать, потому что она стала малокровная, а тогда она согласится пить молоко, чтобы кровь улучшилась.

— И ты знала, а мне ни слова! — сердито сказал Самохин. — После этого ты мне никто.

— Сам ты никто, — обиделась Фрося. — Небось свои валенки не отдал, когда для фронтовиков теплые вещи собирали. Может, твои валенки папе бы достались.

— Валенки у меня не приняли, потому что недомерки, — возмутился Самохин. — И вообще они мне ни к чему. В горячем цехе вовсе не требуются. Снеси на базар, помешай на сало!

— А в холодный цех почему не пошел? — ехидно спросила Фрося. — Где потеплее, там устроился.

— Молчи, ты, иждивенка, — разозлился Самохин.

— А я виновата, что мама тебя раньше родила? Но все равно я сознательнее тебя.

— Это в чем?

— Я маме сказала: от папы потому писем нет, что он наступает, а почта отстаёт.

— Это ты правильно сообразила, — одобрил брат. Вынул из кармана сырой, вонючий ком мыла: — Полагается тем, кто в литейке. Можно выменять на что хочешь.

— Мама в золе стирает.

— У нас, литейщиков, привилегия — горячий душ. Вот я там постирушки и буду устраивать.

— Мне по детской карточке глюкозу дали, яичный порошок и кусок повидла, — похвасталась Фрося.

— Вот и ешь своими молочными зубами. Цветок жизни!

— А почему у тебя руки тряпками обвязаны?

— Для тепла.

— Это в горячем-то цеху? Не ври уж. Обжегся о железо.

— У нас не железо, а металл жидкий. Лимонки льем.

— Они что, бомбы?

— Гранаты ручные. Как даст — сразу несколько фашистов в клочья. Их фронту много надо. Без выходных, на казарменном вкалываем.

— А ты зачем домой пришел? Ага, знаю, — всполошилась Фрося. — Руки обжег и ничего теперь делать не можешь. Мама увидит — расстроится.

— Не увидит, я обратно в цех уйду.

— С поврежденными руками?

— В брезентовых рукавицах не видно.

— Но ведь больно!

— Солдаты с ранением в боевом строю остаются, а у меня только волдыри.

Фрося задумалась, потом вымолвила с обидой:

— Это неправильно, что детскую кровь для раненых не берут. Я же не кто-нибудь — пионерка.

Самохин снова построжал:

— Вам за что детские карточки с допитанием дают? Чтобы вы нормально росли, а не своевольничали и не превращались в дистрофиков.

— А ты?

— Что я? Захаров весь в ревматизме, вот и не удержал ковш. А я подхватил, чтобы металл не расплескался.

— Подумаешь, я бы тоже смогла. На железнодорожной станции кипятки солдатам в ведерке носила, а ведь он еще какой горячий.

— Тебя кто на станцию пустил?

— Ребята с нашего двора ходят, ну, и я хожу бойцов встречать. Отец ведь тоже по железной дороге вернется.

— Ох, и намочалит он тебе уши, когда увидит одну.

— Пусть хоть насовсем оборвет, — самоотверженно объявила Фрося, — только бы поскорее вернулся.

Поскольку все жили трудно и работа у всех была тяжелой, Самохин привык воспринимать эту жизнь как нормальную; довоенная казалась ему неправдоподобной. Даже взрослые и те вспоминали ее как нечто необъяснимое, сказочное и горевали, что не ценили толком.

Лица у людей в цеху имели заметное сходство. У пожилых морщины углублялись, у молодых появлялись — то и другое происходило от недоедания.

После смены в литейку приходили из механического цеха греться. Усаживались у стенки и засыпали до новой смены.

Нормы повышали и от радости, когда наши наступали, и от душевной боли, когда уходили.

Лишения стали привычны, их как бы не замечали. Кого-то постигало горе — помогали все, потому что в любой миг такая же беда могла постичь каждого, к тому же сообщать легче было поделиться тем немногим, что имелось, и принести ощутимую пользу.

Если в цеху кто-то от слабости или неумения не справлялся с работой, молча, терпеливо, словно кровному родственнику, ему помогали те, у кого было больше сил и умения.

Заводские служащие работали в цехах подсобниками, умудряясь при этом справляться со своими прямыми обязанностями. Для конторских занятий им служила теплая каморка мастера.

Мерой всему была продукция.

Чем больше ее вырабатывали, тем уверенней чувствовали, что скоро победа. Количество изготовленных боеприпасов давало возможность представить, с какого пространства и скольких врагов можно смести с нашей земли.

Сознание того, что они тоже воюют, воюют своим трудом, порождало чувство особого рабочего достоинства, оно было сродни воинскому; поэтому каждый готовился к смене, как солдат к бою, тяжелому, изнурительному, где потеря времени, брак, недоделка грозят поражением не меньшим, чем на фронте.

Так в неполных шестнадцать лет Самохин по самоощущению стал пожилым человеком. И, как все пожилые люди в цеху, кроме дела и заботы о матери и сестре, не имел никаких иных забот и интересов.

Его перевели в мартеновский цех, и спустя некоторое время он уже командовал печью, где вспухало, шевелясь, жидкое солнце — сваренный им металл.

Под началом Самохина были люди и старше его по возрасту и моложе, но возрастные различия исчезли. Самохина ценили и уважали за мастерство, сосредоточенность, за то, что жизнь цеха была и его жизнью, все, что находилось за пределами ее, он считал менее существенным.

Когда Фрося поступила в техникум и перешла в общежитие, Самохин сказал ей хмуро:

— Значит, бросила мать. Ну, да ладно, найдем тебе замену. Незаменимых нет.

Спустя несколько дней он сообщил Фросе, что женится.

— На ком? — ревниво поинтересовалась Фрося.

— На человеке, — лаконично ответил Самохин.

— Заводская?

— Со стороны.

— Кто же она?

— Эвакуированная.

— Ну вот, нашел тоже: поживет и уедет.

— Ей деваться некуда. Ни родни, ни дома.

— А какая она? Блондинка, брюнетка?

— Значение не имеет. Главное, что в госпитале за ранеными ухаживала, значит, маме может тоже содействие оказать.

— Так ты из-за этого? — изумилась Фрося.

— С учетом, — буркнул Самохин. — Но вообще она ничего, подходящая.

— Хороша любовь, нечего сказать.

— Не твое дело.

— Жена — это же на всю жизнь! — горестно воскликнула Фрося. — Ты соображаешь, что делаешь?

— Выходит, соображаю, если женюсь, — строго заявил Самохин и добавил сердито: — Не на вечеринке познакомился, а в госпитале. Обратил внимание, что добрая и заботливая.

На самом деле все было иначе.

Когда Самохин обжег руки, его все-таки на несколько дней уложили в госпиталь.

Он стыдился, что как бы отдыхает там, где мучились раненые бойцы.

Меняла повязки на его вспухших, с облезшей кожей руках медсестра Маша Филиппова, тощая, рыжая, веснушчатая девчонка с зеленоватыми глазами. Перевязки были очень болезненны, но Самохин, нахмурившись, неподвижно сидел на белом табурете и даже не морщился.

Страдания и боль выражались на Машином лице, она, не останавливаясь, бормотала жалостливо:

— Бедный мой, хороший, ну потерпи, миленький. Я чуть-чуть. Знаю — больно, но я нежненько, нежненько... — И осторожно вытирала марлей со лба Самохина холодный пот. — Ты очень стойкий, поэтому я так из-за тебя переживаю. Я и боль твою, как свою, чувствую.

И Самохин ощущал ее легкое дыхание на своих изуродованных ладонях.

Каждый раз, идя на перевязку, он бессознательно ждал ее нежных слов и нежной заботы.

Потом они увиделись уже в сорок четвертом году на улице. Она везла на санках ящики с медикаментами.

Самохин вежливо перехватил веревки от саней:

— Разрешите помочь.

Она просто сказала:

— Пожалуйста.

Они молча зашагали рядом. Уже возле ворот госпиталя Самохин деловито осведомился шепотом от смущения голосом:

— Это вы с каждым так ласково разговариваете, кто на перевязку придет?

— Нет, не с каждым, — тихо ответила Маша и потупилась.

— Так. Ясно, — растерянно произнес Самохин. — Ну, пока. — И добавил: — Я, конечно, технику безопасности нарушать не собираюсь, но был бы рад к вам снова в госпиталь попасть.

— Лучше приходите здоровым.

— А кто меня пустит?

— Я в котельной через двое суток на трети дежурю. Выход со двора.

— Понял, — Самохин, изнеможенный от внезапного ощущения счастья, даже не спросил, на какой день придется назначенное ему свидание. Чтобы не ошибиться, он явился в тот же вечер. И не ошибся.

Они сидели у топки и глядели в огонь в блаженном одиночестве, наслаждаясь дремотой и покоем.

Каждый думал о том, о чем не решался и не умел говорить, и это усиливало ощущение близости. Свидания в котельной повторялись часто.

Как-то Маша мечтательно произнесла, робко улыбаясь:

— Хорошо было бы всегда вот так и вместе.

— Всегда не получится, — сразу отозвался Самохин.

— Я знаю, — печально согласилась Маша.

— Вот женюсь на тебе, — через силу выговорил Самохин, — и даже тогда все будет зависеть от того, в какую смену выходить.

Маша, словно не понимая услышанного, встревожилась:

— А если у нас с тобой смены не совпадут, тогда как? Совсем видаться не будем?

И вдруг побледнела, обмякла, всплеснула руками:

— Витек, ну какая я тебе жена? Кожа да кости. Мне даже сытное больничное питание веса не прибавляет, и одной почки нет: мне ее фашисты с «мессера» прострелили, еще когда в эшелоне ехали.

— Ничего, обойдемся, — сказал Самохин и, наклонившись к ее лицу, мокрому от слез, осторожно вытер ей пальцем щеку и потом прикоснулся к этому месту губами.

Жил Самохин вместе с матерью за дощатой перегородкой. По другую сторону ютилось семейство эвакуированных. Дощатую перегородку сколотил сам Самохин, когда добровольно самоуплотнялись.

Маше объяснил шепотом, чтобы не слышали соседи:

— Война кончится, они съедут, и будет у нас с тобой отдельное помещение для полного счастья семейной жизни.

Но счастье наступило раньше.

Маша поселилась у Самохиных. Природа наделила ее душевной зоркостью и тем внутренним тактом, при которых даже самопожертвование с ее стороны ради кого-то другого воспринималось этим другим как нечто само собой разумеющееся, совершенное только ради нее самой, ее собственного удовольствия и развлечения.

И дело не в том, что она преобразила закут Самохиных в уютную комнату. Маша ушла из госпиталя и поступила в литейный стерженщицей, попросившись в ту же смену, в которой работал Виктор.

Она утверждала, что довольна, что так ей нравится.

Но на самом деле ее тяготила эта, как она считала, удобная жизнь, при которой приходилось заботиться только о Викторе и его матери, в то время когда в госпитале она умела заботиться о многих, помогая им возвращаться к жизни.

И Виктор и его мать восхищались ее кротостью, ее заботливостью, а Маше порой разрывала душу мысль, будто все это она делает только для себя, чтобы ее сильнее люби-

ли, тогда как в госпитале, абсолютно не думая о себе и о том, как воспринимают ее ласковую заботу, она служила раненым и была счастлива, когда они выздоравливали, и не обижалась даже тогда, когда, выписываясь, некоторые второпях забывали попрощаться с ней.

В госпитале она чувствовала себя причастной к большой общей жизни, а теперь мир ограничился ее собственной.

И работа в литейке стерженщицей ей не нравилась, но не оттого, что была очень трудной, а оттого, что пошла она на эту работу из желания постоянно находиться поближе к Самохину, а этого оказалось слишком мало.

И если вначале Самохин обрадовался решению Маши пойти к нему на завод, то потом причина, которая вызвала это решение, стала вызывать у него снисходительную усмешку.

Для Самохина работа была главным интересом в жизни, и как бы ему ни было приятно видеть Машу на заводе, причину ее появления там он не мог, если по совести, считать уважительной. И Маша это чувствовала. Маша любила Виктора, и Виктор любил ее, но, наверное, есть области, в которых даже любовь не всевластна.

Машу тяготило то, что она была на три года старше Самохина, и ей временами казалось, что своими заботами о нем она как бы искупает эту разницу. И это чувство отравляло ее любовь, томило, мучило.

Внезапно выяснилось, что при поступлении в госпиталь сердобольные люди приписали Маше три года, иначе девочку могли просто не принять на работу. По виду определить возраст человека тогда было трудно: все отощавшие эвакуированные выглядели одинаково немолодыми.

Узнав об этой ошибке, Маша, конечно, обрадовалась, все рассказала Самохину, а потом снова страдала от унижения: ей казалось, что она оправдывалась, доказывала свое право на его любовь...

Но эти трудные переживания она таила от всех, внешне оставалась прежней, поэтому Самохин о них даже не подозревал.

У Самохина была своя душевная жизнь, свои трудности и переживания.

До Маши главным домом его был цех. Он с готовностью соглашался выстоять вторую смену, когда меняли огнеупоры печи, оставался с ремонтниками, помогал им, наблюдал за их работой. И делал это не только по производ-

ственной нужде, но и потому, что дорожил уважением цеха, званием передовика, отношением к нему как к человеку долга.

Теперь, оставаясь в цеху сверх положенного, он испытывал раздражение оттого, что Маша дожидается его у проходной или не спит дома у завернутого в подушки ужина.

Раньше он был свободен от такого чувства, как тщеславие. Его не волновало, попал он на Доску почета или не попал, назвали его имя на собрании в числе лучших или не назвали. Одобрение бригадира, мастера, опытных сталеваров, высказанное ему во время работы, он ценил больше, чем официальное признание.

А теперь он стал обижаться, если его не хвалили прилюдно, и главным образом потому, что совестно, неловко было перед Машей.

Товарищи считали, что у Самохина изменился характер, что он стал труден в общении с людьми. Самохин и сам это чувствовал. В основе его душевного беспокойства лежало, конечно, страстное желание быть самым лучшим ради Маши, и это было следствием его любви к ней, но, с другой стороны, для коллектива он уже стал человеком похуже. Что ж, любовь к женщине, как и сама жизнь, исполнена сложностей, они преодолеваются по мере течения жизни, наполняя отношения двух людей новым содержанием, все более значительным.

Самохин похудел, щеки его впали, но они с женой скрывали друг от друга свои тайные думы. Правда, каждый догадывался, что у другого не все ладно на душе.

Сталевар Гуков, парторг цеха, как-то сказал Самохину:

— Квалификация — это что? Знания и опыт. Знать как можно больше — это, конечно, полезно, но как можно лучше — важнее. Тогда в тебе смелость. Насчет опыта — тоже: опыт может быть большой, но если память короткая и все плохое, что допустил в работе, не запомнил, — опыт пустой получается. А плохое чем нужно выбивать? Хорошим! Жизнь человека пестрая, все в него лезет, и что дома, в семье, и что в цеху, что вообще на свете кругом делается, — все беспокоит. Но стал у печи — конец. Кроме тебя и ее, ничего нет. Ты и печь — самое на земле главное. Вот сумеешь себя к такой сознательности приучить, тогда ты мастер. — Нахмурился, видно, оттого, что не хотел, а высказал что-то сокровенное, спросил небрежно: — Ясно?

Самохин давно приметил: лучшие мастера ни во время работы, ни в пересменку не ведут разговоров, касающихся чего-то, не связанного с производством. Держатся отчужденно, замкнуто, озабоченно. И он воспринимал это как особую манеру подчеркивать так свое достоинство.

Но на самом деле за этим была лишь скупая бережливость к душевному настрою, к той целеустремленной сосредоточенности, которой требовал труд.

А Гуков продолжал:

— Ты, Самохин, молод, а производственный стаж у тебя — вполне. У меня его война вычла. Вернулся в цех, разучившись работать. Пришлось нагонять.

— Чем?

— Вот этим самым. — Гуков коснулся ладонью лба. — Сноровки в цеху набирался. Знаний — на заочном.

— Так вы, значит, с дипломом!

— Зачем он мне, диплом? Что по работе требовалось, то выучил. А диплом защищать не стал. Мне вывеска ни к чему.

Самохин преуспевал на скоростных тяжеловесных плавках стали обычных марок.

Гуков варил высоколегированные заказные марки стали. На них уходило больше времени и труда, и по весу он выдавал металла меньше Самохина.

По весовым показателям Самохин был впереди Гукова. Он вообще занимал одно из ведущих мест в цеху по этим показателям.

Но наибольшим почетом и уважением всего цеха пользовался все-таки Гуков.

Самохин же, когда на других печах выдавали больше металла, чем он на своей, чувствовал себя уязвленным.

Пытался обогнать. Но печь рассчитана на определенный объем и температурный режим; зависишь — может потечь огнеупор. Однажды это и случилось.

Гуков заметил Самохину:

— Качеству металла предела нет, как нет предела тому, что можно из него сработать, и уму, который для этого нужен. А вот когда за одним количеством гонятся, тут вместо ума — азарт. Ни государству настоящей прибыли нет, ни себе в смысле мастерства и квалификации. — Добавил осуждающе: — Нужно сначала подсчитать, что доходней — печь на предельном режиме держать, чтобы металл лишний получить и, значит, раньше срока печь на ремонт ставить, или давать плавки по положенной норме,

зато удлинить межремонтный период. Не на свою получку следует курс держать, а на государственную выгоду. Тогда не ошибешься. По-партийному думать — это и значит по-рабочему. Соцсоревнование не в том, кто кого обставит, а в поиске способа, при котором всем можно было бы работать легче, лучше, умнее...

Самохин решил откровенно посоветоваться с Гуковым насчет своей семейной жизни как с человеком солидным, степенным, вдумчивым.

Но Гуков вопреки ожиданиям оказался не советчик.

— Я ведь на детной вдове женился. С войны вернулся и — сразу, с маху. У меня главная загвоздка была не как к жене приспособиться, а как ее детям за отца сойти. Всю душу на это тратил. Ну, а стали называть отцом, все и вошло в норму. Я им больше внимания оказывал, чем ей. Но обернулось так, что она все это на свой счет приняла. — Он застенчиво усмехнулся. — Теперь до конца дней сжились крепко. — И добавил, уже не без хвастовства: — Она у меня механиком на хлебозаводе работает. Так что семейной казны на все хватает. А если начать тревожиться, кто в семье главный, кто лучше — ты или она, так тут можно хорошее чувство загубить. Совесть на что человеку дана? Чтобы ею пользоваться, а если не пользуешься, так это не значит, что она у тебя чистая. В жизни мусору хватает, нужно его всегда самому из себя выгребать, а жену для этого не беспокоить...

Вот, — продолжал он, — разбираем на бюро персональные дела об аморалках. Что иногда выходит? В цеху человек — ну, все в норме. А вне коллектива — дома или еще где — распоясывается. Спрашивается после этого: кто он? На половину времени, только на работе, — партийный. Но полупартийных не бывает. На производстве человек весь на виду, всем виден. Вроде как в строю. Но и свободное время — оно человека от самого себя не освобождает. Для коммуниста курс один: где бы ни был, с кем бы ни был, скидку себе позволять не имеешь права. — Гуков смолк, задумался. — Обучить работе проще, чем настоящего человека выстроить. — Пожевал губами, сказал с грустинкой: — Конечно, и учить легче, чем самому выучиваться на человека. Я вот парторгом стал и скажу прямо — ну, нет такого, с чем бы ко мне люди не шли. С одной стороны, каждому все про все толково не скажешь, а с другой стороны, перед каждым ты за все в ответе: у тебя ведь, словно у всей партии, спрашивают. Ты вот со мной просто так, во

время перекура разговор про себя завел. А мне теперь про твое думать, размышлять, как у тебя дальше все сложится. Не обязан, а все равно занозу я себе засадил. И таких знаешь сколько! Если бы наружу торчали, я бы получился вроде ежа с иголками. Вот какая петрушка — эта партийная работа. Весь ты на людях, весь для людей, и каждый считает тебя советчиком. И хоть я не освобожденный парт-орг, а не имею права ни от каких человеческих забот освободиться — ни на работе, ни дома. И по твоей линии получилась незавершенка. Говорить с тобой говорил, а что в итоге? И тебе не ясно и мне. Жизнь такая механика, века собственного не хватит, чтобы до конца во всех ее тонкостях разобраться и все в ней наладить, как людям и тебе хочется.

Мать Самохина умерла в больнице и до самой смерти стеснялась того ухода, какой здесь получала. И дома она тяготилась заботами Маши, и не потому, что не ценила их, а потому, что привыкла всю жизнь заботиться о других и никого не утруждать.

Незадолго до конца мать сказала Самохину шепотом, со слабой улыбкой:

— Машенька ловчее все со мной делала, чем здесь, в больнице. Она добрая, и вообще у ней душа к человеческому лежит. Это она из-за тебя, за тобой на завод пошла; возврати ее людям, Витя.

Со смертью матери прекратилась та часть жизни Самохина, которая была ведома только им двоим; исчезновение ее было невыносимо, потому что теперь этой жизни, этой любви как бы никогда и не было.

Помня пронзительный материнский шепот, Самохин пошел в отдел кадров: оказалось, что в заводской поликлинике есть вакансия.

Маша обрадовалась, и эта ее радость обидела Самохина, тяжело переживавшего утрату матери. Но он стерпел ее радость, промолчал. Он вообще о многом из того, что его задевало в их жизни, молчал, и Маша тоже.

Есть люди, что спешат сразу выяснить отношения, облегчить душу словами. А есть другие: они не доверяют своих переживаний словам, страдают, но пока не справятся со страданиями, не говорят о них. Самохин, видимо, был именно таков.

Однако тонкая, деликатная Маша сама ощутила неуместность своей радости в дни горя и втихомолку тоже мучилась.

Когда Самохин подметил ее смятение и понял его причину, обида стихла. И хотя они не сказали друг другу ни слова, и без слов стало ясно, что они бесконечно близки друг другу.

Так шла их жизнь, и причиняя боль от возникающих обидных подозрений и исцеляя тем, что оба не боялись пережить эту боль каждый в себе. Это была уже устойчивая любовь, более зрелая, глубокая, чем та влюбленность, какую они испытывали прежде.

Но когда Маша забеременела, все ее чувства перенеслись на ту новую жизнь, которая таилась в ней. И то же самое произошло с Самохиным. Уже не Маша была главным в жизни, а то, что она дарует: продолжение его собственной жизни.

Когда Маша родила мальчика, Самохин превратился в невольника этого крошечного существа.

Передовиком он быть перестал, потому что все мысли, все свободное время поглотил ребенок. Работал он теперь только потому, что было положено работать, работал без прежнего интереса, без былой увлеченности.

На летучках Самохина частенько критиковали за отсутствие рвения, за отлынивание от общественных дел, за нежелание переходить на новые методы плавки, которых требовала высококачественная нержавейка.

И только один Гуков как будто снисходительно, с пониманием относился к перемене в Самохине. Не упрекал, хотя и не беседовал по душам, как прежде.

Однажды он все-таки спросил Самохина:

— В утеснении проживаешь?

— Ну и что? — спросил Самохин.

— А то, — отвечал Гуков. — Передовикам квартиры выделять будем. В новом доме.

— Валяйте! — сказал Самохин.

— А если я за тебя поручусь?

— Насчет чего?

— Насчет высоколегированных плавок.

— Сколько с меня металлу положено, столько я и выдаю без сбоя.

— А сверх положенного не хочешь? Или не можешь?

— Так вы один в мартене нержавейку даете, а ее только в электропечах могут варить.

— Но у меня-то она идет.

— Да вы же печь свою как самого себя знаете, сколько ума в нее вложили.

— Действительно, присматривался... Тогда будешь моим сменщиком.

— А если печь запорю? И на вас позор ляжет.

— Уже лежит,— хмуро проговорил Гуков.— Был ты в передовиках — и нету. И так и эдак, а я в ответе перед цехом.

Самохин опустил глаза, произнес глухо:

— Если на полторы смены поставят, тогда спробую.

— Зачем же тебе полторы смены, когда ты конца одной дожидаться не можешь, домой вприпрыжку бежишь?

Самохин посмотрел прямо в глаза Гукову:

— А затем, чтобы полсмены с вашей бригадой у вашей печи шуровать. А затем уже свою полную отстою.

— Сообразил правильно,— одобрил Гуков и без улыбки добавил:— Значит, договорились.

Маше Самохин сказал как бы между прочим:

— Нигде в мире в мартенах нержавейку не варят, а у нас на одной печи сумели.

Маша внимательно глянула на мужа, сказала как о чем-то само собой разумеющемся:

— Я насчет яслей для Юрки договорилась. Там врачебный присмотр и питание по рациону. А то тебе теперь не до нас будет.

— Это почему же?— смутился Самохин.

— Ладно,— сказала Маша,— не темни, все понятно.— И положила руку на его руку.— Ясли с поликлиникой рядом, меня на ночные дежурства согласились взять, так что все-таки при мальчике буду.

В третью смену мартеном командовал сталевар Осип Липко. Могучего телосложения был мужчина, но с годами разбух, нажил брюшко, отяжелел. Однако не утратил того особого проворства, которое было временами потребно печи, а печь он чутко ощущал всем своим существом, даже стоя в отдалении и прикрыв опухшими веками как бы выцветшие от жара блекло-серые глаза.

Работать на печь Гукова он пошел не по влечению к новой технологии плавки, а потому что его долго убеждал Гуков. Почти столь же долго Липко отвечал:

— Отцепись.

Не желал менять свою печь и спокойную, привычную плавку на, как он выражался, нервную. Но однажды согласился:

— Раз партия велит...

— Никто тебе не велит, я прошу!— сказал Гуков.

— Допустим, ты! А ты кто? Номера у нас на партбилетах разные, да линия жизни одна. И если не выдашь высокомарочную плавку, за которую борешься, это каждому партийцу будет в укор.

— А если выдам?

— Общая марка поднимется.

Так все три смены три сталевара — Гуков, Липко и Самохин — стали варить заказные сложные сплавы.

Плавки были опытными, поэтому часто менялась рецептура, характеристика металла, а значит, и технология плавки.

По весовым показателям выдачи металла они оказались в хвосте у цеха. Но по затратам труда, волнениям и переживаниям — будь такие показатели — они оказались бы на первом месте.

Зарботок их, естественно, снизился. Но уважение цеха увеличилось, а работать стало, как никогда, увлекательно.

Стремление дать сталь нового качества зиждилось на том, что из нее можно было делать совершенно особые вещи. Не двутавровые балки, не листовой прокат, не рельсы, а то, что идет в машиностроение и используется как летучий металл для авиации. Когда плавка металла назначенного качества долго не получалась, главный металлург завода говорил:

— Отрицательный результат полезен уже тем, что мы выявили, какие именно режимы не соответствуют требованиям.

У их печи собирались сотрудники научно-исследовательских институтов, металлурги, технологи, даже конструкторы и на равных обсуждали со сталеварами, что недодумали, недотянули. Как сказал Липко, «обоюдно набирались ума».

Каждая плавка давалась так, словно сталевары впервые становились к печи на выучку. По окончании смены все трое чувствовали себя вымотанными не столько от физической усталости, сколько от душевного напряжения. Спали плохо. Сил хватало только на то, чтобы думать об очередной плавке и тех проблемах, какие в связи с ней возникнут.

Но зато рождалось и новое самоощущение. Каждый был уже не просто занятым на производстве человеком, а работником, делающим большое, самонужнейшее для всей страны дело. Самохин почувствовал в отношении Маши к себе нечто новое. Это была гордость за мужа. Прежде

Машу радовало, когда он, замечая, сколько сил она тратит на заботы о ребенке, о доме, пытался брать эти заботы на себя. Теперь она скрывала от него свою усталость, оберегая его от лишней работы.

Однажды Маша сообщила ему, что начала готовиться к экзаменам в медицинский. Самохин согласился: «Правильно!» Он ведь и сам поступил на курсы мастеров, не сказав об этом Маше: боялся — она воспротивится, потому что и так они теперь почти не бывали вдвоем. Но потом до Самохина дошло. Какая же после этого Маша будет жена и мать? Получится жена-заочница и мать-заочница.

И, разозлившись, сказал с нарочитой беспечностью:

— Завком в новом доме мне чертог выделяет с раздельным санузелом и прочими удобствами. Только не известно теперь, кому им пользоваться. Мне одному, что ли?

— Говоришь, тебе выделили? — вспылила Маша. — Так сам и пользуйся. — Она тут же спохватилась, поняв, чем вызваны слова мужа. — Витя, — проговорила Маша уже другим тоном, — ты же сейчас на виду у всего завода, а кто я? Из-за тебя ведь решилась, а то медработник недоученный.

— Ты на меня не сваливай. Мне домашний доктор не требуется. — От признания жены и от того, что сказал ей грубость, Самохин растерялся. Смущаясь, он произнес, глядя в сторону: — У меня без тебя жизни нет.

— И у меня тоже, — вздохнула Маша. — И я тебе всегда правду говорю, чтобы чувство свое не запачкать.

— А мы вот с Фросей ввали матери ради того, чтобы заставить ее есть получше.

— Это не вранье, — запротестовала Маша. — Это человеческая чуткость.

— Значит, для хорошего соврать можно?

— Можно не сказать то, что не нужно, пускай это и правда, — не совсем уверенно произнесла Маша. — Лучше самой в душе дурное пережить, чем другого им мучить.

— И у тебя получается?

— Не всегда, — созналась Маша.

— Лучше бы никогда не получалось.

— Неправда. Это значит, что сама беду перенести не можешь и на чужие плечи перекладываешь.

Самохин помолчал.

— Может, так, а может, не так. На все случаи жизни одного рецепта нет.

С годами супруги обычно привыкают друг к другу, отношения их становятся проще, взгляд друг на друга менее требовательным. Однако у Маши с рождением ребенка появилось особое рода беспокойство. Какие они с Самохиным? Что могут дать новому человечку, чтобы он вырос хорошим, честным?

И то, что она прежде не замечала ни в себе, ни в муже или замечала, но легко прощала, теперь ей, обуреваемой страстной материнской заботой о сыне, виделось как нечто нетерпимое, невозможное. Она стала чрезвычайно взыскательна к себе и к Самохину.

Самохин понял это упрощенно и решил, будто у жены испортился характер. К тому же в поликлинике, полагал он, персонал интеллигентный, обходительный, а медицинское дело вообще деликатное, тонкое: с людьми работа, не с металлом. Поэтому он чаще всего покорно сносил замечания жены. Маша ему выговаривала:

— У тебя в разговоре мусорных слов много.

— Каких же?

— Вкалывать, офонарел, дерьмо.

— Так это же наш, пролетарский язык,— усмехался Самохин.

— Не пролетарский, а порченный.

— А что нам, как у вас, докторов, заведено, иностранными словами баловаться? Говорим по-русски, по-простому.

— Просто — не значит грубо.

— Так ведь между собой говорим. Никто не обижается.

— Значит, не уважаете друг друга.

— Тут ты не права. Уважаем.

— Какой человек, такие у него и слова. Умный умные говорит, дурак — дурацкие, грубый — грубые.

Самохин обиделся:

— Так, по-твоему, я кто?

— На собрании выступаешь без грубых слов,— уклонилась Маша от прямого ответа.

— Что ж я, дома буду шпарить, как докладчик?

— Себя и других всюду уважать должен одинаково.

— Одно дело, когда ответственно выступаешь, другое — когда разговариваешь попросту.

— Слова все ответственные, неотвеченных слов нет

— Это возможно,— нехотя признал Самохин.

— Я, Витя, одного хочу: чтобы Юра нами гордился,— просительно произнесла Маша.

Самохин не без самоуверенности засмеялся.

— Не бойся. К тому времени, когда парень подрастет, я уже сменным мастером буду. Должность заметная. — И, добрея при мысли о сыне, благодушно согласился: — Ладно. Не возражаю. Буду культурные слова подыскивать.

В чем-то Маша все-таки его задела. По производственной линии он вот как пошел в гору, а она этого вроде бы не замечает, по пустякам цепляется.

Оказалось, однако, что это вовсе не пустяки. Уходя на работу в райком, Гуков рекомендовал бригадиром сквозной бригады не Самохина, а Липко. Сказал Самохину:

— Конечно, Липко — человек малой личной инициативы. Но хорош тем, что инициативу других ценит и поддерживает. Вдумчивый, осмотрительный человек. К слову осторожный. Бывает, одним поспешным словом человека заденешь, а потом уже не исправить: хоть тысячу добрых слов ему скажешь — все мимо. — Помедлив, произнес с досадой: — До конца иной раз продумаешь, что надо сказать, а вот как именно сказать, чтобы до человека полностью дошло, не всегда получается. И еще одна наука есть — уметь человека выслушать, помочь ему разговориться. И чтобы не только ему, а чтобы и тебе это нужно было. Чтобы хотелось человека понять всего, во всей его сложности, понять, как самого себя. Соображаешь?

Липко — самостоятельный мужик. Сначала убедится, где прав, где не прав, а уж потом решительно действует. Вот и на печь к нам перешел не с первой моей просьбы, а когда все прикинул, продумал. Зато уж стал к печи так, словно всегда на ней работал, всегда нержавейку варил.

Конечно, Самохина уязвило назначение Липко. По квалификации, по опыту он ни в чем не уступал Осипу; выходит, есть что-то еще, что ценится не меньше квалификации. Наука общения с людьми. Он никогда прежде об этом не задумывался. Знал: сталевару почет от веса и качества плавки. Умеет варить — значит, мастер. И к людям относился в зависимости от того, кто как трудится. Одних уважал, других — нет. Но только за работу. Такой линии и держался.

Липко, тот искренне расстраивался, когда кто-то работал спустя рукава. Сокрушенно расспрашивал таких: от неумения это, от неохоты или еще от чего-нибудь? Говорил убежденно:

— Когда человек интереса к работе не проявляет, этому всегда должна быть причина. Иногда можно за него

и неполадку устранить — ему в науку. А вот оставить без внимания такое нельзя.

Липко работал с азартом, с удовольствием и этим, между прочим, увлекал людей больше, чем словами. Потом удивлялся, когда хвалили за исправление какого-нибудь нерадивого работника:

— Кто? Я? Да я ни при чем. Он сам наловчился. Я только примечал, что у него по-рабочему, а что не по-рабочему; дальше самоходом пошло. А то изругали парня, он и сник, надежду на себя потерял, перспективу...

Когда Липко ушел на пенсию, его сменил Самохин. И главный завет Осипа, что не печь сталь варит, а человек, крепко вошел в его сознание. Тогда и открылся ему путь в бригады, в мастера, в помощники начальника смены. Постиг, значит, науку понимать людей. И люди с благодарностью ощутили это.

И когда шла плавка и печь не нуждалась в уходе, он, наблюдая за плавкой сквозь темные очки, не о том говорил, как варится сталь, а интересовался жизнью товарищей. Потому что, если вовремя не заметишь по душевной лени, что у человека горе, можешь потерять человека, как металл, выплеснувшийся из печи от недосмотра, недогляда.

Вот почему Марат Должиков именно с Самохиным решил поговорить обо всем, что его тревожило, попробовать именно его убедить в том, в чем сам пока еще не был убежден полностью и окончательно.

Об Анатолии Кузьмиче Иванове кадровые рабочие отзывались уважительно: «мужичок всевидящий» — и обычно добавляли:

— Для своих лет-то как хорошо сохранился, точно сильно просоленная селедка. Комсомольская закалка! Еще в первую пятилетку на носилках кирпичи таскал, лапти на ногах по тогдашней моде...

Будучи человеком осмотрительным, Анатолий Кузьмич вместе с тем обладал и хозяйской дальнозоркостью. Всю возможную информацию о комплексных бригадах, работающих по единому наряду, он не только собрал, но изучил, мысленно примерил к своему производству.

Много в этом деле было для него соблазнительно — того, что возвышает человека труда, увеличивает руководя-

щую роль коллектива на производстве и, стало быть, облегчает его собственный труд, труд директора.

Вообще Анатолий Кузьмич считал, что руководитель вовсе не должен каждого водить за руку. Полезными он считал только самостоятельно мыслящих людей, хотя именно от них немало претерпел на собраниях, совещаниях и в личном общении.

Все, что ему дерзко и прямодушно выложил Должиков, слушать было, разумеется, обидно, но для пользы дела необходимо.

А дело Анатолий Кузьмич считал высшим в своей жизни, перед делом все личное, по его мнению, должно было смириться.

Впрочем, сам Анатолий Кузьмич вовсе не был смирным руководителем — из тех, кто любит всех хвалить в надежде, что за это и его похвалить не забудут. И наверху за интересы своего завода он бился отчаянно и умел находить аргументы такие неотразимые, что частенько сокрушал ими инструкции и предписания, считавшиеся незыблемыми. Сокрушать-то сокрушал, но потом и его нередко сокрушали, если результаты оказывались ниже обещанных им. Он считался хозяйственником-романтиком, энтузиастом закваски первых пятилеток, и к его предложениям относились особо бдительно, охлаждая его горячность четкостью финансовых выкладок.

Поэтому, добывая, к примеру, новейший агрегатный станок, он должен был наперед быть уверен не только в том, что этот станок может обеспечить высшую точность обработки изделий, но и в том, что от него заводу будет существенная прибыль.

Вот и теперь он рассуждал сам с собой, прикидывал: конечно, бригады, работающие по единому наряду, — это новая, высшая ступень организации коллективного труда. Она соответствует эпохе развитого, зрелого социализма. Бригады станут новым морально-нравственным стимулом развития человеческой личности. Совет бригадиров при директоре — новая и полезная руководящая сила. Но как с ней справиться, если у совета возникнут разногласия с руководителем предприятия? Как при этом будет выглядеть единоначалие? Ведь это только на фронте приказы не обсуждают, а выполняют. В мирное время их как еще обсуждают, хотя приказ есть приказ и его надо выполнять.

У хозяйственников бывают свои профессиональные тайны — как, скажем, у врачей.

Есть у нас особый тип хозяйственника. Пуганый. То ему когда-то оборудование недодали, то он сырье недополучил, то под натиском инстанций согласился на план выше возможного, — ну и подорвал свой авторитет. С тех пор ни себе не верит, ни другим. Проявляет инициативу только в том, чтобы выпросить, где что удастся. И выпрашивает. И прячет на складах. Вроде как на черный день. Унижается по ведомствам, не просит даже, а стонет — лишь бы план снизили. И предприятие у такого — нечто вроде натурального единоличного хозяйства: на самообслуживании держится. Для него согласиться на кооперацию — это все равно что с интендантской службы в тылу отправиться на передовую.

Такой психологии минутами не чужд был и сам Анатолий Кузьмич Иванов. Но ему помог избавиться от нее секретарь парткома Зубцов. Сначала они не ладили.

— Ваше дело, — говорил Анатолий Кузьмич, — людей воспитывать, подымать сознательность. А я член бюро обкома, с этой вышки мне указания дают, и я их претворяю в жизнь.

Зубцов щурился, иронически усмехался:

— Вы, значит, рублем будете людей воодушевлять, а мне оставляете только партийную педагогику? За такое странное разделение труда партия нам обоим всыплет. — Однажды он твердо заявил: — Способность в наитруднейших условиях неуклонно достигать цели — это и есть сильный характер. А у вас характер слабый. В своем кабинете вы одно говорите, а в главке другое. У себя на заводе вы правильно учите коллектив — не за счет рабочих рук план выполнять, а за счет полного использования механизации, новой техники. А в главке уступаете. Согласились же взять устаревшие станки...

— Какие были, такие и брать пришлось.

— А нам надо не те, какие были, а те, какие должны быть.

— Не вам, а мне.

— Нет, и нам, парткому. Мы сообщаем следуем линии партии, ориентирующей нас на технический прогресс. На уступки не пойдем.

— Для работы с новой техникой нужны кадры высшей квалификации, а у меня и с низшей не хватает.

— Вот и берете всяких летунов, бездельников с улицы...

— А вы мне палки в колеса ставите. Я дал приказ са-
мых неисправимых увольнять, а вы против.

— Против чего? — сощурился сердито Зубцов. — Мы
против того, чтобы их с завода на другой завод перетаски-
вать. Таким способом мы только плодим летунов, а не бо-
ремся с ними и за них — за то, чтобы людьми стали.

— Завод не трудовая колония, а производство.

— Завод не только промышленное предприятие, но
и организация людей. Выпускать с завода производствен-
ный брак нельзя, а людей с изъяном можно?.. Вот поста-
вили парня на сверлильный станок. Спрашиваю: что дела-
ешь? «Дырки». Не знает, конечно, для чего трудится. Чья
вина? Наша.

— Ваша, — уныло поправил Зубцова Анатолий Кузь-
мич. — Слабо налажена наглядная пропаганда трудовых
процессов.

— Плакатами много не внушишь. Авторитет настав-
ников надо поднять. Вот Вавилов беседует со своим подо-
печным: «Ты смотри сюда, — говорит он. — Дали тебе за-
готовку. А кто ее для тебя произвел? Литейщики. А кто
они? Трудящиеся горячего цеха, где вкалывают в три сме-
ны. Печь не остановишь. Жидкий металл, он жгучий. Ли-
тейщики свои слитки получили от сталеваров, а те сталь —
от доменщиков, доменщики свое сырье — от горняков,
а горнякам, чтобы добычу начать, шахтостроители путь
в недра пробили. А для шахтостроителей геологи подхо-
дящие места годами искали в дебрях непроходимых. Понял?
Прикинь теперь, сколько тысяч людей безмерный свой
труд в дело вложили, чтобы эту самую заготовку тебе вы-
дать. А ты должен из нее деталь выточить и так, чтобы она
вместе с остальными надежно в машину вошла — в ту ма-
шину, на которой другие будут работать.

Понял, какой кругооборот в этой твоей заготовке за-
ключен? А ты на нее, как на простую железку, смотришь,
с которой надлежит только стружку снять. Я тебя не за
брак укоряю — брак ты допустил по неопытности. И не за
то, что прошлый раз заготовку запорол. А за то, что ты
бесчисленного количества людей живой труд бессмыслен-
но зарезал. Вот это хуже. Научись с высокой колокольни
на свою работу глядеть. Это главное. Тогда и сам на высоте
будешь. Сноровка придет, обучим. Подняться надо созна-
нием, что ты рабочий класс. А рабочий класс и каждый его
представитель мыслит во всенародном масштабе, а не
только в масштабе собственного рабочего места».

Этот разговор я услышал, как говорится, на ходу, но он мне глубоко врезался в память — широтой мышления, нравственной высотой мастера, умением по-умному и доходчиво объяснить новичку принципы нашей работы, нашей жизни. — Зубцов улыбнулся: — Для меня самого этот разговор был уроком.

— Вавилов — мастер выдающийся, — вздохнул Анатолий Кузьмич. — Такие — наша опора.

— А вы этого Вавилова, как только конец квартала, заказами перегружаете. Припаивается человек к станку так, что ему даже взглянуть на своего подопечного некогда.

— Когда план провисает, только такие и могут выручить.

— План? План-то ведь не только на сегодняшний день намечают. Не машины нас в будущее вытягивают, а люди. — Зубцов добавил едко: — Хотя на устаревших машинах далеко не уедешь. Поэтому вы не уступку в главке сделали, а отступили.

И еще я вам скажу: вот вы рублем командуете. А что получается? Посмотрите ведомости по зарплате. Сдельщики, работающие индивидуально на простых изделиях, почти столько же зарабатывают, сколько рабочие высшей квалификации на изделиях высокой точности обработки. Такие навалом не сдашь.

— Вижу, вы в наших «узких местах» разбираетесь прямо на уровне главного технолога, — заметил Анатолий Кузьмич не без ехидства.

— Задел вас, понимаю, — будто бы соглашаясь, произнес Зубцов. — Но я ведь хочу с вами поделиться. Из литейки и механического иногда поступают изделия высокой точности; значит, есть люди, которым штучничество не по душе, — делают меньше, но лучше. Не за рублем гонятся — за качеством. Для них общий интерес выше рубля. А предприятию в целом их работа — чистая прибыль. И в материальном и в моральном смысле. Качество — это категория не только производственная, но и в широком своем смысле глубоко человеческая...

— Слушайте, — с раздражением произнес Анатолий Кузьмич. — Что вы мне тут прописные истины толкуете! Истины истинами, а факты фактами, и не всегда они, истины, с фактами совпадают. Вот мне запускают планпрограмму, как в кибернетическую машину, и я должен во исполнение его не то что каждый день, а каждый час мно-

жество самых различных указаний выдавать — производственным, снабженческим, техническим подразделениям. Вы это понять можете?

— Могу, но не хочу.

— Обременять свой мыслительный аппарат не желаете?

— Мой мыслительный аппарат, как вы заметили, на другую волну настроен.

— Не понял, — поморщился Анатолий Кузьмич.

— Я мыслю вот какими категориями. Вы, конечно, личность...

— Благодарю, — усмехнулся Анатолий Кузьмич.

— Но сила личности, ее обаяние заключаются в способности сплотить людей, увлечь их высокой целью.

— Какой именно? Предупреждаю: газеты с утра читаю не всегда, но по вечерам обязательно.

— Я вам прямо и честно скажу, Анатолий Кузьмич: есть идея новой организации труда, есть уже и примеры ее осуществления, но пока мы с вами «узкие» наши места не расширили, можем саму эту идею замарать.

— Вы имеете в виду бригады по единому наряду? И артели в старину брали аккордный подряд.

— Я не об организационной форме, а о ее глубоко, подчеркиваю, глубоко идейном содержании.

— Вы все с позиций идеологического работника, — пробурчал Анатолий Кузьмич. — А я практик, хозяйственник, без профита ни шагу. Не пойдем мы друг друга.

— Не надо так, — миролюбиво сказал Зубцов — Вы все понимаете. Но боитесь.

— Чего? — поднял брови Анатолий Кузьмич.

— Чего? А вот чего. Новая, более совершенная организация бригад, более прогрессивная система вознаграждения за труд приведут к тому, что нас будут беспощадно атаковать за все недоделки, недодумки, за нерешительность и нелогичность нашу.

— Позвольте, при чем тут еще логика? — раздраженно осведомился Анатолий Кузьмич.

— А очень просто, — коварно усмехнулся Зубцов. — Как изволите вы, очевидно, знать, мы, советский народ (и я и вы тоже), поднялись на новую ступень исторического развития, то есть достигли социализма.

— А вы без этого, без подковырок, — обиженно скривил губы Анатолий Кузьмич.

— Виноват, — признался Зубцов. — Простите за полемический задор. Но логика сегодняшнего дня в том, что общество поднялось на новую ступень, а если мы с вами станем колебаться, — взять нам новую высоту в своем деле или не взять, — нас могут лишить права прописки в новой эпохе.

Вообще-то Анатолий Кузьмич обладал способностью не только излагать свои соображения, но и выслушивать других. А то есть эдакие мастера говорить: слушать других не умеют, сразу вдруг словно больными делаются, любят произносить речи, но не любят разговаривать. У них сразу инстинкт пробивается — на трибуну лезть.

И хотя, как всякий нормальный человек, директор не любил, чтобы его критиковали, он понимал, насколько полезна может быть критика. Поэтому умные возражения и умных спорщиков выслушивал всегда с вниманием. Будучи мудрым государственным служащим, Анатолий Кузьмич знал, что всякому человеку больше нравится, когда говорят о достижениях, чем о недостатках. А руководившие им товарищи тоже были люди.

В кабинетах руководителей он сначала докладывал о достижениях и успехах, а затем уже, расположив душевно собеседников, припоминал все то, за что его критиковали в заводском коллективе, и твердо и смело выдавал идеи своих работников за собственные. Одновременно он в пламенных выражениях рисовал картины будущего, образ поистине передового современного предприятия. Выслушивая охлаждающие деловые соображения руководящего лица, он все-таки настаивал на том, чтобы хоть часть его проектов обрела материальную форму.

Поэтому он не то что охотно, но, сознавая пользу для дела, выделял людей задиристых, дерзко мыслящих в уважаемых противников и принимал их критику, предпочитая, правда, все-таки выслушать ее в обычных беседах, а не публично, на производственных совещаниях.

К уважаемым противникам он относил Марата Должикова.

Словом, и эта беседа и собственные размышления привели Анатолия Кузьмича к мысли о полезности бригад, работающих по единому наряду, хотя еще не все было ему ясно и понятно в этом начинании. Конечно, будучи директором, он дорожил своим высоким должностным положе-

нием и чувствовал себя хозяином на заводе. Но вместе с тем он понимал, что чем больше людей тоже осознают себя хозяевами, тем лучше можно будет наладить общую коллективную систему управления производством. Тогда уже не только администрация станет отвечать за количество и качество; исполнители, оставаясь в первую очередь исполнителями, превратятся в руководителей особого рода. Однако приказывать легче, чем доказывать. Администрации приказывать можно и должно. А бригаде? В основе бригады самоуправление — и по линии организации труда и по линии поощрения и вознаграждения.

Получается, что премии лучшим будет давать уже не руководство завода, а бригада. Стало быть, уменьшится и его роль, роль директора. Это обидно.

Вместе с тем он, директор, освобождается от весьма неприятной обязанности накладывать взыскания. Портить морально-нравственный климат в бригаде сам коллектив не позволит, сам и взыщет, исходя из общих интересов...

Так он размышлял, и прикидывал, и сомневался, и вновь обретал уверенность.

Но особенно беспокоила его мысль о том, что всякая новая, более совершенная организация труда потребует и нового, более совершенного управления всем предприятием в целом. Потребуется четкого, ритмичного, надежного планирования. А у него были и сбои, и суета в конце месяца, и пререкательства со смежниками, и разного рода плановые «перекантовки», навязанные малосерийные заказы, неожиданные сверхурочные, и многое тому подобное, с чем члены новых бригад не захотят мириться, как мирились прежде индивидуалисты-сдельщики.

К тому же партком и завком будут на их стороне.

И может случиться так, что он потерпит поражение, не справившись с тем, что — он и сам знает — мешает нормально налаженному производству, что никак не согласуется с передовыми формами труда.

Конечно, страх перед новым испытывают не только трусы, но лишь трусы живут во власти страха. Мужественные преодолевают страх, понимая благотворность нового.

Анатолия Кузьмича судьба не обошла испытаниями, он знал, чтобы нащупать кратчайший путь к лучшему, надо пройти сначала немало долгих, трудных дорог.

А чем яснее человек сознает, что новое пробивает дороги с трудом, тем больше он сможет. И чем значительнее

должность человека, тем больше ему достается в борьбе за новое, за лучшее.

Есть люди, которые руководствуются только уже готовым, признанным. Есть и чрезвычайно «поспешные» на любые новшества. Они опасны тем, что их сразу бросает в крайности.

Анатолий Кузьмич знал, что во всяком крупном начинании одинаково вредны и поспешность и промедление. Он решил начать организацию бригад, работающих по единому наряду, с наиболее благополучного цеха — с механического.

Вот для этого-то он и хотел поставить на руководящую должность Марата Должикова, больше других донимавшего его своим недовольством по поводу обстановки в цехе и, значит, больше других думавшего о недостатках. К тому же за Маратом Васильевичем стояла целая династия Должиковых, чья поддержка была очень ценной.

Такой человек с высокой вышки станет общему делу больше полезен, и, кроме того, это было, как мы уже говорили, личным, интимным соображением директора — пусть сам Марат Должиков испытает на себе все то, за что достается всякому руководящему лицу от высокого руководства.

Но тут Анатолий Кузьмич столкнулся с мнением секретаря парткома.

Зубцов сказал озабоченно:

— А мы его в нашу первую комплексную бригаду бригадиром рекомендуем.

— Это что же, — возмутился Анатолий Кузьмич, — инженера с дипломом оставлять рабочим?! Да вы знаете, что обучение каждого специалиста обходится государству в среднем в двенадцать тысяч рубликов!

— Возможно, — согласился Зубцов, — но мы-то думаем о его личных качествах, а не о рублях, затраченных на его образование. Он еще оправдывает государственные затраты.

— И он дал согласие?

— Не совсем, — честно ответил Зубцов. — Сначала предлагал другого вместо себя, а потом явился и признался, что руководствовался при этом личными интересами, не общественными.

— Значит, он не уверен, что может возглавить бригаду!

— И это говорил, поскольку одного человека не мог убедить не то что бригадиром стать, а даже пойти в бригаду.

— Кого же именно?

— Егора Ниловича Горохова.

— Вот это нам фитиль! — огорченно воскликнул Анатолий Кузьмич. — Выдающиеся мастера от нашей идеи отказываются... Не ожидал...

— А надо было ожидать, — поучающе заметил Зубцов. Он закурил. Много раз уже бросал курить, но неизменно возвращался к табаку в трудные минуты. — Бригада — это единый коллектив, одинаково заинтересованный в окончательном результате своего труда.

— А вы без этого, без общих фраз, — в раздражении замахал рукой директор.

— А если конкретно, то вот что у нас пока получается. При сдельном труде видно, кто сколько вырабатывает. А кто сколько может и может ли он получше, не видно. Не дотянул до нормы — плохой работник, перевыполнил норму — хороший. Каждый для себя, каждый сам себе голова. По числу изделий мастер и начальник пролета, цеха определяют, кто хороший, кто плохой, из такого расчета и наряды выдают: выгодные — надежным, лучшим, невыгодные — ненадежным, худшим, и на этом они, худшие, еще больше зашиваются. Словом, индивидуальный труд поощряет и психологию индивидуализма.

— Это, по-вашему, наш Егор Нилович Горохов индивидуалист?

— Индивидуальность, — поправил Зубцов, — и, согласен, — выдающаяся. Самозабвенно работает. Смотрел, любовался. Но так самоуглубленно трудится, что не видит, как другие работают, не думает о том, что чужой некачественный труд губительно на окончательной нашей продукции сказывается.

— А если остальные при всем желании так, как он, не могут?

— Не могут, верно, — но лишь пока он им не поможет.

— Напоминаю: он у нас наставник, учеников имеет.

— Невыученных учит, правда. А надо чтобы другие, уже обученные, опытные, по нему равнялись.

— Желания не всегда соответствуют действительности.

— Вот и надо нашу заводскую действительность преобразовывать с помощью бригадного метода. Тогда и к исполнению желаний ближе будем.

— Если такие, как Горохов, начнут отказываться, и другие засомневаются.

— Поэтому Марата Должикова в бригадиры и рекомендуем.

— Инженера в рабочие! — снова разгорячился директор. — Может, еще заодно и начальника цеха в бригадиры определите? Хотите распоряжаться моими руководящими кадрами?

— Марат пока не руководящий.

— Завтра же подпишу приказ, — зловеще пообещал директор.

— Что ж, таким манером вы воспрепятствуете формированию бригады. Подумайте и все хорошенько взвесьте.

— А вы тоже подумайте, — упорствовал Анатолий Кузьмич. — Что ж это у вас получается? Объективным ходом времени прогрессивность бригад, работающих по единому наряду, уже доказана на других предприятиях, а в нашем коллективе сама возможность появления такой бригады зависит от единственного человека. Других достойных у нас, выходит, нет, не воспитали.

— Есть и иные кандидатуры, — хмуро отвечал Зубцов. — Предложим, обсудим — при вашем участии, конечно. Главное, чтобы с самого начала не оплошать с лидером. — Он помолчал, добавил: — Я Марата Должикова просил с родственниками посоветоваться на их семейном совете и принять окончательное на свой счет решение.

— Ну, что ж, ладно, — неожиданно согласился Анатолий Кузьмич, втайне полагаясь на то, что Должиковы не захотят, чтобы в их рабочей семье еще один ее член не утвердился на должности инженера. Вдохнул, произнес озабоченно: — А все-таки, если Егор Нилович Горохов окончательно откажется, нежелательное впечатление это на людей произведет.

— Может быть, — признался Зубцов. — Но и его надо понять: художник своего дела. Уникальный мастер. И все же мы будем стараться его переубедить. Только тут выдержка нужна, терпение. Без выдержки и терпения вообще только дрова можно колоть.

— Вот именно, — живо согласился Анатолий Кузьмич. — В мечтах наших комплексные бригады — они, конечно, шаг в будущее, а если вернуться к чисто производственной реальности, то есть тут и доля неуверенности.

— А уверены во всем либо дураки, либо те, у кого чувство ответственности отсутствует. — Зубцов улыбнулся, смягчая резкость сказанного, спросил: — А знаете, как у нас ребята тех, что с неполным средним, называют? По-

лоумными. Вот ведь как. Считают: если ты в рабочие пошел, имей за плечами десятилетку.

— Все-таки еще много у нас ручного труда — особенно в подсобном и складском хозяйстве, да и на внутрицеховой транспортировке, — вздохнул директор. — Отсюда и невысокий образовательный уровень их кадров.

— Уровень механизации там у нас низкий, по уровню и кадры, — холодно поддержал директора Зубцов. В его тоне явно сквозил намек на некий давний спор.

— Просил дополнительных капиталовложений, — пожал плечами директор. — Пока не дают. — Он говорил, будто оправдывался.

— А надо убедительно доказать, что сейчас ручной труд убыточный. Потери на чувстве рабочего достоинства ничем не могут быть оправданы.

— А сами только что изволили насчет полоумных шутить, — язвительно рассмеялся Анатолий Кузьмич.

Зубцов развел руками:

— Да ведь остроумно. Смешно, хотя, в сущности, вы правы — и горько тоже.

И они перешли к другим темам, к проблемам, которых всегда было больше, чем способов и возможностей их разрешить.

Нынче все Должиковы собрались у Геннадия Семеновича. У него и квартира побольше, и посуды, и стульев с креслами на всех хватает, тем более что подвернулся случай — день рождения хозяина.

Пока женщины не позвали к столу, мужчины, принаряженные, чинные, беседовали на общие темы. Начали с международного положения, однако скоро убедились, что слушать друг друга им неинтересно: словно верующим — что есть бог, а неверующим — что бога нет. Они одинаково понимали обстановку и прекрасно знали, что к чему.

Только один дед, как величали в семье Должиковых Семена Фомича, вдруг разъярился:

— Это они все потому, что их ни первая, ни вторая мировая не истощили, не видали они кладбища одни вместо своих городов, вот и играют атомными бомбами.

На это Егор Семенович угрюмо отозвался:

— И не надо, чтобы они тоже такое увидели.

— То есть как не надо, когда сами на рожон лезут?

— Там, как и мы, люди живут,— глухо сказал Егор Семенович.

— Ну, власть ихняя.

— А господа за народ не считаются, сам так всегда говорил.

— Это точно,— со вздохом признал дед и одобрил:— Тут у тебя правильный подход — классовый. Я не одну войну воевал, и на каждой в госпиталь с поля боя волокли полуживым-полумертвым. А для чего выжить желал? Чтобы ни при мне, ни при правнуках моих больше войны не было. Такой у меня лозунг.

Егор Семенович повернул к Марату свое всегда хмурое и не улыбочное после смерти жены лицо:

— Ну, как жизнь протекает?

Марат, чутьем поняв, о чем его спрашивают, тут же сообщил, словно продолжая разговор:

— Те, кто сочли, что недополучили, из бригады ушли, остальные на месте. Остались потому, что дух сплоченного товарищества по душе пришелся.

— Одним чистым духом людей не удержишь.

— А чистый дух — этого тебе мало?— вспыхнул вдруг Марат.— Зато те, кто ниже своей тарифной вырабатывали, подтянулись, и получка у них теперь больше.

— За счет передовиков?

— За счет доплаты за качество. Мы так решили — сверхплановой нормы пока не давать. А время, выигранное при разделении операций в бригаде, использовать для повышения качества. Тем, кто сложную работу выполняет, надбавка за разряд полагается, а если других при этом обучают,— коэффициент с начислением за соучастие.

— А кому что — решаете хором?— вмешался дед.— У нас, бывало, анархисты тоже чуть что — давай митинговать.

— Решает совет бригады,— кротко объяснил Семену Фомичу племянник.

— А кто про тебя слух распускает, будто оттого пошел бригадиром, что срезался на дипломной, не знаешь?— спросил Егор.

— И знать не хочу.

— А ты заправь диплом в рамку под стекло и вывесь в цеху,— посоветовал Семен Фомич.— Документально и докажешь.— Подумал, пожал плечами.— Хотя я лично считаю, что зря имя Марат тебе дали: уступчив больно. Инженер — значит, инженер, фигура солидная.— Старик

промолвил с укором: — Задел ты, Марат, мое самолюбие, сильно задел. И кто ты теперь, сам не знаю. И не инженер, и не рабочий. И не начальник, и не подчиненный. Так, вроде общественника что-то.

— А это вы зря, — заступился за двоюродного брата Геннадий Семенович. — Вот я должностное лицо — начальник цеха. Меня могут запросто снять по приказу директора. А Марата ни назначить бригадиром, ни снять с бригадирства директор права не имеет. Общественность его признала, и точка. Решение коллектива; не убедишь коллектив — сам сядешь в лужу. Администрация может без моего согласия по моему цеху решение принять, а вот без согласия совета бригадиров не может. Своим непосредственным подчиненным я могу приказывать, а бригадирам могу лишь советовать. А тебе, Марат, я вот что скажу. Ни ты до конца не знаешь, ни я, начальник цеха, не знаю, что нам даст материально и морально бригадный метод. То, что прогулов стало меньше, брака, скандалов, претензий и производительность труда, хоть понемножку, да растет, — это все пока только первые и нестойкие признаки. Так сказать, ростки, а плоды-ягоды впереди. — Геннадий Стенанович поглядел на Егора. — Вот захожу я к тебе в цех, Егор, и приятно слышать, как ты заодно шумишь, если полоса слабо разогрета. А раньше только зубы стиснешь, уставишься зловещим взглядом на нагревальщика, тот и обмирает. А ты стоишь, клещами щелкаешь и еще без ласки, мягко говоря, выражаешься. А теперь вроде подобрел к товарищам. Не идея ли бригадного метода тебя смягчила?

— Он скоро совсем мягкий станет. Мы его еще женим, — пообещал Олег Семенович. — Инженерша-то от него не отстает со своим пультом дистанционного управления.

— Ну, эту забаву вы бросьте, — грубо оборвал брата Егор Должигов. — Сами знаете, какой Настя была. — За молчал, потом хрипло выговорил: — Ее и нет, а она мне все равно светит, как живая. — Закашлялся, махнул с досадой рукой: — Ну, чего они тянут! Хоть бы пивка пока дали.

Дед предупредительно и грозно произнес:

— Егор!

— Да бросьте вы, — отмахнулся от старика Егор Семенович. — Давно уже не зашибаю. — Спросил Марата: — К вам, говорят, в бригаду Салтыков просится, первая жа-

дюга и попрошай насчет выгодных нарядов. Инструмент не одолжит, а туда же.

— А если человек прозрел?

— Слепой кишкой он прозрел. Думает, если бригада в уважении, в почете, так ему квартиру за то, что он в бригаде находился, вне очереди на блюдечке поднесут. Не соображает, что в бригаду только с чистой совестью идут.

— Зря ты так, Егор,— возразил Марат Васильевич.— Бригады не для избранных, а для всех, кто хочет. Если бригада сильная, она и трудного человека выпрямит. Слабая — значит, бригадир не годится. Бригадиром быть трудно: ты рабочий и остальные — тоже рабочие. Никто тебя не назначал, выбрали тебя. Будешь на горло брать — значит, строишь из себя высокое начальство. Потрафлять станешь слабовольным — рабочие тебя же и снимут со срамом. Дал меньше других — выходит, работаешь хуже. За что тогда тебя, спрашивается, выбрали? Будешь из кожи лезть, чтобы других обогнать,— значит, отстающие на твоей совести: почему ты мог, а они не смогли? Не позаботился. Бригадир тогда хорош, когда все хороши.

— Ну, такого не бывает,— сердито заметил Егор.— На руке пальцев всего пять, и все разные. А то люди.

— Такого пока нет, но должно быть,— мягко сказал Марат Васильевич.— Люди, как пальцы на руке, тут я с тобой согласен, все разные. Но если один палец зашибешь, остальные уже нормально работать не смогут. Так и бригада.

— Ты вот званием инженерским пренебрег, а что тебе вместо этого? Звание мечтателя?— сердито пробурчал Егор Семенович.

— Это ты напрасно,— вместо Марата откликнулся Семен Фомич.— Мечта — штука дельная, без мечты мы бы ни на царя не поперли, ни четырнадцати империалистическим державам в лаптях да в ситцевых одежках с одними берданками не высыпали бы. Про Отечественную и не говорю. Сам Ленин велел нам, большевикам, мечтать, но чтобы не вообще, для отдыха, а каждому конкретно по своему делу и по силам-возможностям.— Повернулся к Марату:— А ты нас не агитируй. Насчет бригад, племянник, малость загибаешь в лучшую сторону. Ну, может, чего и достигли. Ты нам говори не о том, что уже есть, а о том, чего у вас еще нету.

— Вот это правильно,— одобрил отца Егор Семенович.

— А может, вовсе и неправильно!— Семен Фомич вдруг повысил голос.— Без энтузиазма не то что по-новому работу не наладить, а даже на заржавевшем болте гайку не отвернуть.

— Мужики!— громко возвестила хозяйка Елена Егоровна.— А ну, все за стол!— И добавила, улыбаясь:— Будьте настолько любезны...

Геннадий Семенович на ходу негромко спросил Марата:

— А как у тебя с Гороховым?

— Никак,— отвечал Марат Васильевич.— На рыбалку по-прежнему ходим вместе, а на работе врозь.

— Трудные обстоятельства. Выходит, ты коллектив, а он единоличник. Так, что ли?

— Нет, не так!— гневно возразил Марат.

— Ладно,— сказал Геннадий Семенович,— тебе виднее.

— Вот именно!— строптиво отозвался Марат Васильевич и отошел к Эльзе:— Смотри, какой пир, просто глаза разбегаются.— Признался шепотом:— Я по тебе там соскучился.

— Неправда,— счастливо улыбнулась Эльза.— Ты там очень увлеченно и больше всех говорил.— И добавила тихо:— Я за тебя скучала.

— По тебе,— поправил Марат.

— Нет, именно за тебя. Потому что тебе-то скучать было некогда.

Дед встал и поднял не рюмку, а полный фужер:

— Первый мой тост будет покаянный. Совсем малым мальцом в бога верил, последние копейки на толстую свечу тратил, на коленках в церкви лбом о каменный пол бился, все молил, чтобы матери моей коня дали и ей вагонетки в шахте не на себе бы таскать. Постился, конечно, как и все шахтерские: на пустых щах и черном хлебе сидел, да не в пост, а повседневно — по скудности нашей жизни. Думал, и это бог мне ради просьбы моей зачтет. Получилось — не в ту сторону кланялся. Померла мать: груженная вагонетка с рельс сошла, стала она ее поднимать, ставить на место, надорвалась и кровью изошла.

— Ты же тост хотел,— робко напомнил Геннадий Семенович.

— А ты меня не перебивай,— рассердился Семен Фомич.— Так... В общем, так. За Геннадия и всех остальных моих сынов, которых мы с матерью изготовили, и получи-

лось, что и себе и людям на радость. — Подумал, добавил неуверенно: — И на удивление.

Выпил старик залпом — не поморщился. Потом понюхал согнутый палец, пожаловался:

— Зря ты меня перебил, Геннадий. Я бы шибче мог сказать, но из-за тебя застеснялся. — И тут же весело и громко заговорил: — А теперь уже без тоста, без парада скажу: в людей мои ребята выросли. А как они росли, сам не заметил. Я ведь парень был моторный — где худо, туда и я со своим партийным билетом у самого сердца...

— Дядя, — осторожно вымолвил Марат. — Вот Виктор Степанович Самохин тоже хочет тост произнести.

— Пусть говорит, он мне не мешает. — И Семен Фомич крикнул через стол: — Валяй, говори, Самохин, мы все тут сталеваров уважаем — металл всякому делу голова. Тебе слово! — Он наклонился к Марату: — Ты думаешь, я уже клюкнул? Ну, было самую малость. А для чего? Для веселья себе и всем. — Пообещал: — Вот погоди, как все станут выпимши, я им трезвым голосом наши старые революционные песни спою. Пусть вспомнят, кто им ворота в такую распрекрасную жизнь открыл. — Оглянувшись на невестку, грозно приказал: — А ну, тихо, не шурши. Сталевар будет говорить. Можно сказать, своей печи приемыш. — И попросил Самохина: — Обожди, сейчас налью себе полную, чтобы, значит, плавки твои всегда были заказными, тяжеловесными, скоростными и ковши с выдачи твоей были бы металлом жидким так же полны, как вот эта посуда в моей руке. — Обратившись ко всем, старик вдруг потребовал: — Опрокинем все разом, дружно.

Выпил по второй и вдруг утихомирился, с упреком посмотрел на Самохина:

— Чего ж ты стоишь и молчишь? Народ ждет твоего пламенного, как положено мастеру горячего цеха, слова.

— Мы вот с супругой сироты, — тихо заговорил Самохин. — А ведь пока родители есть, ты всегда для них ребенок. Кто б ты ни был, в какие бы люди ни вышел. Они тебя малышом помнят, и никогда ни за пожилого или тем более за старого не признают. И до чего же это замечательно... Поэтому тост мой — за ваш должиковский корень жизни, за вас, Семен Фомич!

— Вот... — Всхлипнув, Семен Фомич утер слезу. — Слов не много, а попал в самую душу. — Оглядел детей: — Вы их все считаете за сознательных, а только я один могу доказать — несознательные они. Моя мерка точная, я по-

мню, что было и что стало. Вот Марат — самый меньшой, — бегал на часовой завод, насмотрелся там, как из полувидимой мелочи на поточном конвейере механизмы собирают. И про наш родной завод ляпнул: отсталость. И ты тоже, Самохин, хотя и хорошо сейчас сказал, а на парткоме чего нес? Мартеновский цех на слом, давай тебе электроплавильный. А я лично в свое время керосиновую лампу считал недоступной роскошью, из нутряного сала светильники делал, чтобы впотьмах не сидеть. Или вот возьмем станки. Они от приводных ремней работали, а ремень, он что? Кожа наилучшая подошвенная. Так один паразит приводной ремень кусками нарезал и на базар в обмен на еду таскал. А не он один, между прочим, все тогда голодали. Приговорили своим судом, и не возражал, когда его к оврагу повели, вразумили: не дадим деревне плугов — хлеба не будет. — Дед понурился, вздохнул, извиняясь, развел руками: — Я как выпью, все бывшее наружу. — Но тут же снова оживился: — А подчеркивать про такое вам надо, чтобы не зазнавались. Все себе новую, труд облегчающую технику требуете, а почему она государству обходится, знаете?

— Чем выше производительность труда, тем доходу от нее государству больше!

— Да знаю, — махнул рукой на Егора дед. — А вот когда она зря простаивает, тут мы для государства — воры.

— Ну пошел-поехал, — бесцеремонно прервала деда невестка. — Прошу рыбного пирога отведать, пока горячий. — Улыбнулась Марату: — Из твоего улова.

— Улова! — усмехнулся Егор. — А главного караса к себе в бригаду уловить не ловкач. Не клюет Горохов на твои разговоры да посулы.

— Ты Марата не задевай, — погрозил брату пальцем Геннадий Семенович. — Это не просто почин — то, что он делает, всем нам пример нехоженого подъема, движения по восходящей.

— И ты туда же, — упрекнула Геннадия Семеновича жена. — Люди к тебе в гости пришли, а не на производственное совещание.

— За новорожденного! — воскликнул молчавший до того Яков Семенович.

Жена дернула его за локоть:

— До конца не смей!

Яков испуганно оглянулся на нее.

Она строго напомнила:

— У тебя завтра в ПТУ лекция, на ребят перегаром будешь дышать.

— Ладно,— покорно согласился Яков Семенович.— Понюхаю и чуть пригублю.

Таких, как Яков Семенович, Должиков-дед снисходительно называл невольниками своих жен. Но самих жен одобрял за непреклонную силу их воли.

Есть люди, которые, выпив вина, становятся, мягко выражаясь, развязными. А есть другие — вроде Должиковых, их тянет на сердечную дружелюбность, на откровенность.

Геннадий Семенович вежливо снял с сиденья качалки лохматого кота сибирской породы с круглыми, прозрачными, точно у совы, глазами, сам сел на его место.

— Какая у меня политика в цеху? Вижу — совещается совет бригады. Прохожу, не оглядываясь: позовут — подойду, не позовут — шагаю мимо. Орган демократический, выборный, а я кто? Администрация. И если с точки зрения моей эгоистической его оценивать — так прямо гора с плеч. Все отклонения от нормы сами обсуждают, сами выносят приговор. Обжалованию приговор, конечно, подлежит, но где? На совете бригадиров. Совет бригадиров — высшая инстанция. Ну, недовольный ко мне с протестом. Я ему: не я с вас взыскивал, не мне и взыскание снимать.

— Значит, райская у тебя жизнь началась! — насмешливо заметил Егор Семенович.

— Не райская, но времени много освободилось — заниматься организацией труда можно. Инженерные проблемы решать.

— Раньше, значит, не тянул.

— Когда у тебя все нервы — как струны на балалайке, и сплошные конфликтные разговоры вокруг, мыслительный аппарат не слишком эффективно работает.

— А ты бы успокоительные таблетки глотал.

— И глотал, было. Нервный запас теперь расходую на стычки с руководством. Хочу на прочный поток переходить. Наладить линию, установить жесткий ритм и ровный темп на каждом участке. И чтобы ни больше и ни меньше, а только в рамках заданного плана.

— А производительность как? — настороженно поинтересовался начальник сборочного участка Серегин.

— Пока пестрая,— откровенно признался Геннадий Семенович.— Кто раньше был впереди, тот и теперь впереди, а кто отставал, тот отстает по-прежнему.

— Значит, не получается общего эффекта.

— Одним махом можно только муху поймать, — заступился за брата Олег Семенович. — Мы вот в литейке как сообразили? К отстающим приставили передовиков, опытных, высокоразрядных. Кто из них подопечного вытянет, тому — коэффициентная надбавка.

— Это дело! — одобрил Егор и покосился на Геннадия Семеновича.

Тот невозмутимо отозвался:

— На такое и я рассчитываю, поэтому и говорю: хоть и пестрота, но только пока. А вообще — можно и высшим разрядом обладать, а не суметь другого научить. Приставили к пареньку недозрелому одного такого корифея. Так он что? Станет к его станку, будто показывая, как нужно, сам за него изделие и настрругает. А парень стоит: руки в брюки, в зубах сигаретка.

— Я этого парня знаю, — сказал Серегин. — Экземпляр. Но вообще-то соображающий: на курсах повышения квалификации теории нахватался. На второй разряд сдал и потребовал, чтобы его сразу наладчиком на многоцелевой станок с программным управлением поставили. А станок оснащен автооператором для смены инструмента: поставку и смену заготовок и деталей автомат производит. — Он радостно улыбнулся. — Столько может — единым духом не выговорить. Не станок — целый оркестр из инструментов.

— Ну и что?

— Отказал. Поставил к станку слесаря Егошина. Он на заочном, на втором курсе наукам обучается. Такой станок рук не требует, только ум нужен, и, как на аккордеоне, кнопки управления пальцами дави. — Серегин добавил: — Вроде как из будущего нам такую машину прислали.

— Вот тебе и факт полного стирания граней, — живо вмешался в разговор Марат.

— А ты голову задирай, но на землю тоже поглядывай, не то и споткнуться можно, — посоветовал двоюродному брату Егор Семенович. — Ручник на простом универсале хоть и меньше наработает, зато больше заработает. Расценки-то у нас как бы назад идут от высокой техники. Все почему? Техника в цеху пестрая, а это не годится. Что из нового века, что от старого...

Геннадий Семенович произнес строго:

— А ты что хочешь, чтобы тебе сейф госбанка настелж распахнули: бери, сколько пожелаешь? О возможностях думать надо. Сколько у завода прибыли, столько и отчис-

лений на новую технику будет. Моя вот дубленку захотела. А я ей и объяснил: не меня проси, а смотри на заводскую доску: перевыполним план — будет премия, а будет премия — будет и дубленка. Не перевыполним — ходи в старой шубе с воротником из кролика.

— А если кредит попросить?

— На шубу?

— На технику.

— В кредит верят тем, у кого гарантия твердая. А у нас еще план качается.

— Да ведь это же больше от поставщиков зависит.

Виктор Степанович Самохин заявил сердито:

— Вот, к примеру, у меня сталевары-огневики — будь здоров! А кто нас терзает? Шихта. Пакеты металлолома прессуют рыхло, они не плавятся, а сгорают, как солома. Или дают не габарит, а разносортницу. Печи у нас не мусорные ямы, сталь должны давать заказную, высокочистого металла. Как того требует новая техника. И главное — люди обижаются. Про металлолом этот обидно говорят «утиль». А в нем большой труд человеческий, и ему мы новую жизнь даем.

— Без сырья вам, верно, ни туда, ни сюда.

— Сырье! Тоже нашел слово... — скривил брезгливо губы Самохин. — Недр богатство, вот оно что такое, по существу, это сырье. Горнякам теперь приходится за ним в самую глубь земли лезть или из нутра вечной мерзлоты вырубать.

Геннадий Семенович, словно оправдываясь, сказал:

— Мы теперь в литейке на точное литье перешли, и чтобы без наплывов. Тем самым обрубщиков вытеснили. Их профессия теперь лишняя. — Он посмотрел на Марата Васильевича: — А вот вы, стружкогоны, много металла зря изводите.

— Если бы кузнечно-прессовое оборудование получили, тогда бы нам заготовки красивые шли; самую чуть снять — и пожалуйста, готовое изделие.

— Если бы да кабы, — усмехнулся Геннадий Семенович. — А вот за хозяйскую во всем экономию мы боремся слабо.

— Ты вот наверху — администрация, а все жмуришься, ежишься, — решительно заявил Егор Семенович. — Назначьте полную оплату за все, что человек на своем месте сэкономил?

— А если получится перекося в фонде зарплаты?

— Так не в худшую же сторону, а в лучшую!

— Я в своей бригаде без двух положенных по штату рабочих обхожусь, справляемся лучшим образом. И что же? Премию повысили, а чтобы платить за тех двоих — тут заминка со стороны администрации.

— Что верно, то верно, — вступил в разговор Олег Семенович. — Без счетной электронной машины сразу не понять, как, за что начисление производится. Не арифметика тут, а высшая математика.

— В бригадах это дело упростили, — напомнил Марат Васильевич. — И не только упростили, а каждый раз каждому подводим фундамент — за что и сколько. И не так, как прежде, — сунут деньги из окошечка кассы, все равно, как из амбразуры дота, — распишись и отваливай. Теперь платим с разговором, с душевностью, торжественно.

— И со склоками, пререкаательствами тоже, — угрюмо напомнил Егор Семенович. — Свалили все на совет бригады, им и расхлебывать; а есть такие, которые не то что из-за лишнего рубля, а из одного самолюбия трагедию, как в театре, устраивают.

— Ну и что? — пожал плечами Марат Васильевич. — Надо убеждать, разъяснять, воспитывать. А то некоторые полагаются только на совещания, на доклады да лекции.

— А вы про Угарова, ученика Егора Ниловича Горохова, слышали? — спросил Серегин. — Ферт оказался. Стал пропадать инструмент из шкафа Горохова, и ведь не просто воровали, а спустя какое-то время обратно клали: зазубренный, порченный. С одной стороны, вор, а с другой стороны, и не совсем. Поймали этого самого Угарова и что же выявили? Он на даче у механика соседнего завода с двумя нашими ребятами мастерскую по ремонту автомашин оборудовал. Ну, после смены и в выходные зарабатывали большие рубли. Егор Нилович как узнал, что его ученик шабашником оказался, почувствовал себя нехорошо. Отвели в лечпункт, врач сказал: сердце. Теперь бюллетенит.

— Это что же такое получается? — возмутился Семен Фомич. — Весь завод идейно на подъеме, а у вас на глазах молодая поросль в частное предпринимательство полезла! Вы тут соловьями разливались — мол, какая эта ваша новая инициатива полезная, а когда такое наружу вылезло, кто за него ответит?

Он продолжал сурово:

— Егор Нилович все на себя принял, с того и заболел, и не чем-нибудь, а сердцем... Ну и что с этим парнем теперь?

— А вот, — кивнул Серегин на Марата Васильевича, — упросил бригаду этого шкета к себе взять на предмет перевоспитания.

— Жулика! — изумился дед.

— На заводе разговор пошел мрачный, — сказал Егор Семенович, — мол, это Марат сделал в пику Горохову: ты, значит, не смог, а мы сможем; ты в бригаду ко мне не захотел идти, так вот я вместо тебя подонка возьму. И заболел Горохов только будто бы от обиды.

— Ну, знаю, слышал, — буркнул Марат.

— Почему молчал? — строго спросил Геннадий Семенович. — Ведь Должиковых срамят.

— Ну и что?

— А то! — разгорячившись, выкрикнул дед. — Ты Марат Должиков. Оттого, что ты Должиков, к тебе лучшие мастера пошли. Они как рассуждали? Раз Должиковы за что берутся, значит, дело прочное, надежное. И не думай, что сам по себе что-то значишь...

— Правильно, — поддакнул старику Егор Семенович. — Им для первоначалу фирма нужна.

Яков Семенович произнес насмешливо:

— Ты, Марат, не спорь: и вправду, оттого, что к тебе лучшие пошли, у вас и показатели лучшие.

— А ты с Егором в союз не вступай! — прикрикнул дед и на Якова Семеновича. — Егор весь сам в себе, на других людей в нем тепла нет. А ты человек, женой и детьми согретый, у тебя вся жизнь в ажуре. Не ехидничай. — Дед обернулся к Марату: — И за что ж ты этого проходимца пожалел?

— Нет, — сказал Марат, — не из жалости я его взял. Бригада, верно, у меня сильная по производственной линии, но...

— Чего «но»? — нетерпеливо pokrutil шеей дед.

— Надо еще по-человечески друг к другу прилаживаться. — Марат указал глазами на Якова Семеновича. — У него в бригаде, я заметил, приходят все заранее, до смены, и после долго не уходят — разговаривают.

— Ну и что?

— Значит, сдружились, интерес друг к другу появился, а интересуются не только работой, но и тем, как у кого все в жизни получается.

— А у тебя?

— Такого нет.

— А при чем тут этот жулик, на кой черт он тебе сдался?

— А мне он для того нужен, чтобы у нас совесть спокойная не была, пока он не выпрямится. А то от высоких показателей тихими, благополучными стали — будто всего уже достигли.

— Ну, насчет спокойствия ты лишку хватил, — возразил Яков Семенович. — На сквозную-то бригаду ведь не соглашаются: не хотят себя связывать с другими цехами, где все не так гладко, как в механическом.

— Вот, — авторитетно подтвердил Геннадий Семенович. — Тут-то и загвоздка. На таком сквознячке и продувает людей, как в трубе аэродинамической. Наши сборщики тоже ерепенятся: вы для них поставщики — значит, вы и ответчики, а соедини сборщиков в одну бригаду с вашими, из механического, — всем за все и отвечать скопом.

— Я на сквозной настаиваю и буду настаивать, — сказал Марат. — Одну ступень взяли, надо взбираться на следующую.

— А ежели вовсе не захотят? — спросил Егор Семенович. — Без их воли твоя — как мяч об стенку. Не прикажешь!

— Перейду в ту бригаду, которая захочет стать сквозной.

— А они тебя в бригады не захотят.

— И не надо.

— Значит, капитулировать?

— И в инженеры не пошел и бригадиром не получился! — гневно вынес дед свой приговор.

— Что поделаешь... — потупился Марат.

— Ты обожди смирным становиться, — совсем разъярился дед. — У тебя партгруппа в бригаде есть?

— Ну, имеется.

— Не нукай, я про партийную оценку спрашиваю. Ты с коммунистами это дело обсуждал? Нет? Ясно! Так вот мое о тебе мнение: не тебе этого парнишку воспитывать. Потому как тебя еще самого довоспитать надо, и не бригадир ты, а сопля. Не умеешь с людьми по-человечески, по-партийному все наладить. И тут ты все «якал» — моя бригада, я на новую ступень лезу. И не отворачивайся! — приказал старик. — Сторонних людей тут нет, чтоб перед ними мне и тебе стесняться. Это что же получается? — со-

крушено покачал он головой. — И я думал и другие — если не все, так некоторые, — что ты по чистоте души от инженерной должности отказался. А что на деле получается? Захотел при инженерских знаниях с рабочего места выше всех подняться, подсобрал бригаду мастеров первейших и давай ею пользоваться. А раз не получается, не слушают, то сразу и в кусты. Хорош фрукт на нашем дереве вылутился!

— Ладно, хватит, не маленький! — вспыхнул наконец Марат; с шумом отодвинув стул, он встал из-за стола и двинулся к двери.

— Как это не маленький, когда ты мне племянник? И я тебе к тому же еще и старший партийный товарищ! Но этих слов Марат не дослушал, ушел.

Наступило тяжкое молчание. Вошла Елена Егоровна со всегдашней своей приветливой улыбкой, возвестила:

— Самовар вскипел. — Она ласково поглядела на мужа. — Геннадий самовар обожает, говорит — от него уют в доме и вода в нем вкуснее. — Огляделась. — А Марат где?

— Вышел проветриться, — мрачно сообщил Егор Семенович.

Конечно, досадно, что так грустно завершился домашний праздник по случаю дня рождения Геннадия Семеновича Должикова. Ясное дело, его можно было провести просто благостно — по-семейному, как иногда проходят не только домашние торжества, но даже служебные заседания, где докладчик, как тамада в застолье, во весь свой голос красноречиво, выразительно восхваляет заслуги и достижения множества лиц и, робко озираясь на председателя, упоминает о недостатках, и то лишь полупшепотом, чтоб сильнее подчеркнуть этим достоинства упомянутых лиц. И очередные ораторы на таких заседаниях, подобно докладчику, в свою очередь, только объясняются в любви к ближним.

Такие заседания способствуют бодрому настроению участников, но недостатки от этого не становятся достоинствами. Такие заседания, конечно, — праздник для души, но одновременно печаль для дела...

Должиковы, как мы уже сообщали, были людьми страстными, впечатлительными; главное их желание — быть достойными своего труда. И «династическое» в них больше всего сказывалось в том, что каждый хотел, чтобы другой стал еще лучше.

Возможно, такое желание испытывают многие люди.

У Должиковых оно обычно проявлялось в том, что если один из них достигал хороших результатов, остальные обращались к нему с претензией — почему не отличных? И, по-родственному любя друг друга, они не спускали друг другу естественных для каждого человека промахов. Исключение делалось лишь для деда, партийного их патриарха. Но именно он зачастую был главным зачинщиком семейных стычек, которые именовал по-старомодному — чисткой.

— Самокритику я тогда признаю,— говорил Семен Фомич,— когда сам человек хочет посоветоваться, как дело исправить. А бывает по-другому. Вот он заранее знает, что его припрут, и яростно на себя начинает наговаривать, сам себя хлещет, кается, и тогда обязательно найдутся заступники — его от него самого оборонить. И он на это свой расчет держит.— Дед вздыхал:— В человеке еще много ненужного напихано. Самолюбие — оно ничего, когда в меру, терпеть можно, но себялюбие — это зараза со старого времени тянется, вот его выводить из человека первоочередно надо.

И, высказав эти и подобные им соображения, дед оправдывался:

— Я теперь вольный казак, на пенсии, свободного времени много, вот и размышляю о чем попало. Раньше некогда было: хоть и заведутся в голове какие правильные, дельные мыслишки, а углубляться в них не получается: безотложно свое дело делать надобно. Теперь шире стал думать, просторнее. К старости, говорят, человек дальноркостью страдать начинает. Очки выписывает. Но ежели он дальше своего носа видеть ничего не желает, ему очки не помогут. А мне интересно не только то, что у нас сейчас есть, а как через сто примерно лет все получится.

— Ну, а как вы себе дальнейшее будущее представляете?

— Как-как,— обижался дед.— Как надо.

О себе Семен Фомич говорил, что по состоянию здоровья обязан до двадцать первого века дожить. Наши люди к этому времени всесторонне образованными станут — сплошная интеллигенция. Что такое дурак и жулик, только по книгам будут узнавать. Тут он задумывался, пояснял:

— Дурак чем вреден? Ему велят: ставь высокий дом — он башню строит. Ему напоминают: рабочих рук нехватка, надо автоматами заменять. А он в ответ из проходной любого болвана заманивает и им спасается. Ему велят внед-

рять новую технику — он вместо «Волги» себе «Чайку» заводит. Фонды отпускают на оздоровление и отдых людей — он зимний сад возводит на заводской территории.

Его предупреждают: не каждый почин всем подходит, — он за самый последний хватается и давай налаженное наспех переналаживать. Только чтобы вокруг него пошумели. И на все он любит указание по всей форме получать, чтобы в случае чего нагоняй был не ему, а указчику, и на все он согласен, лишь бы на то указание было, а если указаний нет — он всегда против. Дурак больше всего за свою должность беспокоится; чуть снизь его — на всю жизнь скиснет, обиженный. Хоть сам знает — не тянет.

— Не слишком ли ядовито рассуждаете?

— В меру. Сильными дозами лекарств даже от радикалита лечат.

Вообще-то Семен Фомич был, что называется, себе на уме: если перегибал, оправдывался с лукавой и доброй улыбкой: это, мол, по-стариковски, мне можно.

О летунах он так выражался:

— Сами мы развели такое кочевое племя. Глянешь в трудовую книжку — всё в штемпелях: «прибыл — был», — словно он командировочный какой-то, всюду временный. А человек временным не бывает: дерево без корней — бревно.

— Так что ж вы предлагаете?

— Поставить бегуну предел. Брать с него подписку, что год проработает.

— А если он обязательство не выполнит?

— Ставить штемпель — «летун».

— Ну, это, знаете, слишком!

— А как его назвать, если он сам не знает, кто он?.. Наш прицел на то, чтобы уравнивать деревню с городом, физический труд с умственным, чтобы ни предприятий, ни людей отстающих не было. Чего же тогда по всей территории страны бродяжничать? То, что сегодня не так, завтра так будет. А даже если где еще дело плохо поставлено и ты от него убежишь, так это не выход. Круг сделаешь, а там, где было плохо, стало нормально, только тебя назад не возьмут: беглого помнят. Скажут — не требуетесь.

— Куда же ему?

— Как куда? На производство, но только на годовую

стажировку, в ученики. Квалификацию и опыт он растерял в бегах. А как иначе? Иначе будет не по-людски. Пропадающих людей у нас нет и быть не должно — этому и в угрозиске учат.

За проходной Марат Должиков встретил Самохина, спросил:

— Ну, как жизнь?

— Так себе, пока полосатая.

— Что так?

— Да вот как ни заседание горисполкома, так меня за мой мартеновский костят.

— План не вытягиваете?

— Насчет плана у нас с присыпкой, да говорят, мы им окружающую среду портим. А труб без дыма не бывает, как и мартеновского без труб.

— Вы дымоуловители ставили?

— Ставили. Кот дорогой, а мышей плохо ловит. Хотят нас за город выселить или на электроплавильный переделывать.

— По плану реконструкции так и числится.

— А если у меня сталевары — циркачи? Дают в мартенах металл по качеству не хуже, чем в электропечах выплавляют. Такие мастера теперь уникамы, они во время войны выучились, нынешним это не под силу.

Вот и болит сердце. Пока начнут старый наш мартеновский ломать да новый электроплавильный строить, мои ребята от меня разбегутся на другие заводы.

— А ты?

— Что я? Я на новое любопытный. Прилеплюсь к строителям, монтажникам, буду за ними строго наблюдать и вместе с ними новые печи строить, а старые ломать.

— Зазвал бы и своих на такое же, сбережете кадры.

— Думаю, но совесть не позволяет, чтобы за каждым из них в это время целая река металла для страны пропала... Ну, а у тебя-то как? Со сквозной?

— Литейщики — «за», мои жмутся.

— Еще бы, у вас на поток перешли, целый ряд изделий перебросили на автоматы, а у них оборудование поставили — и все сбой и сбой. Видать, еще сырые, не испытанные на практике агрегаты попались.

— Правильно, — согласился Марат. — Поэтому нет пока равенства возможностей.

— А равенство чем достигается? Помощью в развитии.

— Ну и что?

— А то! Вы же, черти, не развалились бы — пошли бы после смены в литейку и собственноручно поколдовали, в чем там у них нелады с техникой.

— Это мысль, — обрадовался Марат.

— А у тебя что, своих шариков не хватило?

Не обижаясь, Марат восхищенно заявил:

— Вот ты сталевар, а как сильно в нашей металлообработке понимаешь!

— В вашем деле я на уровне подсобника, и то не вытяну, а вот по-партийному прикинул в уме, и получилось, что правильно. — Самохин спросил: — Ну, а тебя как, твоя партгруппа поддержала?

— За внедрение новой техники, где я как инженер смыслю, — да. А как бригадира... — Марат пожал плечами. — Разговор был острый: мол, я каждого только на свой аршин мерю, подход ко всем один и тот же, хоть и принципиальный, а люди, дескать, все разные. Только я подлаживаться не любитель.

— Есть у тебя такая заноза, — вздохнул Самохин. — Идея новых бригад, конечно, — великое дело, к коммунизму протаптываем дорожку. Но не бегом же бежать надо, а шагом идти — широким и основательным. А ты, я слышал, с высокоразрядными на стычку пошел, хотел уже было накидку снять за разряд — это когда они рядовую работу с низкоразрядными наравне выполняли. Имей в виду: уравниловка — самое гиблое дело. Создай, организуй человеку на его рабочем месте такие возможности, чтобы он себя во весь свой рост показал. Пока ты каждого в отдельности не поймешь, и тебя не поймут. Будут в свои дудки вразнобой дудеть, как оркестр перед спектаклем: шум есть, а стройная музыка не получается. У тебя на каждом совете бригады — препирательства, а надо, чтобы раз совет — так и советоваться; кто лучше предложит, того и верх. Конечно, твое слово в вопросах техники много весит — ты ведь инженер, и опять же фамилия Должиков. А горячишься все равно зря, резкие слова — они только человека по сердцу больно режут и мимо его ума проходят.

— Ты что же это — обо мне сплетни мне же докладываешь!

— Сплетни — всегда вредная вонь, — спокойно сказал Самохин. — Но если правда? Она, конечно, бывает, и жжет чувствительно, но заживет; а на чем обжегся — век по-

мнить будешь. Меня вот тоже в мартеновском в оборот взяли. Одни говорят — цех отстраивать надо, стране от нас безотлагательно металл требуется, и мы его даем, сколько надо, без реконструкции. И это, понимаешь, верно. Другие согласны в новом месте новую сталелитейку ставить и на новое просторное жилье там рассчитывают. Также верно. А третьи, особенно молодые, за электроплавильный горой стоят: им подавай техническую революцию, раз в другой не участвовали. И все берут в такой оборот, что не знаешь, в какую сторону поворачиваться.

— Ой ли? — улыбнулся Марат.

— Ну, тут ты понял, каким ветром и куда меня тянет, — весело подмигнул ему Самохин. — Имею еще намерение на плазме выплавлять металл сверхъестественных свойств. А вас, стружкоскребов, хочу, чтоб ликвидировали как расточителей металла и его расхитителей. Не обижаешься?..

И в обычных обстоятельствах и особенно тогда, когда поступали заготовки из сложных сплавов и сугубо трудной для обработки конфигурации, Сергей Федорович Фомин не приступал к работе сразу.

Станок его — многошпиндельный полуавтомат — был в полной готовности. Но вот сам Сергей Федорович всегда нуждался в том, чтобы сначала настроиться на работу. Хотя чего тут настраиваться? Рабочие чертежи на стеллаже, технологом все дотошно указано, все предусмотрено. И Сергею Федоровичу не менее, чем технологу, все понятно и известно. И все-таки он каждый раз медлил приступить к работе. Пробовал на холостом ходу станок так, словно впервые с ним знакомился. Затем хмуро, недоверчиво изучал рабочие чертежи. Лицо его при этом выражало недовольство — не то чертежом, не то самим собой. Но вот после тягостных размышлений он начинал копаться в инструментальном шкафчике, выбирать не те инструменты, оправки и приспособления, которые заранее приготовил, а совсем другие, и насупленное лицо его приобретало выражение воодушевления, решительности. Тогда он начинал работать с тем сладким самоотрешением, с той поглощенностью, на какую способны только счастливые люди, люди, для которых их профессия — пожизненное и любимое призвание.

Свои личные сообразительности Сергей Федорович обычно сдавал последним в цехе.

Прежде чем сдать, советовался с мастерами высшей квалификации — такими же, как он сам. Посещал различные производственные подразделения, от которых в известной степени зависел, — осведомлялся, как у них обстоят дела.

У себя дома производил всевозможные подсчеты и расчеты, прежде чем поставить цифры в своем личном обязательстве.

И когда его упрекали, что он волюнит, Сергей Федорович сурово говорил:

— Врать не приучен! А если даю слово — значит, точка! Перед всем коллективом и даже вроде как перед страной обязуюсь. На мою цифру тоже полагаются и в большом плане ее учитывают.

— А все что — не так думают?

— Как остальные, не знаю, а я боюсь обсчитаться. Будто большие деньги мне доверили, а у меня при подсчете получается недостача... — Так не совсем внятно Фомин объяснял свою медлительность при составлении личных обязательств.

И он упорно уклонялся от чрезмерно высоких цифр. Но когда выходил на первое место, перевыполнив все обязательства, объяснял, конфузясь:

— То, что записал от себя, выполнил, а что сверх получилось — так это не от меня, а от всего цеха прибавка. Заготовки поступали без задержки и качественные, наряды заранее выписывали, светильники поставили яркие, оснастку, оправку и инструмент не надо теперь самому до ума доводить — получаем со спецзавода, поскольку мы теперь объединение, а не, как раньше, все сами себе в суете кустарно изготовляли. Значит, порядок. От него и прибавка, а вовсе не от меня.

— Выходит, не Фомин вытянул завод, а завод Фомина?..

Вообще-то вначале Фомина на заводе никто не считал за передового рабочего. Уважали только за то, что он фронтовик. Норму выполнял еле-еле, на сверхурочные не соглашался, с собраний тишком уходил до окончания, от общественной работы увиливал. После гудка — сразу к проходной.

Человек он был неконтактный и даже раздражительный. А почему? Пробовали беседовать о личном — ни

в какую. Ходил в солдатской стеганке и бобриковой армейской ушанке. В столовой на обед брал только два первых, но зато покупал в буфете целую кучу пирогов с повидлом и, завернув в газету, уносил домой. Кому? Он об этом не говорил.

В бою, уже в самом Берлине, Фомин был тяжело ранен. Долго лежал в армейском госпитале, понемногу даже привык к больничной жизни. В госпитале он и сдружился с сержантом Леной Лопуховой, которая была ранена там же, где и он, и у нее ампутировали ногу по самое колено.

Поскольку в госпитале оставались только тяжелораненные — легкораненные после победы все без удержу бросились домой, — ничего особенного в том, что Лопуховой отрезали ногу, никто не видел: у многих тут чего-нибудь не хватало. Люди привыкли к чужим увечьям и воспринимали их совершенно спокойно. И не было нужды высказывать друг другу сочувствие. Фомина и Лопухову выписали из госпиталя одновременно; оказалось, что они из одного города. Но, поскольку город длительное время находился в оккупации, ни у него, ни у нее в живых никого не осталось.

В госпитале Фомин чуждался Лопуховой по уважительной причине. Она была хорошенькая, изящная блондинка, вокруг нее всегда вился офицерский состав и даже один сильно искалеченный майор — весьма красивый парень, хотя абсолютно лысый, поскольку ударной волной у него начисто сорвало с головы всю кожу. Но опять же — он был майор. А Фомин дальше старшины не выслужился.

Покидая госпиталь, Лопухова расцеловалась с майором, всплакнула и обещала писать. Но адреса своего не дала: у нее его просто не было. Пришли на вокзал вместе, с трудом втиснулись в вагон и, когда сели на лавку, впервые поняли, что вокруг них теперь только здоровые, целые люди. Совсем другие люди. Им стало тоскливо, одиноко, и, возможно, от этого они потянулись друг к другу. Лопухову влекло к Фомину сознание собственной беспомощности, а Фомина к Лопуховой — сочувствие, поскольку он был целее. Правда, в нем после нескольких операций оставался еще один осколок, весьма опасный, который изъять можно было только позднее.

Поселились в отведенной им исполкомом комнате в подвале полуразрушенного дома. Фомин был уверен, что Лопухова решила стать его женой только из благодарности за заботу о себе. Лопухова же, в свою очередь, думала, что

Фомин женился на ней из жалости. Про любовь между собой не говорили, считая, вероятно, достаточным, что их роднят фронтовая жизнь и пребывание в госпитале. Возможно, это нежелание думать о чувствах и высказывать их друг другу стало и дальнейшей причиной несложившейся жизни.

Фомин поступил на завод; сначала учеником, как и многие другие фронтовики. А Лопухова в магазин — кассиром. Она уже ходила без костыля, на протезе, и выглядела очень привлекательной.

Фомин прихварывал, все откладывая новую операцию, и потому давал только порму. А это значило, что денег он получал немного.

Когда у них родилась дочка, ей дали красивое имя — Нелли. Фомин очень радовался. Но жена сказала с горькой усмешкой:

— Поторопились мы с тобой, Сергей. Какая я мать, какой ты отец? Инвалидная мы с тобой команда!

— Ну, это как сказать! — резко оборвал ее Фомин.

Он взял ссуду в страхкассе, отдал деньги жене, а сам лег в госпиталь. Сразу же после тяжелой операции начал проситься домой. Явился тощий, слабый, со впалыми щеками, но бодрый и полный надежд.

Вскоре ему удалось на заводе устроиться по совместительству ночным охранником, тогда же он начал подрабатывать в госпитале донором. Паяк, полагавшийся донору, Фомин приносил жене.

Пошел второй год их совместной, трудной, но все-таки налаживавшейся жизни.

Но вот однажды Лена сказала мужу:

— Сядь, Сергей, я тебе сейчас о себе плохое говорить буду. — И заплакала. А потом сквозь слезы сообщила, что есть человек — очень хороший, который ее любит и предлагает свою надежную руку. И хотя она безногая, он готов для нее на все, но только просит, чтобы она пришла к нему без ребенка. Он хочет от нее своего ребенка, и очень возможно, что этот ребенок скоро родится.

— Так!.. Ясно!.. — Фомин понурился, закурил и вдруг спокойно проговорил: — А вот за то, что ты мне Нелли на-совсем отдаешь, за это тебе спасибо. Очень большое спасибо!

— Сережа, прости! — воскликнула в отчаянии Лопухова.

— Отставить! — сурово приказал Фомин. — И не ори, словно тебе зуб дергают, не волнуй ребенка.

— Ты найдешь себе очень хорошую женщину, не инвалидку и не такую, как я, подлую. Прости!

— Моя совесть при мне, а твоя где — тебе самой виднее. А я над тобой не политрук, чтобы по душам беседовать. Все! — И Фомин стал разводить примус, чтобы приготовить картошку на ужин и разогреть для Нелли то, что он принес с детской кухни.

Конечно, все было не совсем так, как здесь описано. Горько, мучительно переживал Фомин случившееся. Он, может, и запил бы, как это бывает с людьми в его душевном состоянии, но не мог воспользоваться этим общепринятым средством, потому что у него была дочь.

Ей-то он и отдал всего себя. И своей главной жизнью считал те часы, что проводил с дочерью, все остальное служило лишь тому, чтобы обеспечить эту возможность. Именно поэтому многие годы Фомин считался на заводе середняком, в активе не числился. Но ему многое прощалось за то, что он бывший фронтовик.

Может, потому, что дочь выросла, уже кончала школу и стала самостоятельной, может, потому, что она стала интересоваться, почему фотография отца ни разу не побывала на Доске почета, стоявшей не на территории заводского двора, а на городской площади — для всеобщего обозрения, а может, и потому, что Фомин вполне овладел своей специальностью и даже для повышения квалификации стал посещать вечерние курсы мастеров, он вскоре выдвинулся в передовики. Наконец-то его фотография появилась на Доске почета.

Такую же фотографию Нелли повесила над своей кроватью, объявив:

— Какая я счастливая! И перед сном всегда буду глядеть на тебя, чтобы спать тоже счастливой!

Сергей Федорович любил разговаривать с дочерью. Он часто рассказывал ей о войне. И по его рассказам выходило, что воевали самые лучшие наши люди и ему необыкновенно повезло оттого, что он был там и набрался у них только самого хорошего.

— А мама?

— Тоже! — без запинки отвечал Фомин. — И то, что она нашла человека получше, чем я, правильно. Человек должен тянуться к лучшему, а не к худшему.

— Но ведь ты хороший!

— Вроде ничего,— улыбнулся Фомин.— Но вы, молодые, вы теперь самыми лучшими людьми будете. Обязаны быть. Наш народ на смерть шел ради вас, чтобы вы хорошо, чисто жили, а самое главное, чтобы были правдивыми. Только правдивый человек храбрый, и всем людям от него самая главная польза.

И Нелли, надо отдать ей справедливость, отличалась смелой, хоть и несколько неожиданной правдивостью. Она признавалась отцу в таком, что он иной раз даже изумленно цепенел. И в школу его не однажды вызывала классная руководительница — пожилая особа, гладко причесанная, с тонким носом. Вызывала, жалуясь на Нелли за то, что она дерзко и откровенно говорит о себе при всем классе вещи, о которых нельзя говорить даже наедине с самыми близкими. Часто ссорится с подругами, предъявляя к ним какие-то особые, завышенные моральные требования. А ведь все они еще, в сущности, полудети.

Послушав ее, Фомин задумчиво осведомился:

— А что это значит — полудети? Дети, они тоже люди. И среди людей живут. Бывает так, что и в преклонном возрасте кое-кто получеловеком остается.

— Вы плохо воспитываете свою дочь,— решительно заявила учительница.

— А я ее не воспитываю. Скорее, она меня воспитывает,— хмуро произнес Фомин.— В ней человек светится — тоже понимать надо!

Фомин возвышенно рассказывал дочери о фронтовых товарищах и об окружающих его людях оттого, что имел не совсем отчетливое намерение внушить ей радостное и даже восторженное ощущение жизни, которое ему самому не очень было свойственно. Он хотел развить в ней доверительность к людям, и значит, особую требовательность к самой себе, чтобы она стала таким человеком, каких, к сожалению, сам Фомин не встречал, но хотел, чтобы они были.

И в безудержной, пылкой правдивости Нелли, в ее постоянном стремлении к честности, он видел задаток высокой и бескорыстной натуры.

Сам Фомин тоже был правдивым человеком. Не однажды на фронте глядел он в глаза смерти, видел гибель многих людей, и, соотнося это теперь с нынешней жизнью, просто не хотел задумываться, прикидывать, что ему будет, если он кому-нибудь скажет в лицо нежеланную правду.

Как-то, неожиданно для всех и для самого себя, он выступил на торжественном собрании и, повернувшись к директору завода, сказал, уныло разводя руками:

— Праздник — он, конечно, праздник, но работаем-то мы по будням. И что же у нас получается? Механические цеха — картинка! Выставочный зал — новая техника. А заготовительные, кустарные мастерские — совсем другой коленкор. Там не оборудование, там — утиль. А без обеспечения тыловых подразделений и на передовой не навоюешь и на производстве много не наработаешь! Все! — Допил спокойно воду из стакана, похвалил: — Газировка! — и пошел на место.

Он равнодушно выслушал упрек председателя в том, что выступил крайне неуместно. И потом так же равнодушно выслушал на бюро горкома партии похвалу за принципиальное и важное критическое выступление. Только сказал удивленно:

— Так я же не критиковал! Просто по делу высказался. До этого в себе переживал, а тут столько умного народу собралось — решил, надо посоветоваться.

Война приучила его к тщательной осмотрительности и одновременно к спокойной дерзости.

— Я вот, Неллечка, лектора решил послушать у нас в клубе. На тему «Самосовершенствование личности» говорил. Такой видный, осанистый, читает без бумаги — все наизусть. Ну, думаю, получу полезную инструкцию. Слушал-слушал, а что у него в итоге? Все для себя. Вроде культуриста. Есть такие, которые с гантелями у зеркала сами себе фигуру налаживают, мускулатуру нагоняют — для личной физической красоты и людям на удивление. А выпусти такого на стадион, в команду — пользы от него коллективу никакой, поскольку нет у него физкультурной специальности, чтобы помочь коллективу, допустим, какие-нибудь соревнования выиграть. Значит, не для людей его совершенствование, а только для себя. Вот и у лектора — все, что он там советовал, вообще, может, и полезно, но без точной цели. А бесприцельно человек жить не может, и чем выше его нацеливать, тем он сам становится выше. Ты мне эту высшую цель укажи, тогда я для достижения ее на все с готовностью пойду.

А ради чего это нужно — самосовершенствование, — он так и не сообщил. А без главного какая охота ум упражнять или, скажем, той же зарядкой заниматься?

— Что же ты считаешь главным? — спросила Нелли.

— Так ведь у каждого цель жизни должна быть, а у кого она не вырисовывается, — помоги понять. На то ты и лектор.

— А у тебя такая цель есть?

— Есть, — сказал Фомин и застенчиво улыбнулся, глядя на дочь.

— Ты давай говори прямо, без отцовских сантиментов, — строго потребовала Нелли.

— Ну, работа. Она ведь тоже жизнь, и занятная, если как следует вдуматься. Перевыполняю я план — тут мне и прогрессивка и премиальные. Это с одной стороны, с обыкновенной. Но есть другая сторона, когда уже не рубль, а почет — мера.

Принял соцобязательство — значит, соревнуешься по всем человеческим показателям. Тут все к делу идет — и твой ум, и мастерство, и сноровка, и придумка. И опять же учеников своих учишь, которые на разряд выше поднялись, и экономию материала... Выполнишь обязательства — коллектив тебя признает, и получается — вроде достиг ты на данном этапе того, ради чего живешь, дышишь. Человеком себя чувствуешь. И удовольствие испытываешь оттого, что ты для людей, для народа, а не для себя лично самого себя на данном этапе превзошел. Каждый день идешь на работу, и будто каждый день тебе — получка. Но получка не денежная. Я про уважение от коллектива говорю. Нужен ты людям — вот что понимаешь.

— А есть ненужные людям люди?

— Конечно. И у нас на заводе есть пьяницы, прогульщики и даже воры. Но надо вникнуть, почему они такие. Нас ведь много, настоящих кадровых, а их совсем мало. Мы коллектив, а они все порознь. Нам, ясное дело, такие они не нужны. Но если мы каждого поштучно не исправим, то это еще хуже, чем производственный брак гнать и не совеститься. Каким бы человек ни был, а в человека его вернуть надо — люди на заводе растут ведь не только по линии квалификации, но и как люди тоже. Вот я и полагаю, что совершенствоваться человек может и должен не в одиночку, сам для себя, сам по себе, а на людях, с людьми и по ним, по лучшим себя выстраивать, чтобы им опять же как можно более нужным быть.

— Ты знаешь, папа, я плохой человек.

— Ну, вот еще... — запротестовал Фомин и, огорченно глядя на дочь, произнес не совсем уверенно: — Это ты зря.

— Мне иногда кажется, — задумчиво сказала Нелли, — что ты ради меня притворяешься, нарочно говоришь только о хорошем. И о маме тоже.

— А что? — потупился Фомин. — Мать у тебя замечательная. Сколько раненых бойцов за ворот шинели из-под самого огня вытащила, когда санинструктором была! А потом, когда курсы снайперов окончила, из укрытий фашистов шлепала. Передовая у нее за спиной оставалась. Представляешь?

— Так то война.

— А потом, при ее красоте, фигуре, — без ноги? Тут очень просто инвалидом духа стать. А она выпрямилась. Протез так носила, будто и нет его. Походка, стать, улыбка. И правильно она меня оставила. Я кто? На фронте — солдат, на заводе — рабочий. Она меня так уговаривала насчет продвижения по жизни. Чтобы вверх шел. Мне ведь в милиции офицерское звание предлагали. Не согласился. Очень она на меня за это обиделась... Конечно, может, я теперь бы в полковники вышел...

— Жалеешь?

— Что не в милиции? Нет. На заводе мне лучше. Хоть и при том же звании — рабочий, но не всякий милицкий полковник — член своего райкома, депутат райисполкома и вообще...

— И еще ордена у тебя.

— К орденам я и на фронте привык. Но у матери твоей их было тогда больше, чем у меня — солдата. А вот все-таки она до меня снизошла.

— Ты ведь неправду говоришь, папа, — снизошла. Она тебе жизнь испортила.

— Неправда, — бледнея и отворачиваясь, глухо произнес Фомин. — Если б обманывала меня, тогда — да. Но она мне сразу правду врезала. И тебя мне все-таки подарила, пожалела, значит, меня, чтоб я не один, а с тобой остался. Может, у нее сердце кровью обливалось, а вот отдала.

— Эх, папа, папа, — вздохнула дочь. — Все твердишь: «Говори правду, говори правду», — а сам?

Последнее время Нелли реже посещала мать и возвращалась от нее унылая, молчаливая.

Отец из деликатности уклонялся расспрашивать ее о том, как живет его бывшая жена. И каждый раз очень расстраивался, не зная, что приводит дочь в удрученное состояние. Но когда он неловко пытался ее развлечь, она отвечала ему презрительно:

— Бодрячок! Стопроцентный ты бодрячок, папа. Придумал себе удобную жизненную позицию: все, мол, хорошо, и живешь, наслаждаясь своими производственными успехами. Смотришь на себя в телевизор, где ты, как чуело, бормочешь одно и то же — «Дали сверх плана, берем новое обязательство». А люди смотрят и думают: хвастун! Потому что ты скрываешь, с каким трудом вам далось выполнение этих ваших обязательств. Значит, врешь людям: мол, раз-два, и взяли!

— Я бы, конечно, сказал, — робко защищался Фомин. — Но велели уложиться в отпущенное время. Это я потом телевизорщикам рассказывал, как нелегко дались нам и техника новая и металл сверхпрочный. По нему фреза только скользила, скрипела, а не брала. Так намучились, пока с алмазами резцы не приспособили... Ну, и еще кое-что... И в зароботке теряли, и терпение на исходе, и план провисал, и на каждой летучке сидели, как виноватые. А потом технолог сменил марку металла. Думаем: что такое? Само по себе дело пошло. Стали вникать и додумались. Обман, очковтирательство. Взяли его за горло.

— Это тебя взяли за горло, — иронически поправила Фомина дочь. — Дескать, с заказчиком согласовано. А ты отказался наряд выполнять, на тебя же и взыскание паложили — за срыв плана.

— Наложили и тем же поспешным манером сняли, и главный технолог выговор по справедливости получил.

— А сколько тебе это стоило? Ночи не спал, сидел, курил до полного обалдения, все сочинял новый способ обработки.

— Но ведь придумал же?

— Вот ты мне только об этом и сказал, что придумал. Ликовал и технолога этого хвалил за то, что он потом тебе содействовал... Вот так ты и мне, папа, внушаешь и себе, что жизнь хороша и все хорошо и все хороши. И что я у тебя самая хорошая.

— Это точно — подтверждаю без всякого подхалимажа. В институт вступительные сдала на пятерки. Первую стипендию кому? Мне, отцу. А я когда-то всю свою первую получку на себя истратил — ботинки купил. У матери без меня трое, и все разуты-раздеты, и мать в одних калошах на работу ходила. А я себе ботинки! Поняла, какой я скотиной рос? А ты мне всю стипендию выложила, до копеечки.

— Или ты чудак, папа, или притворяешься. Время-то сейчас другое.

— Люди тоже другие. И время хорошее и люди лучше.

— Оптимист ты, папочка, вот ты кто, — решительно объявила Нелли и засмеялась.

Но вот что странно. Будучи на заводе еще и наставником молодежи, Фомин держался с учениками очень сурово. Удивляя других наставников, он смело почти в первые дни ставил ребят к станку, утверждая:

— Пусть сразу горя хлебнут на браке. Без закалки совести рабочий человек не получится.

А вот дочь оберегал от всех жизненных невзгод и при любых обстоятельствах старался возвышать ее мать, не только оправдывая, но и утверждая, что она поступила правильно или, как он в таких случаях выражался, рационально. Пожалуй, это было вызвано искренней верой в то, что жизнь вдвоем с дочерью оказалась для Фомина лучше, чем та, которую он уже прожил. И, далеко еще не избыв свое горе и унижение, он старался с чрезмерным даже усердием служить дочери, быть необходимым ей и дать именно то, чем не обладала ее мать, — доброту, понимание. Рядом с ней он становился мягким, добросердечным, снисходительным. Рядом с дочерью он не проявлял свой природный характер — характер человека, злого на всякое зло. Прямого и бесстрашного, когда он на это зло напарывался.

Но заводской коллектив знал решительную прямогу Фомина, проявляемую безбоязненно, — не потому, что он, мастер высшей квалификации, чувствовал себя неуязвимым, а потому, что для него правда в интересах коллектива была важнее всего — как на фронте приказ командира, который если не выполнишь, проиграешь бой.

Это он, Фомин, когда сам еще не имел квартиры, потребовал, чтобы общежитие для молодых рабочих строили по однокомнатному гостиничному проекту, что удорожило строительство. Он заявил:

— Администрация жалуется на текучесть кадров, а закладывает новый цех. Но кто в нем будет работать — те самые люди, которые от нас утекут? Если хотим, чтобы они стали кадровыми, их надо обеспечить жильем, чтобы они корни пустили — женились, детей рожали. И в текучести кадров на заводе не кадры виноваты, а наша с вами отсталость от времени.

И он добился того, что однокомнатные общежития все-таки построили, хотя и за счет жилой площади, в которой предназначалась квартира ему самому.

— Что, съел? — ехидно спросил его мастер.

— Проглотил, — усмехнулся Фомин, — и даже с удовольствием.

Это по его инициативе в обязательства внесли предложение работать только на минимальных допусках, что значительно повышало качество изделий, но отразилось на зароботке станочников. И долго в цеху многие с неприязнью относились к Фомину.

Он вынужден был обучать других скоростным методам обработки металла, которыми овладел, установив на станке автоматическое устройство, контролирующее пределы резания. И пока проходило испытание, Фомин сидел на тарифной ставке, поскольку, обучая других, он несколько утратил свой рабочий навык. Следуя его методу, и другие вышли в передовики. А когда на заводе захотели отметить его заслуги, он возразил:

— Что Фомин, Фомина и так знают. Надо других показывать и отмечать. Фомина обставили? Так я это переживу. Однако обогнать Фомина всем приятно и полезно.

И был непреклонен, неуступчив. Зато дочери уступал во всем. Почему? Да, пожалуй, потому что больше всего боялся остаться один, без нее. Уйдет к матери, а как ему тогда жить? Ведь он о себе дочери все больше с шуточками рассказывал, а вот мать возвышал, говорил о ней чуть не с восхищением, чтобы дочь никогда не почувствовала, как он был унижен. И чем больше он восславлял бывшую жену, тем больше боялся, что Нелли уйдет к матери. Но сказать о ней плохо не смел, потому что это могло уронить его в глазах дочери. И если дочь иногда участливо спрашивала, почему он не женится, Фомин испытывал щемящую тоску, полагая, что она спрашивает его только потому, что тревожится, как он без нее останется один. И отшучивался, жалко улыбаясь:

— На глухонемой, пожалуй, женился бы, чтобы шуму в доме не было, а разговаривать с ней на пальцах буду.

И лицо его становилось виновато-испуганным оттого, что — сам чувствовал — сказал глупость.

Но он замечал последнее время, когда Нелли, приходя от матери, все больше и больше отстраняется от него. Осо-

бенно он ощутил это после того, как она однажды сказала ему печально и строго:

— Папа, я хочу поговорить с тобой о маме.

Фомин неожиданно для себя резко прервал ее:

— Тебе она мать, а мне — никто. Ясно? Было, и нсту. И все.

Дочь ничего не ответила, понурилась, долго сидела, поглядывая на него вопросительно-страдальчески, ждала. Но он уселся к ней спиной и стал хлебать чай, задыхаясь при каждом глотке.

Нелли ушла к себе, и он слышал, как она ходила по комнате, слабо шаркая ногами; так в госпиталях ходят раненые, впервые став на ноги.

Последнее время Сергей Федорович у себя на заводе стал как-то по-особому приглядываться к молодым ребятам, но уже не острым глазом наставника, а хмурым, озабоченным, ищущим взглядом отца взрослой дочери.

Были ребята, которые ему нравились, были такие, что не нравились, были даже такие, кого он презирал за нарочитую, притворную независимость от всего и всех. Больше других он уделял внимания своему выученику Борису Белкину и не однажды собирался позвать его к себе домой с явным намерением познакомить с дочерью.

Привлекали его в Белкине воспитанность, вежливость, та быстрота, с какой он усваивал советы, смелость, с которой брался за ту работу, что даже мастерам высшего разряда без длительных консультаций с инженером и технологом была не под силу. Тем более что сложная заготовка стоила больших денег, запороть ее значило нанести ущерб всей бригаде, работающей по общему наряду. Это грозило провинившемуся урезанной по приговору бригады получкой.

Сергей Федорович рассказывал Нелли о Белкине, хвалил парня за рабочую хватку, умелость, техническую грамотность.

— Ну, что ты удивляешься, папа, — говорила Нелли. — «Способный, способный». Неспособных людей нет. Когда человек к чему-нибудь сильно стремится, у него и способности проявляются. А если не стремится — так откуда способностям взяться?

— Это правильно, — соглашался Фомин.

— А что в твоём Белкине такого замечательного, кроме того, что он хороший токарь?

— Для рабочего это много.

— Чем же он все-таки интересен?

— Чем? Высокий, ладный, — простодушно улыбнулся Сергей Федорович.

— Да я не про внешность, — досадливо поморщилась Нелли.

— Ну, приличный парень, что, этого мало?..

По-своему истолковав интерес Нелли к Белкину, Фомин стал тщательно готовить его на общезаводской конкурс токарей. Снабдил чемоданом с набором своих инструментов, оправок, приспособлений. И Белкин занял первое место.

Он стоял на постаменте, на самой высокой ступени почета, с широкой лентой через плечо и с большим венком на шее. Лицо его сияло и даже светилось от счастья.

— Видала, какой? — с радостным смешком, хлопая в ладоши и толкая Нелли локтем, вопрошал Фомин. — Видала? Победил всех, а! А тут тебе не какой-нибудь спорт. Дело самое существенное, святое — работа. А он в ней первый.

Но когда Фомин повел Нелли знакомиться с победителем, Белкин протянул Фомину руку и произнес:

— Ну, поздравляю! Наша взяла. — И громко добавил: — А чемоданчик ваш со всем набором можете обратно взять. Я его даже не открывал, обошелся своим, а то, знаете, вдруг подумают, что я от вас шпаргалкой пользовался.

Фомин смутился, растерялся, ничего не ответил, а когда стал беспокойно оглядываться, стыдась, что такое услышала Нелли, ее уже рядом не оказалось — ушла.

Поскольку Фомин числился на заводе вроде как полусемейным, в бытовке его не однажды смущали солеными разговорчиками:

— Ну как, Сергей Федорович? Ты все в одинокой гордости пребываешь? На холостом ходу? А то есть одна старушка, годов тридцати, наша заводская библиотечарша. Она все нас упрекает и твою читательскую карточку с любовью показывает. «Вот, говорит, как растет Фомин из года в год, какие серьезные книжки читает, а вы все детективы да про войну».

— Так я не себе беру — дочери.

— Смотри, Фомин, не зевай, у библиотечарши все, что положено, очень фигурно выглядит. На аморалку не пойдет, а замуж, как на тебя взглянет, так глазами и просится.

— Учту, — бодро отвечал Фомин. — Действительно, в самом соку женщина. — Он говорил это, чтобы отвязать-

ся от приставаний, и чувствовал себя так, словно совершил что-то нехорошее, стыдное.

Усталый и озабоченный, Фомин иногда сразу после рабочей смены принимал избирателей своего района. Очень его разволновал один жалобщик: молодой парень, только что разведенный и получивший незадолго до того однокомнатную квартиру. Просил Фомина, чтобы тот за него заступился, поскольку его переселяют в общежитие.

— Значит, что получается? — горячился парень. — Бывшая жена моя нигде не работает — домохозяйка, ребенку год с месяцем: еще не человек — существо. А она от меня чего хочет? Чтобы я выметался из своей же собственной квартиры. Я же ведь рабочий человек, личность, а она кто? Иждивенка! Ребенком спекулирует. Так в чем дело? Пожалуйста, согласен. Оставьте мне жилплощадь вместе с ребенком, не возражаю. В конце концов, какая она ему мать, без серьезной материальной обеспеченности? С моих алиментов разве сможет она ребенка культурно воспитывать? А при фабрике — пожалуйста, ясли.

— Так кто ты, говоришь? — сощурился Фомин.

— Рабочий! — гордо объявил посетитель.

— А рассуждаешь все равно как частник. Моя квартира! Она при всех случаях Советской власти принадлежит. А по советскому закону мать и ребенок — главные люди.

— А отец что? Так, сбоку припека?

— Ты теперь бывший муж и, значит, фактически бывший отец. Когда разводился, соображать надо было: мать мужа теряет, а ребенок — отца.

— А я, выходит, свою жилплощадь? На суде так сказано не было. Если бы судья предупредил, я бы еще подумал.

— Выходит, тебе твоя жилплощадь важнее жены и ребенка?

— Так сколько добивался, ударничал, чтобы в первоочередники попасть! Трудом заработал.

— И сколько времени тебя такого жена терпела? — вспылил Фомин.

— А вы, товарищ депутат, не зарывайтесь, не оскорбляйте. Напишу в исполком — вас и отзовут как не оказывающего внимание избирателям...

— Как же ты такой жить будешь? — задумчиво произнес Фомин. — Прямо коростой оброс... Ведь с болью, а сдирать тебе ее с себя придется. Не сам, так другие сдерут.

— Вы, что ли?

— И я тоже. Фабрику вашу знаю, придется сходить, посоветоваться.

— О чем?

— О тебе. Чтобы тебя, как человека, окончательно не потерять.

— Стучать завкомовцам будете?

— Не стучать, а просить, чтобы помогли.

— С жилплощадью?

— Чтобы ты ни себе, ни людям жизнь не портил. Ты говоришь — ударничал, чтобы себе метры жилой площади добыть? Хозяином ее стать хотел, и жены своей и ребенка тоже хозяином себя считал. Нет, малый, наше гражданское законодательство по вопросам жилья против тебя, и весь закон общей жизни не на твоей стороне выступает.

— А вы не пугайте! Не из нервных!

— А я вот нервный, — грустно сказал Фомин. — Думал, таких, как ты, вовсе нет, а оказывается есть. И теперь, пока я во всем в тебе не разберусь, не будет мне покоя. И тебе не дам.

— Значит, воспитывать собираетесь?

— Искать, от чего совесть твоя усохла...

— Ну и ну! Думал, к депутату иду, а вы разговариваете, как милиционер.

— Что, и там был? По этому делу?

— Все вы на одну мерку — душескребы! — И парень ушел, хлопнув дверью.

Удрученный разговором, Фомин пришел домой поздно. И огорчился, что дочь не одна, а с подругой. Но огорчение быстро сменилось более сильным чувством.

— Папа! — торжественно сказала Нелли. — Знакомься. Моя сестра Оля!

Перед Фоминым стояла высокая девушка с копной золотисто-рыжеватых волос, с бледным, продолговатым лицом и смотрела на него строго, почти враждебно, сощутив серые в крапинку глаза. Губы ее были плотно сжаты, подбородок чуть вздрагивал.

Очень приятно! — ошеломленно произнес Фомин и, совсем потерявшись, добавил: — Извините, я с работы, пойду, знаете ли, умоюсь...

Нелли нашла отца сидящим на борту ванны.

— Ты что, папа?

— Я вот немножко покурю и выйду.

— Тебе неприятно ее видеть?

— Почему же, раз она твоя знакомая.

— Не знакомая — сестра!

— Ясно — сестра. Родня! Я понимаю. Так ты поди, на стол накрой. А я вот мигом, умоюсь — и в полной готовности, — жалобно улыбнулся Фомин.

И когда они втроем сели за стол, Фомин продолжал испытывать тяжкое и томительное неудобство.

— Ну, как здоровье вашей мамы? — наконец осведомился Сергей Федорович с несколько натужной приветливостью.

— Так себе.

— А отец как, ничего?

— Вы о ком спрашиваете? Об отчине? Мой папа умер, — сухо ответила девушка.

— Оля! — сказал Фомин и тут же извинился: — Простите, можно я буду вас так называть? — Девушка пожала плечами. — Так вот, Оля, для полной ясности. Я, что было, все начисто и сразу для себя отрезал, как будто и не было. Вам это понятно?

— Да! — сказала гордо девушка.

— Мне, знаете ли, сейчас очень непросто, — признался Фомин.

— Мне тоже, — вздохнула гостья. — И вообще я не хотела с вами встречаться. Да и зачем? Пришла только для того, чтобы у нас с Нелли тоже установилась полная ясность.

— В чем?

— Она мне, конечно, сестра, а вы человек посторонний. Но я люблю Нелли не за то, что она сестра, а за то, что она очень хороший человек и человек, который мне дорог.

— Ну, значит, очень приятно, что вы пришли, — нелепо реагировал Фомин. — Я рад! Очень приятно!

— Вряд ли, — упрямо сказала Оля.

— Ну, зачем ты так! — с упреком посмотрела на нее Нелли.

— Ты же знаешь — я плохая, а ты хорошая, — надменно заявила Оля.

— Позвольте, почему вы плохая? — вмешался Фомин.

— А это уж не ваше дело!

— Папа, она ушла из дома и живет теперь в общежитии химзавода.

— Я там работала, и мне просто полагалось общежитие, — объяснила Оля.

— Это точно, общежитие полагается, — уныло согласился Фомин.

— Есть ко мне вопросы? — пристально глядя на Фомина, спросила Оля.

— Вы на свою маму очень похожи, — пролепетал Сергей Федорович.

— Нелли внешне похожа на нее больше, от вас у нее только тяжелый подбородок.

— Почему же тяжелый? — запротестовал Фомин. — Мой — возможно, но в уменьшенном размере. И вполне ей идет.

— Гордитесь, что хоть ваш подбородок?

— Ну, зачем же? Есть ведь, наверное, и еще что-нибудь мое. А от матери у нее красота.

— Вы помните маму красивой?

— Какой она была, такой и помню.

— Это вы для меня сказали, что помните?

— Нет, я правду сказал.

— Вас интересует, кто мой отчим?

— Ну, если хотите, скажите.

— Конечно, мой папа вам был больше неприятен, чем мой отчим.

— Отца я вашего не знал, отчима вашего не знаю. И вообще, Оля, я вас проинформирую, как мы тогда решили... — Фомин хотел сказать — при разводе, но почему-то сказал иначе: — При нашем полном тогда расхождении. — Помедлил, добавил: — Она в свою сторону, а я — в свою. И без всяких дальнейших общений. — Нахмурился, произнес твердо: — Она фронтовичка, я фронтовик, принял решение — действуй. Обсуждать нам все было ни к чему. Раз я ей удобную жизнь не наладил, я виноват.

— А она перед Нелли? Виновата?

— Ни в чем! — Он оглянулся на дочь. — После войны у всех людей свое горе было. Значит, ни к чему получалось мне суетиться со своим, да еще Нелли сюда впутывать. Мы решали по существу. Я Нелли служу папой-мамой, а ваша мать — полностью вам. Ей при ее инвалидности двоих детей не сдюжить было, и я не брошенный, со мной Нелли. Все по-умному, по договоренности. И никакого тумана.

— Но вы знали, что Нелли к нам ходит?

— Знал!

— Вам это было неприятно?

— Тревожно. Вот знаете... Поставят на испытательный стенд новый двигатель, а в нем существенные детали, то-

бой изготовленные. Пройдет он испытания или не пройдет? По инструкции полагается его и на вибрацию и на высокие и низкие температуры испытывать, на динамические сотрясения и на длительную работу при запылении без воздухофилтра. Словом, пытаются. А ты тобой изготовленную для него сложную деталь тряпочкой протирал, любовался ее блеском и теперь считаешь, что вот своего достиг и дальнейшее тебя не касается. Но ведь не так! Только при взаимодействии всех деталей двигатель свое высокое назначение выполнить может. Так и в жизни получается. Если человек к человеку не прилаживается и жизнь у них не идет, где-то, значит, дефект, где-то брак по твоей вине или по вине другого допущен. И я тревожился, что моя дочь впутывается в то, что мы с женой напутали, впопыхах женившись.

* * *

Между прочим, только в обыкновенном тракторе три с половиной тысячи деталей. А тут изделие посложнее — в смысле точности обработки, технологии, металлокачества. И деталей по количеству не меньше, а больше. Шагать так, чтобы одной ногой догонять другую, — не получается; всегда одна позади, другая впереди. А в бригаде наладить организацию труда надо так, чтобы весь комплект изделий поступал своевременно — на то она и комплексная.

Даже у спортсменов такого нет, чтобы чемпион-многоборец был равно силен во всех видах спорта.

А на производстве такое есть. Сергей Федорович Фомин, многостаночник, так легко переходил с одного станка на станок другого назначения, словно только что от первого на миг отошел и снова к нему вернулся.

А увидев, что рядом с ним кто-нибудь зашивается, Фомин спешил к нему, и вовсе не оттого, что на несущей колонне цеха имелась доска с ярким плакатом «Работать без отстающих», а просто потому, что у него был такой рабочий инстинкт. Ведь человеку, умеющему плавать, вовсе не требуется печатный призыв средств наглядной агитации: «Спаси утопающего!» — если он увидит, что кто-то тонет.

Как известно, опозданий и прогулов больше в начале месяца, когда нарушается график поставок, заготовок, комплектуемых деталей, когда срывается производственный ритм, а люди считают: все равно простаивать, — и филонят. Бить, конечно, по прогульщикам следует, но

попадание тут будет не в самое яблочко. Вот Сергей Федорович и предложил: если хоть один из бригады прогуляет, всем отказаться от премии. Большинство проголосовало за его предложение. Так и постановили. Теперь войдите в положение прогульщика. Те, кто был против, — те его готовы с потрохами заживо скушать, а те, кто «за», глядят на него «сквозным» взором, будто нет человека, а так что-то вроде призрака. После этого не то что прогулять — и не опоздаешь; даже если у автобуса в двух покрышках прокол — дашь ногами такую скорость... На стадионе бы «ура» кричали, в ладоши хлопали.

И администрацию поставили к стенке. Не наладили здорового, нормального ритма производства — будьте любезны все свои надбавки оставить неприкосновенными.

И еще одну полезную мысль подал Фомин: выдавать зарплату через сберкаассу. Во-первых, в день полочки у кассы очередь. Во-вторых, обмывал отвадим, а в-третьих, когда лишних денег в кармане нет, человек глубокомысленно обдумывает, куда, когда и на что тратить.

Марату Должикову, как члену бюро и бригадиру, Фомин в точку подсказал:

— У нас бригадиры, начальники участков, начальники смены, цеха, мастера и другое начальство в рабочее время привычно заседают, совещаются. А молодежи посоветоваться не с кем, без призору остается — то в буфет сбегает, то на длинный перекур, то к девочкам в контору. Что ж это такое? Если считают возможным дистанционно нами руководить, пожалуйста, но тогда пусть свое место освободят другим, активным в цеху людям.

Когда у Сергея Федоровича хорошее настроение, он человек неиссякаемой энергии. Он тебе и слесарь, и карусельщик, и зуборезчик, и шлифовальщик. Владеет блестяще всеми тридцатью действующими на участке станками разного вида. Ну, это понятно. Чем больше человек знает, тем больше он может. От того, что Фомин всегда стремился совершенствовать и углублять свои знания, он немало внес полезных идей и в технику.

На его личном счету было несколько рацпредложений, и он гордился своим собственным «личным счетом» так, будто там у него лежал миллион рублей.

И вот при всем этом Сергей Федорович вожаком не был и не годился в вожаки в силу того, что часто подчинялся своему настроению: плохое — и он испытывал неприязнь

к людям, хорошее — он делался таким милым, таким общительным. Душа-человек, и только.

А настоящий вожак должен быть всегда, при всех обстоятельствах — как эталонный метр; неизменно ровен, спокоен, справедлив, точен.

Лицо у человека может быть некрасивым, но выражение лица — прекрасным. Вот примерно таким, какое появляется на физиономии у Сергея Федоровича, когда он вдруг увидит свою дочь. И пусть даже и не вдруг — все равно это для него всегда неожиданная радость.

Марат Васильевич Должиков вместе с Шуриком Емишевым иногда заходил домой к Фомину посоветоваться.

— Чертог у нас на уровне, — самодовольно возвестил Сергей Федорович, первый раз встречая гостей. — Мебель не хуже импортной — рижская. Холодильник «ЗИЛ» — здоровый, хоть многосемейному. Стиральная, пылесос, плита на четыре конфорки электрическая — ни газу, ни угару. Санузел раздельный. Буфета нет и комода нет, вместо них стоит нечто — сервант называется, и шкафы для сохранения кубатуры встроенные. А в комнате у Нелли вместо обоев стены лично ситцем обклеивал. В общем, как у принцессы получилось. И потом — выйдите-ка наружу: лоджия. Живи себе на вольном воздухе и любуйся на крыши или на что-нибудь там, что внизу на улице. Поставь раскладушку — вот тебе и отдых, все равно как на лоне природы.

Нелли нравился Марат Должиков. Плечистый, высокий, голос гулкий, нос тоже заметный, с горбинкой, глаза, когда веселый, — добрые, ласковые. И волосы густые почти до плеч. Зимой он ходил без шапки.

— Нам бы транспортную линию наладить с автоматическим адресованием заготовок, изделий и инструмента, — говорил Марат Васильевич с чувством, и лицо его в этот миг приобретало вдохновенное выражение.

— Надо бы сначала с главным технологом посоветоваться, — замечал осторожно Сергей Федорович, — бесценный он для нас сосуд знаний.

— Не сосуд, а бурдюк, — сердился Марат. — Пока не нажмешь, ничего из него не выжмешь. В своем кабинете — прямо тигр, за новую технику — зубами, придет к директору — овца в загоне.

— Ему доктор запретил огорчаться, — напомнил Сергей Федорович. — Начинаешь его уговаривать — у него сразу лицо больное. А вы, Марат Васильевич, с руководст-

вом всегда так держитесь, будто вы самый главный защитник добродетели и искоренитель пороков... Есть люди, которые самоустраиваются от трудного. А есть такие, что к трудному подходят осмотрительно. Вот к ним и надо прислушиваться, чтоб лишних трудностей избежать.— Фомин добавил наставительно: — Если человек полезен, он уже одним этим авторитетен.

— Но страх перед новым оттого лишь, что новое не разведано и можно ошибиться, — уже ошибка, — возражал Марат.

— Способность быстро соображать — одно, а здравомыслие — другое. Есть такие товарищи, — усмехнулся Сергей Федорович, — у которых с младенчества первое слово было «дай». — И, чтобы не задеть Марата Васильевича за живое, пояснил: — В сущности, все мы ответственные работники, только названия у нас разные. И должность у всех одна. Дай стране, сколько можешь по способностям своим, — тогда ты фигура.

Слушая отца и Марата, Нелли поочередно гордилась обоими. В отце ее восхищал пристальный ум, в Марате — пламенная убежденность.

Александр Емишев, наблюдая за всеми тремя, чаще всего задерживал свой взгляд на Нелли, на ее возбужденно сверкающих глазах, на тонком лице, розовеющем от волнения в нимбе золотистых волос. Но беда Нелли была не просто в том, что Марат Должиков ей нравился. Видеть его стало для нее страданием, особенно, когда он житейски мудро и далекоприцельно, по его мнению, начинал расхваливать Шурика Емишева.

В том, что Марат женился на искалеченной немке, Нелли видела одно лишь его великодушие, а не настоящую и пылкую любовь.

По рассказам отца, не кто-нибудь, а Марат брался «доводить до ума» выбракованные сверх нормы тяжеловесные заготовки, чтобы ему, а не заводу было в убыток. Он же взялся работать на уже подготовленном к списанию «морально устаревшем» станке, чтобы только за цехом не числилось простоя оборудования. Стал необъявленным многостаночником, выполняя по три нормы, чтобы двое ребят из ПТУ не числились прогульщиками. Парнишки стеснялись прийти на завод с «фонарями» после того, как утихомиривали разбушевавшегося отчима, спяну обвинившего мать в том, что третий, младший, будто бы тоже не от него.

Конечно, думала Нелли, он женился просто из жалости. Должиковы, они все такие. Все куда-нибудь выбранны, где-нибудь состоят, за кого-нибудь хлопочут, кому-нибудь помогают, шумят, волнуются, пишут в инстанции, и всегда кого-нибудь из Должиковых после смены дождается то один, то другой — по своему личному делу, словно они не рабочие, а начальники. Словно и живут не для себя — для других. И иных интересов не имеют, кроме как заботиться о людях.

Нелли вся светилась, когда Марат обращался к ней. Отец, подметив это, стал хмуриться. Но девушка многого не знала о Марате и Эльзе.

...Марат Должиков попросил разрешения установить личную связь с группой немецких подпольщиков, чтобы, как он заявил, посоветоваться, насколько эффективен текст листовок, выбрасываемых нашей авиацией над населенными пунктами противника. Его и переводчика сбросили на парашютах. Должиков при приземлении ударился головой и боком о телефонный столб, сломал не то два, не то три ребра, морщился, кашлял кровью. Вышли на явку. Их встретила девушка, куце остриженная, бледная, худая, большеглазая. Назвали пароль, услышали отзыв. Девушка повела их в подвал развалившегося дома. Должиков сразу приступил к делу. Девушка зажмурилась, подумала, сказала:

— Пожалуй, надо так. Мы, то есть вы, победители. Но мы, то есть вы, не завоеватели. Фашисты наши и ваши враги. Не будет фашистов, и мы вам не враги. — Спросила: — Правильно?

— Насчет аргументации слабовато, — неуверенно произнес Должиков.

— У вас, у русских, есть поговорка — «коротко и ясно», — сказала девушка, с трудом подбирая русские слова.

— Где научилась? — спросил Должиков.

— У одного вашего, но его повесили. — Она склонила голову, заплакала: — Он был совсем хороший.

— Любила, что ли? — Должиков проглотил сгусток крови.

— Нет, только сердилась, — сказала девушка. — Он был смелый, как сумасшедший.

— Он что? — И Должиков покрутил пальцем у виска. Смутился: — Может, от контузии...

— Нет,— возразила девушка.— Он только все время стыдился, что его не совсем убили и он попал раненым в плен.

— Ясно,— сказал Должиков, пошатнулся и стал захлебываться кровью.

Спустя две недели его вывезли к своим.

Перед самым вылетом он отвел Эльзу к опушке леса, взял ее руки в свои, жалобно посмотрел в глаза. Она опустила голову, сказала шепотом:

— Я тебя уже сильно люблю. Я тебе теперь это говорю, как уже женщина.

Должиков смутился, пролепетал:

— Ты меня все-таки прости. Ты ко мне от жалости, а я...

Эльза положила ладонь на его губы, потом поцеловала свою ладонь, объявила:

— Теперь я буду всегда так. Одна и с тобой.

Вернувшись после госпиталя, когда наши войска уже действовали в тех местах, куда он спускался на парашюте для встречи с подпольщиками, Марат попросился в состав механизированной группы прорыва. Ворвавшись в город, они в первую очередь атаковали здание гестапо.

А потом... Потом было так...

Эльза сказала ему:

— Ты знаешь, я коммунистка, но в гестапо я молилась богу.

— Это еще зачем?

— Я очень боялась. Когда они расстреливали коммунистов, они разбивали молотком лица мертвым, чтобы товарищи среди мертвых не узнали своих, а мне не хотелось быть такой мертвой.— Спросила:— Тебе смешно?

Марат молчал, только проглотил ком в горле.

Она весело объявила:

— А ты знаешь, я очень сообразительная. Когда мне сказали — клади на доску руку, я положила не ту, а другую.— Рассердилась:— Ну, ты забыл, какую поцеловал,— и упрекнула:— Очень некрасиво, если забыл.— Сразу стала тревожиться:— У тебя погибли отец, братья, а ты кого везешь родным? Немку.

— Дурочка,— сказал Марат.

— Ты дурочка, не я,— обиделась Эльза.— Скажешь: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А у твоих всех сердце в крови.

— Давай прикинем так,— сказал Марат.— Твои все живы, ты меня к ним привела, а они за то, что я русский,— меня в шею.

— Фу! — сказала Эльза, — они же были коммунисты. Потом Эльза все настаивала:

— Помни, у меня только одна пригодная рука.

— А если б их было у тебя три, от этого ты что, стала бы лучше? — сердился Марат.

— Но я уродина!

— Ты на себя в зеркало погляди. Все равно как портрет из музея старинных красавиц.

— Почему старинных?

— Потому что как первый раз увидел — ахнул, такой, думаю, не может быть.

— Ты... Как это называется? — Эльза щелкнула пальцами, обрадовалась: — Подхалим!

— Никогда не был! — надулся Марат.

— Но со мной можно, — великодушно разрешила Эльза.

Она поступила преподавателем немецкого языка в машиностроительный техникум при заводе и заодно стала там же учиться.

— Хорошая у тебя жена, — хвалил Семен Фомич. — Во всем аккуратная. Войдешь в дом, разуешься — надевай тапочки, висят всех размеров в кошельках в коридоре. Домашнюю бухгалтерию ведет — что на что когда потратила. Тебе теплый халат купила: раз вернулся с работы — отдыхай полностью. Всюду чехлы, чтобы не линяло, не пачкалось; придут гости — все, как новенькое.

Марат страдальчески улыбался, помалкивал насчет того, как трудно ему соблюдать установленный в доме порядок, а Семен Фомич все не мог нахвалиться невесткой.

— В сортире, и то — мягкое сиденье и флакон с благом запахом.

— Да бросьте вы! — уже раздражался Марат.

— А я это всерьез, — строго одернул племянника Семен Фомич. — Порядок и на производстве и дома должен быть. — И объявил вызывающе: — Слово «порядок» имеет свое высокое назначение.

Если он бы у нас на заводе во всем был, мы бы давно позади себя всех оставили. Нам мощностя дают, а мы их на полную мощность не используем.

Оборудование теперь отчего стареет? Не оттого, что снашивается, а оттого, что приговор сразу получает: хоть

оно, мол, пока и новое, а появится новейшее и, значит, его по закону технического прогресса — на слом и в плавильную печь на переплав в самоновейшее. Так что хоть торопиться не следует — поспешить надо. что оно дать в соответствии со своим паспортом может, то от него надо взять полностью и в темпе.

Дмитрий Семенович Должиков вернулся только спустя год после конца войны, вернулся на костылях, в сопровождении тихой, рябой женщины, которая работала сиделкой в госпитале, где он пролежал долгое время. Семен Фомич встретил сына бодро:

— Легко отделался, главное — башку не оторвали. Голова для человека — предмет первой необходимости. Есть чем соображать. — Сообщил о себе насмешливо: — А я, Митька, как вяленая мумия. А все отчего? Внутренности отшиб. Пищу плохо в себе перевариваю. Ем помногу, а все мимо проходит. Продукты зря перевозжу. Но сам при себе живым остался. На том же самом месте — мастер. — Поглядел на жену Дмитрия и понимающе улыбнулся ей: — За Митьку я вам лично ручаюсь — супруг подходящий, сердце у него отзывчивое. — Поклонился ей: — А за то, что сына мне выходили, — спасибо. Значит, будем жить по всей норме.

О том, что внутренности он не отшиб, а ему их отшибли в гестапо, где подвергали допросам, пытаюсь выведать, куда рабочие спрятали важнейшие детали оборудования, не вывезенные при эвакуации, Семен Фомич умолчал, как умолчал и о том, что во время фашистской оккупации наладил у себя в подвале производство самодельных бомб и гранат, как он тогда выражался, «образца тысяча девятьсот пятого года».

Дмитрия отец заставил учиться на лекальщика.

— Дело умственное, тонкое. Ювелирное. И для тебя удобство, что сидячее.

Лицо сына при этих словах приняло такое выражение, будто он собирался не то чихнуть, не то разрыдаться.

— Ладно! — поспешно сказал отец. — Знаю, давно хотел в прокатный. Чтобы тореадором на полосы с клещами кидаться. Да хватит, на фронте набегался.

— Я на фронте не бегал, — обидчиво произнес Дмитрий.

— Да не от них, а на них бежал!

— И ноги мне не оторвало. Производили глубокую разведку — контузило. Фашисты на всякий случай, чтобы не удрал, обе ноги прострелили. Наши выручили.

— Значит, опять-таки повезло! А то бы они тебе, как «языку», все кишки наружу выволокли. — Дед произнес повелительно: — Жив! Значит, как живой, живи. С твердой ориентировкой на продолжение нашего рода и прибавление фамилии. Теперь, считай, это твоя гражданская и общественная обязанность.

Как и многие женщины после войны, жена Дмитрия, Елена, долго не могла зачать ребенка.

Семен Фомич обнадеживал сына:

— Твоя сколько раненых из боя вынесла! Такую тяжесть на себе тащила... Да у нее после этого все внутренности запрессовались, — как и у наших заводских женщин, что в годы войны на тяжелой работе находились. Но ничего, они постепенно отходят, женское их естество оживает. И опять же долг чувствуют — не нас ведь, стариков, в коммунизм допускать, мы для него уже не подходящие.

При преждевременных родах жена Дмитрия скончалась. Ребенка выкармливали в роддоме, затем в яслях. Родился он слабым, хилым.

— Самолично вынянчу, — заверил Семен Фомич сына. — Тебе внука пока не доверю — еще уронишь. И вот что на все времена запомни! Чем человек больше горя испытал, тем больше он знает способов его преодолеть. А по этому делу мы во всем мире народ самый опытный. На фронте мы валидол не принимали, и теперь он нам ни к чему по любому случаю жизни.

Когда внук подрост, дед снова объявил Дмитрию свое решение:

— Считай, я Костю окончательно себе присвоил. Ты на новой женишься. За лекальщика с его заработками только дура не пойдет. И детьми она тебя навсегда при себе застрахует. Я жизнь длинную прожил, и не зря. Буду внуку внушать, что Советская власть не с днем его рождения началась. Не парадом и не праздником. И что с них теперь спрос будет не меньший, а больший, чем с нас был. А то завелись некоторые, которые наши промашки помнят, а как мы их сумели с болью души полностью и в открытую исправлять, — не соображают. По возрасту я постарше Советской власти, но всю жизнь свою, как будто юноша, жить по-новому выучивался и сейчас считаю, что в такой учебе предела человеку нет.

И чем сильнее человек к завтрашнему дню будет тянуться, тем больше он должен для сегодняшнего дня стараться.

Чисто в жизни не там, где часто метут, а там, где не сорят, — продолжал свои поучения Семен Фомич Должиков. — Теперь самый опасный враг твой, Митя, — это ты сам. Должен перед сыном фасон держать. Чтобы он знал, по кому свою жизнь в дальнейшем соблюдать. Обязан он у нас вырасти в твердого человека, в себе уверенного, а не в тех, которые, к примеру, прежде чем открыть дверцу холодильника, шапку на голову надевают, чтобы не простыть. Хочу, чтобы он для коммунизма годным оказался! Ясно?

С раннего детства Константин Должиков привык к тому, что отец и дед держатся с ним как с равным.

Дед говорил:

— Храбрый не тот, кто против ветра плюет без расчета. Вот возьмем хоть снайпера. Снайпер на научной основе стреляет. Тут тебе и баллистика, и математика, и физика, и метеорология. Мыслит — хоть его в этот момент тоже фашистский снайпер берет на мушку.

— А ты откуда все знаешь про снайпера?

— Так... Когда фашисты у нас в городе были, иногда занимался этим делом. Но! — Дед предупреждающе поднимал темный, искривленный палец. — Все заранее продумывал, прикидывал. И только один патрон расходовал, чтобы было время удрать. На точный выстрел всего три секунды требуется... И на работе, между прочим, то же самое. Видел, как прокатчики работают? Они клещами вокруг себя раскаленную полосу с ходу развернут — и в калибр. И если что не так — сожжет тебя насмерть. А почему не бывает несчастных случаев? Потому что вальцовщик все учитывает: если полоса простывшая, он ее хватать не станет, побережется, в сторону от клетки сволочет. Дураку на взгляд, — мол, струсил. А умный, соображающий поймет — мастер.

Обычно правила кто нарушает? Либо азартные — по дурусти, по зазнайству, либо просто недоученные.

Каждый человек помаленьку про все может знать, но свое обязан знать полностью как следует.

Поэтому у нас бывают никому не известные инженеры и знаменитые слесаря.

Знающий человек работает спокойно, торжественно, красиво. Но самое опасное для нашего брата — это скоро-

спелая слава. Дал рекорд — и его тут же на небеса! Пройдет человек, как говорится, огонь и воду, а его медные фанфары и подведут.

Нашего бывшего стахановца Мишина знаешь? Ну, такой тощий, носатый, лицо, как у стерляди. Все рекорды ставил. Ими жил в славе. А пришло новое оборудование — новая технология, значит, и он не сдюжил. Задела ума, стало быть, не имел. А выучиваться по-новому самолюбие не позволило... Ушел в ремонтники.

А есть люди, которым еще живым памятник ставить надо за мастерство.

Вот Митя рассказывал: когда он в пехоте служил, их сильно один лихой летчик выручал. Пикировал на заминированную противником полосу и выводил из пике самолет так низко, чтобы от удара воздушной волны все минное поле взрывалось.

За таран Героев давали. А здесь пилот тараном воздушным работал!.. Понимаешь? Воздушной волной таранил минное поле. Получил ли он за это Героя, неизвестно. А скольким бойцам жизнь спас? Бесчисленно... Своя-то у него каждый раз на нитке висела, когда под ним вся земля взрывом вспухала и его самолет швыряло туда-сюда — все равно, как перышко воробьиное. И я тебе так скажу, Константин: наш народ добродушный, его душа на все хорошее отзывается, и вовсе не жадный. Ему по социализму причиталось еще до войны много от Советской власти получить, а он понимал: пока дается лишь по силе возможности. Ведь не на фронте только мы из окружения врага били. Еще до войны это их окружение существовало. В одной руке, значит, держишь рабочий инструмент, в другой — оружие на всякий пожарный случай. Вот и не сполна получали по потребности жизни. А могли бы всем достатком страны только для благоденствия пользоваться.

Но германский фашизм уже тогда не просто у себя дома погромы учинял, а начал на нас и на весь мир замахиваться. Ясно стало, что и к чему идет. Тут дело такое, решительное, — либо их на земле не будет, либо — нас.

В гражданскую за Советскую власть воевали, а какая она есть в патуре, не знали. Не сытые, одежду на себе до последних дыр донашивали. Война эта самая, империалистическая, всем хуже чумы была. Людей погубила без счету. А тут снова воевать! И ведь воевали, да как! За новую жизнь бились, а какая она, еще никто из нас не изведывал. Значит, что? Значит, может наш трудящийся че-

ловек за несбывшуюся идею-мечту воевать. А она простая была в своем главном смысле — хозяином тебе быть или холопом бесправным. Только и всего. Классовый враг — он, конечно, злой. Но его тоже понимать надо. Жил знатно, богато, а его по шеям. Если б не вмешались четырнадцать империалистических держав, мы бы с гражданской быстро и аккуратно управились. А то получилось, что, по существу, второй мировой войной для нас гражданская обернулась... Великая Отечественная — это уже третья, если по такому счету считать.

— А в школе мы историю по-другому проходили, — заметил внук.

— А я тебе не историю рассказываю, — строго отвечивал дед, — а про себя. И не для удивления — вот, мол, какими мы были и какими стали. Нам самим удивляться некогда было.

А еще скажу. Вот есть фёрты — физиономии такие, будто они только сегодня проснулись и будто их до времени разбудили, побеспокоили. Они на работе не живут, они только после работы оживают. Для них самый приятный день на заводе, когда получку выдают. Заметь, не всякий, кто на производстве, — уже рабочий класс. Так же, как не всякий, кто в армии служил, — фронтовик. В рабочие не нанимаются. Чтобы стать настоящим рабочим человеком, от тебя многое требуется. А иначе коллектив не признает. В коллективе правда и сила. Вот если от него тебе почет, — значит, считай, место твое на земле прочное. С такого поста тебя никто не свергнет.

Дмитрий Семенович к этому времени уже хорошо зарабатывал, обжился, обзавелся многими, даже ненужными в хозяйстве, дорогими вещами, даром, как инвалид, получил «Запорожца», и новая жена его, табельщица, оставив работу на заводе, всецело отдалась домашним заботам. Дмитрий Семенович часто приходил к Семену Фомичу, якобы для того, чтобы навестить сына, но на самом деле его еще и сильно влекло к отцу.

Только с отцом он не чувствовал себя инвалидом, пожилым человеком, принужденным самостоятельно разбираться во всех каверзных житейских проблемах.

— Женятся не для удовольствия, — серьезно говорил старик, подмечая удрученное состояние сына. — На производстве тоже бывает: возьмешь себе напарника — месяц ничего, второй ничего, на третий — глядишь, а он после себя инструмент весь грязный оставляет, или стружку

в пазах, или — того хуже — заготовки запоротые. Теперь вопрос возникает — погнать? А вдруг другой еще плоше... А этого чем взять? А тем, что между сменами выждешь его и глядишь ему в глаза молча, смотришь, как он тобой ухаживаемое рабочее место принимает. Задеваешь в конце концов его совесть. Ну, она же его затем и выправляет.

В супружеской жизни еще труднее друг к другу приладиться. Значит, и терпения должно быть больше. Иногда всю жизнь терпишь. Женятся-то для общей жизни, а каждый свою натуру имеет.

Ты вот с супругой из-за ерунды цапаешься. По-партийному себя дома вести надо. Ты партийный, она беспартийная — воспитывай.

— Любовь-то самая сильная — первая, а не последняя, — вздыхал Дмитрий.

— Ну, на это такого закона природы нет.

— У моей-то, теперешней, оказался ребенок на стороне; воспитывала, а скрывала.

— Ну и что? Богородица тоже была мать-одиночка. — Хитро шурясь, дед хвастливо напомнил: — Я ведь в церковно-приходской учился, пошел бы по этой линии, может, и до дьячка дослужился бы, а то и до дьяка... Дела-то у тебя как на производстве?

— В норме, я к технике способный, — ухмыльнулся Дмитрий. — На фронте по желанию бойцов мог из пулемета морзянкой что угодно отстучать.

— Война — не баловство.

— Не удалось мне на своих крепких ногах до их земли добраться, — мрачно произнес Дмитрий, — в госпитале только зубами скрипел.

— Ну, и зря. Одно дело в бою схватиться, другое, когда они — хенде хох.

— А за Федора?

— Он везучий был. Всю войну от него пули и снаряды шарахались. Погиб только под Кенигсбергом, их тяжелый танк проломил, когда боеприпас вышел... Наше семейство перед Родиной задолженности не имеет. Шесть жизней отдали.

Дед задумался, потом снова негромко заговорил:

— Численность народа, конечно, наверстали от хорошей и ладной жизни. Но каждый-то человек, он же неповторимый. Я вот сволочных позабыл, а настоящие, они всегда, как живые, при мне существуют. Не стареющие. Я к своей старости привык, точно к ревматизму; приспособ-

собился, теперь даже в очках для чтения бреюсь. Но уставшим себя не считаю. А есть такие, для которых то время, когда они сами в силе были, самое наилучшее. Так они хоть и помоложе, но старики. Живут, а уже отжившие. Такие никому больше не светят.

Мы, старое племя, мало что знали по сравнению с нынешним. Но уж что знали, то знали железно.

Мне вот, когда Федя погиб, товарищи планшет его прислали. Ну, там письмо из дому, фотографии... Но еще вот что в планшете было. Документ! Наизусть его выучил. Значит, так. — Семен Фомич, прикрыв рукой глаза, прочитал на память:

— «Собрание постановляет. Пункт первый. Коммунистам в бою стоять насмерть.

Пункт второй. Приказ командира выполнять до конца и любой ценой.

Пункт третий. Если легко ранен, оставайся в строю.

Пункт четвертый. После боя парторгу информировать о том, как коммунисты выполнили данное постановление». — Смолк, потупился. Затем торжественно произнес: — Такому документу и мы, старое поколение, присягали, и Федино, а для всех других, которые есть и которых еще пока нет, такая клятва на все времена высоту человеческого духа проявляет.

Семена Фомича часто приглашали выступить с воспоминаниями на разного рода торжественных собраниях.

Обычно перед этим с утра он озабоченно и встревоженно листал книги, брошюры, писал тезисы, жаловался:

— Зайду на трибуну — и сразу в жар и в озноб бросает. И говорю им — вот, мол, я, участник двух революций. Первая, если по правде, она еще пополам с контрреволюцией шла. Император Николай, он из всех царей самый дерьмовый оказался, но буржуазия-то у нас башковитая была, при ней всякие услужающие ей социал-предатели, и среди них такие ораторы-соловьи — заслушаешься! Здорово шпарили, а вдумаешься — обратно хомутают. Эсеры, те из себя престонародных строили; митингуют и, чтоб доверие к себе привлечь, даже матерно выражаются — подлаживались таким способом к самым темным. А вот большевик всегда высказывался уважительно, но строго. Толпа стоит перед ним тысячная, и все люди пестрые, разные. И он с ними со всеми доверительно разговаривает, словно

с одним человеком, хорошо ему знакомым. И разговаривает по главному вопросу жизни.— Усмехнувшись, дед сообщал:— Меня вот старым большевиком величают. Считаю такую формулировку неправильной. Коммунист, он, сколько в партии ни состоит, всегда должен в завтрашний новый день стремиться и в сегодняшний день нашей жизни деятельно жить без всякой возрастной скидки.

Копаясь в своих тезисах, написанных крупными печатными буквами, Семен Фомич бормотал:

— Тут я выписку из товарища Ленина сделал.

Но не для публики, а для себя, себе в наставление... Ага, вот слушай. Значит, указал он, как надо нам воспоминаниями пользоваться.— И дед благоговейно прочитал:

— «Я — ну, значит, Ленин — оглядывался на прошлое только с точки зрения того, что понадобится завтра или послезавтра для нашей политики».

Произнеся эти слова, дед впал в глубокую задумчивость. Затем, подняв голову, проговорил:

— Вот почему меня в жар и в озноб бросает, когда к трибуне выхожу. Жизнь моя долгая, всякое было, важное и неважное, плохое и хорошее. Но суть не в том, кто я, а в том, чтобы я из своей жизни самое общепольное и навсегда нужное вспомнил.

Вот товарищ Ленин одного старого ученого очень одобрил за то, что тот политику нашей партии понял и принял. Так этот ученый потом как выразился? Слушай вот, Костя: «Только наука и демократия, знание и труд, вступив в свободный, основанный на взаимном понимании тесный союз, осененный общим красным знаменем, символом мира всего мира, все преумогут, все превзойдут на благо всего человечества». Сильно звучит! Точно сегодня сказано, когда наша партия дело общей жизни на полную мощь развернула. Вот, к примеру, у нас на заводе научная комиссия создана по трению и смазке. Для механики это вопрос вопросов. Без него нельзя ни КПД поднять, ни сроки техремонта удлинить, ни скорость обработки увеличить. Нельзя в конечном счете поднять производительность труда. А кто там заседает совместно с учеными? Слесаря, станочники!.. И ученых мы понимаем, как большевиков на митинге понимали, находясь на платформе партии.

Но чего лишен был Семен Фомич Должиков, так это старческой кротости, терпимости к тому, что не соответствовало его взглядам. С повышенной требовательностью относился старик к людям нынешнего времени.

Константин иной раз сопротивлялся ему, но не потому, что считал рассуждения деда неправильными, а потому, что дед с неумолимой настойчивостью требовал, чтобы внук был во всем подобен ему самому в юности, и старался поэтому держать под своим неслабеющим контролем не только поведение парня, но даже его мысли. Между ними частенько возникали распри.

— Ну, как учишься? — осведомлялся дед.

— На короткой привязи сижу.

— Это что же означает?

— Занимаюсь по учебникам для всех.

— А для тебя что? Особенные нужны?

— А зачем заучивать то, что и так все знают?

— Без среднего в высшее не примут.

— А я полжизни не собираюсь учиться.

— Куда же ты тогда метишь? На завод? Так там дураки не требуются.

— Хотел в ПТУ, а вы с отцом не захотели.

— Высшего для тебя желаем!

— А именно?

— Тут твоя воля, сам выбирай, что тебе лучше.

— А что лучше?

— Теперь по широте жизни на все специальности спрос.

— Вам от меня диплом нужен. Вот что! — с вызовом заявил Константин. — Но прежде надо определить, где мое личное место. Я сам решать буду, где я нужнее.

— Выученные люди всюду нужны.

— А я хочу податься туда, где слабаки не нужны. Хотя и с дипломом.

— На Северный полюс? Так теперь даже белые медведи стали умные. И без диплома на льдину не берут. Там только наукой занимаются. Может, тебе охота штангу самого большого веса выжимать? Тут действительно одна только сила требуется — как раньше у грузчиков, вместо которых теперь механические погрузчики работают. Давай, давай, обрастай мясом, вместо того чтобы мозги себе развивать. — горько произнес дед. — В мое время этим только в цирке публику занимали. Кто что тяжелее поднять может...

Старшие Должиковы на фронте и потом успели свершить то, что давало им право на почести и уважение, и Константин постоянно чувствовал, будто он существует за счет этого уважения. Он любил деда, любил отца, благо-

говел перед памятью покойного Федора. Но когда дед говорил про молодое поколение, что оно живет на всем готовом, имея в виду, что самое важное, трудное и, значит, главное уже сделано старшими, это, хоть и было правдой, воспринималось с обидой.

Однажды Константин сказал деду, желая дать понять тому, что и молодым грозит немало испытаний, сказал от смущения непривычно развязно:

— Если атомкой ударят, одна копоть может от всего остаться.

Дед поглядел на него снисходительно:

— А мы народ, многими державами пуганный. И на любой калибр свой калибр имеем.

Мы свой атом электрический ток гнать охомутили, — продолжал он. — Из пушек палим по градобойным тучам, или вот огромный пожар газовой скважины взрывной волной погасили. Вот где теперь ум человеческий развернулся! А бомба — дура. И кинуться ей, по-футбольному говоря, в одни ворота никак не удастся. Так что даже не копоть, а одни испарения могут остаться — вонь на всю планету.

И с гордостью объявил:

— Наш лозунг — старый и неизменный: победа — миру, смерть — войне!..

Завод — это не только предприятие по производству разного рода продукции определенной отрасли.

Это весьма крупное объединение, но не в административном только смысле, а и в человеческом. Объединение людей, сплоченных общим трудом и оказывающих влияние на жизнь далеко за пределами заводской территории.

Семен Фомич Должиков захворал. Что ж, случай вполне жизненный, тем более что старость — это нечто вроде хронической болезни, и от нее лекарств нет. Врачи поставили Семену Фомичу правильный диагноз, назначили курс лечения, а прежде всего прописали покой.

Этот покой полностью обеспечивали Семену Фомичу в больнице, заботясь о нем почти как о новорожденном. Кормили его, лежачего, с ложечки, меняли исподнее, не давая при этом даже шевельнуться. По нужде не разрешали выйти, приказывали действовать на месте. Оборудование для таких целей называли умиленно — «подсовчик», «уточка», делая уколы, говорили не по-научному — «в ягодицу», но ласково — «в попочку».

Семен Фомич свирепел от таких, как он считал, унижений, но вынужден был смириться и все переживал в душе. Вместе с тем он испытывал гордость за то, что Советская власть достигла столь высокого материального уровня, когда старого человека обслуживает почти целое подразделение специалистов, и это считается нормальным.

И Семен Фомич вспоминал те свои годы, когда он лежал в тифу, и в больнице, как тогда велось, выздоравливающие ухаживали за тяжелыми, ходячие за лежачими, и больные, если были в памяти, недоедали, прятали хлебные пайки под матрацы, чтобы отдать их при посещении голодающей родне. Вместо одеял тогда накрывались своими же вшивыми шинелями, а вместо матрацев были мешки, набитые сопревшим сеном.

Из казенных лекарств имелись только йод, сода и дегтярная мазь, полезная при лишаях. Сильно ослабевшим выдавали увеличенную порцию прогорклого подсолнечного масла.

Термометр был один на всю больницу: когда мерили температуру, кто-нибудь из персонала сторожил этот градусник.

Лежали на деревянных топчанах. Коек не было. Больница плохо отапливалась, и если кого-нибудь клали на топчан возле печки, эта привилегия означала, что человек при смерти.

С годами память на трудное прошлое становилась у Семена Фомича почему-то прочнее, поэтому сегодняшнее представлялось удивительнее, казалось восхитительным, прекрасным, как при полном уже коммунизме. Во время болезни он все чаще обдумывал свою жизнь, вспоминал свою ярость ко всему старорежимному, часто наивную и недалекую.

Вот Семена Должикова послали учиться на краткосрочные курсы красных командиров, где топографию преподавал бывший царский полковник Дроздов. Когда во время занятий в комнату вошел Фрунзе, Дроздов побагровел и приказал зычно, властно:

— Господа офицеры, встать! Смирно!

Прищелкнув каблуками сношенных штиблет, вытянулся, замер, окаменев.

Фрунзе, заметив усмешки на лицах курсантов, сказал:

— Я уверен, товарищи господа красные командиры, в том, что полученных вами военных знаний теперь вполне достаточно для того, чтобы нанести решающее поражение

белогвардейским армиям, которыми командуют бывшие однополчане бывшего полковника товарища Дроздова.— Обернувшись к полковнику, он произнес отрывисто, как перед строем:

— Благодарю за службу и оправданное доверие!— И четко поднес ладонь к козырьку вылинявшей под дождем и солнцем фуражки.

А с каким каторжным трудом восстанавливали завод после гражданской войны! Но самым тяжелым было для него, Семена Должикова, коммуниста, внушать рабочим, что они должны подчиняться указаниям мастеров и инженеров, работавших при прежнем хозяине. И Должиков выслушивал обидные, злые слова о том, что он продался бывшим хозяйским холоумам, забыв, как они драли по три шкуры с каждого рабочего человека, штрафовали, увольняли на голод и нищету за каждую допущенную промашку в работе или за одно вольное слово.

Но без спеццов, с одними бывшими фронтовиками, привыкшими к винтовке и отвыкшими от рабочего инструмента, завода не поднимешь. Когда Семен Должиков задержал ночью возле пролома в заводском заборе крадущих кровельное железо, его жестоко там же, возле забора, избили. Наутро он выступил на заводском митинге с подвешенной у груди сломанной рукой, с багровым, вспухшим от побоев лицом и страстно, гневно говорил:

— У кого мы крадем? У Советской власти крадем! Чтобы она нищала, да? А спекули на базаре обогащались, да? И нас всех в открытую потом грабили за каждый коробок спичек, тоже уворованный с советской фабрики?

И то, что Должиков говорил, не глядя на воров, избивших его и стоявших теперь понуро возле трибуны в ожидании кары, и произносил при этом слово «мы», задевало всех сильно, глубоко, невыносимо, потому что все были в нужде, всем было трудно, голодно, а он, коммунист Должиков, говорил «мы», как бы этим словом беря и на себя вину, рожденную общей бедой, общей нехваткой. Он не обличал воровавших, он говорил страдальчески о том, что произошло.

Именно после этой речи его единогласно избрали секретарем коммунистической ячейки. Тогда при выборах на собрание приглашали и беспартийных рабочих, давая им право высказаться по поводу кандидатов.

Семен Фомич, содержащийся в полном покое в больнице, конечно, не знал, что заводские люди, обеспокоенные

его болезнью, говорят о нем, думают о нем, что на заводе постепенно выяснили все подробности, которые предшествовали его сердечному приступу у остановки автобуса. И набрели на первопричину и виновников его нынешнего состояния.

Научная конференция с участием социологов и психологов по этому поводу не проводилась. И председатель завкома был вынужден вынести порицание тем рабочим, которые по своей инициативе доставили всю артель шабашника Боброва в заводской музей ратной и трудовой славы и там принудили каждого из членов этой артели громко и четко читать вслух лозунги и документы, и в особенности все те, какие украшали стенд, специально посвященный рабочей династии Должиковых. Но порицание предзавкома вынес, конечно, не за эту инициативу, а за ту чрезмерную энергию, какая была проявлена при доставке шабашников к заводу.

Дмитрий Семенович Должиков сказал предзавкома:

— Не за то, что бывшие отцовские ученики такой номер отчудили, им порицание следовало вынести, а за то, что они характер Семена Фомича, отца моего и своего учителя, не поняли. Он старик железный, всегда с полной выкладкой по жизни идет, он в заступниках никогда не нуждался и не нуждается. Не за себя он обиделся, а на то, что наши заводские к шабашникам обращались и спокойно терпели их замашки и халтуру в работе. У рабочего класса должна быть одна мораль — как на заводе, так и за его пределами. Этот случай нам всем — втык. Мы не только за качество продукции перед Советской властью отвечаем, но и за качество людей тоже.

Он помедлил, нахмурился, задумчиво произнес:

— Боброва я знаю. Когда он на фронт уходил, соседка по дому, одинокая женщина, попросила помощь ей оказать — фиктивно на ней жениться, чтобы ей достались полагающиеся женам фронтовиков всякие привилегии. Ну, Бобров, возможно, подумал: война, все равно убить могут — и сделал ей такое одолжение. Вернулся с войны и спокойно себе женился, дочерью обзавелся. И вдруг бац — повестка в суд по делу об алиментах от той бывшей его соседки. А новая обиделась и на развод подала. От первой, значит, исполнительный лист в бухгалтерию заводскую поступил. А вторая еще за двоеженство притянула. Мало того, что получка у Боброва всегда «укороченная», ко всему еще и репутация — морально неустойчи-

вый. Бобров про то, какой трюк с ним жизнь выкинула, никому не рассказывал. Нашел потом себе неофициальную пристань у вдовы, поскольку он мужик на получку неполноценный. Она его ловчить и уговорила. Когда Бобров на себя приписки от своих учеников стал делать, на этом попался и уйти захотел, мы его с завода с легким сердцем отпустили. Как нежелательного.

Дмитрий Семенович горестно покачал головой:

— Вот он вне заводского коллектива и стал совсем нежелательным. Отец один против всех голосовал, сказал: «Он у нас себя замарал, у нас же пусть и оттирается». Отец часто интересовался, отчего у Боброва лицо всегда унылое, как у покойника. Бобров про отца со своей стороны высказывался в том смысле, что, мол, у старика Должикова на любые случаи жизни всегда лозунг найдется. Общаться с ним избегал... Так что этот фортель с музеем по отношению к Боброву считаю неверным по существу. Из тяжелого орудия по нему ударили, а он совсем от обстоятельств своей жизни ушибленный.

— Это от каких же именно? — строго осведомился предзавкома.

— А от таких, при которых человек у человека доверие к человеку украл, — витиевато объяснил Дмитрий Семенович Должиков. — Мы поступок Боброва правильно осудили. Но что при этом, как говорится, в уме держали? Что двойной алиментщик, с третьей нерасписанный живет. Значит, ко всему прочему морально распущенный, разложившийся.

— Такой формулировки я не помню! — резко возразил предзавкома.

— Да я это к чему говорю, — грустно усмехнулся Дмитрий Должиков. — Получит, бывало, солдат из дома письмо, что супруга одиночества не вынесла. Все! Нет активного бойца. В атаку идет в рост, а винтовку под мышкой держит — будто ружье охотничье. Вроде у человека страха смерти нет. А на самом деле что? Впал в полное к себе равнодушие. От этого и не бережется. Ну, и теряем бойца. Когда он идет навстречу врагу, как живая мишень, поди разбери — пулей его убило или разрывом снаряда, а может, все это от письма с обманом, с изменой...

У предзавкома был другой взгляд на случай с Бобровым. Разве это сознательный, честный поступок — посторонней гражданке привилегии обеспечивать, как жене фронтовика? На обман пошел. А кого обманул? Советскую

власть, которая и так надрывалась, оказывая вспомоществование женам, вдовам, детям фронтовиков.

Про фиктивную женитьбу Бобров, вернувшись с фронта, позабыл. Стало быть, государство этой бабе подлой долгие годы всяческую помощь оказывало, а ему, выходит, начихать было. И, стало быть, то, что настоящая жена за такой поступок его из семьи уволила, — это правильно.

А с завода отпустили зря, погорячились. Стружку за поступок с учениками снять следовало. Но станочник он был опытный, и если наряд получал выгодный, со сдельной платой, тут он прямо-таки на работе горел.

Но высказывать свое мнение о Боброве Дмитрию Должикову предзавкома счел нецелесообразным. Сказал о другом:

— Тебе Семен Фомич Должииков, конечно, отец, но и заводу он не чужой. Он как душа рабочего класса, он всеобщая гордость наша. А то, что ребята зря этих гавриков вместе с Бобровым не в милицию сволокли, а привезли на завод, чтобы те поняли перед всеми, что они тут — мелюзга, лилипуты, — вот это точно! Напрасно сделали. Согласен. — Добавил с упреком: — Но вообще вы все, Должииковы, строптивые и уважительное внимание общественности правильно понять не умеете. Про тебя вот, Дмитрий Семенович, почти все заводские знают — ты на фронте геройски бился, пострадал, мог бы и на пенсии полностью отдыхать. Так нет, не желаешь, чтобы инвалидом считали. И ведь в передовиках ходишь, достиг высших показателей. Ты человек воспитанный, грубого слова не скажешь. А как ты меня поносил после того, как я на твоём примере молодежь воспитывал! Вспомни, как ты меня обозвал, хоть и с глазу на глаз, а такими словами, что уж лучше бы нанес оскорбление действием. Чем вам больше от коллектива заслуженного почёта, тем вы строптивее становитесь. Не любите, чтобы на вас указывали. А как мне, председателю завкома, без опоры на конкретные факты воспитательную работу вести? Общие рассуждения, общие слова без доказательств, которые в наличии имеются, не так действуют, не впечатляют...

В голосе его появились сочувственные ноты:

— Я понимаю, вам, Должииковым, такое ваше положение среди людей и в тягость бывает. Вы желаете быть как все люди. А вас вроде как общественным достоянием считают. Или как в ОТК — эталоном, по которому все поступающие детали проверяют. Как в армейском строю приня-

то по правофланговому равняться, так и на производстве: кто самый для людей заметный, видный, на того и подравняются, к тому подтягиваются... Но вот что я тебе скажу. Чем быстрее наша всеобщая жизнь улучшается, тем больше спрос с человека по всем статьям его жизни. Кому много дано, с того много и спрашивается. — Произнес извиняющимся тоном: — Это я не к тебе лично и не к себе отношу. Наше рабоче-армейское поколение только за одну эту войну перед своей эпохой на высоте навсегда останется. Я в смысле того, что когда новое на больших скоростях человека опережает, можно устареть еще и на уровне среднего возраста.

Я за свои слова не ручаюсь, будто они самые правильные. Но в данный момент подходящими их считаю...

Случай, послуживший причиной тому, что Семен Фомич Должиков на «скорой» был доставлен в больницу, сам по себе выглядел незначительным, ну, вроде уличного происшествия.

Зашел Семен Фомич к своему приятелю. Того дома нет, но в большой комнате стол накрыт по-праздничному, а за столом мужчины сидят в замаранных краской и известью спецовках и пируют.

Хозяйке за столом места нет, она суетится, их обслуживает, лицо у нее при этом заискивающее.

Семен Фомич спрашивает:

— Извиняюсь, по какому поводу торжество?

— Да вот, — говорит хозяйка со счастливым и немного сконфуженным выражением лица. — Угощаю по случаю окончания ремонта квартиры.

Семен Фомич сказал:

— Поздравляю!

Один за столом поглядел, сощурился, на Должикова.

— А у тебя, папаша, нюх! — И, кивнув хозяйке, приказал: — Налей ему граммов пятьдесят и котлету дай укусить, не задерживай человека.

Семен Фомич на обидные слова неподатлив, посмотрел так спокойненько на часы.

— Время сейчас не обеденное, а рабочее.

— Во, правильно! Значит, считай, повезло тебе перехватить с нами на ходу.

Должиков сдержался и попросил у хозяйки разрешения пройтись по квартире — как он выразился, полюбоваться после ремонта.

Вообще-то Семен Фомич был по линии райисполкома членом комиссии, принимавшей новые жилые здания, а также дома после капитального ремонта, и хоть он в данном случае никого не представлял, но имел опыт оценки подобных работ. Прошелся он по квартире и вернулся к пирующим огорченным и даже малость растерянными.

Сказал удрученно, обращаясь ко всем сразу: — Ребята, вы что, свою совесть рабочую потеряли?

— А ты что, ее нашел? — с усмешкой осведомились сидящие за столом. — Слышали, как ты в санузле все воду спускал, — может, там?

Семен Фомич опять сдержался.

— У вас в бачке поплавков не действует и происходит утечка воды. Краны вы поставили без сальников. На батареях отопления кранов вовсе нет, значит, температуру в доме нельзя регулировать, муфты соединительные свинчены без пакли, без белил — из них капает, полы у стен гнить начнут. Все двери поверх старого покрасили, новой краской чуть только помазали, фурнитуру на винтах крепить положено, а вы вбивали винты, будто гвозди. Паркет под ногами, — как клавиши на аккордеоне: наступишь — скрипят и вминаются. И много всего прочего такого же. Получается халтура или, как в старые времена говорили, вредительство.

Лицо Должикова, иссеченное морщинами, посерело. Глаза сверкали от гнева, хотя голос звучал спокойно.

— А ты, папаша, видать, из тех пенсионеров, кто в это самое ваше время излишество по линии бдительности допускал. Ишь ты, во вредительстве сразу нас обвинил! — сказал парень в промасленной и заляпанной цветными пятнами куртке. — Мы тебя за такое оскорбление личности можем притянуть к ответственности. — Встал. — Прошу предъявить ваши документы!

— А зачем? — спросил Семен Фомич.

— А хотя бы затем, что по квартире вы тут шарили в одиночку, а там инструмент наш разбросан...

— А кто у вас тут старший? — спросил Должиков. — Ему и предъявлю.

— Я. — Человек с сытым, опухшим лицом лениво произнес: — Зря вы тут, гражданин, свару устраиваете, не ваша квартира, значит, вас тут ничто не касается. А за слово «вредительство» мы все на вас покажем, где следует.

Семен Фомич приблизился к этому человеку, взгляделся в него и вдруг воскликнул изумленно:

— Бобров! Ну и ну!

Человек вскочил, вытянулся, руки его безвольно повисли вдоль тела, физиономия приняла жалкое, просительное выражение. Он тоже узнал старика.

— Значит, ты ими здесь командуешь! — сурово проговорил Должиков. — Выходит, в шабашники подался. Тебе за учеников деньги выплачивали, а ты их работу себе приписывал, в передовики вылез. Как получка, ты ребят в забегаловку водил — тебе угощение выставляют за то, что ты их же и обирал... А теперь вот, — обвел Семен Фомич рукой сидящих за столом парней, — этих портишь.

— Вы напрасно тут меня в таком некрасивом виде представляете, — багровея, сказал Бобров. — Я ведь тоже, как вы, пенсионер, но не гуляю, а вкалываю. — Показал глазами на хозяйку. — Вот они могут подтвердить, сколько месяцев своему жэку кланялись, в ремконтору заявления писали. И все отказывали: то рабочих рук нет, то материала. А мы все на себе доставили, в четыре дня полностью ремонт произвели. И по закону все правильно — наличными платим, чеки из магазинов имеем. — Усмехнулся. — Вы что же, считаете, самодеятельность только на музыку, на танцы распространяется, а на работу нет?

— А парни эти кто?

Бобров снисходительно оглядел сидящих за столом.

— Кто-кто... Один на мотоцикл башли собирает. Другой — на самоходнейшую кожаную куртку. Вот этот, белобрысый, в очках, тихий такой, с глазами в тарелку опущенными, за бумагу работает: для поступления в вуз ему бумагу надо. Жэковские обещали выдать. С рабочим стажем, считается, больше шансов поступить. А та вот троица — те просто так, за рубли. Днем подрабатывают, а в ночную смену на керамическом вкалывают. — Он снова усмехнулся. — Наверное, как мухи осенние, еле ползают по цеху. Народ — я вам прямо скажу, Семен Фомич, пестрый. — Он вдруг добавил невесело: — И сам я стал полосатым. Вернулся бы на завод, да духу не хватает. Вроде как блудному сыну в дом проситься. Вот и вы только плохое обо мне помните, а хорошим чем отличиться, сами видите, не довелось.

— Ты зачем, Бобров, перед этим типом исповедуешься? — крикнул будущий владелец мотоцикла. — Он что, из милиции?

Бобров понурился.

— Перед милицией у нас все законно.— И вдруг озлобленно глянул на своих.— Вам бы перед ним встать следовало. Это товарищ Семен Фомич Должиков, участник революции девятьсот пятого года и вообще.

— Ну и что?— Парень с усами засмеялся.— Гражданин нас благодарит. Все у нас лично приняла? Приняла. А этот пришел с улицы, весь наш парад охаял. Как будто он заведующий Советской властью. А кто он, чтобы требовать? Никто! Ишь ты, нашелся над рабочими людьми хозяин! По повадке сразу видно — в революции он на другом берегу был, потом уже причалил.

Бобров подошел к парню, взял его рукой за плечо и так сдал, что тот в дугу согнулся. Обратившись к Должинову, Бобров проговорил:

— Извините, Семен Фомич.— Затем пожал плечами: — Ладно уж, чего там, перелопатим, что не так.

Но горестным, когда хозяйка провожала Должикова к двери, был ее торопливый шепот:

— Зря это вы, Семен Фомич, с ними раскипятились. Ну, не все ладно сделали, зато быстро и сразу. А свяжись с жэковской ремконторой — две недели будут ходить одиночки: то плиточник, то плотник придет, то маляр, то штукатур, то сантехник, то слесарь, и все вразброд. Один не прихватил, что надо, другой тоже, а третий прямо скажет: «Купите в хозяйственном, тогда поставлю, а у нас в ремконторе не имеется». Ну, и благодарить нужно каждого. А тут можно всех одновременно — за столом. И главному — сколько договорились, столько и заплатила.

Вот это-то больше всего задело Должикова. Ведь сама хозяйка дома Ирина Георгиевна проработала тридцать лет в литейном стерженщицей, и за все годы ни прогула, ни брака.

И муж ее, Михаил Алексеевич, тоже из литейного цеха, — формовщик, мастер, каких не выучить, как не выучивают человека таланту.

И вдруг терпят таких и такое в своем доме!

И Семену Фомичу пришли на память бьющие в сердце слова Ильича, сказанные, когда Советская власть была еще в самом своем становлении. Вот он как в самую сердцевину попал.

— Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде...

Доброта к человеку разлилась сейчас теплом, заботой, стала климатом, в котором повсеместно живут люди. Но выходит, завелись и такие, которых эта теплота разморила на легкую жизнь, заставила забыть, что советский человек должен гордиться правом быть и именоваться советским человеком.

Семен Фомич учитывал слова Ленина о том, что социализм придется строить с людьми, испорченными капитализмом. Таких было немало и в годы гражданской войны и потом. Тогда их называли несознательными.

Но ведь не на словах, а делом доказали, сколько социализм может дать. От социализма много взяли даже те, кому немного причитается. Но некоторые вообще не по труду хотят получить, а хотят без труда цапнуть. И не по пужде это делают, а по своему хамскому отношению к общей жизни.

Хам, он кто? Тот же раб, только раб низменных своих склонностей.

Вот Ленин велел быть хозяином жизни. Хозяином! Но не над людьми. Нужно по-хозяйски сознательно относиться к своему делу и ко всему, что его касается.

Свобода! За свободу большевики на каторгу шли, на фронтах погибали, срок своей жизни не доживали, в мирное время умирали от труда для всех, труда без меры и продыха.

Но для большевика, для настоящего человека дисциплина одна была — что на фронте, в бою, что на заводе, в труде. Без дисциплины ни армейского подразделения, ни рабочего коллектива нет — толпа и все.

Семена Фомича больше всего уязвило не шабашничество парней само по себе, но то, что люди теряют чувство собственного достоинства. А хамство этих парней идет от неуверенности, от тревоги, даже от страха, что живут они не по-людски, не как все, и вся их перспектива — безлюдный тупик, где останутся они один на один с собой. Спихнутся, а годы, когда они на лучшее способны были, профуканы, ими же самими загажены. Хотя, может быть, они думают, что их общественность будет отмывать — она же за каждого человека ответственна. И не пропадут они, соображают эти ребята, в дерьме их не оставят, вытянут.

Должиков вспомнил свои беседы на заседаниях общественной комиссии при отделе кадров, где ему пришлось долго и терпеливо преодолевать упорные отказы тех, кто подал заявление об уходе «по собственному жела-

нию», выяснять, почему возникло такое «желание». Потому что частенько заявление писалось не оттого, что человек действительно собрался уходить с завода, а только, чтобы таким способом вымогать досрочно квартиру, требовать снятия выговора за прогулы, незаслуженного получения разряда, премии.

Да, всюду нужны рабочие руки. А почему? Потому что никогда такого созидательного размаха на всем своем гигантском пространстве не достигала страна, как ныне.

Раньше, размышлял старший Должиков, из человека машину делали, а теперь машина за человека все делает. Но хоть машины стали умнее, человека им не превзойти. Все равно человек — их властелин. На какую высокую точку он сейчас поднялся! Восседает за пультом, как на троне. Одними пальцами, словно на аккордеоне играя, целыми потоками автоматической линии управляет. В прокатном цеху сидит оператор в стеклянной будке и повелевает сразу всеми клетями одновременно. Вот он какой, рабочий класс, во всей своей силе! Один рабочий дает столько, сколько раньше тысячи не управлялись дать, да еще в поту, в жару, в безмерной усталости.

А кто же те, что от такого возвышающего человека дела ушли? Просмотрели мы их или они сами, ловча, от нашего внимания ускользнули? И уж такие ли они скользкие, что их теперь не ухватить за совесть, не выручить? Рубль, он, конечно, бывает длинный, но жизнь от такого целкового куца, как в конуре на привязи. Длинный рубль, он, как веревка, опутывает. Значит, и парни эти запутались. И чувствуют, что запутались, потому и нахамили Семену Фомичу. Он их на короткой привязи увидел, подневольными, от слабости характера боящимися признаться, что слабаками оказались, большого, настоящего в жизни достичь не сумели.

Все это перебирал в своем уме Семен Фомич Должиков, чтобы, как он полагал, сыскать правильный подход к этим парням, его оскорбившим, вызвавшим в нем и отвращение и негодование, а это он пытался счесть факторами чисто субъективными, над которыми он должен подняться, чтобы объективно доложить обо всем на совещании в завкоме, как раз посвященном проблемам текучести на заводе. Одни члены завкома в предварительных разговорах по поводу этого очередного совещания по кадрам утверждали, что для некоторых главное не то, что в трудовой книжке записано, а сколько в сберегательную зачислено, и выска-

зывались в том смысле, что с подобными церемониться нечего: ставить штампы «рвач», и все дело. И уж потом зачислять только в подсобные. А у летунов профсоюзный стаж списывать. И за каждый день прогула вычитать из стажа пять дней, а то и больше.

Другие, скажем, Дмитрий Семенович, уже на многих совещаниях выражали другую точку зрения. И продолжали ее держать. Извинившись за то, что ему вставать со стула трудно, Дмитрий говорил сидя. Говорил, потупившись, негромко.

— Вот, например, к нам пополнение на фронте поступало из жителей освобожденных районов. Конечно, могла у этих людей ослабеть вера в Советскую власть, раз мы до них врага допустили, который их терзал, грабил и свою агитацию проводил против большевиков. С одной стороны, конечно, могли они оказаться и ненадежными. А на самом деле что получалось? За то, что мы им доверие оказали, оружие выдали, они себя в бою не жалели и, натерпевшись без Советской власти, дрались в бою, как оглашенные. Дана команда захватить такой-то населенный пункт и там закрепиться до подхода свежих частей, а они дальше прут без удержу, не признают рубежа для отдыха и для привала. Так, значит, получалось...

Вот я и хочу кое-что при всех прикинуть. Летун — он, так сказать, не сам по себе летун. Разве нет у нас на заводе огрехов, недостатков, неприглядных сторон? При них и привлечь и удержать человека трудно. И мы сами каковы для свежаков? Заинтересованные, доброжелательные учителя? Или каждый, уткнувшись в свой станок, только норму гонит и даже перевыполняет и только благодаря этому считает, что он на заводе личность? А настоящая личность к себе другого человека тянет.

Мы почему при ранении из санбата в госпиталь попасть больше всего боялись? Из госпиталя потом в другую часть направляли, а санбат — свой, оттуда обратно к себе в подразделение пойдешь. У нас ротный капитан Соловьев душа человек был: характер выдержанный, голос при всех обстоятельствах нормальный, спокойный. О каждом бойце знал больше, чем тот сам о себе. К нему и тянулись. Не все на тебе заживет, а к нему в роту душа просится. В санбате сыт, ухожен, обласкан, у смерти в отпуску, а вот ковыляешь не в полной своей физической форме обратно, в свое подразделение.

— Мы заводские дела обсуждаем, а фронтовыми воспоминаниями заниматься... По этой линии у каждого немало найдется, — прервал Должикова предзавкома.

Дмитрий недоуменно поднял на него глаза:

— А я про что говорю? Про заводской коллектив. Будет он о каждом в заботе, так люди не с завода будут уходить, а в такой коллектив попасть стараться. Не только отдел кадров обязан нас обеспечивать людьми, а мы обязаны помогать им к заводу прирастать. Даже вот в лесу, заметьте, там, где хороший строевой лес стоит, там и молодняк строевым лесом вырастает. Дерево, оно что? Ума нет, одна древесина. А ведь старые, прочные правильное развитие молодняку обеспечивают. И от перегрева охраняют, и от стужи, и от ветров, которые сучья и вершины обламывают.

— Лекальщик, а рассуждаешь, как лесовод. Напоминаю, на повестке дня стоит кадровый вопрос.

— Так вот я и считаю, — твердо объявил Дмитрий Должиков, — что новопонимающихся следует проводить не через проходную, а сразу через зал боевой и трудовой славы завода и сказать им просто и ясно, что мы все здесь не только план гоним, а на этот зал работаем, на все то, что там выставлено и чему мы обязаны, что живые, не павшие, и что перед всеми павшими мы в долгу на вечные времена...

То, что тогда сказал сын, понравилось Семену Фомичу Должикову, и он решительно заявил:

— Это предложение, считаю, в самую точку, в сердцевину любого человека. Мол, не просто поступаешь работать на завод, а на весь наш народ на этом самом заводском месте трудиться будешь. Но при этом что важно отметить? Завод наш всеми благами для человеческого удовольствия обзавелся: и свой Дом культуры имеется, и стадион, и база отдыха, и профсоюз соцфондом рабочих обласкивает, и техникум свой. А филиал политехнического — это все тот же завод, но только в полном своем масштабе. Значит, живи, пользуйся, только работай с уважением к годам минувшим, ревностно — к дню текущему и с запасом ума и знаний на день грядущий.

Но все-таки, как бы ни были эти общие суждения правильными, воодушевляющими и всеми одобренными, обида и тоска от случайного столкновения с парнями из артели Боброва волновала, томила и жгла, где-то у самого сердца давила болью.

— Сковырнулся, — потом объяснил врачу Семен Фомич. «Сковырнулся» он в тот момент, когда помогал женщине, выходящей с передней площадки автобуса: подал ей тяжелый чемодан и привязанную к ручке сетчатую авоську, набитую ярко-желтыми апельсинами.

Сначала что-то резануло в груди, потом апельсиновым цветом застлало глаза и по затылку ударило, словно поленом. Он упал на асфальт и ткнулся лицом в каменный бордюр.

Очнувшись на больничной койке, накрытый шерстяным одеялом в белоснежном накрахмаленном пододеяльнике и утопая головой в мягкой подушке, он увидел над собой девичье лицо, разглядел знакомое одеяние сестры милосердия. Такие были в ходу в годы первой мировой войны, только тогда их шили из серой ткани, а на фартук и косынку нашивали красные кресты. Здесь крестов не было, а со склоненной нежной шеи сестры на тонкой цепочке ниспадал медальон, он почти касался седой волосатой груди Семена Фомича. Одна рука Должикова была откинута, в сгибе ее торчала игла с резинкой, а в вену вливалась бурая жидкость.

— Это что? — прошептал Семен Фомич и глазами указал на высоко подвешенную склянку.

Сестра засмеялась:

— Это вместо вашей крови; вы немножко крови потеяли, когда расшиблись.

— А я думал — пиво... — Он перевел взгляд на свою руку, где торчала игла, и ему стало совестно. Дело в том, что в гражданскую, когда он в Царицыне попал на бронепоезд, один матрос сделал ему на руке наколку, изображающую русалку. Сейчас игла была воткнута в такую деталь русалочьего тела, которой Должиков стеснялся даже в бане, в мужской компании.

Сестра смотрела на Семена Фомича ласково и соболезнующе.

— Вы бы это прикрыли, что ли. — Должиков снова покосился на свою руку. Пояснил скорбно: — Теперь по таким приметам только уголовников узнают.

Сестра, рассматривая рисунок, спросила:

— И больно было, когда вам руку кололи?

— Больно, — уныло сказал Семен Фомич. — Испрастили человека.

— Вам разговаривать строго запрещено, — вспомнила девушка.

— А вам? — спросил Должиков.

— Ну, я же обслуживающий персонал, мне можно.

— Так говорите про все, что желаете. Тогда я заткнусь.

— Я вам наушники надену и включу радио тихо-тихо, чтобы вы заснули.

— Как на докладе, который по бумаге читают, — другими написано, но зато своим голосом. Наш предзавкома это любит.

— Трудный вы больной! — улыбнулась сестра.

— Зато человек легкий!

Вообще-то Семен Фомич чувствовал себя неважно. Но хотя он был уже в том возрасте, к которому женщины относятся только с почтением, трудно было не взбодриться при виде столь привлекательного девичьего личика. Поймав себя на недозволенных, как ему показалось, мыслях, старик решительно объявил:

— Вы, вот что, девушка, ступайте, отдыхайте. Покойников я не люблю и сам в их общество ни в коем разе не тороплюсь. Ясно? Ну, все! С пролетарским приветом. — И хотел отвернуться к стенке.

Но сестра строго приказала:

— Не шевелитесь! Лежать смирно! Иначе я вызову врача.

— А я даже под пистолетом смирно не стоял.

— Тогда я вам укол снотворного сделаю.

— Ну и дела, — усмехнулся Должиков и грустно добавил: — Меня в гестапо не уколом успокаивали, а обрезком водопроводной трубы по башке: сутки действует.

— Вас допрашивали в гестапо? — всполошилась девушка.

— Накоротке; они спешили утیکать, поэтому мало беспокоили. Потом сразу повезли на полный расчет, но я во рву ожил, они так, на халтуру, только чуть землей присыпали, я и раскопался. Человек, он хоть для железа мягкий, существо самое живучее, — важно сообщил девушке Должиков. — И поэтому даю вам гарантию, ничего такого со мной не будет, поем больничного клюквенного киселя, и через неделю вы мне ручкой помашете.

Но веки его безвольно опустились, он смолк, стиснув зубы, осторожно, медленно дыша от невыносимой боли в груди.

Есть люди, которые обладают опытом болеть, умеют и даже любят лечиться.

А есть такие, что лечиться не умеют и не любят. Оказавшись в больнице, теряются, утрачивают волю, безропотно доверившись и полностью подчинившись всем тем людям, какие получают над ними власть вне зависимости от занимаемой должности и медицинского звания.

Если Семен Фомич Должиков и испытывал когда-нибудь недомогание, то относил его симптомы на счет своего беспокойного характера, полагая, будто неважное состояние вызвано лишь какими-нибудь недостатками на производстве: он, дескать, расстроился, пегорячился и от переживаний утратил привычное бодрое самочувствие. О своем организме заботился Семен Фомич мало, основное внимание уделял воспитанию духа. Ни при каких обстоятельствах, считал он, нельзя позволять себе терять самообладание. Сначала надо все взвесить в уме, все сообразить, без жара, без поспешности, а уж затем кратко и достойно, сохраняя равновесие духа, высказаться. Сначала все переживи в собственной душе, чтобы зря не расстраивать других своими переживаниями.

Конечно, Семена Фомича очень огорчила встреча с Бобровым и его артелью, оскорбила их паглоть и пакостная, халтурная работа. Но многое из этого, поразмыслив, Должиков отнес к организационным просчетам системы бытового обслуживания населения, о чем и собрался сообщить на очередном заседании райсовета. Поскольку на заводе создана централизованная служба ремонтников, успешно обслуживающая все цеха и подразделения, решил он, по такому образцу следует организовать и службу ремонта в коммунальном хозяйстве. Но как бы ни было разумно такое полезное соображение, оно до конца его не успокоило. Жгучая тревога за Боброва и его молодых напарников, торгующих своим трудом, продолжала мучить Семена Фомича: горечь, недоумение испытывал он. Чем же вызвано такое унижение труда человеческого?! И разве не понимают те, кто этим трудом пользуется, как это унижительно для них?..

Хотя сам Семен Фомич на производстве гозорил частенько: «Сколько поработаешь, столько и заработаешь», — однако под этими словами он, естественно, разумел не одну только получку, но и ту честь и ту славу, которые сопровождают на производстве человека, способного давать продукцию должного качества сверх положенной нормы. Таких людей величали передовиками. По ним равнялись. И когда многие достигали высоких результатов,

передовикам надо было снова проявить себя в труде. Поэтому на заводе люди не просто работали ради заработка, но увлеченно и ревностно старались превзойти и других и самих себя. Именно поэтому каждый перед сменой глядел на доску показателей, ища свое место на ней, и, уходя со смены, точно так же останавливался у этой доски.

Доска показателей, как и всюду, обозначала ход социалистического соревнования, выполнение взятых обязательств. Можно остановиться поглядеть, а можно пройти мимо. Получка покажет — деньги есть деньги.

Но именно у этой доски рождался тот азарт, без которого труд оборачивался простой житейской необходимостью, а не удовольствием, не увлеченностью, не взаимной спайкой людей, не соперничеством одной бригадной команды с другой, не соревнованием разных производственных подразделений.

И любой день на заводе был особенным, необычным, хотя, в сущности, каждый день там занимались обычным, положенным делом на обычных рабочих местах.

Вот почему Семен Фомич считал уход Боброва с завода под благовидным предлогом чем-то вроде выпуска изделия с дефектом, за которым рано или поздно последует реклама. Маясь томительным бездельем на больничной койке, он и пришел к выводу, что судьба Боброва на его совести.

Вообще-то Семену Фомичу приказано было привести себя в состояние полной отрешенности от всех забот, для чего и обращались с ним, как с младенцем.

— Ну, как наше самочувствие? — задорно подмигивая, спрашивал врач, почти такой же старик, как сам Семен Фомич.

— Вполне.

— Ваше состояние сейчас зависит от вашего послушания и настроения, — назидательно заявил врач. — Отрицательные эмоции только затруднят лечение. Так что настоятельно советую отдыхать и только отдыхать.

— Как покойнику? — ехидно осведомился Должиков.

— И рекомендую воздерживаться от разговоров с нашими сестрами. Они на вас жалуются.

— Так я только из вежливости, благодарил за внимание ко мне.

— Повторяю, советую отдыхать даже от самого себя.

— А это как?

— Забыть все, что вас беспокоит.

Семен Фомич добродушно улыбнулся.

— Нет, доктор, ни у меня, ни у кого из нас такое не получится, и у вас, думаю, тоже. Домой вернетесь, халат с себя скинете, а в голове все свербит: лекарства расходуете, а на какого-нибудь больного они не действуют. Вот крутись-вертись, а на ноги человека поставить надо, по выздоравливающим небось тоже свой план есть.

— Понимаю. Настроение у вас улучшилось, а сон как? Ничего такого тревожного не снится?

— Страдает бессонницей, — сообщила сестра.

Доктор сказал что-то по-латыни. Сестра кивнула.

Должиков одобрительно поглядел на сестру:

— Иностранный язык выучила, это правильно. А то приезжают к нам делегации из-за рубежа, а я по-ихнему ни бум-бум. Приходится брать переводчика в подсобники. А по лицу вижу, технику он не понимает, вот и объясняй иностранцам после этого толково наш новый способ, методику обработки металла посредством последних достижений науки и техники.

Врач сокрушенно произнес:

— Вы слишком утомляете себя разговорами. — Добавил шутливо: — Приговариваю вас к молчанию.

— Ладно, — согласился Семен Фомич, — молчу, если от этого вам будет легче при такой вашей работе.

По окончании школы внук Семена Фомича Константин Должиков вместе со своим сверстником Алексеем Должиковым, сыном Геннадия Семеновича, укатили на Сахалин; там они устроились на плавучий рыбзавод.

Спустя полгода Алексей Должиков вернулся домой, покаялся перед родными и поступил в техникум.

Константин Должиков после рыбзавода работал в порту стропальщиком, затем длительное время плывал мотористом на катере геологической партии.

Когда однажды утром Семен Фомич, услышав звонок и открыв дверь своей однокомнатной квартиры, увидел внука с чемоданом в руке, во флотской фуражке, в черном грубошерстном бушлате и тяжелых сапогах с низко отвернутыми голенищами, он невозмутимо произнес:

— Ага, объявился. — Так, словно они и не расставались вовсе.

Выслушав за чаем внука, сказал равнодушно:

— Антон Павлович Чехов — классик, а на перекладных через всю Сибирь до Сахалина добирался к каторжникам. Вот такое я уважаю. — Объявил со вздохом: — В Отечественную ребята в твоём возрасте на фронт убежали, а я, к примеру, в гражданскую уже пулеметным расчётом командовал. — Снисходительно оглядел парня. — Да уж ладно. Для вашего поколения и такая закалка сойдёт. — Проговорил с усмешкой: — А я-то думал, ты где-нибудь на Северном полюсе на льдине плаваешь. Гордился... Значит, скоро тебе в армии служить? — И закончил с воодушевлением: — Там тебя до нормы дошлифуют.

Алексей Должиков ввел Константина в свою молодежную компанию. Кроме внуков и внучек Должиковых, туда входили Юрий Самохин, Нелли Фомина и сын директора завода Сережа Иванов. Все они уже были прилажены к прочной жизни — либо учились в техникумах и институте, либо работали на заводе, — как Сергей Иванов, который, впрочем, уже достиг четвертого разряда в горячем литейном цеху и поэтому, как он сам выражался, стал «материально независим от предков».

Нелли была самой привлекательной среди девушек. И не просто привлекательной, а такой подавляюще и гордо красивой, что даже Сергей Иванов при всей его развязности признавался: «Как погляжу на Нелли, сразу глупею и чувствую себя лилипутом». Нечто подобное испытывал и Костя Должиков, поэтому он больше общался со Светой Должиковой. Миниатюрная, с кротко мерцающими на круглом личике глазами, она доверчиво слушала Костю и от души восхищалась той морской жизнью, о которой он ей рассказывал, в увлечении несколько привирая.

Она часто приходила к нему домой, убирала квартиру, утверждая при этом, что ходит не к нему, а к деду.

Что касается Семена Фомича, то его частые посещения Светы вначале только радовали, а потом он стал вдруг встречать ее мрачно и озабоченно.

И однажды сердито сказал внуку:

— Так вот что, Константин, не забывайся. Она тебе сестра, хоть и двоюродная. Понял?

— Если по-культурному, то кузина, — улыбнулся Костя.

— Как ни называй, а не положено! — свирепо оборвал его дед.

— Многие выдающиеся деятели прошлого века женились на своих кузинах, и даже высший свет не считал это

недозволенным и предосудительным,— сообщил внук с улыбкой.

— Это кто же они такие, эти высшие? — хмуро спросил Семен Фомич.

— Короли, князья, графы, бароны. И сам выдающийся мировой классик Дюма писал об этом как о вполне дозволенном деле.

— Это который «Три мушкетера» сочинил? Тоже мне авторитет!

— Но у Льва Толстого о таких браках тоже, кажется, упоминается без осуждения.

— На Толстого не брешь! — гневно потребовал Семен Фомич. Глаза его сузились. — И кончай со мной балаганить. То, что я тебе заявил, это окончательно и никакому обсуждению не подлежит.

— По племенным соображениям! — вспыхнул Костя.

Дед сгреб на груди внука флотский «рябчик» и, приблизив свое рассерженное лицо к его нелепо, растерянн улыбающейся физиономии, показал парню костистый кулак величиной почти с пудовую гирию.

— Вот я тебя за такие слова измордую по-родственному и внушу, что есть родня. А не поймешь сразу, буду внушать до полного твоего вразумления.

— Кулак — это еще не аргумент, — прохрипел Костя, багровея, но не оказывая деду сопротивления.

Тот отступился, спросил растерянн:

— Что это ты мне такое пролепетал? А ну, повтори!

— Кулаком не доказывают. Вот.

— А чем? Если на тебя слова не действуют?

— Слов всяких много. Но если у человека большое чувство, никаких слов не хватит, чтобы такое чувство одолеть.

Дед в растерянности опустил на стул, спросил страдальчески:

— Так у тебя это по-настоящему? Тогда что ж, пускай лучше правило жизни сломается, чем вы себе жизнь порушите. — Склонил голову, произнес печально и неуверенно: — А может, вам еще с учеными посоветоваться? Если наука допустит, тогда я не твою, а свою башку Дмитрию подставлю, повинюсь — дал, мол, согласие.

В это мгновение Костю охватило то давнее, забытое ощущение, которое он испытывал в младенчестве, когда болел, а дед, сидя у его постельки, бормотал сонно-сипло почти всю ночь напролет наскоро сочиняемые им самим

сказки. Приходилось сочинять: ему-то самому в детстве никто сказок не рассказывал. Костя не знал матери, и в деде для него воплотилась вся доброта, нежность, ласка, которые даруют только матери. Дед все это сберег для него в своей душе... И Костя Должиков, уткнувшись в подушку, плакал, потрясенный этим глубоким, объявшим все его существо чувством к деду, чьей теплоты, чьего неугасимого душевного света хватило бы, чтобы согреть всю его, Костину, жизнь.

А Семен Фомич, сидя на табуретке рядом с внуком, как прежде бормотал свои самодельные сказки, так и сейчас пытался сочинить утешительное:

— Если царям и князьям раньше было можно, то нам теперь и подавно. Бывает, счастье и ногами и руками в дверь человеку стучит, а человек ему не открывает. Боятся открыть. Думает, недруг. Не верит, что счастье может так, запросто. А ему, счастью, надоест стучаться, оно в другую дверь начнет молотить, и там ему с радостью отворят. А счастье — оно редкость, его упускать никак нельзя. Стучит, значит, ему дверь настежь. В другой раз, может, никогда не придет. Обидится, и все... — И дед гладил внука по голове своей тяжелой ладонью с шершавой, как испеченной в печи, кожей.

...Ярким солнечным утром пошел Костя Должиков со Светой к реке. Блистали небо и вода, речная отмель сверкала своим песчаным золотом.

— Давай искупаемся! — И Света стала стягивать с себя платье. Разбежавшись, кинулась в реку, поплыла, белея в прозрачной воде телом лунного цвета.

Шли обратно, и Костя сказал хмуро:

— Думал, я тебе нравлюсь!

Света с прежней беспечностью спросила:

— За что именно?

— Не за что, а вообще.

Она остановилась, возмущенно посмотрела ему в глаза:

— Ты что? Сдурел! Не совестно? — Вскинула оскорбленно голову. — Хорош братец. — И объявила гневно: — Свинья ты после этого!

Дальше шли отчужденно, молчали. Вдруг Света заговорила, не глядя на него:

— Ты, Костя, меня прости. Мне, наверное, просто показалось. Отвыкла от тебя, ну, и сказала сгоряча. Это все оттого, что мальчишки стали смотреть на меня не так, как

раньше, и противно подхалимничают. А тем, что у меня есть брат моряк, я перед ними гордилась.

— А я тобой горжусь,— уныло вымолвил Костя,— за то, что ты хорошая...

Провожая внука на срочную службу, дед говорил торжественно:

— Я где окончательно в человека выстроился? В Красной Армии. Раньше мы какими в нее шли? Неграмотными, темными, полусознательными. А она нас выучивала и просвещала. Наравне с воинским делом обучала арифметике, русскому языку и, ясно, политграмоте. Ну, а экзамен на полную сознательность нам бой устраивал. И на любой случай у нас лозунги подходящие имелись. Воодушевляющие. Теперь их чего-то мало пишут. А прежде только с лозунгами и в тылу и на фронте героизмовали. В лаптях воевали, а сапогами вместо ордена награждали. Это вас теперь обувают, одевают, как раньше у нас комбригов не наряжали.

Про Отечественную не говорю, ты ее по кино, по книгам знаешь. Но первоисток наш помни — с чего начинали. Большие реки тоже в чистом роднике начинаются.

Так что учти, Константин Дмитриевич: твой отец и мой сын Митя каждым своим орденом с тебя будет спрашивать, как службу несешь. Ну, и я тоже со всей моей строгостью. Значит, будь достойным сыном своего отца, с учетом, конечно, и деда...

Отбыв службу, Константин поступил на завод, имея звание ефрейтора танковых войск и специальность механика-водителя. Поставленный на выучку (по протекции деда) в ученики к Егору Ниловичу Горохову, он не только достиг пятого разряда, но и усвоил у своего наставника главное — отношение к труду как к цели всей жизни. Маститые мастера стали с уважением относиться к Константину Должикову и, несмотря на различие в возрасте, держались с ним, словно со своим сверстником.

От этого Костя невольно стал вести себя с солидностью уже пожившего на свете человека.

Зубцов, вызвав его к себе, сурово спросил:

- Это ты драку учинил, человека избил?
- Не одного, их несколько было.
- Другие не жаловались.
- Значит, мало дал.

— Есть мнение — выговор тебе дать, но, принимая во внимание твое состояние из-за деда, без занесения в личное дело.

— Спасибо.

— Это за выговор?

— Нет, за то, что приняли во внимание.

— Поблаговаришь Боброва: он сообщил в милиции, что первым тебя двинул, а ты, мол, разгорячился в порядке самозащиты.

— Да он меня пальцем не тронул! — возмутился Должиков.

— Это он, я так предполагаю, из-за Семена Фомича тебя выгородил — все на себя принял.

— А мне это не нужно! — строптиво наклонил голову Костя.

— Тебе не нужно, а Боброву самому нужно, чтобы очиститься. Не понимаешь? Совесть в нем проклюнулась. Снова на завод попросился. Отсидит за хулиганство, считаю — следует принять, тем более, меня сам Семен Фомич упрекал за него: мол, поторопились отчислить человека без учета ряда моментов в его жизни.

— Я не согласен, — раздраженно сказал Должиков.

— А я тебя не спрашиваю! — оборвал парня Зубцов. — Члены бюро согласились. Твое дело теперь — собственный позор пережить сознательно. А в дальнейшем свою нервную систему на цепи держать. — Он слегка хлопнул по столу ладонью. — Значит, все. На этом точка. — Спросил: — В больницу ходишь?

Должиков кивнул.

— Ну, и как?

— В палату к нему не пускают. Вторую неделю ночую в прихожей.

— Это зачем?

— А вдруг?..

— Не будет никакого «вдруг», — решительно объявил Зубцов. — Я звонил главному — на той неделе тебя, как ближайшую родню, допустят... Ишь, обрадовался! Ему выговор влили, из тюрьмы, можно сказать, чудом вытащили, а он... — Секретарь парткома махнул рукой. — Аж весь засветился. Совесть у тебя есть?.. Только ты смотри, Константин, этим печальным фактом, выговором своим, деда не тревожь. А то он снова, как от тех шабашников, запереживает. Такой сюрприз от внука ему, пока он в больнице, строжайше противопоказан. Но сколько вре-

мении после ни пройдет, он все равно переживать будет. Обидел ты деда своим поступком, вот что по-человечески тебе скажу. Ну, да ладно, ступай, а руку мне не тяни, свою пока подавать считаю преждевременным. Воздерживаюсь. Задело? Правильно, что задело, ты это прочувствуй как личное от меня порицание. Так что без привета. Пока...

Семен Фомич вернулся из санатория, куда его отправили после больницы, как он сказал сам, сильно похоронившим.

— Ну, Костя, — сообщил он задорно, — держись! Мыслей я набрался там всяких очень замечательных, теперь после своего капремонта буду их с заводскими обсуждать. Спрашивается: отчего люди болеют? От болезней? Никак нет! Ты такое видел, чтобы бодрый, веселый человек, при своем крепко налаженном деле находящийся, да когда у него еще и дома порядок, хворал? Не видел!

У болезни волчьи повадки, кто от огорчения слабость в себя допустил, на того кидается и грызет.

Вот, помню, Егор Нилович Горохов делает замечание зуборезчику Прохорову: «Чего это ты во время работы куришь?» А тот ему: «Не твоя забота!»

— Как не моя, — возражает Егор Нилович, — а если, к примеру, пилот будет с сигареткой в зубах самолет вести, небось сам от страха взвоешь!

— Самолет не шестеренка.

— И шестеренка в двигателе, если с браком сработана, может в пути людей погубить.

— Если ОТК пропустит, оно и в ответе будет.

После, гляжу, Егор Нилович из тюбика себе в ладошку валидола таблетку вытряхивает, станок свой отключил. Не мог работать в таком состоянии, и в итоге норму недодал. Значит, с чего начинается болезнь? С душевного расстройства!

— Я и сам, как услышу, у кого рядом резец сипит, скребет, а не режет, у меня кожа пупырышками покрывается и зудеть начинает, — согласился Костя.

— Вот! — торжествующе провозгласил дед. — Выходит, есть типы, которые, не думая о других, после себя даже кран не закрывают.

— А укажешь такому, возмутится — тоже мне, скажет, нашлось начальство! — хмуро произнес Костя.

— Во, во, в самую точку! — обрадовался дед. — Какая у таких психология? Перед начальством он по команде смиренно, а своим товарищам по труду нахамит без всякого затруднения.

— И чем больше им прощают, тем больше они распускаются.

— Наказывать легко, воспитывать трудно, — вздохнул дед и вдруг, оживившись, объявил: — Да я это все к чему тяну? Обмысливали мы там, в больнице, и после, в санатории, и когда лежачие были, и потом, ходячими, насчет бригад. Ну, кто по линии экономики рассуждал, а кто с точки зрения того, что в бригаде все должны считаться ответственными работниками. Который не желает этому вникать, того обсудить всей бригадой. Получается самое настоящее рабочее самоуправление. Сами с себя за все спрашивают — и за работу и какой ты есть в настоящей твоей натуре человек.

— Конечно, — задумчиво произнес Костя. — Вот у нас Прохоров ораторствовал: «Наведем на заводе полный порядок, чтобы все службы работали точно, как часы, и не надо бригад. Каждый на своем месте сколько сможет, столько поработает и столько по своей личной потребности заработает». Порядок во всем, конечно, необходим. Но как его понимать? Нам самим техническим прогрессом назначено действовать в трудных и постоянно меняющихся условиях. Новые металлы, новая техника, новая технология, а значит, и новые формы организации труда. Это сражение: как точно его ни спланируй, в ходе боя обстановка может быстро измениться. Умей и в ходе боя перестраиваться.

— Научили тебя в армии по-армейски мыслить? — усмехнулся дед.

— Да не люблю я тех, — поморщился Костя, — кто хитер рассуждать о том, откуда должна инициатива поступать — сверху или снизу. Единый у нас всех фундамент — мировоззрение. Сошел с него, значит, ты вниз. Стоишь на нем прочно, и все тебя касается: и что в стране и что за ее пределами. А раз так, значит, воздействуй на обстановку тем, что ты умеешь, можешь делать, и все тобой сработанное ко всему, что всеми сработано, приложится, и будет тогда у нас всеобщий верх...

— Ну, внучек! — обрадованно сказал Семен Фомич. — Выходит, и ты умом вырос. — Нахмурился: — А по твоему личному делу у меня с тобой особый разговор будет, с про-

тиркой.— Добавил скорбно, распаковывая свой чемоданчик:— Лекарств тут мне насовали, таблеток всяких! Это чтоб я их, как кура, три раза в день клевал для поддержания себя в полной боевой форме. И ничего не поделаешь, слово дал — обнадежил врачей, что медицине личную поддержку окажу. Для их статистики еще пару пятилеток на верняка проживу...

Начальник конструкторского бюро, доктор технических наук Евгений Потапович Лебедев, человек раздражительный, страстный, наделенный безмерной работоспособностью, кричал директору завода:

— Талант не может быть лишним! И плевал я на ваше штатное расписание! У вас там расчет на количество рабочих, а у меня — на количество интеллекта, который сегодня является самой мощной производительной силой.

— У вас и так немало бездельников-головастиков. Войдешь — накурено, как в душегубке, и все треплются.

— Что значит — бездельников? — возмущенно восклицал Лебедев.— Вы можете к человеку под черепную коробку влезть? Нет? Свободная дискуссия — полет мысли. Мечты об осуществлении неосуществимого — вот ценный продукт мозговой деятельности.

— Вот именно — неосуществимого! А у меня план, рассчитанный на исполнение без отрыва от земной поверхности.

— Если человек смотрит только себе под ноги, боясь споткнуться, то он никогда не достигнет высокой цели.

— Такое годится только для плаката.

— А у вас в дирекции чем существуют?

— Семь раз отмерь, один раз отрежь.

— Древняя истина!

— Однако никем еще не опровергнутая. Производство требует не приблизительного, а точного, окончательного решения. Иначе задание выполнить нельзя.

— Чье задание? Эпохи или главка?

— Главку мы подчиняемся,— сказал директор. Потом усмехнулся:— Но с эпохой тоже желательно считаться.— И добавил поспешно:— В пределах возможного, конечно.

— Моя позиция — подчиняться власти эпохи и твердо внушить это вам и главку,— с вызовом объявил собеседнику Лебедев.— С точки зрения современной научной мысли, опережающей производство, мы выпускаем старье,

годное лишь для музея техники. Мы должны взять прицел на машины, энергетическим источником которым послужат продукты атома, плазмы, кристаллического водорода. Машины из материалов, применяющихся для исследования космического пространства, машины, оптимально миниатюризованные и рассчитанные на максимально продолжительный срок работы.

— Ну, что ж, пожалуйста! — радушно и коварно улыбнулся директор. — Не возражаю! Но только для этого нам с вами предварительно необходимо выпустить максимальное количество уже существующих машин улучшенного качества, и тогда благодаря им у страны появится столько капитала, сколько нужно, чтобы обеспечить нас для производства вашего, не сомневаюсь, самого прогрессивного типа продукции, отвечающей требованиям эпохи.

— Поздравляю! — съязвил Лебедев. — Если б такой победоносной логикой вы добивались всего, что нам необходимо, в главке, мы бы не испытывали многих трудностей. — Он настойчиво осведомился: — Так как обстоит дело с дополнительной штатной единицей?

— А она у вас действительно сильно соображает?

— Не сомневаюсь.

— Ну, ладно, может, соскребу с какого-нибудь отдела. — И директор произнес скорбно: — Толкаете меня на нарушение.

Почти таким же способом Лебедев выбил место в КБ и Нелли Фоминой.

— Не замужем? — спросил директор. — Значит, выйдет. Пойдут дети, а дети — цветы жизни, нуждающиеся в уходе.

— У нас свои ясли, детский сад, — напомнил Лебедев.

— Обошлись заводу в копеечку.

— Интенсивное развитие производства рассчитано на совершенствование техники и технологии.

— Понимаю, — сказал директор. — По происхождению девушка наша, заводская, и это учитываю. Но чем она для КБ светит?

— Молодой инженер с воображением и остро критическим взглядом.

— Чего, чего, а этого у современной молодежи с избытком.

— Самое опасное для нас — это привычка к уже налаженному, освоенному, боязнь крутых поворотов, путей в неизведанное.

— Это у нас-то вы видите боязнь! — возмутился директор. — Да наше главное достижение — не число выпускаемых машин, а количество новых типов.

— Модернизация базовых образцов.

— Из ничего рождается только ничто.

— Тоже общая истина. И, как всякая общая истина, нуждается в перепроверке, исходя из реальности текущего момента.

— Давайте не будем отвлекаться, — попросил директор. — Ваши мотивы по кандидатуре.

— Первый, главный, я вам изложил. Остальные чисто, так сказать, психологические. — Лебедев помедлил, произнес со вздохом: — Очень уж хороша. Но при этом ничем не дает почувствовать свое врожденное превосходство, даже одевается так, чтобы не подчеркнуть его, а как-то пренебрежительно затушевать.

— Значит, при такой внешности ей туалеты не важны, — пожал плечами директор.

— Наверно. Красота — это гармония. Помните, что говорится у Чехова? И конструкторская работа есть, помимо всего прочего, стремление к совершенству, иначе говоря, к красоте.

— Да она вам нужна, выходит, как стимулятор? — изумился директор. И добавил с укоризной: — Не ожидал, Евгений Потапович.

— Обидели вы меня. Именно я от вас такого не ожидал, — рассердился Лебедев. — К вашему сведению, я по образу жизни — крот. Больше всего на свете боюсь, что жена скончается раньше меня, а она — что я раньше. Это и есть, по-моему, высшее выражение нерушимой любви.

— Извините, — грустно произнес директор, — перебрал.

— Циников больше, чем лириков, — сказал Лебедев, — особенно, когда дело идет о женском поле.

— Правильно, винюсь, — еще раз покаялся директор.

— Ладно, оставим это. Молодежь, конечно, у нас в КБ сразу оживилась с появлением Фоминой. Но меня в ней убедила хватка. Дал на пробу с одного готового узелка рабочие чертежики произвести. В конце дня смотрю: не то! Спрашиваю: «Это что за новый узелок вы сочинили?» А она мне так строптиво: «Не новый, а старый, только другие стандартные детали из каталога выбрала — в интересах снижения стоимости производства». Понимаете? Поймала и даже обличила.

— Очень красиво вас Фомина проучила, — обрадовался директор. Потребовал решительно: — Давайте приказ, подпишу! — Подписывая, бормотал: — Вот с этого и начинали бы, с главного, а то развели художества про внешность. У нас здесь не ателье мод, где модельерш по фигурам подбирают. Да будь Фомина горбатая или хромая, за такой подход к делу я бы ее сам за руку в КБ привел. Этот стимулятор нам вот так нужен! — И директор провел ребром ладони себе по шее, потом подумал и строго предупредил Лебедева: — Но чтоб ваша молодежь с ней там лирику не разводила. Чтобы голову ей не морочили. Она ей для работы нужна. А что после работы, — усмехнулся, — так за это дирекция не отвечает.

Зрелище женской красоты у одних вызывает дерзкий прилив энергии, у других — покорную грусть. Это Нелли заметила еще в институте.

Свою внешность она воспринимала, если можно так выразиться, по-разному. Совершая добрые поступки, чувствовала себя красивой, делая плохие вещи, ощущала собственное уродство, стыдилась себя.

Конечно, она, возможно, дольше, чем следовало бы, разглядывала себя в зеркале — как бы критически проверяя то, что ей восторженно говорили парни и с осторожной завистью девушки. Преимущество своей внешности она оценивала и как трудную, обременительную ношу и как счастье, ею ничем не заслуженное, но просто дарованное судьбой. А оно могло стать несчастьем, если бы она привлекала к себе людей только красотой.

Поэтому она ожесточенно добивалась превосходства над подругами в другом, ею лично заработанном. Училась так самозабвенно, что ей предложили остаться в аспирантуре. И даже декан факультета недоуменно развел руками:

— Странно, при такой внешности такое прилежание. Ведь даже по самым завышенным требованиям «красный» диплом Фоминой обеспечен.

Однако для кадровиков главным аргументом при поступлении Нелли в КБ завода был не «красный» диплом и, конечно, не ее внешность, потому что кадровики, как известно, глядят не на самого нанимающегося, а в его бумаги. Им еще то было важно, что она дочь Сергея Федоровича Фомина, человека на заводе высокочтимого, огорчить его кадровики не решились бы — почти, пожалуй, как ми-

нистра, если бы его отпрыск вдруг захотел поступить на завод.

Жизнь Нелли, как и многих ее сверстников, началась с заводских яслей, продолжилась в заводском детском саду и заводском пионерском лагере, на спортивном стадионе, во Дворце культуры завода. Заводская жизнь отца была той атмосферой, в которой она выросла, и все, чему ее учил отец, он соотносил с заводской жизнью и на все случаи жизни брал примеры из своего рабочего бытия.

Конечно, ее сверстники были уже люди с профессиями, с разрядами по квалификации.

И Нелли, дипломированный инженер, очутившись снова в заводской среде, ощущала неуверенность и даже чувствовала себя моложе сверстников, уже занявших прочное положение в жизни. Некоторые из них и семьями успели обзавестись.

В институте все было иначе. Большинство училось для того, чтобы приобрести знания, еще не ведая, куда и как их приложить.

Нелли свои знания всегда невольно как бы соотносила с заводом. И не из простого любопытства. Отец интересовался не тем, как она учится, а тем, для чего и что именно она изучает. И, бывало, радостно восклицал:

— Это хоть сейчас в дело годится! — Советовал: — Тут ты нажми на профессора, может, у него еще что-нибудь имеется в заделе ума, он тебе и объяснит. Позарез нам нужно, а мы уж в своей практике дотянем. — Объяснял: — Учитесь вы, конечно, по учебникам. Но нам по вашим учебникам уже не работать. Мы вперед ушли. Про то у вас еще не написано, какая нас новая технология подпирает. — Удивлялся: — В учебниках ваших нет, а в газетах есть. Сообщают, ученые достигли. А нам после них в цеху достигать. Как? Так на то инженеры. А вы, выходит, тому выучиваетесь, что уже известно. Нам инженеры нужны как командующие новой техникой. А из них получают служащие. Их задача не столько людьми руководить — на это у нас бригадирский состав имеется, сколько новой техникой и технологией. Мы ведь сейчас сильно облегчили работу ИТР. На себя взяли организацию труда по новому, по бригадному методу. Кому что, как и за что, сами решаем. Значит, создали условия инженерам — мысли, думай по-инженерному: надумал новое, внедряй, опираясь на бригаду.

— Конструктор не копировальщик, — возглашал Лебедев в своем КБ. — Он мечтатель, хоть и реалист. С одной стороны, он всегда творец того, чего еще не было, а с другой стороны, исходит из того, что есть в наличности.

Дороже — это не всегда значит лучше. И лучшие идеи те, что в конечном счете снижают себестоимость, а не повышают. С ценой надо считаться так же, как с самими законами механики. Экономически мыслить — значит стремиться к полному совершенству. Увеличение цены на новое изделие без значительного увеличения его прочности, надежности, мощности — уродство мысли конструктора. Такое я осуждаю, как любое недомыслие, любую профессиональную узорность.

Нелли нравился Евгений Потапович Лебедев — взлохмаченный, в клетчатой байковой ковбойке, в потертых джинсах, возбужденный, горячий. Входя, он всегда требовал открыть форточки.

— Пускай у нас хоть воздух будет свежий, если нет свежих мыслей, — говорил при этом Лебедев, но сам беспощадно отравлял воздух табачным дымом. Осыпая себя пеплом от сигареты, докуренной почти до самого конца, он с досадой шарил по карманам, не находя новой пачки, и восклицал в конце концов: — Эй, люди, кто даст закурить начальству? — Брал сигарету, успокаивался. — Лучше бы вы мне показали на ватмане что-нибудь поражающее воображение, чем содействовать отравлению моего организма.

Нелли он говорил:

— Я не Аполлон, буравить меня глазами нечего, а вот поглядите лучше на схему, которую я для вас набросал. — Отступал от своего кульмана и, становясь в позу художника, только что завершившего полотно, спрашивал, чуть жеманясь: — Не правда ли, красиво? — Потом произносил задумчиво: — Нет, сыровато. — И наконец решительно объявлял: — Обождите. Я еще поработаю, уверенности не чувствую. Мазня!

Нелли обзавелась синим халатом для работы.

Зеленцов, ее коллега, упрекнул девушку:

— Халат на вас выглядит, как монашеская ряса. Противоестественная маскировка бесценных сокровищ.

— Чижик! — сощурилась Нелли. — Тебе бы только на танцплощадке чирикать.

— Позвольте, почему «ты»? И таким тоном, словно у ларька с пивом.

— А ну иди, дитя, в сторонку. Чижик!

— Знаете, жаргон у вас окраинный.

— А я сама с окраины, зато потом наш завод оказался в центре города, вот всякие хлыщи в него и просочились.

— Ну, и халда! Это при такой-то внешности! — пожаловался Зеленцов приятелю.

— Шуганула? Молодец! Кстати, двумя языками владеет. Иностранные бюллетени с твоей полки забрала: узнала, что неграмотный, — засмеялся Юрий Самохин, литейщик, член общественного филиала КБ. Потом сурово предупредил: — Еще пионерами мы с ней на пруду катались. Я в полынью угодил, она вытащила, об лед все руки до крови поцарапала. И назвала шибзиком. Так что я за нее, понял?

— Ясно, — сказал Зеленцов. — Девушка с характером.

— Информированный. В кино ходишь! — Самохин недобро усмехнулся. — Интеллигентный ведь, сравнил бы лучше Нелли с Софьей Ковалевской или с мадам Кюри. Дипломная у нее, говорят, на уровне диссертации. Вот-вот кандидатом наук станет, — пусть только утвердят. Не тебе чета.

— Грубишь, Юра!

— Приходи на стадион, я тебя там на ринге обласкаю.

— Бокс не драка.

— Побить такого, как ты, и в перчатках приятно.

— Что ж ты — мастер спорта, а на заводе должности мастера не дали, хоть и техникум окончил?

— Для этого мне вуза не хватает.

— А ты обидься — и в тренеры. Сразу инженерная зарплата, квартира.

— Моя рабочая получка выше, а с отцом мне жить и так хорошо, я у него доучиваюсь тому, что в цеху усвоить не успел.

— А личная жизнь?

— Эта и есть для меня личная, лучшей не требуется.

— А ко мне, холостяку, приходил и танцевал даже.

— Не хочется — затанцуешь. Пришел за делом, а у тебя народ.

— Живу непринужденно.

— Зато меня принуждаешь. «Побудь да подожди». Я, дурак, остался. Где расчеты? Нету. Протанцевал их Зеленцов. Мускулы себе на ногах наращиваешь, как у полотера, а на остальное ни сил, ни желания.

— Зачем тогда ко мне в КБ пришел?

— А я не к тебе, я к Нелли Сергеевне.
— К своей спасительнице?
— К своему товарищу, которого я уважаю и на которого надеюсь.
— Она тебя Юрой, а ты ее во всей полноте титула.
— Давно не видались, неловко.
— Может, красоты ее робеешь?
— Ну, и это тоже,— смущенно признался Юрий.— Она и раньше была ничего, а теперь совсем. Долго даже глядеть совестно.
— А хочется?
— Как всем. Красивых немного, они редкость.
— Так ты чисто эстетически?..
— Человечески,— оборвал Юрий,— а кто..
— Стоп!— объявил Зеленцов.— Тебя понял. За других не ручаюсь, но лично я — хенде хох! Убедил.
— Внял. Ну, значит, есть в тебе просвет.— Юрий замялся.— Слушай, так, может, закончим расчет? Мне с тобой легче, проще, и обругать можно, если с чем не согласен.
— Застолбили!— лихо хлопнул в ладоши Зеленцов.— Будет сделано. Она меня за развязность проучила, а я ее проучу своим дивным, неподражаемым расчетом температурного режима. За презрение ко мне...

Пока на завод были «спущены» только самые общие характеристики нового сверхмощного двигателя. Но уже предварительное знакомство с ними говорило, что для осуществления этого заказа необходимы существенная перестройка предприятия, новая техника и технология. Новая организация всего производственного процесса.

На совещании руководителей завода Анатолий Кузьмич Иванов жестко заявил, что дает кратчайший срок на то, чтобы всем пошевелить мозгами и незамедлительно приступить («Не хочу пугать словом «реконструкция», скажу осторожно, нежненько») к переустройству и технологической подготовке производства для осуществления важнейшего заказа.

— Проект новой машины еще не утвержден и ассигнования на нее не поступали,— говорил директор.— Но надо уже сейчас всю развернуть работы в этом направлении, изыскивая средства, силы, чтобы, не снижая темпов производства текущей продукции и даже повысив их для по-

полнения казны, одновременно ломать старые фундаменты и возводить более прочные. Кое-что из того, что устарело лишь недавно, придется омолодить с помощью КБ и наших уникальных мастеров. Все работы нужно вести с таким расчетом, чтобы только с выходом машины нового типа прекратилось производство машин старого типа.

Вы скажете: мы не волшебники! Согласен. Волшебники не обременены текущим плановым заданием, финансовой дисциплиной, не боятся фортелей, которые может выкинуть новая технология в процессе изготовления двигателя. Волшебники рожают иллюзию, а мы должны родить машины.

Конечно, хорошо было бы разжиться в банке ссудой под будущую машину. Если там окажутся разумно мыслящие финансисты, ссуда будет. Если же они станут действовать на уровне кассиров, которые только те рубли считают деньгами, что лежат у них в сейфе, а выданные — вроде как пропавшими без вести числят, тогда мы будем пребывать в бедности перед тем, как выдать стране неслыханно ценную и могучую по своим техническим возможностям машину.

Словом, товарищи, проблема ясна. Всегда желательно выслушать меньше вопросов, а больше предложений по существу, но такой момент еще не наступил... — Иванов усмехнулся. — Бывают люди, которые умеют отдавать приказы, но не умеют их выполнять. Поэтому решительно прошу атаковать меня вопросами.

После совещания Анатолий Кузьмич долго оставался один у себя в кабинете, сидел, обтирая бумажными салфетками мокрое, усталое лицо с побледневшими губами. Насыпал на ладонь каких-то таблеток, забросил их горстью в рот и, откинув голову, долго запивал прямо из графинного горлышка.

Телефоны трезвонили, но он глядел на них равнодушно и только, заслышав вертушку, прижал трубку к уху.

— Иванов слушает. А что я? Я в норме. Провел совещание. А чего другого можно было ожидать? Вы пожар зажгли, мы его тушить не собираемся. Горим энтузиазмом. Это у вас вместо сердца наш типовой, давно освоенный движок, а у нас новый, небывало мощный. Теперь с головными уборами в руках обходить будем инстанции, просить подаяния. Сначала, ясно, деликатно попросим, а потом и ногами топнем и покричим. Вы нас не бойтесь, и мы вас тоже. Вам бы по-братски себе жилет оставить, а нам пид-

жак отдать. Не будет кредита, не будет и дружбы... Что? А я не пугаю, не стращаю — пойдут к вам мои звездоносцы, и станете перед таким народом по стойке «смирно». Что министр, на вас Совет Министров найдется. И буду я у себя в конторе сидеть, ждать, когда вас там причешут. Беру за горло? А что делать, если вы себе карманы зашили?.. Ну, лады. Но по авансу буду беспокоить. Даром рыбки только из пруда достаются, а не из гастронома. Так что категорически требую паличности, и не денег — оборудования... Я-то с завода никогда никуда не бегал, а ты в министры убежал. Значит, терпи, слушай. У прачеловека полсотни зубов было, и лишние не для жевания, а для нападения служили. Вот я тоже зубы для нападения сохранил на всякий случай, если завод обижать станут... Ну, спасибо, кинул нищему конейку. Возьму! Дают — бери, такой у нас обычай, у хозяйственников.

Какая рыбалка?.. Рыбу вижу только, когда шпроты ем, и слезы в банку капают. Был рыбак, весь вышел. Ну, смотри — верю тебе. Будь здоров. Мое здоровье? В норме, когда дела здорово идут. И у тебя так же? Ну, значит, выдюжим. Привет.

Анатолий Кузьмич положил трубку на рычаг, потом снова вытер лицо салфеткой, вздохнул, откинулся в кресле, закрыл глаза.

Это первое совещание по новой машине далось директору трудно. Его забросали нетерпеливыми вопросами. Но что он мог ответить по существу, когда на машину пока есть одни общие характеристики? А люди допрашивали его так жестко и требовательно, словно им завтра предстояло приступить к производству нового двигателя.

Нет, это дело не завтрашнего дня. И пока что именно он один обязан все взвесить, просчитать, прикинуть. Первое и последнее слово за ним. Можно ведь еще и уклониться от этого заказа. Завод работает на стабильном уровне. Стоит только выразить тревогу, сказать, что задействованное плановое задание при новом заказе может провиснуть, и заказ перебросят на другой завод с не столь напряженным планом.

Евгений Потапович Лебедев тайком, чтобы предотвратить общее нервное потрясение, оставаясь после работы, прикидывал на ватмане отдельные узлы будущей машины.

Светильник освещал лишь прикрепленный к доске ватман, поэтому Нелли во мраке казалась бесплотным привидением. Реальным был только ее голос, печальный, скорбный:

— Евгений Потапович, я вас обманула!

— Ну и что? — не оборачиваясь, буркнул Лебедев. — Меня обманывали не однажды и чаще всего по глупости. От глупости одно лекарство: говорить только правду.

— Вот я и сказала.

— Не понял.

— Ну, я подобную компоновку сдавала на выпускных.

— И что вам поставили?

— Пять.

— А я поставлю пять с плюсом за то, что нашли точное применение на практике. Хотя, — Лебедев ожесточенно заскреб по бумаге лезвием безопасной бритвы, — вы с таким торжеством объявили о своем успехе, что я сам струсил и начал было каяться.

— А теперь перед вами каюсь я.

— Не люблю, знаете ли, этих фиглей-миглей. — Лебедев сдул с ватмана пыль, фыркнул негодуя: — Экая подлость!

— Это вы мне?

— Вы тут при чем? Отвлекаете! Я вот ватман протер и палец порезал, запятнал своей, как говорится, кровью. — Причмокивая, он сосал палец, а в перерывах упрекал девушку. — Во-первых, врать без нужды нет необходимости. Во-вторых, свою совесть оставьте для работы. Я ее не оценю. А в-третьих, я не такой дурак, как вы думаете, с вашими институтскими работами я уже давно ознакомился. Вслепую к себе не беру. Так что ваш фокус меня не удивил и не так чтоб сильно огорчил. Вопросы еще есть? Нет? Пролетарский привет и будьте здоровы.

В заводском дворе Нелли поджидал Юрий Самохин:

— Сказала?

— Все.

— А он что?

— Палец порезал, попросил, чтобы не мешала.

— И больше ничего?

— Отстань.

— Вообще?

— Нет, только с этим разговором.

— Мне что, молчать?

— Зачем же? Говори о другом, о чем-нибудь.

— Про себя можно?

— Конечно!

— Наши ближайшие предки просто позабыли, какими они сами были в молодости. Отсюда и повышенный уровень сознательности. А если б нам то, что им, досталось, — пожалуйста, мы бы тоже не подвели.

— Это ты к чему? — поинтересовалась Нелли.

— К тому, что у нас условия для такого героизма, как их поколение проявило, отсутствуют.

— Так это хорошо. У нас теперь мир.

— А где личности развернуться?

— Личности! А кто меня отговаривал правду Евгению Потаповичу сказать?!

— Рискованно, полагал, а вдруг он презрением тебя окатит.

— Мог, верно.

— А ты все-таки решилась...

— А ты бы решился?

— Не ручаюсь: переживал бы, но без нажима сознаться бы вряд ли пошел, — ответил Самохин.

— Это хорошо, что ты правдивый.

— Но ведь не такой, как ты.

— А говорил — пожалуйста! Не подвели бы!

— Так это если в глаза смерти глядеть, не моргая.

— Они, родители наши, за правду во всем шли.

— А я что, за частичную?

— Выходит, так.

— Ох, и нравишься ты мне за такую прямоту.

— А больше не за что?

— За то, что красивая? Подумаешь! Вот я видел, как в музее служащие статую метелкой из перьев запросто обметали. Все равно, как мебель какую-нибудь. А почему? Привыкли к ней, относятся, как к предмету бесчувственному, как к экспонату музейному, и все. Вот что с красотой бывает, если она долго глаза мозолит.

— Молодец, Юрка! — искренне рассмеялась Нелли. — Спасибо, учту.

— Да... Но ты-то не статуя, ты живая, к такой, как ты, не привыкнешь.

— Вот это плохо.

— Конечно! Общению мешает.

— А если б я была похуже?

— Душой? Нежелательно.

— А внешностью?

— Мне что? У меня главная идея на электроплавильную печь попасть, высочайшей марки сталь выдавать. Вот где я свой профиль полностью обнаружу. Любовь, она, знаешь, человека мучает, делу мешает.

— Значит, застраховался? — ехидно спросила Нелли.

— Временно, пока в сменные мастера не произведут. Но вообще-то раздваиваться не собираюсь. Цельность своей личности соблюдаю.

— Это ты серьезно?

— Ну, вот тоже придумала, чудачка. Это я тебя веселю после того, как Лебедев распек, чтобы не сильно огорчаться. Я и в цеху так. Заказная плавка не получилась — шучу для подъема духа. Мол, зато потребителя простого металла не обидели. А у самого от обиды на себя аж нутро горит.

— Юра, а что ты мне скажешь про Константина Должикова? Я ведь его давно из виду потеряла.

— А теперь встретились, что ли?

— Виделись по делу разок.

— Он среди нас тип опытно-показательный.

— Точнее?

— На заводе фигура, не должностью, а мастерством. С фантазией парень, но на твердой почве реально стоит.

— По производственной линии?

— Нет, по человеческой. Завышает себе и другим моральные нормы. Хотя их и без него на нас наваливают со всех сторон. Твой отец тоже считает, что только хороший человек может хорошо работать. Вот Боброва приняли для исправления, жулик был, шабашник, а вкалывает пока что так, другим не угнаться.

— Почему пока что?

— Запала надолго не хватит, — в работе не каются.

— Ну, ты не прав. Сам же говорил — потребность любви работой заслонил, значит, и раскаяние может стимулом служить. — Нелли засмеялась.

— Логично. Мной же меня и уела.

— Так что ж ты можешь еще про Должикова сказать?

— Он про тебя спрашивал, это интересно?

— Ну?

— Ну, и отозвался, в общем, положительно. Хотя и сдержанно.

— Почему? — Лицо у Нелли стало по-детски наивным.

— А зачем на людях изливаться? Он и так, словно отравленный, ходит. К свиданию с тобой готовит рацпред-

ложение, пожалуй, даже изобретение. Чтобы повод был. Он может. Самолюбие его подхлестывает, просто так прийти стесняется.

— А что у него за работа, не знаешь?

— Да толком, честно говоря, нет.

— Вы с ним не в ладах?

— Приятели, хоть по линии спорта — врозь. Дальше зарядки Костю не продвинешь. У него физические данные на чемпиона, а он пренебрегает. Они все, Должиковы, со странностями; балерины сохраняют силы только для сцены, так и они для цеха, чтобы там себя во всей красе выказать. — Юрий усмехнулся.

— Значит, цельные натуры.

— А я что, не цельный? Теперь те, кто операторами на автомашинах работают, конторской болезнью — геморроем страдают, оттого, что нет физической нагрузки. Со мною такого не будет. Спорт не оставлю. И от курения и даже от пьянства и хулиганства спорт — это средство.

— Помогает?

— Про самых злостных типов не скажу. Ох, и ненавижу я их. От них заводу только убыток. Моральный и материальный.

— Большой?

— Хватает. Был бы я бухгалтером, я бы подсчитал, во сколько они заводу обходятся, и на эти деньги автоматы-роботы приобрел, вот и жили бы без балласта.

— А их куда?

— Вот именно — куда? Производственный брак недопустим, а человеческий выпускать можно? Нельзя.

— Значит, терпите?

— Зачем? Когда шлак с плавки спустишь, металл чистый пойдет. Так и с человеком — коллектив прошурует, он побулькает, покочевряжится, плохое наружу всплывет. Значит, гляди сам на себя, сколько грязи на тебя налипло. Воспитываем, нервы тратим. Занятие потяжелее, чем самая сложная плавка, — заявил Самохин.

— А ты с кем дружишь?

— Со всеми, от кого можно ума набраться.

— Какой ты положительный!

— А может, вовсе отрицательный. К себе, получается, гребу, чтобы большего достичь.

— Чего именно?

— А положения на заводе.

— Значит, ты карьерист.

— Возможно. Только не за должностью гонюсь, а за таким для себя местом, на котором устаревшая техника мой возможности сковать не сумеет.

Они давно уже шли по прилегающим к заводу улицам.

— Видала, сколько построили! А все равно жилплощадь в дефиците. Некоторые из-за квартиры на завод приходят. Получат и сматываются. Завод, стало быть, обманывают. На данном этапе, я считаю, самое главное — людей честности обучить.

— Ты думаешь, это легко?

— По себе знаю: чтобы не обижать человека, совершь ему другой раз про него, он и рад, а тебе потом тошно, — знаешь ведь, что и по отношению к нему самому худо поступил, а духу не хватило врезать. Выходит, ты даже не его пожалел, а себя, чтобы переживаний его не видеть.

— Вот ты какой, — задумчиво произнесла Нелли.

— Какой? Всякий. Хочу человеком стать, но не во всем пока получается.

— У меня тоже.

Самохин вздохнул.

— Нелегко нам, новому поколению. Хочется быть лучше, а ведь по нашей собственной жизни хоженных дорог еще нет. Вот и плутаешь. Новый человек — какой он по всем показателям? Сразу не угадаешь. А примериваться надо. Молодость — еще не все, молодости недостаточно, чтобы новым человеком считаться. Вот отец у тебя пожилой, а всем светит; натура, что ли, у него такая, да только к нему люди тянутся. И к тебе, кстати, тоже много наших ребят потянулось.

— Так ведь по делу. Куда же, как не в КБ, если мысли по работе возникли нужные.

— Не только. Располагаешь к разговорам про все, что тревожит.

— А я сама с ребятами рассуждаю о том, о чем прежде не задумывалась. Жизнь ведь дана не только для удовольствия. Уравнение со многими неизвестными решаем за просто. А вот себя сделать, выстроить — тут часто теряемся.

— Требования к нам велики. Значит, что? Не по Сеньке шапка? Возражаю, не согласен. Раз по существу тревожимся, значит, курс берем правильный.

Прощаясь у подъезда, Нелли сказала:

— Ты заходи, в выходные я дома.

— С компанией приду, на людях я бойчее,— пообещал Юрий.

Перейдя на другую сторону улицы, он еще долго глядел на окна, в которых зажегся свет.

На следующий день он вызвался дать плавку нового сорта легированной жаростойкой стали. Сам проводил заправку печи, сам наводил выше порог. Сам пробил летку. Потом, еще весь в испарине, позвонил в КБ, вызвал Фоми-ну, бодро объявил:

— Для новой машины мною металл уже выдан.

— Хвастун,— сказала Нелли.

— Есть маленько,— согласился Самохин.

— Поздравляю!— сказала Нелли.

— В таком случае на оскорбление не реагирую.— Прежде чем положить трубку, Самохин приложился к ней губами. Увидел — ребята смотрят, стал дуть в трубку и вопрошать громко, яростно:— Алё! Алё! Вы меня слышите? Нет? Ну, тогда и не надо!— хлопнул трубкой о рычаг, пошел к бригаде.— Поздравление нам.

— От кого?

— Понятно, от начальства.— И, чтобы не томиться тем, что соврал, зычно повелел:— А ну, всем на уборку площадки! Намусорили, смена придет — срам.

Спустя некоторое время на завод прибыла комиссия из главка, обследовала оборудование и пришла к выводу, что при такой технике невозможно достичь высшей точности обработки, потребной для изготовления деталей нового мощного двигателя, тем более что завод имеет напряженный план по выпуску двигателей повышенного спроса.

— Так,— сказал Анатолий Кузьмич,— ставите свои ведомственные интересы выше потребностей страны.

— Вы, пожалуйста, без демагогии.

— Я бы попросил вас,— двигая желваками, тихо, но внятно произнес Зубцов,— это ваше решение огласить перед коллективом завода.

— Если у вас есть такое желание, соберите коммунистов и разъясните им, что к чему.

— Все заводские заинтересованы в новой работе.

— А вы бы не нервировали людей преждевременно, товарищ Зубцов.

— Это моя инициатива,— резко вмешался в разговор Анатолий Кузьмич.— Люди воодушевленно выразили го-

товность выполнить и плановое задание и сверхплановый заказ, который отвечает их тяге к новейшей технике.

— Если судить по технике на вашем заводе, так она на треть устарела.

— Наши мастера даже на этих станках способны на очень многое.

— Несколько виртуозов выработку по всей номенклатуре деталей выполнить не смогут — это ясно.

— Вот вы об этом и доложите где следует, а на тот счет, как мне выполнять обязанности секретаря парткома, я в ваших рекомендациях не нуждаюсь, — неприязненно заметил Зубцов.

— Сами объявите о вашем решении коллективу завода, а я отказываюсь, — твердо заявил Анатолий Кузьмич.

— Товарищ Иванов, мы ваше огорчение чисто человечески понимаем. Вы ж хотели под новый заказ разжиться новым оборудованием, попутно и внепланово провести реконструкцию и, поставив нас перед фактом, добиться сверхлимитов на новое оборудование, на материальное и финансовое обеспечение. Но времена экономической партизанщины прошли...

— Если вы такой решительный и всеведущий, не трусьте, выйдите на люди.

— Зачем?

— Ну, вы можете объективней и беспристрастней доказать им свою правоту, — слукавил директор.

На это комиссия клюнула.

Начали с похвалы заводу за увеличение выпуска давно уже освоенных двигателей, получивших признание потребителей. Назвали волшебниками за то, что техника частично устарела, а они сотки микронов улавливают.

Но люди слушали членов комиссии в мрачном молчании. А потом — пошло.словно неудержимый поток прорвал плотину, и едкие, остроумные реплики звучали с мест под одобрение и аплодисменты собравшихся.

Измученные и ошеломленные члены комиссии собрались на перерыв в директорском кабинете.

— Ну, что скажете? — с лицемерным сочувствием спросил директор, потом ехидно предложил: — Может, милицию вызвать для порядка?

— Чтoб нас потом за такое с должностей сняли! — за протестовали члены комиссии.

Кто-то из них сказал со злостью:

— Мы расцениваем это как недопустимый подвох с вашей стороны.

— Сожалею, но ничем вам помочь не могу.

— И как вы, товарищ Зубцов, ведете тут воспитательную работу, когда у вас не коллектив, а взбудораженная толпа?

— Так и веду, будоражу, агитирую за лучшее против худшего.

— Прimitивно рассуждаете!

— Не скажите. Когда люди привычную, налаженную работу хотят добровольно совместить с работой строителей, монтажников, когда они готовы от налаженной системы выпуска перейти к системе, не проверенной на практике, этим восхищаться надо, а вы негодуете, да так, словно вам не удалось кого-то обмишулить, а вас самих обмишулили.

— Мы бы просили вас придерживаться нормального языка, не переходите на заводской жаргон.

— Господа! Не надо обижаться,— произнес Евгений Павлович.

— Очевидно, вы обмолвились?

— Отнюдь,— возразил Лебедев.— Вы себя с нами ведете как господа с подчиненными. Я только называл вещи своими именами.

— В таком случае мы вынуждены покинуть завод.

— Э, нет,— возразил Анатолий Кузьмич.— Порядок есть порядок. Протокол вместе подпишем, тогда извольте.

— А кто вел протокол? Когда мы выступали, велась стенографическая запись, возьмем ее за основу со всеми «за» и «против». Что же, и реплики из зала добавлять?

— Ничего не поделаешь, в зале сидели члены горкома, райкома, народные депутаты. Лучше вы их высказывания сами доставьте в главк, чем они поступят туда безотлагательно и своим ходом.

— Пугаете?

— Не пугаю,— объяснил Анатолий Кузьмич.— Они меня самого в случае чего припирают к стенке.— Усмехнулся:— Сами вырастили на заводе именитых людей, сами вынуждены с ними считаться.

— Анатолий Кузьмич, убедительно, дружески прошу вас: не зарывайтесь.

— Какая у нас с вами дружба, когда вы у нас заказ отбираете, топчете нашу коллективную мечту и надежду.

— Не отбираем, а собираемся отобрать. Если же у вас были серьезные предварительные затраты, то это заслуживает внимания. Тогда вы имеете право на компенсацию.

— Вот и спустите нам заказ в компенсацию за душевные переживания, а мы, страдальцы, его с радостью выполним, хоть у всех пупки к позвоночнику прирастут от чрезмерного усердия и непомерных затрат сил — не только физических, но и умственных.

— Все это несерьезно.

— А если желаете серьезно, то знайте, что мы будем протестовать на всех уровнях,— сказал Зубцов.— Общее мнение коммунистов завода для меня — порука правильности нашей позиции.

— Ну, допустим, мы в конце концов пойдем вам навстречу, но вы понимаете, что на себя взваливаете?

— Своя ноша не тянет.

— Но на зыбком технико-экономическом фундаменте увеличиваются возможности провала.

— Пожалуйста, не стращайте нас.

— Мы только предупреждаем и заранее соболезнаем. И на этом мы вас покидаем.

— А собрание?

— Продолжайте его сами. Наше заключение мы вам вручили. Можете обжаловать.

— Премного благодарны за любезное разрешение,— низко поклонился комиссии Анатолий Кузьмич.— Только покинуть заводское собрание, пользуясь перерывом, вам не удастся. За ваше неуважение к рабочим мы вынуждены будем просить прощения вместо вас. А вдруг не простят? Напишут в газеты? Срамота.

— Берете за воротник?

— Что вы! Вежливо, под руку, чтобы помочь вам торжественно и прилично прошествовать в президиум. Нас ведь и дальше будут с полной аргументацией критиковать. Уму непостижимо, как на эту критику ответить сумеете! Не завидую я вам, ох, не завидую!— И Анатолий Кузьмич, открыв дверь в коридор, первым вступил в зал заседаний.

Председатель комиссии уже в дверях зловеще поглядел на директора.

— Это я вам не завидую, и так не завидую, что даже слезы жалости прошибают.

Анатолий Кузьмич пожал плечами.

— Я человек скромный, тихий. Но если дело до обсуждения в главке дойдет, я вас нашими не раскрытыми

вами возможностями прямо-таки растерзаю. Вы только с техникой знакомы, а людей с высшей квалификацией, наши самые надежные кадры проглядели. А ведь в них наша сила. Они на станке-«телеге» могут такое выдать, что вашему НИИ с его уникальным оборудованием не снится. Ходили, ходили, а людей наших не заметили. Все новое творят не машины, а люди. Не будь у нас таких кадров, разве мы бы за новый заказ такой сложности брались? Гнали бы плап по привычной продукции, благоденствовали бы, радовались премиям, слыли бы передовиками..

Зал встретил их гулом, походившим на морской прибой.

На сей раз Геннадий Семенович Должиков созвал гостей в расширенном составе, хотя повод был, пожалуй, не слишком значительный: грамота от главка и сильно увеличенная квартальная премия.

Представители старшего поколения знали: Геннадий Семенович тратится на угощение гостей вовсе не для того, чтобы его чествовали. Значит, что-то такое над заводскими делами нависает, не из подхвалимства же позвал он Анатолия Кузьмича и Зубцова, совсем не пьющего из-за язвы.

Когда Семен Фомич, сладострастно принохиваясь, объявил:

— Пахнет жареным!— многие из присутствующих озабоченно нахмурились, вспомнив, как то же самое сказал Анатолий Кузьмич, вернувшись из главка.

Вольготно развалившись в качалке, Семен Фомич мечтательно вещал:

— Раньше, когда наркомат был, какой порядок имелся? Каждую ночь даже полукрупного директора — к телефону; докладывает, как прошла смена, чего дали, чего недодали, тут же разнос, и тут же, в чем нужно, оказана поддержка. А теперь на такой способ тысячи министров не хватит. Заводов по стране — как звезд в ночном небе. Начнешь обзванивать, за десять непрерывных суток не обзвонить, только осипнешь и голос свой с надрыва потеряешь.

Но личности были, тузы. Скажет «нет», значит, на этом полная точка. Против него ход отсутствует. Скажет «да» — можно без промедления на товарную станцию транспорт высылать за грузом. А теперь что министр? Без коллегии ни на что самостоятельно не решается. Да еще консультантов созовет от всякой науки.

— Значит, хуже стало? — дерзко спросил Марат.

— Почему хуже? Лучше. Ильич всегда советовался, а эти в те времена перестали. Но если Сталин чего даже попутно заметит — тут же по всей линии команда. Значит, не рассуждай, а выполни. Будьешь ершиться, тебя так отчистят — станешь, как плотвичка, гладким, напуганным.

— А Орджоникидзе? — напомнил Марат.

— Серго! Он по-нашему, по-рабоче-партийному держался, — с задумчивой нежностью произнес Семен Фомич. — Ну, тот Ленина выученик. Сначала всех и каждого добродушно расспросит, ничего от себя не навязывая. А потом из всех слов, мнений, предложений и неудовольствий в уме сложение правильного с правильным за вычетом неправильного произведет и такое решение выведет, что все считают это решение как бы и своим тоже, только удивляются, как это он невысказанные общие мысли угадал.

— А теперь таких, что ли, нет? — настойчиво интересовался Марат.

— Нынче не захочешь исходить из ленинского курса партии — не сможешь подобным руководителем быть. Такого сам коллектив без высшего начальства прошерстит. Нынче народ и на гражданке бойцовскими способностями сильно разжился. — Дед вздохнул. — На простую команду не поддающиеся: вникни, убеди. — Покрутил головой, снова внюхался, встревожился, спросил строго: — Елена, ты поросю не засушишь? Он в своем соку допревать должен, иначе получится как полено обугленное.

Света в джинсовом костюме — форме строительного студенческого отряда, — сидя на диване и поджав под себя ноги в брюках, допрашивала Александра Емишева:

— Это верно, что вы в ученики к Егору Ниловичу Горохову напросились?

— Неофициально. Это личное с его стороны мне одолжение.

— Ясно, — усмехнулась Света, — мастера с более или менее высоким разрядом больше инженера зарабатывают.

— Для меня материальное вознаграждение роли не играет.

— Родители обеспечивают?

— Нет, у меня свой бюджет, и я в него укладываюсь.

— Заметно! Помню, выглядели пижонем, а сейчас на вас пиджак, какой уже давно не носят; и брюки такие тоже из моды вышли.

— Если вы настаиваете, я куплю себе модные брюки,— уныло и безнадежно произнес Емишев.

— Я вам правлюсь?

— Очень!

— Ну тогда не тратьтесь на новый костюм, а то получится, что я виновата.

— Хорошо, буду ходить в старом,— согласился Емишев.— А учеником Егора Ниловича,— сказал он с запальчивостью,— я стал не из-за заработка, а для того, чтобы уметь практически доказать свои теоретические идеи.

— Вы самолюбивый!

— Нет, просто восполняю то, что недополучил в вузе.

— Смотрите, какой рассудительный,— дразняще улыбалась Света, но глаза ее зорко следили за Костей.

Костя давно заметил, что Света оживленно и кокетливо беседует с Емишевым, но решил держаться от нее на дистанции, хотя по-прежнему всем своим существом тянулся к ней.

Подошла Нелли, как всегда, сияющая, прекрасная.

— В чем дело, Костя? Мы вас в КБ ждем с нетерпением. Ведь все равно без нашего отзыва БРИЗ ваше предложение рассматривать не станет.

— И не надо.

— Вы что такой хмурый? Настроение плохое? Я приходила смотреть ваше приспособление для крупновинтовой нарезки со сдвоенными резцами. Там у вас передний выступающий снимает черновую, а второй производит чистовую в один проход. Это же здорово!

— Я вас не заметил.

— А я наблюдала издали.

— Почему?

— У вас было такое вдохновенно-сосредоточенное лицо,— не решилась мешать, любовалась вашей работой издалека. Кстати, и вашим воодушевленным лицом тоже любовалась.

— Сдвоенные резцы — эта идея давно напрашивалась... Тут я только здравый смысл проявил и ничего более.

— Скромничаете и стесняетесь.

— Чего стесняться-то?

— А того, что я любовалась не только вашими резцами. Мои слова, если хотите,— признание.

— Да я же вовсе не изобретатель, не новатор, так, одна споровка, — багровея до ушей, попробовал увильнуть от странной беседы Костя.

— Не предполагала, что вы одержимы одной работой и все остальное вас не волнует. — Гордо вздернув голову, Нелли холодно улыбнулась вконец растерянному Косте и прошествовала к дивану, где сидели Света и Емишев.

Властно попросила:

— А ну, подвиньтесь. — И обратилась к Свете: — Не обижайся за вторжение, у меня с Александром Евгеньевичем деловой разговор. А вы о чем беседовали?

— О моем костюме, — буркнул Емишев.

— Ну? Очень интересно, просто увлекательно! Я вас только на две минуты прерву.

Света встала.

— Пожалуйста! Можешь считать это место своим.

— Светка! — погрозила пальцем Нелли. — Он совсем не в моем вкусе.

— А кто в твоём?

— Семен Фомич! — мгновенно нашлась Нелли. — Душа человек и носитель всего того, о чем мы должны помнить.

— Ах, какая сознательная! — Света усмехнулась и ушла на кухню помочь матери.

Только после того, как все вышли из-за стола и расселись в кабинете Геннадия Семеновича, Анатолий Кузьмич, потихоньку расстегивая жилет под пиджаком, посетовал:

— Растет курсак, а с чего бы? Говорят, от нервных переживаний люди худеют, а я наоборот; как приехал из главка — сразу к холодильнику: наелся и только тогда притих, вроде как отошел. Ведь они что? Со своей вышки разумно рассуждают. Налажено у нас производство освоенной продукции большого спроса? Налажено. А новая мощная машина, хоть и нашего профиля, но является же, по существу, неизведанным этапом в машиностроении. Предстоит работа с новыми неизвестными. И почему право на нее надо предоставить нам, а не другим? Но чем я их пронял? Массовое-де производство всегда консервативно. Его расчет, его задача в бесконечном повторении выпускаемых изделий, повторение же закрепляет инерцию мышления. Это связано не столько с характером людей, сколь-

ко с законами того же производства. Такое соображение я в авторитетной газете вычитал и им выдал. Так что, мол, получается, по сути, топтание на месте, вследствие которого завод может поползти вспять.

И все это я письменно изложил и на имя министра докладную оставил. На лестнице задержали, вернули — сказали, что о таком аргументе сами доложат. Предложили предоставить нам технические расчеты и экономические подсчеты. Только без шумихи. Поддержат — сроки дадут кратчайшие. Не поддержат — все равно обновляться нам надо: под какое-нибудь изделие на уровне технического прогресса. Так что на частичную реконструкцию добро дано, хоть и с оговорками, чтобы мы не слишком радовались.

— Не туда и не сюда! Это ложная позиция, — горячо произнес Зубцов. — Вы обратили внимание, Анатолий Кузьмич, что приток молодежи к нам на завод сократился?

— Необъяснимо! Общежития имеем, отдельное для молодоженов; даже специально выделили общежитие для матерей-одиночек.

— Заманчиво, Анатолий Кузьмич, но не для всех.

— А какого им еще рожна надо?

— Перспективу!

— А мне и вам она не требуется?

— Они туда идут, где она есть, где ее нет, оттуда уходят. И еще, заметьте, наши производственные совещания становятся все короче, и люди не столько рассуждают, сколько дают справки или скупо докладывают о чем-нибудь.

— Ну и что? Значит, работа идет нормально!

— Нет, не нормально: нет азарта, спора, творческого огонька — все тихо-мирно, строго по-деловому. На таких совещаниях заскучаешь.

— Для веселья у нас Дом культуры выстроен!

— Благодарю за справку, но только все это симптомы, психологические симптомы того, о чем вы сказали в главе, — инерции, порождаемой бесконечным изготовлением одной и той же типовой, освоенной продукции. И поэтому партком будет настаивать на освоении новых изделий с позиции не столько экономической, сколько социально-психологической.

— Да прошу! Будьте ласковы! — воскликнул Анатолий Кузьмич.

Егор Должиков, как всегда угрюмо, произнес:

— Старое оборудование сменить на новое — это еще полдела, даже меньше. Но если у людей огонек не светит, а тлеет, то им новым оборудованием не овладеть: к старому назад запросятся.

— А я утверждаю, — вспыхнул Егор Нилович Горохов, — от существующего оборудования мы берем все полностью!

— Если и берем, — сухо отозвался Должиков, — то только руками таких феноменов, как вы. Знал я одного кузнеца, который на самосборном из бросовых узлов станке такие фигурные детали вытачивал — выставочная работа.

— А у нас в полку еще в гражданскую оружейный мастер самодельные ходики делал, уму непостижимо! Точнее время показывали, чем золотые. Реввоенсоветом даренные у нашего взводного, — вмешался Семен Фомич и, притворившись, что не вник в суть разговора, сказал наставительно: — Если новая машина превосходит все заграничные, тогда это вопрос политический, отступить вам от нее никак нельзя.

— Сейчас вперед мало заглядывать, надо смело туда идти и без оглядки на то, что трудно. Ведь не часовая пружина движет временем, люди, — сердито заговорил Зубцов. — И неуверенно действуют только те, у кого нет твердых убеждений.

— В меня камушек? — обиженно спросил Анатолий Кузьмич.

— А недоверие, оказанное нам, — продолжал секретарь парткома, — я считаю плодом недальновидности, даже трусости, подобной той, какую испытывает человек, когда идет по горной тропе и из боязни высоты зажмуривается. Как часто у нас трусость прикрывают здравым смыслом...

— Вот ты бы так в главке высказался, — усмехнулся Анатолий Кузьмич.

— Для того, чтобы бороться, надо хотеть и уметь бороться.

— Ты полагаешь, можно достичь всего, не жертвуя ничем?

— Побеждают те, кто верит в победу. Для тебя иной раз важно не что, а кто сказал. Если это даже руководящее лицо без лица.

— У меня хватит такта, чтобы промолчать, и, если надо, ума, чтобы ответить.

— Ну, отвечай.

— Что ты на меня, Зубцов, кидаешься?
— Не люблю половинчатых решений.
— А ты думаешь, я обожаю? Я от них страдаю.— Анатолий Кузьмич встал, сказал:— Пойду к молодежи, а от вас вся моя душа очерствела.

Юрий Самохин страстно говорил Марату:

— От того, что я добровольно кое-что делаю в КБ, никакие во мне «границы» не стираются. Какой есть, таким и буду.

— Ты стал станочником такого широкого профиля, что даже непонятно, чем именно ты занимаешься,— насмешливо произнесла Света.

— Занимаюсь своим непосредственным делом. Спокойно отношусь к тому, что умею, и радуюсь, когда сделал то, что до этого не умел.

Марат одобрил:

— Прицельно!

Нелли продолжала разговаривать с Емишевым. Увидев Костю Должикова, она засияла.

— Костя,— произнесла девушка своим певучим грудным голосом.— Я вам хочу напомнить, что все большие открытия и изобретения велики последствиями, которые превосходят их первоначальное значение.

— Принимаю в порядке утешения.

— Почему?

— Согласно Гегелю,— бесцеремонно вмешалась Света,— ничто великое в мире не совершалось без страсти.— Она говорила нарочито бесстрастным тоном.— А Костя — существо хладнокровное. Разве ты не заметила? Еще нет? Странно.— Света повернулась к Емишеву.— По-моему, будущее настолько выше настоящего, насколько настоящее выше прошлого.

— Загибаешь, Света!— упрекнул Костя.

— Даже у простейшей амебы есть рефлекс памяти,— высокомерно объявила Света,— а у тебя он отсутствует.

— За что ты его атакуешь?— осведомилась с недоумением Нелли.

Света пренебрежительно повела плечом в сторону Кости:

— Он знает.

— Может, я лишняя?— ехидно спросила Нелли.

— Ребята, да вы что?!— встревожился Юрий Самохин.

— Ничего! — объявила Света. — Это я просто так. На всякий случай. Если мне понадобится ревновать к Нелли Шурика Емишева.

— Светочка! Да что вы? — смутился Емишев. — Я Нелли в высшей степени уважаю.

— А меня?

— Вас тоже.

— Благодарю за весьма ценную информацию. — Света поклонилась, искоса поглядывая на Костю, выпрямилась, живо спросила: — А тебе, Костя, было бы приятно, если бы я тебя ревновала к Нелли?

— Кто задает нескромный вопрос, тот не должен обижаться на грубый ответ! — вспыхнула Нелли.

— Ну, отвечай! — Света почти вплотную приблизилась к Нелли и вдруг всплеснула руками. — Ой, чем это от тебя так восхитительно пахнет?

— Она же всех разыгрывает, — грустно сказал Костя. — У нее такой характер.

— Ну да, — согласилась Света. — Характер. Я всегда мечтала, чтобы меня кто-нибудь спас, как Нелли — Юрика Самохина. За это впоследствии следует влюбиться в спасителя или в спасительницу, не правда ли? — спросила она Самохина.

— Ну вот еще, — смутился Юрий. — Я ей за это тогда свою собаку подарил.

— Собаку вместо своего сердца, но, очевидно, это равноценно. — Обращаясь к Нелли, Света продолжала: — Я еще в ранней юности пошла с Костей купаться, разделась, бултых в воду, поплыла на середину; думаю, ну, сейчас начну орать и тонуть. Смотрю, а на берегу пусто. Вышла, оделась, пошла, а он из кустов выходит. — Она спросила, глядя пристально на Костю: — Интересно, что ты тогда в кустах делал? Хотя, может, мой вопрос неприличен?

— А я тоже в юном возрасте, будучи хилым подростком, — вмешался Евгений Потапович, — был влюблен в циркачку — женщину-тяжелоатлета. Взглянешь — нечто невообразимое, мощь! Загнал том Брокгауза и Ефрона, купил букет роз. С этим гигантским букетом меня к ней допустили. Она милостиво говорит: «Садитесь», — и указывает на пуфик. А на нем двухпудовые гири. «Ну, — подумал я, — была не была, освобожу себе место». Поднатужился изо всех сил. И, представьте, гири оказались совсем

невесомые — оттого, что полые были. Можете понять мое горькое разочарование?

— А вы почему не с нашими? — спросил Костя и кивнул головой в сторону комнаты, где снова началось застолье.

— Видите ли, я написал безобразно грубое письмо в головной институт, где проектируют новую машину. Возглавляет институт академик — он мне все растолковывал, что гениальными не рождаются, а путем невероятного труда становятся. Работать под руководством академика мне довелось именно так — невероятно и одержимо. Но гения из меня не получилось. Теперь я написал ему и жадно жду ответа. Он, понимаете ли, фигура. Ему в годы войны пожаловали генеральский чин. Вызывают его в Кремль, ну, понятно, спешно. А он китель успел надеть, а штаны остались штатские. Так я его на мотоцикле у самого почти въезда в Кремль догнал, брюки генеральские вручил. Он в машине переоделся. Поклялся, что такую важную услугу по гроб жизни не забудет. Вот теперь погляжу, какая у него память. А вообще с проектом я в головном институте ознакомился. Шедевр! Но даже великие произведения художников нуждаются в выгодном освещении. Наш завод — фирма безукоризненная, он знает. Печать нами восхищается за показатели. Я в письме намекнул и на это: к тому же пообещал окрестить новую машину его инициалами. Думаю, клюнет. А там что? — Он показал глазами туда, где происходило застолье. — Там обычная полезная битва опытных, многознающих умов, а меня молодежь занимает. Что вы за народ, понять хочу.

— Плоды переходного периода, — задорно улыбнулся Костя.

— Не скажите, — возразил, насупясь, Евгений Потапович. — Нам не удастся оставить вам планету в полном благополучии. На вас ложится высочайшая миссия — призвать к порядку силы зла. Силы, заметьте, беспощадные, но сами себя пожирающие, — как в древних мифах бог Кронос пожирал своих детей. Капитализм безумен, а вам дана возможность уметь. Ничто так не всесильно, как разум.

Евгений Потапович посмотрел на Нелли:

— Хорошо на вас глядеть — освежает. — Погрозил пальцем. — Личико-то у вас вполне, а вот голову свою не щадите, набирайте-ка в нее побольше. У умного лицо может быть и некрасивым, но выражение лица замечатель-

ным.— Он вздохнул.— А бывает наоборот: красивое лицо, но отмеченное глупостью... Как у моей первой жены. Я был поначалу ослеплен, влюблен ужасно, а сколько страданий! Когда она меня бросила и ушла к надменному, чванливому человеку, я его, хоть он мне был неприятен, жалел искренне и даже чувствовал себя перед ним в чем-то виноватым.

— Славный вы,— сказала Нелли взволнованно.— Я просто в вас сейчас влюбилась.

— Ну уж,— смутился Евгений Потапович и даже покраснел слегка.— Это у вас от сострадания. Когда она ушла, я, признаться, вел себя неважно. Лишь бы не жениться. Как вор тюрьмы, женитьбы боялся. Ну, как я теперь выгляжу в ваших глазах после таких признаний?

— Сказать о себе правду — самое трудное, и только хорошие, честные люди всегда говорят правду о себе,— печально-серьезно произнесла Нелли.

— Спасибо. А вот вам мой урок: при первом порыве души своих чувств не высказывайте, берегите их, как самую большую драгоценность. Уронишь — не подыметь.— Он подмигнул.— А Должиковы-то — сила. Все разные, а вместе — одно. Как говорится, народ топнет — гора рассыплется.

— А дадут нам новую машину?

— Полагаю, что надо, люди разохотились. Но не без того, чтобы уяснить, что почем обойдется. Деньги счет любят. В главке — что-что, а считать научились! Надо создать экономический «обсчет» будущей машины, жестко определить ее себестоимость, определить трудоемкость, реальные возможности предприятия и лишь тогда доказывать возможность изготовления на нашем заводе.

— Ну, а что ж они медлят?

— Так Анатолий Кузьмич свою козырную карту лишь на днях выложил. Теперь вчерашние противники могут союзниками стать. Но я лично полагаю, что подобных козырных карт министерству и от других заводов немало послано.

— И что будет?

— Заложат все данные в ЭВМ, пересчитают. Машина вычислит, чей расчет экономичней, и одобрит.

— Значит, все машина решает, а не люди!

— Почему ж машина? В социально-психологических проблемах она не разбирается. Тут придется людям мозгами шевелить. За должиковским столом столько ярких

мыслей прозвучало. До уровня вот такого страстного человеческого разговора никакая машина не дотягивает, хоть она и ЭВМ.— Евгений Потапович крикнул Косте:— А ну давай сюда!— И когда Костя подошел, заявил ему, широко улыбаясь:— Я сейчас вас покидаю, а девицу эту, Нелли-великолепную, тебе передаю. Но только после меня ей с тобой скучно будет. У тебя одни резцы да гайки на уме.

— Ну, вот еще! Он начитанный.

— Знаю, дал ему книгу видного западноевропейского писателя, он прочел, говорит мрачно: «Жизнь описывает так, словно составляет опись имущества после смерти владельца». Полистал сам — верно.

Директор завода Анатолий Кузьмич Иванов, обладавший немалым умом и проницательностью, сказал о Марате Дожикиове: «Это человек энергичный, беспокойный и страстный; и он не может поэтому быть всегда и во всем уравновешенным и умеренным». Но такими же словами можно было бы аттестовать и самого Анатолия Кузьмича Иванова, памятуя, правда, и о том, как он проявлял твердость в трудную минуту, неустрашимость в час служебной опасности, отвагу в момент принятия решений.

Известно, что чем быстрее идет развитие науки и техники, тем скорее устаревает самоновейшее изделие.

Именно эта закономерность грозно и повелительно властвует руководителями всех уровней, а тех, кто ею пренебрегает, в лучшем случае ожидают поспешно-торжественные и радостные для коллектива проводы на пенсию.

Анатолий Кузьмич Иванов в последнее время расходовал свою недюжинную силу на то, чтобы «выбить» заказ на новый, более совершенный и мощный двигатель, как он высокопарно выражался,— «двигатель двадцать первого века». И это в то время, когда выпускаемые его заводом двигатели прежней модели еще пользовались повышенным спросом и план их производства соответственно спросу был поднят на уровень напряженного.

Хозяйственники хорошо знают, что такое напряженный план. В армии он выглядит примерно так: все штатные огневые средства задействованы, во вспомогательных старшим военачальникам отказано. А надо выходить из положения.

С одной стороны, Анатолий Кузьмич прозорливо считал сегодняшний день своего завода уже вчерашним, с другой стороны, понимал: чтобы завтрашний день для завода стал нынешним, надо, не снижая темпов выпуска продукции, произвести переналадку оборудования, частично его смену, а точнее — обновление на ходу всего производственного процесса; только при этом откроется перспектива приступить к выпуску изделий двадцать первого века, оставаясь в реальных и временных возможностях века нынешнего.

Сотворить такое, если руководствоваться библейской терминологией, — значит совершить чудо. По принятой же советской терминологии это называется внеплановой реконструкцией предприятия для производства запланированной новой продукции.

Добившись заказа на новый двигатель, Анатолий Кузьмич находился в состоянии творческого подъема, и, размышляя над тем, каким путем обеспечить производство агрегата, испытывал то же, что чувствует альпинист, избравший самый короткий, но самый трудный и крутой путь к вершине. Достичь вершины надо в темпе, потому что в восхождении участвует не он один, и может случиться, что, выстрадав подъем, он застанет наверху ликующих своих коллег-машиностроителей. И тогда имя того завода, который первым освоил их производство, новые двигатели будут носить столь же правомерно, сколь и недоступный горный пик носит имя человека, первым поднявшегося на его вершину.

Вот, значит, в каком сложном состоянии, в каких острых переживаниях находились душа и ум директора завода, когда секретарша напомнила ему, что он обещал быть на совещании совета бригадиров в пять, а уже на исходе шестой час.

К удивлению Анатолия Кузьмича, на председательском месте восседал не Марат Должиков, а Сергей Федорович Фомин, и с лица его не сходило выражение крайнего смущения. Марат же Должиков сидел как олицетворение горькой обиды.

Вот как это произошло.

Марат Должиков, улыбаясь окружающим, уверенно направился к председательскому месту и, встав там, все с той же улыбкой, выждав, пока все усядутся, осведомился:

— Ну что ж, товарищи, начнем?

— Начнем,— громко согласился Егор Семенович Должиков, но так сердито, так зловеще он произнес это слово, что все встревоженно оглянулись на него.

Положив свои увесистые руки на столешницу и внимательно разглядывая их, Егор Должиков произнес:

— И перво-наперво начнем с того, кто у нас будет председателем.— Темным, тяжелым своим взглядом обвел Марата и продолжал:— Конечно, за инициативу и активную, по убеждению всех, предварительную деятельность мы благодарны товарищу Марату Должикову, но это вовсе не означает, что по всем прочим параметрам мы его уже признали своим председателем.— И, едко усмехнувшись, Егор Должиков добавил:— Хотя он сам себя уже, выходит, таким признал... Может, кому и не приглянется, что брат на брата замахнулся. Но если он с самого начала сорваться себе позволил, без общего мнения свое собственное сейчас так недопустимо, неуважительно ко всем выказал, значит, считаю, пока из него наш председатель не получился.— Егор помедлил и заявил решительно:— Стало быть, высказываюсь против.

Выслушав протестующие голоса, Егор Должиков — опять гулко, громко, не спрашивая слова, поскольку получилось, что спрашивать его не у кого,— сказал:

— Хорошие слова о Марате мне приятно от вас слушать, по-родственному приятно, и от себя лично могу сообщить, что из всех нас, Должиковых, он, может, самый чувствительный на все хорошее и плохое.— Егор глянул на двоюродного брата с гордостью.— Вот видите, как его от моих слов сейчас всего перекосило. Значит, сильно переживает. И правильно делает. Вот он загорелся бригадным методом, но это еще не все. Плохо, что в азарте и в пылу упустил главное: принцип поведения людей, объединенных в бригаду,— это решающее и в самовоспитании каждого и в воспитании всех. И чем выше у людей сознательность, тем выше будет и производительность.— Спросил, сурово оглядывая собравшихся:— Нас ведь всех в бригады как выбирали в бригадах? Самой жесткой проверке по жизни и по труду подвергли, все наружу выявили, по всем статьям. А почему? Это вам не просто отзывчивость на очередной почин какой-нибудь, а в перспективе всего пространства времени задел на высокие человеческие отношения. Партия открыла нам способ делать людей лучше. Мера всему — человек. А человека мерить надо по его отношению к людям, к своему труду и к труду

других.— Вдруг сощурился, улыбнулся слегка, объявил:— Ведь что получилось! Нас не по анкетам выбирали в бригады. А вышло, что все мы, бригады,— коммунисты. Сознаете, по какой высокой мерке своей в бригады нас люди выдвинули? Вот!— Егор Должиков вдруг сконфуженно поглядел на присутствующих, произнес жалобно:— Может, и не все у меня тут в точку, но зато все от сердца. Извините.— Простертые на столе пальцы его рук вздрагивали, лицо с глубокими морщинами на впалых щеках было мокро от пота, что случалось только во время заправки печи.

За это время Марат Должиков пережил такую жгучую боль, какую, пожалуй, он испытал только в санбате, когда его наспех оперировали и хирург, извлекая осколки, со звоном бросал их в ведро; когда Марат стал скрипеть зубами от непереносимого страдания, хирург, чтобы он не крошил себе зубы, грубо и ловко раздвинув ему челюсти, всунул в рот пакет марли.

Конечно, Марата одолевало желание хлестко, наотмашь стегануть злобными словами Егора Семеновича, наговорить злых вещей прямо в его угрюмое и озабоченное лицо, всегда выражавшее неизбывное горе,— как будто это горе давало ему особое право подавлять радость и воодушевление в другом.

Егор Должиков непривычно для него долго, увлеченно и почти с ликованием говорил о своем понимании нового дела, он неузнаваемо преображался на глазах, даже будто бы посветлел лицом. Сначала Марат испытал только недоверчивое удивление, увидев это новое лицо Егора Семеновича, вернее — такое, каким, он помнил, оно было до войны, а потом... Верно сказал Егор о Марате, что он чувствительный... Потом Марату передалось волнение Егора, чистота его помыслов, может, и неловко высказанных, но, как говорили на фронте, прямой наводкой пущенных в цель. Из собственного сердца в сердца других. Но Марат был самолюбив: он не поддался полностью новому ощущению нерасторжимого душевного родства с Егором, гордости за него, и когда тот кончил говорить и замолк, судорожно вздыхая, Марат выпрямился, сверкнул глазами и с отчаянной, лихой бодростью заявил:

— Товарищи! По вопросу о председателе совета бригадиров есть продуманное предложение — избрать Сергея Федоровича Фомина! — И заплодировал, дерзко и весело

поглядывая в сторону Егора Должикова. Тот ошеломленно уставился на Марата, вздохнул, пробормотал:

— Ну и ловкач... — И сам первым вздернул вверх руку. Почти все ему последовали.

Встав из-за стола, Марат, царственным жестом указывая на бывшее свое кресло, заявил торжественно:

— Прошу, Сергей Федорович, честь и место! — А сам пошел в дальний конец стола, где прежде находился Фомин, по всегдашней своей скромности выбиравший местечко подальше от президиума.

Сергей Федорович спокойно, с достоинством перебрался на положенное ему председательское место, встал и поглядел перед собой.

— Товарищи, прежде чем продолжить наше совещание, разрешите мне к вам обратиться с вопросом. — Он помедлил, выжидая. — Вопрос такой. Вот Егор Семенович Должиков упрекнул Марата Васильевича, что он самовольно открыл наше заседание; мне же, в свой черед, думается, что он, выдвинув мою кандидатуру, вроде как мной сманеврировал. Прошу вашего мнения!

И тут поднялся Самохин, сказал сердито:

— А ты, Сергей Федорович, тоже не маневрируй. Должиков правильно на критику реагировал, себе самоотвод дал. Твою кандидатуру в самую точку предложил. Мы проголосовали, значит — все. — Он оглянулся на Зубцова. — Вот только без согласования с парткомом. Но Егор Семенович доложил же, что все мы тут коммунисты. Выходит, и партийным доверием тебя поддерживаем. Значит, руководи. — Самохин продолжал, обращаясь уже ко всем. — И начали мы совещаться хорошо. По-партийному чутко, совестливо. Считаю, с такой высокой вышки и впредь и на себя и на других смотреть надо, тогда все получится.

Сел, спросил тревожно у соседа:

— Ну как, я не мимо? — И, получив одобрение, с благодарностью пожал соседу руку.

А дальше пошел разговор по существу, деловой, жесткий.

Говорили сурово, строго обо всех производственных неполадках, об отступлениях от моральных норм, о нерешенных организационных проблемах, нравственных, психологических, о выгодных и невыгодных нарядах, о неполной ясности определения коэффициента трудового участия, о преимуществах и пороках сдельных работ, вы-

сказывали опасение насчет шумихи, показухи, поспешности в процессе внедрения новых форм бригадного метода труда. И тогда бригадир комсомольской бригады сварщиков Алексей Горелов с возмущением и недоумением заявил:

— Так нельзя! Нам бы воодушевиться после такого совещания, а тут от одного перечисления неполадок получается, что на новый метод переходить нельзя, пока порядка на производстве не будет!

Его спокойно поправил Сергей Федорович Фомин:

— На новое надо переходить с открытыми на плохое глазами. Если мы плохое знаем, значит, мы в силах его преодолеть.

И добавил с душевностью:

— Конечно, пока еще нет идеальной и универсальной модели бригадной формы организации труда. Но есть уже полезный и плодотворный опыт других, изучать его и совершенствовать — наша задача. И чем успешней мы будем ее решать, тем скорее возникнет необходимость перестройки управления заводом, всех его служб...

Анатолий Кузьмич Иванов зашел на совещание совета бригадиров с намерением послушать и помолчать. Принять во внимание, а потом прикинуть, что полезно, а что не очень. Но при последних словах Фомина Анатолий Кузьмич востроился, вспыхнул и изменил свое решение.

Взяв слово, директор с обидой заявил, что перестройка управления заводом и его служб в ближайшее время намечена не в связи с организацией бригадных форм труда, а потому, что заводу предстоит заказ на новые сверхмощные двигатели, и это уже будущий век энергомашиностроения. Так и сказал — будущий век, чтобы этим сильнее подчеркнуть значение для всего коллектива этого особого и почетного задания. Кроме того, его заделали самокритичные высказывания бригадиров о неполадках и упущениях на заводе, хотя их, в сущности, было не больше, чем на других аналогичных предприятиях. Сгоряча он принял жесткий, прямой разговор о недостатках за попытку притормозить переход на новый метод труда. А как всякий хозяйственник, он был заинтересован в скорейшей реализации нового почина, который поначалу всегда привлекает к себе всеобщее внимание и хозяйственники благодаря этому получают возможность выпросить в главке и даже в министерстве под такое дело разного рода сверхнормативы в порядке поддержки передовой инициативы.

Возможно, такие соображения не существовали в высокоорганизованном должностном сознании директора завода товарища Иванова, а только ютились где-то в подсознании, но они вырвались наружу, вырвались бесконтрольно, повинувшись ощущению уязвленного престижа, и, вырвавшись, вызвали бурную реакцию.

Отдача оказалась сильнее, чем выстрел. Те, кто только что рассудительно и строго осуждал разного рода неполадки на заводе, скрытые и явные способы припудривать, замазывать их весовыми и валовыми показателями, которые добывались штурмовщиной и сверхурочными, хотя и приняли с энтузиазмом сообщение о заказе на сверхмощные двигатели, но доказательно и толково разъяснили директору, что новый заказ может быть достойно выполнен именно при новой организации.

Словом, Анатолий Кузьмич был вынужден выслушать несколько речей, в которых обосновывалась вся многообразная польза бригадных форм организации труда для роста производительности, качества продукции и, главное, подчеркивалась их роль как решающего момента в деле коммунистического воспитания людей.

Слушая то, что он хорошо знал, Анатолий Кузьмич болезненно и виновато морщился, испытывая досаду, что недооценил силу коллективного разума бригадиров, опыт общения с самыми различными людьми. Этот опыт научил их искусству не столько побеждать в споре, сколько убеждать — что гораздо труднее. Но поскольку Анатолий Кузьмич сам обладал незаурядным умом, он, несмотря на уязвленное самолюбие, быстро смекнул, что с такими подкованными в человековедении кадрами работать можно с расчетом на полный успех, и не кратковременный, а длительный. А на это нацеливало его, как и всех нас, наше бегущее вперед, неповторимое время.

Мгновенно оценив происшедшее только что, прикинув своим подвижным хозяйским умом все «за» и «против», Анатолий Кузьмич заявил решительно, с особой почтительностью глядя на Фомина:

— Что касается нового сверхмощного двигателя, то, я полагаю, после ознакомления конструкторов с его проектом совет бригадиров внесет свои предложения по этому вопросу на совместном совещании с руководством завода.

И, выслушав одобрительные слова, Анатолий Кузьмич поспешно удалился такой поступью, словно он не то убежал от чего-то, не то стремился кого-то догнать.

Лекальщиков, как и народных артистов СССР, на фронт не брали. Оно и понятно. За пять лет выучивают и на инженера, и на толкового слесаря. Кандидату наук еще клади, допустим, три года. Способный слесарь может вытянуть за весь этот полный срок четвертый — шестой разряд. А высшая квалификация — это уже призвание, тут одаренность требуется, талант. На лекальщика выучить нельзя, если на то нет дара, особых способностей. Лекальщики — солисты.

У станочника недоделку в цеху доводят до ума все. Лекальщику ошибку исправить некому. Его работа индивидуальная, конечная — эталонная. И по производству измерительного инструмента и по изготовлению трущихся деталей, по ним периодически производится проверка степени изношенности оборудования в самых его ответственных узлах. И, наконец, из его рук выходят изделия такой сложной конфигурации, которая требует не просто ювелирного мастерства, а вдохновения, вроде искусства хирурга, с полным сознанием своей высшей ответственности.

Лекальщик выдает штучные экземпляры. Но и среди лекальщиков один может сделать то, чего не может другой. Так что и у лекальщиков тоже есть просто мастера, а есть мастера высшего класса.

Как из солистов трудно сколотить оркестр, так и из лекальщиков бригаду. Была на заводе бригада и бригадир имелся, но больше для проформы, для «внешних сношений». Бригадир лекальщики уважали, но не больше, чем любого представителя своей изысканной профессии. Самые выдающиеся из них на бригадирство не соглашались — скредно сохраняли свою умственную, нервную и душевную энергию для работы.

Дмитрия Семеновича Должикова приняли в бригаду из почтительности к его фронтовым наградам, сочувствуя его ранениям и понимая, что все Должиковы люди с характером и уж чего-чего, а в постижении труда одержимо и самолюбиво настойчивы.

Поскольку Дмитрий Семенович не обрел полноты счастья в семейной жизни, он его искал в самозабвенной работе.

Сын Костя от любимой первой жены вырос как бы помимо него, выпестованный дедом, хотя почти все их разговоры скорее походили на схватку, чем на любовные беседы. Дед критически относился к Костиному поколению, а Костя в пику деду сравнивал его с его же великими современниками.

— Без идеи человек — животное, либо того хуже — скотина, — утверждал дед, намекая на безыдейность нынешних молодых людей.

— Идея — это не слова, а дело, — уточнял внук.

— А кто вам фундамент заложил? Мы.

— Да если бы мы только на ваш старый фундамент рассчитывали, нового бы нам не построить, а будущего тем более.

— Будущее на какой идее будет оформляться? На нашей же, незыблемой.

— Абсолютизация идеи есть своего рода неверие в то, что она способна развиваться и самообновляться самим ходом истории.

— Верно, — коварно соглашался дед. — Только кто трусливо мыслит, у того нет твердых убеждений, и идея для них, как заслонка. — Дед улыбнулся. — Что, съел?

Дмитрий Семенович воспринимал подобные дискуссии деда с Костей как свидетельство того, что Семен Фомич распустил внука.

Говорил сыну с упреком:

— Ты на что, Константин, замахиваешься? На самую нашу суть. Распустился в скитаниях по морям, оторвался от рабочего класса, соображаешь, что критикуешь?

— А что? — вступался дед. — Не обмыслишь сам, не убедишься, не поймешь, значит, и не усвоишь. Мы вот на митингах толпой обсуждали то, что теперь ребятне в детском саду закладывают. Если на птенчиковых крыльях не пытаться повыше взлететь, то и орлиные не поднимут.

— Тоже мне орла нашел! — ревниво замечал Дмитрий Семенович.

— Орла не орла,— сердился дед,— а если парень с умом беспокойным, значит, в надежного человека обещается. Ты вот, кроме своих железок, ни об чем другом значительном думать не желаешь. Залез в нору высшей своей квалификации, на остальных только щуришься. Своих, Кольку да Яшку, ежели чем воспитываешь, то только со своей большой получки. Дома, считаешь, отдых от работы, а семья — это тоже работа ума, сердца, души.

Дмитрий Семенович угрюмо вздыхал, тупил глаза к полу. Не сложилась у него семейная жизнь: жена Ольга вся в хозяйстве, радости ее — в покупках. Сыновья — Колька в школе не доучился, переростком пошел в ПТУ, Яков в бригаде электромонтажников состоит, парень ничего, но уже два раза разводился. А вот Константина дед увел, и чем дальше, тем больше склоняет на свою сторону.

На работе Дмитрий Семенович тяготился тем, что не нашел в бригаде дружного товарищества, к которому привык на фронте.

На войне каждый солдат от другого зависим, выручит огнем, а то и телом своим прикроет. В бою у человека наружу вся подноготная. За один день человека узнаешь так, будто всю жизнь с ним вместе прожил. Зато всю жизнь и помнишь, словно родного, самого близкого. И хотя много раз его на войне калечило, вспоминал Дмитрий Семенович фронтовую жизнь теперь как самую для него лучшую.

Лекальщики относились к нему дружелюбно, помогли выучиться основам, но обучать дальше, когда освоил азы, воздерживались: не то берегли свое время, не то считали, должен теперь сам, своим умом пользоваться.

Раздражало Дмитрия Семеновича то, как достижения высшего мастерства привередничали. Если заказ не уникальный, не увлекательный, где себя виртуозом не показать — тянут, зарабатывают на времени. Ведь твердой-то нормы нет. Может мастер сработать поскорее, но не хочет.

Получая сложный, уникальный заказ, ставят свои условия, торгуются, препираются.

Воистину лекальщики стали узким местом производства, а ссориться с ними нельзя: все они уникалы и за этот свой престиж дружно держатся.

Дмитрию Семеновичу хоть такое и не нравилось — молчал. Молчал из признательности. выучку и от сознания того, что перед высшими мастерами он пока подмастерье.

Однажды, когда Дмитрий Семенович, не справившись за смену, решил остаться, чтобы не спеша доработать, к его верстаку подошел парторг завода, осведомился:

— Ну, как?

— Да вот сотки ловлю, а они на сильный нажим неподдающиеся, не скоблю, а только поглаживаю.

— Всем доволен?

— Получка, как у начальника цеха.

— Значит, удовлетворен по всем параметрам?

Дмитрий Семенович угрюмо помолчал да вдруг и выпалил:

На фронте было хорошо: никакого интереса к деньгам — от безнадобности.

— Это точно! — согласился Зубцов. Подумал. — А теперь что? Рубль командует?

— Кем?

— Да вами, лекальщиками.

— Я ему не кланяюсь.

— Ой ли?

— Говорю так, как есть.

— Вы ведь не только стружку дерете, а и большие деньги...

— У кого из нас большие способности, тому больше и положено.

— Значит, ты тоже выдающийся?

— Я нет, я средний.

— А получаешь значительно больше любого станочника. Выходит, элита?

— Себя таким не считаю.

— А по получке-то выходит — элита.

— Значит, за получку упрекаешь?

— Нет, зачем, за высокий труд на упрекают — хвалят. А вот за элитность вашу, за привередливость, за то, что надо всеми другими себя ставите, упрекнуть можно.

— А ты повоспитывай — люди твоему слову внимлют.

— А ты?

— Что я? Я, как все, понятливый.

— Тогда вот тебе мое предложение. Прецизионный станок мы приобрели высочайшей точности — уникам. Освоишь, большое дело сделаешь.

— А я не станочник, я лекальщик, — строптиво сказал Должиков.

— Ты им и останешься, только не на ручной притирке, а на станке сотки будешь одолевать, с наивысшей точ-

ностью. Понял? И с такой производительностью, сколько вся ваша бригада не вытянет.

— Хватанул!

— Ну, может, и перехватил ради убедительности.

— Почему же я? Я середняк. Ставьте выдающегося, лучшего мастера.

— А я не только по соображениям повышения производительности хлопотал о таком дорогом станке, но и в целях изменения климата вашего, где каждый сам по себе и на себя. И тебя вот ставлю, чтоб показать, на что середняк способен.

— Значит, меня против всей бригады выставляешь?

— Ты перед тем, как в атаку идти, всегда спрашивал, сколько у тебя штыков и сколько у них?

— Так то бой.

— Да ты и не идешь против бригады. Наоборот, за нее. В ее конечных интересах, — нашелся Зубцов.

— Мной втык хочешь бригаде сделать?

— Хочу! И не скрываю. Только не тобой, а техникой.

— А ты не крути, мне им в глаза смотреть, — произнес с обидой Должииков. — Все равно станку того не достичь, чего талант мастера произвести сможет.

— А мастер и станку ума прибавит.

— Прижал, — удрученно сказал Должииков, — загнал в угол.

— Это вы там по углам, а я вас хочу на широкий плацдарм вывести.

— У меня ноги слабые, а на станке сидя не получится.

— Это не учел, — со скорбью признался Зубцов. — Извини, друг, — сконфузился, заморгал, стыдливо повел плечом. — У меня у самого, знаешь, чего бывает? Веду партком — и вдруг по голове словно чурбаком стукнуло, в глазах меркнет и слепну на какое-то время, но в руках себя держу, притворяюсь, будто очки забыл. А очки тут ни при чем. Врачи говорят, осколок в башке на зрительный участок мозга давит. Ну, подавит и перестанет, снова вижу. Но боль, особо к вечеру, непереносимая. Нажрешься таблеток — малость отходит.

— Чтой-то такого не замечал, хоть ты всегда у всех на виду.

— Ну! — обрадовался Зубцов. — А я все стеснялся, думал, все видят, только молчат из вежливости. Так, считай, не было у нас с тобой этого разговора.

— Как это не было,— запальчиво сказал Должиков,— когда он состоялся со всем из него вытекающим! К станку я стану, пусть только технолог спервоначалу поможет овладеть.

— То есть как это встанешь?— всполошился Зубцов.

— А так, как ты с осколком в голове.

— Зачем же тебе мучиться?

— А тебе?..

Дмитрий Семенович Должиков заказал сыну Николаю сделать палку-складень с откидным сиденьем. С работы теперь он враз не мог дойти до дому, на палку с сиденьем присаживался. Дома смеялся:

— Я теперь как та русалка, у которой ноги человечьи выросли, а ходить-стоять на них — одна боль.

Пока обучался на станке, получал только тарифную. Приходил Зубцов, спрашивал:

— Ну, как?

— Чего как? Вроде получается.

— Я про ноги.

— А с головой у тебя как?

— Ох, и с перцем ты мужик.

— Будешь с перцем, когда в бригаде меня в отстающие зачислили. Хотели совсем отчислить — упротил.

— Можно их поправить.

— Зачем, делом сам поправлю.

— Ну-ну, силен стал.

— Станок мой, а не я.

— Я говорю про сознательность.

— А она у меня какой была, такой и осталась. Я в бою при ранении из строя не выходил и теперь живу по совести. Это вот мой Костя молотит, что идейность в ходе времени, вроде пузыря, растет и надувается.

— Ну, не как пузырь, а верно, растет и наполняется все новым содержанием,— заметил Зубцов.

— И ты туда же.

— А что, не так?

— Говорю — какой был, такой и есть.

— Неверно, ты сейчас на полголовы поднялся над самим собой, тем, каким ты был.

— Провидец!

— У меня профессия такая,— улыбнулся Зубцов,— человековедческая. Иначе бы не избрали.

— Верно,— согласился Должиков,— я за тебя сразу руку задрал, когда назвали.

— Ну, а как твои коллеги?

— Лекальщики? Пока ворчат. А вот начну заказы на станке исполнять, тут, думаю, они из меня душу вытрясут.

Действительно, обработанные Должиковым на станке детали лекальщики молча и привередливо доводили вручную до таких сокровенных соток, каких достигать не было никакой нужды. И все за счет основной работы, лишь бы унижить станочную обработку, а значит, и самого Должикова. Должиков, изнемогая от их упорства, терпел, не срывался.

Но дома становился лютым на всякие по быту мелочи. Похудел, глаза ввалились, взгляд стал угрюмо-настороженным.

— Ну как, поглаживают тебя против шерсти? — снова осведомился Зубцов.

— Что ты все «как» да «как»? Какают они на мою работу всей артелью,— злобно отозвался Должиков.

— Ты через край не хватай! Они доводят деталь до музейных образцов. Верно?

— Изводят, а не доводят. Ничего без доработки не сдают.

— Хотят доказать недоказуемое.

— А мне не легче. Спать перестал, скриплю зубами, просыпаюсь среди ночи. С чего? Зачем?

— Ничего, с той недели ОТК будет твои детали прямо у станка принимать.

— А что бригада скажет?

— То, что ОТК покажет. Он судья беспристрастный.

Спустя неделю бригадир исключил Должикова из состава бригады. Коротко объяснил: ты станочник, к станочникам и подключайся.

Но когда в газете появилась статья о новаторском почине бригады лекальщиков, перешедших на прогрессивный станочный метод изготовления ряда изделий, бригадир сказал Должикову лукаво:

— Мы свою прогрессивку начисляли на тебя, так что, считай, отпускать от себя не собираемся.

Одно обидно было Должикову, почему его имени не называли в газете.

— Это моя вина,— сознался Зубцов.— Прикинул: тебе с ними жить, работать — и пожертвовал твоим самолюбием, чтобы их самолюбие не распалять.

— А то, что я на своих калеченых конечностях страдал-маялся? А лекальщики на меня тухлыми глазами глядели, будто я им враг? Это все так, не жуй, а проглоти?

— Ты не им, ты косности враг.

— И сам себе тоже, — сердито заявил Должиков, — намучился сколько. Прихожу, конечности в горячей воде парю, а они все болят.

— На станке тяжело, переходи на верстак, за ним работа всидячку.

— Нет уж, — строптиво вскинулся Должиков, — я к станку прилип, отдирать себя от него обратно — возражаю.

Спустя некоторое время на городской площади среди портретов отличников города появился и портрет Дмитрия Семеновича Должикова. Но не сегодняшнего, а такого, каким он объявился на заводе после войны: в офицерском кителе, с усами по гвардейской моде, в орденах и медалях, с гордым выражением исполнившего свой долг воина.

Позднее, вечером, чтобы не на людях, Дмитрий Семенович в сопровождении Николая и Якова пошел взглянуть на себя.

Увидел, смутился, потер глаза, поспешно закурил.

— Ну, верно я. Похож! Теперь пошли обратно.

Но ребята запротестовали.

— Смотреть на меня такого вам охота, а слушать нет? Сытые, откормленные, обутые, одетые, у одного мотоцикл, у другого мотороллер, а в роту вас к себе никак не взял бы.

— Почему это?

— Ненадежные. Петушиное племя, без расчета на дальний полет — вот вы кто. Фамилию Должиковых собой только портите. — Вздохнул. — Я во всей своей гвардейской видимости без амбиции на завод в ученики пошел. Если человек не умеет учиться всю свою жизнь, он только существо, а не фигура среди людей. Я законным инвалидом числился, а почему им не стал? Может, из одной солдатской гордости, чтобы в удовольствие врагу таким не числиться. Но поймите в виду: тем, кто сейчас на нас снова замахивается, не опасны дураки да недоучки. Наша мощь — в сплаве народного ума и сознательности. Об нее наши враги всегда и расшибаются.

— Ну, ты совсем, как дед, заговорил.

— А что дед, он и прошлое наизусть помнит и в нынешнем толково разбирается. — Должиков нахмурился. — В вашем возрасте сколько ребят на полях сражений за Ро-

дину пали, а вы целехонькие, неповрежденные, не думаете о том, что вы живые только потому, что те погибли. В свое удовольствие живете.

— А что же мы должны?

— Помнить про этот долг свой должны. Такое мое мнение,— сурово изрек Должиков. И, стараясь не прихрамывать, повернулся и пошел домой, исподтишка оглядываясь и тревожась, не видел ли кто из заводских, как он сюда приходил любоваться на самого себя.

Конечно, Дмитрий Семенович Должиков не подозревал, какую роль играла для завода его работа на станке. Завод потихоньку готовился к выпуску нового двигателя, требующего по всем своим параметрам такой высокой точности, которой достигали пока только лекальщики. Станок открывал перед людьми новые возможности — это доказал Дмитрий Должиков.

Исходя из тех же побуждений, Марат Должиков предложил на совете своей бригады перейти всем без исключения на выпуск деталей только с минимальными допусками.

Мотивировал тем, что это уменьшит трение в рабочих узлах, значит, возрастет КПД машины, снизятся затраты на смазочные, на горючее. Выигрыш народному хозяйству, и главное — борьба за высокое качество обработки станет уже борьбой за новую машину.

— На новом оборудовании? — спросили его не без ехидства.

— Нет, на старом.

— И чтобы всем на уровне Егора Ниловича Горохова?

— Вот именно.

— Такого не бывает.

— Бывает. Движение скоростников забыли?

— Скорость достигается и при нормативном качестве.

А тут сверхнорматив. Выше, чем спрашивает сам ОТК.

— Правильно поняли.

— Понять можно, да всем освоить трудно.

— Пускай вызовутся желающие.

— Одиночки всегда найдутся, но только мы бригада, а не сдельщики.

— Может, выделить с высшей квалификацией? Пусть они чистовую проходят.

— С высшей раз, два и обчелся. С черновой другие быстро справятся, а с чистовой произойдет зашивка.

— Хорошенькое дельце получается: сам говоришь, уровень для новой машины надо всем поднять. И выходит, для высококвалифицированных одна, дорогая работа, а для других — скреби черновую? К чему тогда вся затея?

— Верно!

Поднялся Шишигин, пожилой, в очках с толстыми стеклами.

— Я уже гарантированный, потеряю сколько-нибудь заработка, пенсией возмещу, пенсия не убудет. Берусь.

— За что?

— При моем четвертом выдавать, как по шестому разряду. Согласен на самые минимальные.

— Так несогласных тут нет, только и уверенности тоже нет.

— Сомневаетесь?

— Не сомневаемся — думаем. А если для осторожности не трезвонить, а тишком взяться? На пробу.

— На пробу вам только лизнуть, а другие пусть расхлебывают?

— Если сейчас на освоенном изделии всем не взяться, к новой машине не допустят.

— Так нормы же не все вытянут.

— На качество будет надбавка.

— Так-то оно так, да была бригада по всем показателям передовая, а может соскочить.

— Именно была, — сказал Марат, — раз по-новому работать не можем.

— Почему не можем? Можем, только уж если браться, то не тишком, а гласно, с подхлестом от общественности.

— Ну, тогда кто за, кто против, воздержавшихся нет? Есть. Ну, что ж, с незначительным перевесом, но приняли! — Марат помедлил, произнес укоризненно: — Но про воздержавшихся скажу: согласно правилу — можно, а по совести — нельзя. Получается, ни туда и ни сюда. А на холостом ходу — путь в никуда.

Зубцов присутствовал на этом совещании совета бригады, но молчал, не вмешивался. Когда все разошлись, Марат спросил:

— Ваше молчание — что? В чем-то знак несогласия со мной?

— Да нет, просто, может быть, для начала следовало бы премировать и отметить тех, кто на минимальных допусках уже работает, а потом предлагать всем последовать их примеру и опыту.

— А чего ж не посоветовали?

— Думал, вы сами догадаетесь.

— Сроки-то у нас какие! — сказал Марат. — Если тянуть, можно на хвосте у времени оказаться. Да вы что, сомневаетесь? — осведомился подозрительно.

— Чтобы достичь цели, не обязательно ломиться напролом.

— А я, значит, ломился! — вспыхнул Марат.

— Немножко больше выдержки, Марат Васильевич, терпения, уважения к умунастроениям других. — Видя, как сузились глаза Марата, Зубцов сказал: — Именно этих качеств мне самому долго не хватало. Понимаете, партийный подход к людям заключается в том, чтобы убедить их в том, в чем сам убежден, а когда убедил, тогда просто согласись с ними — и все!

Марат виновато усмехнулся.

— Понял! Значит, не получилось!

— Скажем, не додумали до конца, не подготовились. А знаете, беседа — это всегда турнир ума, отзывчивости, такта. Искусство общения, заметьте, большого душевного опыта требует. Но, впрочем, человек должен быть всегда таким, какой он есть, а еще лучше, каким он должен быть.

— А я не дотягиваю?

— Все мы не дотягиваем, но стремимся.

— Характер у меня, — пожаловался Марат.

— Так не характер должен человеком командовать, а человек своим характером.

Когда Марат вернулся в бригаду, его встретили одобчительно-шумно.

— Молодец, Марат Васильевич, поверил в людей, настоял в совете. А то других к новой машине допустят, а нас куда? В цех ширпотреба?

Но директор завода к почину бригады Марата Должикова отнесся отрицательно.

— Не успели еще по новому бригадному методу организовать, а уже полезли в дополнительную инициативу. Дождались бы нового оборудования, вот и экспериментировали бы, срок на освоение будет дан. Не получится сразу на минимальных допусках, потери спишем за счет того же освоения. Нормально и приемлемо. А теперь что ж, расползется инициатива по всему заводу, а нам надо давать освоенную продукцию выше плана, чтобы задел иметь на период переналадок в соответствии с новым заказом.

Лебедев ехидно заметил директору:

— А вы, батенька, столько нового оборудования хватать намерены, что это уже не обеспечение заказа получается, а почти полное обновление с хода и на ходу.

— Так, по коэффициенту сменности мы самые отстающие, — ответил директор и добавил: — Я ведь не нахал, как некоторые, покорно просил, — не шли навстречу. Теперь, извините, теряться не намерен.

— Вот и бригада Должикова решила действовать, чтобы не потеряться, когда к исполнению нового заказа приступить придется.

— Глядите — зашыются, скомпрометируют себя, а я не допущу бракоделов.

— Ну, так уж сразу бракоделов.

— А вы на старых станках попробуйте сотки ловить, это вам не на ватмане фантазировать, что не так — бритвочкой подчистите и заново. На минимальных бракованную деталь — только на выброс. Потому и страшусь и негодую, а пресечь не могу, пока не сорвутся. Тут власти у меня нет, совет бригады одобрил.

* * *

К зрелому возрасту Афанасий Данилович Зубцов оброс друзьями-приятелями, с которыми изредка встречался всей кучей дома, а чаще — порознь.

Был среди них знаменитый гидростроитель, бродяга, как он называл себя хвастливо, скиталец по всем достойным его дела сибирским рекам, а по юношеской совместной памяти — Васька Кубик, плечистый, низкорослый, с сиплым, гулким, исходившим откуда-то из самых недр обширной груди, голосом. Прибыл он на стройку еще в тридцатых годах вместе с отцом, плешивым, хилым на вид, но ошеломляюще выносливым на тяжелый труд плотником, который и здесь по деревенскому обычаю работал от зари до зари. Приметив, что комсомольско-молодежная бригада, в которой был и Зубцов, отработав смену, едва доплетается до барака, он пронзительно, по-разбойничьи — два пальца в рот — освистывал их, кричал вдогонку ехидно:

— Порастеряли шмыри пупки! Это вам не в буфете после заседания пирожные трескать, не языками махать. Оплыли салом, безжильные!

Однажды Зубцов обиделся и остался со стариком работать.

— Давай, давай, комсомол, показывай себя, а я погляжу, из чего ты состоишь в натуре.— И старик уселся на бревно. Вынул кисет, сложенную газету, оторвал от нее кусок, свернул «козью ножку», закурил с наслаждением, предупредил:— Только ты по тесине руби, а не себе по ногам. А то танцы плясать будет не на чем.

Кубик шепотком Зубцову подсказывал:

— Ты легонько, весом топора действуй, а не силком, и топорщице при ударе туго удерживай, а то при отдаче кожу с ладоней свезешь. Тюкай ровно, как дятел. Он птица понимающая. И наклон соблюдай, чтобы резать, а не стучать, как молотком.

Когда старик отправился обедать, Кубик предложил:

— Ты передохни, я сам дорублю.

— А пошел ты!— в ярости крикнул Зубцов.

К закату старик вернулся, привередливо оглядел работу, точно определил:

— Это Васькина, а вот это твоя — в зазубринах. Бывало, нас по такой десятник голой задницей ерзать заставлял для науки. Ну, да ладно, я мужик ласковый, не заставляю.— И удивился:— Однако, ты здоров! Родитель кто? Заводской? Ну, таких я уважаю, железо тоже ума и силы требует.

И вот теперь Кубик — фигура. По старой памяти навещает. По старой же памяти любит поддеть, подзадорить.

— Я руководитель союзного масштаба, получу вторую звезду — мне при жизни бюст. А ты? Не проголосуют на очередных перевыборах, и все: был вожак, стал рядовой. Но ты не теряйся: если плотницкое ремесло не забыл, к себе возьму. Пойдешь?— Задумчиво продолжал:— Я теперь личность известная — книгу даже один с меня написал. Начальник строительства — должность заманчивая. Ну, свое дело, верно, знаю, а не будь у меня головастых парторгов, разве с тысячами людей справился бы? Никак. Доступ они ко всем людям имеют по линии человеческой. Я по ежедневным сводкам сужу, ну и глаз на всякую работу отточенный. Тут — мастак, не проведешь. Ну, если ситуация — не теряюсь, старый боец.

— И чего ты все якаешь?

— А ты меня не учи. Не у тебя на учете. Ты своего директора воспитывай,— обиделся Кубик.

— Не отучили якать — значит, не доучили.

— Думал, на Лене женят,— со вздохом сообщил Кубик,— нет, вызвали в Приполярье, там чего-то из бетона возносят.

— Ты что, с женой развелся? — заволновался Зубцов.

— Чудак, это я про реку Лену. Для аморалки я уже старый. Да и к своей прикреплен пожизненно. Она у меня гидролог. Без нее я сирота, и ворожит всегда точно, когда и сколько влаги прибудет, отбудет. — Произнес оживленно: — Для меня важно не столько что работать, а с кем. Со своими отборными кадрами кочую. Куда они согласны, туда и я согласен. — Заметил с чувством превосходства: — Из молодежи вырастил. У нас на стройке в необжитых местах, как на золотодобыче: кто не соответствует, сразу сматывается, стоящие остаются, оседают, к делу прилипают. И знаешь, с такими проблем нет. Кто с нулевой весь набор трудностей проживет, того я считаю проверенным в деле. Таких, как были до нас, в двадцатых, и при нас, в тридцатых и даже в сороковых. С ними — хоть сегодня в космос, на дно океана или на вечной мерзлоте пальмы сажать, в закрытом, конечно, грунте, — усмехнулся. — Это я так, для фигуральности — строить-то нам предстоит уму невообразимое. Если я о своей работе уважительно говорю, то это вовсе не означает, что хвастаю. Ну, а у тебя как? — Выслушав без всякого сочувствия, изрек: — Пока вы, машиностроители, в белых халатах не начнете работать, нам наивысшего качества от вас ждать не приходится. Вам даже какой-то ноль с чем-то процента брака положен. А допусти я в теле плотины такое — под суд. Вот и вас надо б так же.

— У нас массовое производство.

— Значит, и свидетелей на суде больше. Я, скажем, болты получаю ящиками, а среди тысячи десятков да обнаруживается с халтурной нарезкой. Пусты такой болт в дело, люфт получится при вибрации, болт срежет — вот тебе предпосылка к аварии. А кто нагадил? Пойди разгадай. Знаю, есть стрекачи — прошлого нашего знать не желают, настоящее их не удовлетворяет, будущим не интересуются. Родились на свет на всем готовом, а на языке одно — дай! Вот и шастают, где полегче да побогаче кормушка.

Лицо Зубцова покрылось красными пятнами.

— Это что у тебя — нервные лишаи? — забеспокоился Кубик.

— Луплюсь от бывшего загара,— хмуро пояснил Зубцов, глухо спросил: — Ты вот сказал, у тебя подобные сразу от трудностей, как грязь, смываются, остаешься только с надежными, чистенькими?

— Ну, это я малость перегнул. Только в качестве аргумента, мол, трудности помогают сразу человека определить.

— Пошел на попятную, правильно. Каким человек должен быть, мы все знаем. А вот как сделать его таким? Это сложнее и дольше, чем на какую-нибудь дальнюю планету высадиться. Или вместо ваших громоздких гидростанций миниатюрные, но с такой же мощностью на плазменном топливе поставить.

— За такой срок можно и сверхчеловеков вырастить.

— Ой ли?!— усмехнулся Зубцов.

— От техники человек умнеет.

— Техника от человека умнеет. Вершина всему — человек. Все, что создано и будет создано — только человеком, и ничем иным, а техника ему только подсобник.

— Ты прямо, как по библии, шпаришь: «Сотворил бог мир и сказал: «Хорошо». А теперь скажу я. Плохую работу, брак уличить несложно, установить, что это связано с нарушением технологической дисциплины — тоже. А вот чтобы вскрыть причины нравственного порядка — почему допустил, тут глубины человековедения надо постичь, всю душу свою вымотать. Я вот сюда поездом, дорога дальняя,— сказал вдруг Кубик,— прихватил Достоевского, читал, читал и спекся. Нет нормальных, все нервные, дерганые, обидчивые и обиженные, и еще чем-нибудь хворают, и все друг перед дружкой исповедуются, жалел их, конечно, до слез. Вот до какой крайности царизм людей доводил.— Хитро сощурился: — Это я тебе так, для отвода глаз. Мысль твою понял. Въедливая. Я вот, к примеру, своему прорабу говорю: «Ты только частично честный». А он: «Спасибо, Василий Прокофьевич. Только вы меня правильно и оценили, а на собрании вон как в пух и прах разнесли». Слыхал, как понял? Мол, с него и этого достаточно — хоть частично честным признали. А ему еще жить, работать, дети взрослые.

— А кто он?

— Говорю — прораб, ни разу ни в чем не попадался — ловчила, конечно, но работяга, последним со стройки уходит.

— Значит, на ходу упрекнул его, и все?

— У меня таких много. Жизни моей не хватит, чтобы каждого такого исповедовать.

— Выходит, и ты сам частично...

— А ну, договори!

— Зачем, я и себя часто в таком упрекаю.

— Значит, не все вы, парторги, ангелы с крылышками?

— Я — нет.

— Ну, это ты зря! — возмутился Кубик. — Я тебя знаю. Я вот после книжки не мог уснуть, а ты не от прочитанного, а от того, что в натуре встречаешь, в постели всю ночь напропалую куришь. — Предложил радостно: — Давай ко мне в отпуск! Тайга, река, рыбалка. И вообще — атмосфера...

Навещал Зубцова и Захар Телепнев, бывший командир роты, в которой Зубцов служил взводным.

По старой памяти Зубцов держал себя с ним подтянуто.

— Ты молодец, Зубцов, — одобрял Телепнев. — По партийной линии вытянулся. Я тебя сразу угадал, в агитаторы зачислил. — Произнес поучительно: — Достижения науки теперь превосходят всякую силу воображения. — Спросил: — На заводе у тебя как?

— Стараемся.

— Знаком качества отмечаетесь?

— Нет еще.

— Значит, отстающие, — строго проговорил Телепнев. — А на фронте твой взвод в отличных числился. Что так?

— Требования высокие.

— А низких не бывает. Фронтовик обязан и на гражданке свой воинский показатель на высоте держать. Ну, хоть по ДОСААФу достижения имеете?

— Кубок получили.

— Что ж ты с этого не начал? Сильные, смелые, ловкие везде должны быть. Знакистов ГТО много? Ну, тогда можем кое-кого и лишить, если по работе не тянут. У нас знак строго совокупный. Не только с мускулами считаемся. — Задумался, сказал: — Опять в мире полоумные завелись, должны же люди им мозги вправить, чтобы самим не опалиться. Мы всему человечеству ясно, просто, общедоступно разъясняем: нельзя. Уж чего-чего, а что такое война, мы лучше всех знаем. Не за себя, за планету свою беспокоимся. — Строго приказал: — А курить отставить, вред организму.

Зубцов послушно замял сигарету в пепельнице.

— Желательно, чтобы мы сколько положено прожили. А то долго всему учат, не успевает человек всеми своими знаниями выложиться. Конечно, знать надо не как можно больше, а как можно лучше. Но и для такого большой срок требуется. Вот я думал, что это за ферт такой лазарь, что о нем пишут? А оказалось лазарь — луч, для него алмаз — мякина. Слыхал?

— Лазер называется. На раскрое применяем. Запросто, как в песне, сказку делаем былью.

— В кино ходишь?

— Времени нет.

— А я бываю на тех, которые про войну, — расстраиваюсь, носом хлюпаю, другим смотреть мешаю.

— А вы не ходите.

— То есть как это?! По правде все пережил, до самого Берлина. Нервы свои строго по команде смирно всегда держал, а тут расстраиваться имею полное право. Людей жалко.

Уходя, упрекнул:

— Не та у тебя, Зубцов, теперь выправка, не та. И взгляд неуверенно-строевой, задумчивый. А должен хвост во всем на пупырке держать. Грудь колесом, брюхо в спину. Только вперед — и никаких гвоздей. Я считаю, у нас, бывших фронтовиков, вид обязан и в гробу быть бравым. Столько смертей пережили, так что и при своей не повянем...

Приходил старик Селезнев Иван Павлович по своей охоте, никогда не спрашивая, есть ли дома, нет ли, помогал жене убраться, готовить.

— Я ведь твоему крестный, в партию рекомендовал. А кто он был у нас на рабфаке? Ничем не заслуженный, так, из чернорабочих, по-старому говоря. Я-то с гражданской с орденом Красного Знамени вернулся. И дома почетное оружие есть, шашка, тоже с орденом от Реввоенсовета. В конях я был сильно грамотный, глаза завяжи, проведи мимо, я сразу по поступи скажу, кто он, какого завода и чьей выездки. А в остальном не очень. Зубцов твой стипендию на книги просаживал, жил натошак. Одежа на нем, словно на вешалке. Я его со своей командирской подкармливал, но не просто за так, он со мной занимался. Но я к науке строго относился: чего мне сейчас от нее надо, то заучивал, а остальным пренебрегал. Но как экзамен — снисходили. Я сейчас все снаряжение на себя: саблю, наган, ордена на красных розетках, и хоть сейчас на коня и

в бой. Жалели, ставили в зачетке уд. Ну, потом еще много лет доучивали, занял пост по своим возможностям. Когда бывшего моего комкора из партии, я взъерепенился: рядом на конях рубились, куда уже больше ему от меня партийного доверия. Меня за потерю бдительности из партии тоже поперли, потом восстановили без стажа, а после и стаж вернули. Но чтобы смирно себя вперед вел, директором кладбища назначили, а тут — война.

Ну, я на кладбище развернулся, нарыл могил впрок, обложил их тесом и, когда фашисты к городу подходили, доложил в горком. Все могилы пустили под складские тайники оружия, боеприпасов. А с попом, под начальство которого при фашистах попал, я дружбу свел.

Сначала пригрозил, мол, батюшка, я под ваш дом взрывчатку заложил, меня упечете — другие подорвут. Сами себе не успеете зауспокойную спеть. Ухмыляется попик в бороду. Живем. Каждый вечер я к нему чай ходил пить со своим сахаром, беседовали. Ругались, обзывал он меня сильно. А потом смирился поп.

Я ему — докажите, что существует. Не на словах, а на деле. Факты, аргумент, а не вымысел. Фашисты ведь не иноверцы, тоже считаются христиане, а что вытворяют! Если бог не один, а их два, тогда другое дело. А ведь вы настаиваете — один. Тогда пусть и он отвечает за подобное. Сначала поносил он меня за богохульство, даже предал анафеме по всей форме. А как его дочь несовершеннолетнюю фашисты насильничали, заразили, стал просить пистолет ему выменять на царские золотые десятки.

Переагитировал я его. И пистолет дал, но строго-настрого запретил из него пулять без приказа. А когда мы их офицерский клуб со всей его начинкой взорвали, он вздумал благодарственный молебен служить. Очень воодушевленно молитвы возносил, голос у него властный, зычный, ликующе возглашал. Тут на него и донес кто-то, из его же прихожан, взяли фашисты. Мы налет сделали, когда его и других ко рву повели. Хотел в благодарность расстричься. Отговорил. В его возрасте переквалифицироваться трудно. А на пенсию с его специальностью не выйдешь. Такие, значит, были дела. Я и детдомом ведал и директором конезавода работал. Ну, тут я себя показал. Золотые призы имел, а серебряных и не сосчитать.

— А с моим мужем вы как снова встретились? — поинтересовалась жена Зубцова.

— Довоевывал с ним вместе. Я конной орудийной батареей командовал, он, пехота, нас прикрывал.

— Ты, Зубцов, помни,— наставительно говорил Селезнев, моргая от старческой усталости глазами.— Ваша продукция по всей нашей необъятной родине раскидана, куда ни попадешь, тебе либо слава, либо срам и всему заводу вашему тоже. И послушай моего совета: ежели славят — на слова не поддавайся, проси за это у них лучшего мастера к себе на завод, объезди места, где вашими двигателями пользуются, и, если претензий нет, проси всякий раз хорошего человека.

Нашим боевым отрядом секретарь горкома командовал, он такой манерой скоро пополнялся. Перебьем фашистов, освободим деревню, он сейчас же сходит, речь скажет, а потом: кто у вас тут самый боевой, надежный, назовите!

Брал, как говорится, за освобождение наличными. А народ фальшивых не допустит. Народ у нас строгий,— задумывался Иван Павлович.— На что сейчас народ сильно обижается? На плохо сработанное, наспех сделанное. Ну, прямо как на оскорбление действием. За такое судить надо, говорят, как по статье за злостное хулиганство. Лучше меньше, да лучше. Народная мудрость, сильнее не скажешь. А подачки ему не нужны, дешево, да плохо. Я мнение людей знаю всяких возрастов, потому что я, как экспонат эпохи, всем им интересный. Ну, я им рассказываю, как что было, а они мне про то, что есть хорошего, и про то, что есть плохого, и чего не должно быть.

Наш путь теперь широкий, ясный, вприскок по нему бежать непозволительно. Любая вещь — труд! А народ — властелин умный, дураков, жуликов и летунов за длинным рублем с места на место не любит. И правильно с вас партия со всей строгостью нынче спрашивает: не сколько, а за сколько сработано и как! — Помолчал, вспомнил: — Когда нам в первый раз коробок спичек с советской этикеткой показали, мы все — ура! Клинки наголо и «Интернационал». Вот как отметили. Слово победу в боевом сражении, не меньше. А вы, производственники, должны людей радовать по всей бесчисленной номенклатуре товара.

Встрепенулся, спросил:

— А чаем угостишь? Я ведь всегда ко всем со своей заваркой. Люблю крепко настоянный, от вялости бодрит.— Сообщил деловито: — За свое здоровье держусь, угождаю себе, чтобы подольше протянуть; больно жить интересно

стало. Я вот на воздушном шаре, на привязи, во время империалистической первым подымался как наблюдатель в интересах артиллерийской разведки. Георгия получил, два раза подбитым падал. А теперь мы в космос людей возим. Доживем, и желающих катать будут по билетам. А что, все может быть. За последние годы время такое скоростное стало, прежде в год не умещалось, что теперь в день. А ты, Зубцов, одобряю, хорошо живешь, без продыха. Как тебе по твоей партийной должности положено!

Что ж, секретарь парткома в ответе за все, что происходит на заводе, кроме того, нет в людской жизни такого, с чем нельзя было бы обратиться в партком. Сюда ходят и жаловаться и исповедоваться, воспламененные деловой мыслью и удрученные личными обстоятельствами.

Но ведь у него есть и свой твердый план партийной работы, и он обязан четко выполнять план, как завод — свой, производственный.

Даже в бою каждый воин действует согласно своей специальности, каждый производственник — тоже.

Не бывает и врачей по всем болезням сразу. Но партработник обязан быть специалистом по всем производственным и человеческим нуждам, и не только прозорливо узреть промахи, но и знать, как их исправить, будь то производственные или человеческие.

Кроме того, он должен при любых обстоятельствах быть в хорошей форме, чтобы люди из сострадания к его замученности не обходили его со своими делами.

Значит, помимо всего прочего, он должен себя держать так, чтобы по его виду никто не догадался, успел он выспаться или нет, пообедал или еще не успел, все ли у него самого в порядке.

Подошел как-то к Афанасию Даниловичу зуборезчик Прохоров, выложил мрачно:

— С меня бригадир пятерку удержал; а за что? Вызвал я наладчика к моему станку, стал он в нем ковыряться. Ну, а я в буфет, чтобы ему не мешать — он ведь только к концу смены наладил.

— Бригада у вас комплексная?

— Ну и что?

— Наладчик-то член бригады?

— Выходит.

— Если б вдвоем взялись, вкупе быстрее закончили бы?

— Нет,— уныло ответил Прохоров,— вовсе не так. У меня характер, я себя знаю. Поругались бы только, как два гладиатора. Я ведь привередливый, всегда после наладчика сам всю подтяжку произвожу, по-своему, на высокий класс.

— А вы об этом бригадиру сказали?

— Сказал.

— Ну и что?

— У каждого свой нрав, говорит, а в бригаде должны все притираться друг к дружке, вроде как детали, собранные в изделие.

— Ну и правильно.

— То машина, а то люди. Мне ведь не пятерка нужна, а уважение. А бригадир при всех вычел, мог бы и наедине, тишком, хоть красненькую, пожалуйста!

— Так пятерка эта из каких средств?

— Понятно, из премиальных.

— А премию дают, если человек сверх положенного выдал или содействовал другим.

— Я и так их благодетельствую: если на зуборезном работы нет, за другой станок становлюсь, раньше с перекурами длительными высиживал, пока заказ придет на зуборезный, теперь без курева обхожусь за работой, такого себе не позволю.

— Значит, полная занятость?

— А как же, порядок, из-за одного этого затея с бригадами стоящая. Только вот, чтобы на людях пятеркой срамили — такого я не потерплю.

— Значит, хотите, чтобы вам ее вернули?

— На черта она мне? Главное — задели по самолюбию.

— А вы знаете, за что я вас сейчас очень уважаю? — спросил с улыбкой Зубцов. — За то, что так сильно переживаете.

— Ну? — удивился Прохоров и, в свою очередь, тоже улыбнулся. — Ловко вы меня мной же обошли и мной же проучили. Я нашему бригадиру за что послушный? Он любой потаенный изъян, брак с одного прищуря узрит и разоблачит, тут всегда его верх. Но как на летучке начинает нас мыть, так спасения нет никакого. Смена кончилась, а он все зудит. Домой надо, а он уговаривает, как жить и работать. А я и так весь ученый-переученый.

— В бригаде своим богатым опытом делитесь?

— Нет, некогда мне, только вот как увижу, кто не тянет, свою работу оставлю, и уж пока он не наловчится, я к нему, как горчичник, прилипну. А что же, на общий котел работаем.

— Ну, как в вашей бригаде моральный климат?

— Как когда. Если по делу говорить — хороший, а если вспомнить, как стружку друг с друга дерут по линии поведения, на сдельщине лучше. Никто там тебя не беспокоит, выполнил норму, ступай ничем не растревоженный домой. — Прохоров поднялся: — Можно еще спросить? Вот товарищ Емишев обещал, что при помощи электроники, кибернетики умственный труд будет обходиться дешевле, а физическим будут заниматься для здоровья, вроде как спортом. Ну, я ему грубость сказал, мол, после такого высказывания надо в вытрезвитель, под холодный душ.

— А что, — оживился Зубцов, — при очень далекой перспективе это возможно.

— А зачем сейчас-то людям головы морочить?

— Сварку ультразвуком производите?

— Ну, а как же.

— Не так давно это тоже считалось фантастикой.

— Теперь, верно, и наше производство наукоемное, — согласился Прохоров.

* * *

Есть люди, которые во время работы так самоуглублены, так сосредоточены, что ни о чем ином не думают, кроме этой своей работы. И ничего вокруг них словно не существует. Человек один — и против него заготовка. И от того, как он ее обрабатывает, зависит самое главное в его жизни. Если работа идет хорошо, выражение лица у него довольное, счастливое. А подойди, оторви от дела, окрысится так, будто ты его оскорбил, глянет на тебя с такой злобой, вроде как своровал его личную собственность. Таким бывал во время работы Прохоров и некоторые другие мастера.

Марат Должиков, хотя тоже имел шестой разряд и давал высококачественную продукцию, работал иначе. Он заранее продумывал всю предстоящую работу и держал продуманное в голове, как ЭВМ заложенную в нее программу. Поэтому мог во время работы не только сообщать, что к чему, но и, если работа ладилась, думать обо всем том, о чем надлежало, помимо всего, как бригадиру.

Конечно, первые работали с воодушевлением, самоупоенно, увлеченно и, значит, для себя, с удовольствием.

А такие, как Марат Должиков, пожалуй, без особого вдохновения, но зато с двойной нагрузкой для ума.

Именно поэтому Афанасий Данилович Зубцов счел для себя допустимым, хотя и нарушил «производственные приличия», вступить в беседу с Маратом Должиковым, не отрывая его от станка. Сначала он полюбовался, как с резцов течет серпантинной лентой фиолетовая красивая стружка, а заготовка — грубый кусок металла — обретает изящную форму детали.

Марат покосился на подошедшего Зубцова, сказал:

— Привет!

— И мой с привеском, — ответил Зубцов.

— А привесок за что?

— За ваши показатели.

— Пока еще рановато. Вот все перейдем на полную скоростную, тогда покажем себя. А для этого надо измерительный инструмент наладить так, чтобы в процессе обработки сотки указывал. Вручную одна задержка, да и не все могут на станке на глаз подмечать.

— Правильно, без обеспечения спешить с этим делом ни к чему, — одобрил Зубцов.

— Как же, соображаем! — самодовольно отозвался Марат.

— А с Прохоровым у тебя наладилось?

— Он сам конфликтную ситуацию создал. А на чем? С наладчиком всегда на ножах был. Верно, на сдельщине наладчик чем больше станков обслужит, тем больше получка. А по-бригадному — чем лучше сделаешь, тем больше получишь. Выходит, раньше он нам плох был, а теперь хорош. Но Прохоров его по своей старой привычке недоверием обидел и сам фокус выкинул — просидел в буфете. Пятерку с него справедливо вычли — по коэффициенту его трудового неучастия. А он на дыбы. Теперь бригаде в глаза не глядит, даже ни с кем не здоровается. Приходит и молча к станку. Мне даже не кивает. И все из-за пятерки.

— А за что ему тебе кивать?

— То есть как это, я же все-таки бригадир.

— А ты, бригадир, объяснил Прохорову, как вот мне сейчас, какой интерес к качеству в связи с бригадным методом у вашего наладчика объявился? Сам же сказал,

раньше был плох, а теперь хорош. Да не одному Прохорову, а всем надо было разъяснить.

— Бригада и так, по делу знает, а Прохоров на наладчика всегда зуб держал.

— Тем более ты обязан был поговорить с ним, а не сразу рублем его стегануть, срамом.

— Значит, я, по-вашему, что-то неточное с точки зрения бригадной морали допустил? — негодуя, произнес Марат и даже станок выключил.

— Ты вот с размаху без обеспечения и подготовки переходить на новый способ резанья осмотрительно воздержался, чтобы не запороться, брака избежать. А бригадный метод по единому наряду освоить больше ума и души требуется, чем перейти на новую технологию. Поврежденную деталь и списать можно, на это три сотых процента даже полагается. Но на упущение человека для нас процента нет.

— Так что мы неправильно порешили с Прохоровым?

— Фактически — по правилам, а по существу — нет. Если бы вы объяснили, в чем состоит его промашка, то он, может, даже и обрадовался бы тому, что наладчик стал по-другому к делу относиться. Мол, это успех бригады, значит, и его частично. Вон Евгений Потапович Лебедев сказывал: если он сам в своем проекте хоть малую ошибку находит или ему на нее укажут, так он этому радуется не меньше, чем положительному результату всей своей работы. Вот как мыслит.

— Ну, Лебедев — ученый высшего ума, интеллигент.

— А я говорю не об этом. Кто не только к себе сильно чувствителен, но и к другим, того уважают и даже чтут. А интеллигент не звание, а сознание. Нам, конечно, не душещребы требуются, которые каждого на себя равняют — не похож на меня, значит, не то. Надо уметь не подлаживаться, а налаживаться в общих интересах. Надо видеть человека не только таким, какой он есть, но и таким, каким он может стать.

— Ладно, — смирился Должиков, — учту. А это дело? — снова взялся он за свое: — Наша бригада сверх нормы выдает свою выработку. А премиальный расчет идет по окончательным результатам, когда машину соберут. Наши детали, бывает, залеживаются, не учитываются. Эдак нас на сдельщину обратно толкают. Или вот снимут машину с испытательного стенда, оказывается, она не по всем параметрам тянет. Значит, всем вычит. А кто виноват? Сразу

не докопаться. Надо индивидуальный учет выработки сохранить, а не просто судить по окончательно собранным узлам. Тогда сразу видно будет, кто как тянет.

— А ты бы с Сергеем Федоровичем Фоминым поговорил, он председатель совета бригадиров, пусть вопрос на совещании поставит. При самом директоре.

— Вот вы ему и скажите, — увильнул Марат, включая станок и притворяясь поглощенным работой.

Зубцов не мог знать, что отношения между Маратом Должиковым и Сергеем Федоровичем Фоминым осложнились неожиданным обстоятельством.

При КБ был недавно создан общественный совет по разработке идей реконструкции. Директор завода дал напутствие: мечтайте, необузданно и на полную катушку! Даже если от всех ваших предложений останутся рожки да ножки — и то хорошо, и то польза. Главное — разбудить мысль.

На совещаниях самыми пылкими выказали себя Марат Должиков и Нелли Фомина. Может быть, потому, что из всех Должиковых Марат нравился ей больше всех. И когда она ему это сказала, он игриво осведомился: только из Должиковых? На что Нелли с неожиданной для него серьезностью ответила, опуская серые с синеватым отливом глаза: нет, возможно, не только.

Нет такого мужчины, которого не воодушевило бы такое признание со стороны красивой девушки. Но Марат просто скис, смутился и даже испугался. Он уставился невидящим взглядом на часы и пролепетал:

— Извините, я запаздываю.

И совершил большую психологическую ошибку, потому что Нелли приняла это за смятение чувств. В чем-то она не ошиблась.

Как и все Должиковы, Марат был послушником жены и не столько из-за того, что во всем был с нею согласен, сколько вообще из уважения к Эльзе, он никогда с нею не спорил. Даже тогда, когда Эльза назвала дочь по-старомодному Октябриной, хотя дочка родилась в марте и было бы лучше назвать ее Марточкой. Кроме того, Эльза, сравнительно молодая гражданка Советского Союза, ко всему относилась с такой завышенной и непреклонно-требовательной меркой, что Марат чувствовал себя дома как на бюро райкома: чего-нибудь ляпнешь, Эльза сразу выговорит.

— Я ей туфли купил, — рассказывал Марат Константину, — каблук гвоздики, как теперь положено, модные,

импортные, из ФРГ. А она мне выволочку: почему не советские! И вообще ничего от них носить не желает. Октябрину свел в наш Дворец культуры, в балетный кружок записал. А она ее в ДОСААФ зачислила, купила комбинезон защитного цвета и на месяц в лагерь ДОСААФа отправила, меня не спросясь.

Стал возражать, она давай вспоминать, как, невыученная, из «шмайсера» всю обойму извела, а в кого следовало не попала. И, может, от этого ее друг погиб. Я даже обиделся на нее: больше тебя воевал, больше смертей видел, так что же, из-за этого дочь в солдаты готовить?

У себя в комнате разместила на стене в больших рамках портреты классиков марксизма, все равно как в учреждении. «Раньше за такое вешали,— говорит,— а теперь смотрю — совсем другое время, такое, о каком они мечтали».

— Но, с другой стороны,— признавался Марат,— я теперь балованный стал. Эльза все по дому сама делает, и порядок, как на батарее перед боем: все на своем должном месте. Только вот Октябрина вся в меня, все у нее всегда разбросано, хотя, где что, твердо знает.

И вот еще скажу тебе про Эльзу. Она все, что у нас есть хорошего, восторженнее нас самих примечает, привыкли мы, что ли? Я спрашиваю: «Что ты сегодня такая веселая?» — «А мы, говорит, опять новый спутник запустили». Я ей: «К спутникам касательства не имею, своих забот невпроворот». Она мне: «Индивидуалист — эгоист!» Ну, я тут технику выработал: сгребу ее в охапку — и никаких дискуссий. Она шепчет: «Помнишь, когда ты меня выносил, я к твоей щеке щекой прижалась, а потом губами?» — «Помню», — вру, а как тут помнить, когда со всех сторон бьют.

Но вот случилось так, что Эльзу в качестве переводчика отправили с группой специалистов на закупку оборудования в ФРГ. Вначале Эльза отказывалась, даже плакала, не хотела ехать. После беседы в райкоме партии покорно согласилась. Составила мужу и дочери подробный список того, где что лежит и как этим надлежит пользоваться. В конце приложилась к листу бумаги напмаженными губами, приписала: «Люблю!» И добавила: «Обоих, конечно». Вскоре Марат с дочерью замусорили всю квартиру. Марат перестал за собой следить без жены, всюду ходил в спецовке. Дочь, если поздно возвращалась ночью домой,

не старалась этого скрыть, а топала самоуверенно, будто днем. Марат возмущался. Октябрина успокаивала его:

— Не волнуйся, никаких моральных норм я не нарушила и не собираюсь нарушать, и не столько по соображениям этическим, сколько по эстетическим: пока мне никто достаточно не нравится.

— Да ты что, сдурела?!— Завернувшись в одеяло, Марат угрожающе приблизился к дочери.

Она спокойно посмотрела на отца и сказала задумчиво:

— А ты знаешь, на кого сейчас похож, папка? На римского патриция в тоге. Только они ходили не в шлепанцах, а в сандалиях.

— Я вот сейчас тебе покажу сандалии,— пообещал Марат.

Но дочь подняла руку:

— Категорически лишаю слова. Тебе нельзя волноваться, а я за тебя перед заводской общественностью отвечаю.

Он слышал, как в своей комнате Октябрина нетерпеливо сбросила туфли, швырнула одежду.

Письма он получал от Эльзы только с оказией, сначала страстные, затем деловые — с разного рода поручениями, в основном они касались заказа и его выполнения.

Марат послушно выполнял все, о чем жена просила, и постепенно привыкал к своей супружеской жизни на расстоянии, продлевал свое пребывание на заводе, возвращаясь домой ко сну.

Было как-то такое время, когда Егор Должиков зачастил к Марату. Здесь Егор начал впервые после смерти жены улыбаться. Не Марату, конечно,— Эльзе. Он рассказывал ей о себе такое, о чем никому никогда не говорил.

— Как закатилась звезда моего счастья,— рассказывал Егор,— ну, думаю, все, теперь передо мной стена, и ни перед ней, ни за ней ничего мне не светит. И так скучно и неохотно жить стало. Хотел, чтобы разом, в один момент все кончилось. А ведь нельзя такое себе позволить после всего, что видел, пережил. Последний патрон солдат для себя бережет, но усовестится и — в фашиста. Пришлось жить. На работе еще ничего, печь у нас много с человека требует. Забудешься, а потом снова все наваливается, когда ты налегке.

Я ведь всю ее помню, и чего не помнил, то вспомнил, заново пережил. Конечно, не дело это мне, бывшему солдату, столько товарищей в боях потерявшему, всяких

смертей насмотревшемуся, не сдюжить, а никак не могу с собой совладать, знаю, болезнь убила ее, а все мучает меня — может, где не защитил, не позаботился, чтобы она отдыхала, все ведь, бывало, в делах... Я, допустим, чихну, она в тревоге, чуть что — с термометром. Мое здоровье стерегла, а свое — нет. Такой милосердной был выше ушей очастливлен, а не сберег.

— Но разве можно быть таким ужасно одиноким? — сострадала Эльза.

— А я не один, я с ней до самого своего последнего края.

— Я благоговею перед вами за такую вашу любовь, — взволнованно признавалась она.

— Любовь моя самая обыкновенная, а если какая другая бывает, так это не настоящая, животная.

Егор охотно помогал Эльзе по дому, объяснял: когда жена хворала, всему научился — мыть, стирать, всю домашнюю науку изучил. Предлагал: «Я вот на базар схожу, принесу продуктов и такую вкуснятину для вас изготовлю, что пальчики оближете. Марии моей очень нравилось». И не раз выполнял такое свое обещание.

Сам почти не ел, сидел, смотрел:

— А вы очень аккуратно кушаете, как все равно она, — подам ей в постель, лежа есть неловко, а она и крошки не уронит.

Как-то Эльза сказала Марату:

— Какой у тебя брат замечательный!

— Это чем же? — подозрительно осведомился Марат, заметив, что Эльза начинает вся будто светиться, когда приходит Егор.

— Как он любит! Как он может сильно любить! За такую его любовь можно в него в самого влюбиться.

— Да у него лицо все в пороховых метинах, словно в угрях, и нос продавлен, ему в рукопашной фашист каской расплющил.

— Когда он говорит, я совсем этого не замечаю. И вообще лицо у него красивого мужественного мужчины.

— Может, ты сама врзалась?

— Это что значит — врзалась? Ах, так? Ну что ж, возможно, — и добавила: — Если б ты меня так любил, я была бы самой счастливой на свете.

— Это он покойницу так любит! А, может, живую — не так?

— Хорошо,— согласилась Эльза,— тогда пожалуйста, когда я умру, люби меня именно так.

Забеспокоившись, Марат как-то сказал Егору, пряча глаза:

— Ты, Егор, Эльзе все свои фронтовые байки рассказываешь, как немцев бил, а забываешь, кто она.

Егор внимательно поглядел на Марата. Подвел его к зеркалу, висевшему в передней, сказал:

— А ну, гляди, вот ты! А вот я! Ну, значит, все, с приветом.— И ушел бесшумно, аккуратно притворив за собой дверь.

Хотя Марату и было совестно за случившееся, все-таки он почувствовал облегчение. Ведь тогда, когда Эльза захотела ему отжаться, не ведая, что с ними будет потом, голова Марата была в заскорузлых почерневших бинтах, лицо в грязной рыжеватой щетине. Глаза слезились от пороховой гари, и веки обвисли.

А Эльза шептала испуганно: «Я хочу сейчас умереть, сейчас, когда мне так от тебя хорошо».

В Эльзе всегда жили как бы два существа: одно — спокойное, рассудительное, педантичное. Другое — пылкое, решительное, страстное. Вот второго Марат иногда опасался, потому что и сам ведал страсть.

С кем Эльза была всегда единоклубна, так это с Семеном Фомичом.

— Мы,— говорил дед,— такой толщи стенку к свету проломили, себя не жалели. А если бы себя в борьбе этой щадили, так можно было б еще тысячу лет народ в темной конуре продержат. Теперь с каждого спрос должен быть высочайший. Ссылки на темноту не принимаю, все теперь должны быть с умом зрячим.

— Да, вы исторически доказали то, во что могли лишь верить только самые передовые люди эпохи,— вторила ему Эльза.— Ныне же социализм с его безмерными возможностями стал повседневной жизнью.

— Во!— восклицал дед.— Значит, с каждым днем каждый обязан улучшать свою персону. Согласно всему строю жизни. Интернационал — это нам не песня,— говорил дед,— а кровь и сознание народа. СССР — это не только наше название, а существо нашей братской со всеми социалистическими странами жизни. Ну, и товарищество к тем, кто еще только за свое освобождение борется.

— Да,— восторженно говорила Эльза.— Вот я немка, но у вас здесь чувствую себя больше дома, чем в Германии.

— Не у вас, а у себя,— сердито поправлял дед.— Где фашисты и империалисты, там трудящемуся нормального житья нет. Конечно, всех фашистов мы не добились, да и ни к чему было их добивать, если они хенде хох. Но плодятся они не сами от себя, а от тех, кто им роскошный приют предоставил, в расчете на то, что их руками будут делать свои грязные дела.

— Я антифашистка и умру антифашисткой!— воскликнула Эльза.

— Все мы такие,— сказал дед,— были и будем, пока фашизм на корню не сгинет.

Марат такие высказывания деда и Эльзы воспринимал как общеизвестное, и только воодушевление, с каким разговаривали дед и Эльза, удерживало его от того, чтобы их не оборвать. Когда Эльза увлеченно и страстно рассуждала об этих общеизвестных вещах, ожидая от него встречных эмоций, он испытывал неловкость, но вместе с тем и благодарное чувство, какое испытывает человек, когда привычное вдруг озаряется новым источником света.

Марат Должиков женился на Эльзе не только по зову сердца, но и по велению мужского долга, исполнить который в силу различного рода препятствий было ему затруднительно. С отчаянной напористостью преодолел он все сложности и трудности, вставшие перед ним.

Частично в его сознании жило и то, что он, сражаясь с немцами, исполненный к ним ненависти, проходя по земле врага, испытал сострадание. Возможно, и Эльзой руководило чувство благодарности к Марату за свое спасение, а также несколько романтическое представление о русском воине-освободителе, коммунисте.

Не все ей было понятно в характере Марата. Почему, например, он, имея диплом о высшем образовании, отказался от инженерной должности? Почему уклонился от почетного места стать председателем совета бригадиров и остался просто бригадиром? Почему, отлично работая, приходит домой расстроенный, оттого, что другие работают хуже него? Почему, устав на работе, долго на ночь читает книги, и не по своей специальности, а так, беллетристику?

А его пренебрежение к деньгам и вещам просто сердило Эльзу. Она упрекала его:

— Ты анархист, деньги еще долго будут служить мерой труда человека и вознаграждением за труд. Пренебрежение к деньгам — неуважение к себе.

— Это у меня с фронта, — неловко оправдывался Марат. — Деньги там ни к чему. С чем войну начал, с тем и кончил, все, что солдату надо, все у него в наличности, лишнее обременяет.

— Семья накладывает другие обязательства.

— Это точно, — вздыхал Марат.

Завод получил спецзаказ на изделие величайшей сложности, заготовку поручили обработать Марату Должикову на координатно-расточном станке. Он решил с применением спаренных резцов вести одновременно черновую и чистовую обработку, то есть в два раза увеличить производительность. Сетовал Эльзе: с одной стороны разрешили, а с другой — предупредили — заготовка, мол, больших денег стоит. Все беспокоятся: с советами да предупреждениями со всех сторон липнут.

Немало вечеров просидел Марат над чертежами, пока составил себе схему порядка обработки детали и способов ее установки на станке.

На рассвете он сделал физзарядку, как всегда принял, корчась, ледяной душ. Съел только два вареных яйца, чтобы пища не отягощала желудок, и пошел на завод пешком, не столько для моциона, сколько потому, что на ходу человеку хорошо думается.

Первое, что он сделал, прежде чем приступить к работе, — взял лист бумаги, крупно на нем написал: «Прошу не стоять над душой!» — и повесил напротив станка на несущую колонну.

Понятно, этим плакатом он всех зацепил.

Эльза, встревоженная, пришла на завод, обеспокоенная сетованиями мужа на то, что некоторые в нем не уверены.

Увидела Марата за станком в одиночестве. Лицо у него было такое отрешенно-озабоченное, как у человека, который сам у себя считает пульс, или как у нетитулованного шахматиста, которого посадили за одну доску с чемпионом, или же как у парашютиста перед затяжным прыжком с большой высоты.

Чтобы не отвлекать мужа, Эльза прошла к питьевому бачку, села на табуретку и стала ждать. Наконец подошел Марат, спросил вяло:

— А ты чего тут? — жадно выпил воды, утер губы, сказал: — Пошли! — Видя страдающе-вопрошающий взгляд жены, сообщил небрежно: — ОТК приняло. Все

в норме. — Кивнул на свой рукописный плакат: — Доказал. Я им говорил — смогу! Жались, как чудики. Им что хочется? Парада! Мол, Должиков смог, а другие — нет. А я им внушаю, что ничего тут такого особенного, и другие смогли б.

— А я думала, ты просто из гордости.

— И это есть маленько, — добродушно признался Марат.

Эльза прижалась к нему, сказала ласково:

— Ты все время какой-то разный, и тебя, разного, в тебе много.

— Это что, плохо?

— Нет, хорошо, — быстро согласилась Эльза. — Но я всегда такая, какая есть, и мне непросто к тебе привыкать.

— А ты не привыкай! Так жить интересней. Привычка вроде равнодушия, а человек должен жить всегда на боевом взводе.

Увидел киоск с мороженым, купил две больших пачки пломбира, протянул одну Эльзе, сказал:

— Наслаждайся.

— На улице только детям прилично есть, — смутилась Эльза.

— А мы кто? — улыбнулся Марат. — Бывшие дети, значит, имеем право.

Эльза, аккуратно держа в носовом платочке мороженое, заметила:

— Когда ты работал, я смотрела на твое лицо, и мне было немного страшно почему-то. Мне показалось, ты тоже чего-то боишься.

— Почему же показалось? Верно — боялся, — беспечно сказал Марат. — Аж пальцы на ногах сводило — вдруг лишнюю сотку сдеру, запорю отливку? И ко всему еще сдвоенные резцы скомпрометирую. А заводу это дороже отливки обойдется. Со сдвоенными-то вдвое выше производительность.

— Я думала, ты ничего не боишься, — тихо произнесла Эльза, — как на войне.

— Да что я, дурак или чурка, чтобы на войне не бояться? — вспыхнул Марат. — Душа вся от страха обмирает, когда под огонь прешь, но сознание подгоняет. Инстинкт в землю тянет врыться, а сознание в рост бегом вперед гонит. — Нахмурился: — На работе тоже можно спокойно, по-привычному вкалывать, с гарантией. Или по-новому,

когда всего себя, словно в кулаке, держишь, и сердце в том кулаке, как мышь, бьется. — Помолчал, сказал добродушно: — Бояться в нашем деле надо, это как совесть, другие тебя, может, и простят, но сам себя — права не имеешь.

— Ты очень правдивый, — радостно заявила Эльза, приподнялась и поцеловала в щеку.

— Ты что, при всех, на улице?! — смутился Марат.

— Да, так! — гордо заявила Эльза. — Я вот такая храбрая!

Навстречу им и рядом с ними шло множество народу, все разные, у всех свои мысли, заботы, радости, тревоги и огорчения, у всех своя жизнь.

Марат, ошарашенный мыслью о том, что каким бы он сам сейчас ни был, а вот доказал, что можно поднять вдвое производительность, облегчить труд, вдвое дать больше выработки и этим как бы приумножить силу своих товарищей по работе и свою тоже, шагал себе, как все, с виду самый обыкновенный среди других, тоже с виду обыкновенных. То, что он сделал, будет повторено другими, им перепадет доля радости, которая перепала когда-то от них и ему, Марату.

Но чтобы такая волнующая его мысль не показалась Эльзе очень уж выпрежней, Марат сообщил деловито:

— Ничто из ничего не получается. Если б не Егор Нилович Горохов, я бы за это дело не взялся, по его манере сработал, его выучка. Ему и честь, а я только продолжатель. — И как бы этим оправдавшись за то, что обидчиво избежал заслуженной похвалы, на этом успокоился.

* * *

После сменной бригадной летучки к Марату Должикову подошел начальник цеха Серегин, притворно-равнодушно бросил:

— Может, зайдешь?

— Соскучился? — усмехнулся Марат, хотя и так знал, что на уме у Серегина.

— Разговор есть.

— А ты давай на людях, у меня от бригады персональных, отдельных забот нет.

— По личному вопросу.

— Опять пилить будешь? — И Марат неохотно направился вслед за Серегиным в его конторку.

Уселся. Серегин вздохнул, пожаловался:

— Ты вот для всех передовик, с красивым лозунгом — борец за качество, а я, выходит, консерватор. На меня железный план спущен по утвержденной технологии, я в нем, как мышь в клетке.

— Ты считаешь, моя бригада должна только в интересах цеха работать, а мы считаем — завода, — вызываяще заявил Марат.

— Если цех от вас недополучил, то и завод тоже, — с чувством превосходства заметил Серегин.

— Смотря по какому съему судить. Если на штуки — прав ты, а если по существу — так мы!

— На любом собрании ты можешь меня в песок истолочь, — уныло произнес Серегин. — Мол, не человек, а тормозная колодка. Но ты пойми, какими цифрами я живу: первый главный численный показатель — продукция. Отсюда прогрессивка и премии. Вы полностью на минимальные допуски перешли, хотя по утвержденной технологии это не обязательно. Понимаю, сам был станочником. Чтобы последние сотки с металла содрать, и мастерство, и совесть, и нервы надо иметь. От такой пристальной работы сверх нормы не перескочишь. А обязательства мы взяли выше прежних!

— Брали-то без учета на повышенное качество, — напомнил Марат.

— А теперь, полагаешь, нам позволяют прежнее свое обязательство снизить? Такого не будет. И про завод ты неправильно выразился, — строго заявил Серегин. — Из чего ценообразование на продукт складывается? Из весовых показателей, если вес снизим, меньше получим. А за вашу стружку мы ничего не получим, которую вы на минимальных снимете. Обязательные минимальные допуски — значит, излишние трудовые затраты, а их не потребитель будет оплачивать, а завод.

— С такой чистовой мы почти без шлифовки изделия сдаем — это же выгода!

— Шлифовальные работы в технологии записаны, мы за них получаем.

— Но ведь машины теперь лучше, качественней.

— Верно, — согласился Серегин. — Но это за модернизацию не сочтут и посему не приплатят. А с чего я буду вам прогрессивку, премии начислять за напряженный и, ясно, хороший и даже отличный труд, если мне финансисты средств по инструкции не отпустят?

— Ты против ума и совести так рассуждаешь, — вспылл Марат. — И главное — все понимаешь, а душой кривишь.

— Зря ты, Должиков, горячишься, — упрекнул Серегин, — я же про твой коэффициент трудовой надбавки думаю. Люди загорелись, а малыми премиальными их остудишь.

— У нас энтузиазм не рублевый.

— Ты меня такими звонкими словами не коли, я сам, как еж, могу надуться и тоже уколоть. Окончательную доводку у вас рабочие с высшей квалификацией производят, а ты расписываешь за всю бригаду.

— Вначале, верно, так было, — смутился Марат, — а теперь доверяем и не с высшей, только им трудно сразу за качеством и за количеством угнаться, поэтому временно самую малость и недодаем.

— А фактически что получается? Те, кто по-старому работал, не на предельных допусках, те штучный план перевыполняют, а вы, хоть и на прогрессивную технологию перешли, от них отстаете. Не в вашу пользу баланс получается.

— Сегодня так, — угрюмо согласился Марат, — а завтра будет в общезаводскую пользу.

— Завтрашний день сегодня готовить надо, — нравоучительно заметил Серегин, поморгал, подумал, проговорил сипло: — Учти, себе сесть на шею я не дам. Евгений Потапович Лебедев теперь всех своих гениев вокруг новой машины собрал. А от Нелли Сергеевны Фоминой я слышал, что молодежь их КБ намозговала что-то новенькое для совершенствования нашего старого образца. Если внедрить то полезное, что они там напридумывали, получится модификация. Приплюсовать к ней новую технологию — прямая экономическая выгода цеху, заводу и потребителю.

— Правильная мысль, воодушевляющая! — одобрил Марат.

— Воодушевляющего у нас сейчас много — и заказ на новую мощную машину, и в связи с этим реконструкция, обновление оборудования, и бригадное движение по новой организации и оплате труда, и совершенствование системы управления, и вот это еще подвернулось по освоенной уже продукции. Все так окрылены, что вот-вот, как ангелы, воспарят. Перспективу все любят, — продолжал ворчать Серегин. — А вот когда она тебе на голову садится всем своим весом, бегом в гору ее не донести. Тут шагай вдум-

чиво да с оглядкой, чтобы о какие-нибудь несуразности не споткнуться.

С годами жизни и труда Серегин выработал себе тактику осторожной осмотрительности, и вовсе не по соображениям трусости, перестраховки, терпеливого карьеризма. В период увлечения административными методами управления хозяйством отвага командира производства иногда значила больше, чем экономические расчеты.

Производство — механизм сложный, чувствительный, поскольку машины без людей — только металл.

Как у каждого человека, так и у всякой машины имеется свой паспорт. В нем записано, что она может, а чего не может. Правда, в паспорте человека такой графы нет и не может быть. Хотя бы потому, что сегодня человек не смог, а завтра сможет, и мало того, если он в совершенстве овладеет машиной, то сможет обучить машину такому, чего в ее паспорте отмечено вовсе не было.

Но бывает, что и записанные в паспорте возможности машины полностью не используются.

Руководитель цеха делает усредненный расчет на возможности каждой машины плюс возможности человека, который на ней работает.

Серегин обладал высокими знаниями инженера-механика. Но в себе он более всего ценил накопленный с годами опыт познания людей. Машина для него прежде всего — высокоорганизованный металл, который требует от человека еще более высокой организации его труда. Серегин помнил, что человек, по Марксу, это высокоорганизованная материя, а значит, в духовной, нравственной природе его должна быть заложена склонность к высокой организации труда и жизни.

Четкий порядок в цеху — мечта Серегина. Немало он положил душевных сил, борясь с теми руководителями, которые отличались лишь отвагой, не обеспеченной дальновидной предусмотрительностью.

Серегин любил технику, но как он страдал, когда уникальный агрегат либо простаивал, либо использовался не на полную мощь, покуда спускали рабочие чертежи и не было заготовок на предназначенную ему высокоточную и сложную работу.

А сдельщина! Цех должен сдавать изделия в комплексе по всей номенклатуре. Цеховая кладовая бывала забита деталями, выработка которых почиталась в рублях выгодной, а невыгодных всегда не хватало. На выгодных нормы

перевыполняли, на невыгодных недовыполняли. Серегин боролся за то, чтобы перевести производство простейших изделий, требующих большого количества рабочих рук, на автоматические линии. А средства уходили на агрегат-уникум, хотя пока можно было обойтись и без него, оперевшись на мастеров высшей квалификации.

Он частенько повиновался решению администрации, а не тому здравому смыслу, в отсутствии которого упрекали его маститые кадровые рабочие, мыслившие по-инженерному. Формирование бригад по новой системе организации труда и оплата его по единому наряду — основа нового роста хозяйственной управленческой инициативы рабочих — воспринималось Серегиним как мощная приличная волна, которая должна была смыть закостеневшее, отжившее, расчистить отношения людей от тех осложнений, которые мешали их взаимозаинтересованной близости. Его заботило одно, чтобы это совершалось не наспех, не компанейски, а продуманно, осмотрительно — ну вроде как у альпинистов, поднимающихся по круче в одной связке: сильный озабочен слабым, слабый обнадежен сильным, ибо достигнуть вершины они могут только вместе. Особенно после того, как совет бригады принял решение о дополнительном вознаграждении, исходя из коэффициента трудового участия. Что такое коэффициент трудового участия? На него нет тарифа, официально кем-либо утвержденного. Рабочие сами решают, кто, как и сколько нарабатал, кто как вел себя во время работы.

Возникали конфликты, свары, препирательства, и, пока они длились, Серегин переживал так, словно заболел гриппом — его знобило или бросало в жар. Ведь раньше кто решал вопрос о надбавке? Мастер, сменный начсеха или он сам, Серегин. И был у них прочно отработанный набор аргументов. А тут бригада из-за трешника терпеливо обсуждала человека по всем его душевно-правственным статьям так, словно им с ним предстояло совместно не просто работать, а прожить долгую жизнь. В ожидании исхода этого обсуждения Серегин испытывал нечто, подобное тому, что он переживал, когда вместе со взводом ему приходилось разминировать проход на минном поле.

«Получится? Не получится?» — вот что мучило Серегина. Ведь это происходит впервые — люди сами себя награждают сверх положенной по тарифу зарплаты. Тут учитывается не только число изделий, которое ты дал, но и то, отдавал ли ты себя делу не по предписанию, а по ве-

лению собственного сознания. И если это высокое сознание будет отмечено всеми, пусть хотя бы лишним рублем, это значит, что будет отмечен чистый и великодушный порыв.

Теперь Серегин стал ощущать в бригадах надежную силу. Бригада не только облегчала его административные функции, но и повысила его инженерные обязанности. Чем успешнее налаживалась работа бригад, тем настойчивее и непреклонней были их требования к инженерным службам управления, обеспечения, снабжения, безотложного претворения в жизнь разного рода рационализаций.

Вот почему, понимая и принимая суть нововведений, Серегин одновременно опасался, сумеет ли он сам перестроить свою работу по-новому. И прав был, пожалуй, Марат, который резко заметил, что Серегин больше озирается по сторонам, вместо того чтобы решительно взять сторону бригадного метода. Совет Серегина Марату поддержать дело модернизации уже освоенной машины вытекал, конечно, из той же боязни сорваться; при не вполне сложившихся отношениях внутри бригад предстояла еще и реконструкция цеха под новый сверхмощный двигатель, создание которого казалось Серегину задачей с многими неизвестными.

Зная горячий нрав Марата, Серегин привел только экономические доводы в поддержку модернизации уже освоенного двигателя, но Марат уловил за этим нежелание рисковать, хотя, положив руку на сердце, он не мог упрекнуть Серегина в неразумности такого подхода.

* * *

Если собрать в одну кучу фотографии рода Должиковых, хранимые не в альбомах, конечно, ибо обзаводиться подобными предметами домашней роскоши никому из их предков не позволяло, мягко выражаясь, неустойчивое финансовое состояние, а нынешним Должиковым просто не приходило в голову, и потому фотографии складывались чаще в конверты служебного назначения или заворачивались в теперь уже пожелтевшие от времени газеты; так вот, если собрать фотографии всех Должиковых, разложить в хронологическом порядке и заняться исследованием родовых черт, то обнаружится следующее.

Предки Должиковых отличались увесистыми угловатыми скулами, развитыми, как объяснял Семен Фомич, от употребления грубой пищи. Виски впалые, щеки — ямы,

опять же от слабой питательности пользуемой ими пищи. Глаза узкие, под набрякшими веками, взгляд угрюмый. Семен Фомич пояснял: не столько угрюмый, сколько невыспавшийся и утомленный двенадцатичасовым рабочим днем и трудом в одну полную жеребьячью силу. Но и коню, пожалуй, того не сдюжить, поскольку человек любого скота выносливей. Да за скотом все-таки уход требуется, а за нашим братом, рабочим, только присмотр штрафами и чуть что — в шею.

У последующих поколений Должиковых скулы заметно сглаживались, как виски и щеки, и взгляд становился, опять же ссылаясь на объяснение Семена Фомича, развязней оттого, что открылась перспектива жизни.

Те Должиковы, которые были запечатлены в солдатских мундирах в годы первой мировой войны, выглядели как изваяния с одинаково обездушенным выражением лиц.

— А что вы хотите, — восклицал Семен Фомич, — солдат тогда был нужен как бессмысленная чурка и чувствовал он себя, понятно, чуркой для попадания пуль и снарядов.

В гражданскую войну Должиковы на портретах были живописней: в пулеметных лентах крест-накрест, в лихо заломленных папах и даже во флотских бескозырках. Вид решительный, взгляд исполнен отваги и гордости.

В годы Отечественной войны, хотя запечатлевались с медалями и орденами за проявленный героизм, на лицах их можно было заметить какую-то странную застенчивую полуулыбку.

И Семен Фомич, пытаясь оправдать и объяснить эту полуулыбку, скорбно замечал:

— Это они так домашних своих обнадеживали. Мол, сами знаете, на фронте приходится нелегко, тягостно жить со смертью в обнимку. А вот вытягиваем, и даже наградную наличность имеем, воюем от души, как и положено.

На фотографиях мирных, несмотря на то, что они производились по всяким торжественным случаям, Должиковы выглядели озабоченными, так, словно им некогда, а их задерживают. И смотрят не в объектив, а куда-то в сторону, губы неплотно сжатые, кривые, оттого, что щелкнули аппаратом в момент разговора, и позы нетерпеливые.

Но если по всем этим фотографиям проследить эволюцию рода, то можно со всей определенностью сказать, что постепенно черты их лиц как бы смягчались, обретали все большую живость, и если у дальних предков Должиковых

характерные черты выступали с грубой отчетливостью, то у последующих поколений они стирались, становились все менее заметными и даже растворялись в каком-то новом, непохожем на прежних Должиковых облике.

И не без сожаления отмечая это, Семен Фомич сокрушенно говорил:

— А что же вы хотите, жизнь у всех становится разная, от ее разнообразия и физиономии стали выглядеть каждая по-своему. А физиономия, она — портрет души человека. Что у тебя внутри, она наружу собой выказывает, выражением своим. Она выдает фактически, какой у тебя нрав-характер и что ты в данный момент переживаешь и соображаешь. Это только у равнодушных лицо всегда как у покойника.

Дмитрий Семенович Должиков сцепился с Маратом Васильевичем Должиковым по поводу Егора Ниловича Горохова, который по-прежнему уклонялся вступать в бригаду.

— Ты Горохову потворствуешь, поскольку ты его ученик, — гневно заявил Дмитрий Семенович. — А это подрыв престижа всего бригадного метода.

— Ну и что? Он в нашем деле солист, все равно как народный артист республики, — спокойноотреагировал Марат. — Зачем же его в хор загонять?

— По-твоему, бригада — это хор?! — накалялся Дмитрий Семенович.

— Ну, не хор, а скорее оркестр, — поправил уступчиво Марат.

— У него шестой разряд, в бригаде с такими же имеются. Подумаешь, личность!

— Да, — обиделся Марат. — Личность! И особенная, и подход к ней должен быть особенным.

— А я не личность? — вызывающе справился Дмитрий Семенович.

— Ну, тоже личность, как все, но не как он.

— А он что?

— Он талант! — с воодушевлением произнес Марат. — Он не только больше всех других умеет, но может в других свой ум и свою душу вложить и невозможное делает возможным.

— А я не вкладываю? — яростно крикнул Дмитрий Семенович. — Не железки, как вы, строгаю, а измерительный

инструмент произвожу, от которого вся ваша работа зависит.

— А Егор-то Нилович такие сотки да с таких параметров берет, которые и вашим инструментом не всегда охватишь.

— В этом только весь его опыт и все его умение и заключаются. А при чем тут талант? Загнул ради красного словца!

— Он красиво работает, увлекательно.

— А труд — это не спектакль, чтоб глазеть на него.

— Когда Егор Нилович у станка, можно залюбоваться.

— Допускаю, когда изделием любуются, а работа легкой не бывает.

— Талант, по-моему, — это когда человек создает такое и так, как другие не могут, — задумчиво произнес Марат и с воодушевлением добавил: — Ну, а когда дар человека полностью совпадает с его призванием, тогда осуществляется главная цель его жизни.

— Это что же, по-твоему, получается — главная цель всей жизни может заключаться в том, чтобы получше, допустим, шестеренки нарезать? — иронически усмехнулся Дмитрий Семенович. — Мелковато пашем, братишка. Человек, он больше своего дела, на то он и человек.

— А человек без дела не человек, а только живое существо, и больше ничего! — решительно заявил Марат.

— Значит, по-твоему, если талант, так он, кроме своего дела, ни до чего больше может не касаться?

— Нет, не так!

— А как?

— Ну вот как по эталонной детали задается всем технология обработки, так и по таланту определяются высшие возможности человека в любом деле.

— Это все высокомыслие, словесные украшения, а не жизнь. Ты прямо скажи, почему не жмешь на Горохова?

— Потому и не жму, что наша бригада еще не доросла до него.

— Мудрено выражаешься, с туманом. А я так думаю, — сурово произнес Дмитрий Семенович, — у твоего Горохова сознание еще незрелое. Я вот, на больных ногах мучаясь, встал к станку и доказал, что лекальные работы можно и должно не вручную производить, а на станках, поточно. Против всех пошел, а доказал всем, ради выгоды всех.

— И теперь хвастаешься,— сердито перебил Марат.— А Горохов годами высшее качество самой сложной обработки выдает, и не потому, что хочет больше других заработать или выше других себя показать, а потому, что он иначе работать не умеет, не может. Все это и есть талант.

— Просто работает на совесть, и все,— хмуро произнес Дмитрий Семенович.

— А талант не бывает без совести. Может, талант — это и есть сама совесть.

— Опять за словеса ухватился. А я тебя отчетливо спрашиваю, почему Горохов вне бригады, на сдельщине, ясно?

— Ну, не можем еще мы все на уровне Горохова работать, ты это понимаешь? Не созрели еще. И так, без невыполнения, только в нормы выработки укладываемся, но качество подняли. Перешли на минимальные. Прогрессивно это? Прогрессивно! Надо сначала всем мастерство поднять, а уж потом уверенно переходить к повышенным нормам.

— Для чего ж тогда новый бригадный метод, если не тянете?

— А мы прежних отстающих уже вытянули на качество, нет брака — это что, мало? По чистому счету заводу выгода, не как раньше, когда на сборке приходилось за нами детали дошабривать, дошлифовывать.

— Выходит, заработок себе снизили, если исходить из штучного расчета?

— Выходит. Ничего, надбавкой за качество компенсируем.

— Ну, ладно, но почему все-таки без Горохова решили обходиться?

— Да не решили,— досадливо поморщился Марат,— а не считаем возможным привлекать теперь Горохова. Пока не минули переходный период со всеми его трудностями.

— Значит, чтобы он пришел на все готовенькое?

— А на такое бригада не рассчитывает. Одного достигнем, другое нагонять придется, по совершенствованию освоенного изделия или вот новую машину осваивать начнем.

— Это ясно. Да производство нынче не одни только изделия выпускает, а и тех, кто работает на производстве, переделывает. Такая нам линия ныне обозначена,— вну-

шительно заявил Дмитрий Семенович. — Ну, а когда же ты все-таки Горохова-то уговоришь?

— А я его уговаривать не собираюсь.

— То есть как это? — возмутился Дмитрий Семенович. — Собираешься охранять как ценный экспонат сдельщины?

— Он, я заметил, к бригаде сам приглядывается. Ну, поймет, в чем наша главная сила, и сам попросится.

— На самотек рассчитываешь, хорош гусь. Общественность тебе такую должность доверила, а ты, значит, только на ход времени полагаешься?

— Я верю в бригадный метод, понял? Верю, что он себя сам должен показать, сам, без всяких нажимов, все равно как узел должен в машину вкладываться без нажиму, если он точно сработан. А мы сейчас в бригаде друг к дружке только притираемся, прилаживаемся. Вот когда притремся, тогда бригада будет — многосильный коллектив.

— Ты мне не разъясняй, что такое бригада, и от Горохова этим не отмахивайся, за рабочую совесть его ты не ручайся.

— Если Горохов сам сейчас попросится в бригаду, значит, его в ней привлекло не то, что в ней есть, а то, что еще только будет.

— Боишься, что он среди вас белой вороной окажется. Недосыгаемым экземпляром!

— Нет, достигаемым.

— Ловко лепишь слова, да от прямого ответа увиливаешь. А на Горохова и другие мастера равняются. Пока его не расшевелишь, другие тоже свою выжидательную позицию не сменяют. И выходит, ты лично им всем, а не только Горохову потворщик. Сообразил, чем твоя к нему деликатность пахнет?

— А почему деликатность не может быть средством убеждения?

— Разводишь фигли-мигли, а к чему это все? Если в чем уверен, режь начистоту, по-рабочему, и все.

— По-рабочему, — усмехнулся Марат. — Значит, мы обязаны освоить только новую технику, а новый человек тебя не интересуется?

— Ишь ты, куда загибаешь. Я, выходит, по своему году рождения — старый, а другой по своему — новый, — обиделся Дмитрий Семенович.

— Это от года рождения не зависит. Только нужно хотеть им быть, новым-то, тянуться к этому.

— Хороша репка, которую тянешь, тянешь — не вытянешь,— снисходительно улыбнулся Дмитрий Семенович.— Я к тебе по интересу всего цеха, а ты от меня отпираешься. И не серьезными соображениями, а словесами. Горохов кто? Мастер. Ну, выдающийся. Слово «мастер» и означает — «выдающийся». Сегодня он выдающийся, а завтра другие объявятся, и кто он тогда? Только шестого разряда станочник. А ты специально на него целую психологию терпения сочинил. И скажу почему. Когда на совещании председателя совета бригадиров выбирали, ты в горячах впереди самого себя заскочил, ну и обжегся на людях, а теперь дуешь на молоко, чтобы с Гороховым не обжечься, вот от этого вся твоя тактика и происходит.

— Возможно,— покорно согласился Марат,— переживал долго, обмыслил и пришел к заключению: сам хоть в мыле скажи, а других не подстегивай.

— Тебя, Марат, бросает из одной крайности в другую,— сочувственно упрекнул его Дмитрий Семенович. Вдохнул, признался:— Но хладнокровным быть того хуже. Те, кто до крови не ушибается, они больно мягкие. Ежели что надо одолеть, так они не одолевают, а оползают, чрезмерная гибкость им это позволяет и животный инстинкт самосохранения. А боль, она человека учит, она его твердым делает и защищенным от другой боли.

Если бы кто-нибудь в этот миг взгляделся в черты обоих Должиковых, он мог бы отчетливо увидеть в них признаки всех поколений рода, запечатленных на фотографиях в разные времена. Они проявились тут вдруг, в пылу спора о Егоре Ниловиче Горохове и проблемах, не имеющих прямого к нему касательства.

* * *

Первая заказная плавка, как первые роды, мучительна и опасна. Когда плавка исходит из чрева печи, вся бригада испытывает тревожное волнение: какова будет жизнеспособность металла? Ответит ли он своему высокому предназначению, когда обратится в могучие, возможно, доселе невиданные машины?

А неудачная плавка подобна ребенку, в которого родители вложили все свои силы, надежды, все лучшее, что у них было, а вырос ненадежный, нестойкий, нежизнedeя-

тельный экземпляр. И когда такое случается, когда плавка не соответствует заказу и надеждам сталеваров, они испытывают изнурительную опустошенность, физическую и душевную усталость и даже измождение от напрасно затраченного труда.

И только у Егора Должикова неудача вызывала мстительное ожесточение по отношению к самому себе. Он оставался тогда на вторую смену, чтобы со сменной бригадой повторить неудавшуюся плавку, понять упущения, применить то, на что не решился в первый раз. Он работал у печи на всех операциях, чтобы самолично убедиться, что все совершается так, как должно. Это не было одержимостью уязвленного самолюбия, это было единоборством с печью и с самим собой. И если он одолевал печь, то оставался на третью плавку. На этот раз он сидел в стороне на скамье, вытянув замлевшие ноги, откинув на спинку ноющие, отяжелевшие руки, и короткие деловые реплики сталеваров действовали на него усыпляюще. Он погружался в дремоту, но если кто-то из сталеваров вдруг нервно повторял приказание, он просыпался, лицо его, смягченное минутным отдыхом, мгновенно обретало прежнее напряженно-жесткое выражение, он вставал и шел к печи такой твердой, решительной поступью, словно только что вышел на смену.

Тут проявлялся упорный должиковский характер, но было и еще одно обстоятельство, толкавшее Егора к людям: его тяготило одиночество.

Егор Должиков появлялся на заводе задолго до своей смены, бродил по механическому цеху с тайным желанием увидеть, что же сотворено из его металла, увидеть как бы конечный результат своего труда. Он осматривал станки, заготовки, прикидывал, как будет обучать станочников таинствам обработки нового сорта стали, ибо не хуже главного металлурга понимал, как подчинить себе новый металл, как перехитрить его жаропрочность, высокую твердость или вязкость.

Он заботливо и просто разъяснял тайные свойства созданного им, а точнее, выстраданного им металла. Ведь это он сам стерильно вымыл этот металл в бурлящей огненной лаве, удалил вспененные очистки, растворил в нем присадки редких металлов, придающие стали чудодейственные свойства.

Одни внимали его советам внимательно и благодарно. Другие полагались на самих себя, но, чтобы не обидеть

Егора, напоминали, что, когда человек работает, не следует говорить ему под руку. Тогда Должиков, сконфуженно улыбаясь, отходил в сторонку, читал развешенные по цеху плакаты, призывающие к экономии материала. Для Должикова это было не лозунгом, не пустыми словами. Каждый обрезок с проката, с наплыва от припуска, рыхлые нагромождения стружек, лежавшие, словно кучи мусора, брошенные запоротые детали вызывали у него гневное чувство личного оскорбления. И тут он был неукротим. Именем тех, кто добыл руду, кто переплавил ее в чугун, а затем в сталь, именем формовщиков и литейщиков он поносил расточителей, расхищающих народное добро.

И его боялись, боялись его истовости, гнева. Обожженное печью лицо Егора багровело сильнее, чем перед ее огненным зевом. Его охватывал такой же порыв презрения, как в бою, когда он застигал солдата, спрятавшегося в воронку от разрыва снаряда и бессмысленно пуляющего из винтовки в чистое небо, пуляющего только для того, чтобы его потом не уличили в трусости, обнаружив в подсумке неизрасходованные патроны.

Но приходил-то он в цех не за этим, и каждый раз, прихваченный болью от взрыва ярости, он после долго болел, что не сдержался, обидел многих.

Одни принимали его негодование уважительно, зная, как он иногда по две смены, а то и по три добывал первые заказные плавки с такой самоотверженной одержимостью, с какой только спасают людей из огня.

Другие — снисходительно, помня о его фронтовой доблести и незаживающей ране от потери жены, уважая его бесцеремонную прямогу и требовательность ко всем, без различия к занимаемой должности.

Третьи выражали неудовольствие, кивали на плакат, мол, грамотные, чего зря пылить в рабочее время? При подобных словах Должиков терялся, не находил слов. Возможно, от чувства ошеломляющей брезгливости к ним. Но вообще-то он относил такие приступы ярости к недостаткам своего вспыльчивого характера и, подавляя их в себе, становился на людях угрюм, замкнут, малообщителен.

Но вот когда они вдвоем с Аношиным на досуге увлеченно вспоминали различные обстоятельства памятных им плавков, можно было подумать, что эти двое рассказывают друг другу содержание только что прочитанного детективного романа.

Когда Должиков подходил к станку, за которым работал Горохов, Егор Нилович тотчас вежливо выключал станок. Тщательно вытирал паклей правую руку, здоровался. И они беседовали задумчиво, вполголоса о новом металле, о технологии обработки, словно речь шла о трудновоспитуемом подростке, к которому следовало найти особый подход. Егор Нилович вытачивал из заготовки изделие, тщательно протирал его, разыскивал Должикова, и они вдвоем, держа в руках фигурную деталь, подносили ее к свету, любовались ею, как бесценным самоцветом. Егор Нилович восторженно говорил:

— Бессмертный металл ты выплавил, Егор, машина сносится, а изделие из твоего металла будет как новенькое.

Егор Семенович, конфузясь, в свою очередь, отвечал:

— Металл, он что — спервоначалу руда, после жидкость, затем чушка. Потом прокат или литье. А вот ты ему окончательную жизнь дал, предназначение.

И обоих охватывало чувство такого душевного родства, которое не всегда бывает присуще даже самым близким людям.

Егор Семенович Должиков жил одиноко в однокомнатной квартире, и все он в ней сохранял, как было прежде, при жизни супруги.

В неприкосновенности оставалась двуспальная кровать, застланная атласным одеялом с вертикально поставленными в изголовье подушками — сам Егор Семенович спал в кухне на топчане, который Семен Фомич обзывал сердито факирским ложем. Слабеющая жена заботливо завещала ему: «Не опаршивь после меня, Егор, следи за собой, не жалей средств, аккуратно, сытно питайся, утешь меня, дай мне в этом слово. Хотя я и была ревнучей, для удобства своей жизни женись, не возражаю. И еще прошу, не заливай горе вином, вином его не смоешь, и прости, что я от тебя первой ушла, одного оставила, вдоветь мне хуже было б, чем сейчас от тебя уходить...»

Не все заветы выполнил Егор Должиков. На заводе во время тяжелого и беспамятного запоя официальным приказом ему оформили длительный отпуск по болезни. Несколько лет он работал только в ночную смену, ибо ночи все равно были бессонными. А днем спал урывками, ошалело вскакивал, отзываясь на пригрезившийся ему голос жены.

Из всех Должиковых он сначала невзлюбил племянника Костю, а потом смягчился и даже постоянно хотел его видеть.

Костя как-то сказал ему, оглядев внимательно комнату:

— Это ты правильно, дядя Егор, поступил, что из комнаты Марии музей сделал. До такого никто на свете еще не додумался. Мы вот со Светкой про любовь говорили, она все стихи на эту тему наизусть знает. Но вот так, как ты ее обозначил, самые великие поэты не доперли.

— Не твое дело, сосун, о таком судить, — грубо оборвал Егор. — Тоже ляпнул — «музей». Просто берегаю имущество в сохранности.

Костя вздохнул, сказал:

— Мне тоже совестно как-то про любовь говорить со Светкой. Слова-то можно всякие придумать, а главное ведь доказать.

— Всей жизнью только и докажешь, — сипло произнес Егор.

— Я бы тоже хотел так любить, — дрогнувшим голосом сказал Костя.

— Это Светку, что ли?

— Хоть ее, хоть другую, лишь бы, как ты, навсегда.

Смягчаясь, Егор пожаловался:

— Ранение — это что: поболит — заживет, а такое не заживает, ноет и ноет.

Костя сказал:

— Если б загробная жизнь была, Мария там была бы самая счастливая.

— Это чем? — угрюмо осведомился Егор. — Тем, что помирала мучительно? Другим вот везет — враз, и готов.

— Ее нет, а ты ее любишь и, может, больше прежнего. Если б у тебя двустовку не унесли, ты бы что? Враз и отделался от самого себя и от нее тоже, значит, и любовь твоя была бы короткая.

— Сам додумался или из книг такое вычитал?

— Я что думаю, то и говорю, — с достоинством заявил Костя. — И говорю тебе, дядя Егор, так потому, что люблю тебя.

— По-родственному полагается.

— Да не по-родственному, а потому, что ты так Марию любишь.

— Ну, ладно, поговорили, — добрее произнес Егор. — Как ты живешь, докладывай.

- На иждивении,— усмехнулся Костя.
- Так ты же прилично зарабатываешь — станочник.
- На дедовой мудрости,— пояснил Костя.— Он все объясняет, а одно не может. Почему у нас давно полный социализм, а сволочей всяких еще до черта?
- Ну, а ты как сам себе это объясняешь?
- Дед говорит, строгости у нас сейчас маловато.
- Ты свое скажи.
- Что я? Хочется быть получше. Все учат, а вот как выучиться, тут ясности нет.
- Кто хочет, тот сможет.
- Вот и дед то же самое говорит, только торжественно
- Право имеет, мера у него высокая.
- Но не все ее достигли.
- И не достигнут, мера к человеку должна быть выше человека, а тянуться к ней надо.
- А кто не хочет?
- Те, кто только на себя гребет, те не хотят. Они вроде сусликов, тащат с народного поля в свою нору. Но и то до поры-времени,— Егор задумался, сказал задушевно:— Понимаешь, Костя, есть вещи, необходимо полезные для жизни, а есть лишние, вредные, они не для пользы, а для престижу, от скопидомства. И чем их больше, тем теснее от них человеку, он вещами себе жизнь заслоняет, сам себя в них закапывает.
- И ты отказался от сверхурочной надбавки только поэтому?
- Мне ее получать не за что. Мне в цеху лишнее время пробыть приятнее, чем дома в одиночку. Я и сменному так объяснил, чтобы он не смел мой поступок как почин засчитывать. Но если человек больше работает, то должен и больше заработать. Это закон на всех, правый и справедливый. И кто трудом лишний рубль заработал, он знает, на сколько труда этот рубль весит, по-глупому его не истратит, из одного уважения к труду, каким он добыт.
- У тебя сберегательная книжка есть?
- Имеется.
- Так зачем же ты деньги копишь?
- Я их не коплю, а сохраняю.
- Для чего?
- А вот начнут наши мартены ломать, электропечи ставить, я к строителям прилажусь, сам себе обустрою, так мне надежней, и сяду на тариф, а доплату буду со своей книжки брать.

— За свой счет станешь работать, так, что ли?

— А я на паях с государством работаю. Оно мне вместо мартена — электропечь, на которой я легче заработаю, а я ему в кредит поработаю, — улыбнулся Егор Семенович, затем строго добавил: — Сберкнижки многие рабочие имеют, а что это означает? Открылась возможность прицельно заработать на такое, что раньше и не снилось, — в завкоме вон запись на машины, мотоциклы, пианино, мебель, ковры, холодильники, стиральные машины и прочее. Вещи не первой необходимости, но нужные. Значит, много у нас тех, кто хорошо работает, а значит, и вдосталь зарабатывает. Показатель!

— А лодыри, прогульщики, бракоделы, пьяницы, летуны, их семьи разве виноваты, что таких благ лишаются?

— Это ты вонзил в точку, — хмуро произнес Егор Семенович. — Мы таких наказываем, а выходит, верпо, не столько их, сколько их семьи.

— Так что же делать, чтобы невиноватых не обижать?

Егор Семенович уныло пожал плечами, тогда Костя произнес запальчиво:

— Таких надо не в одиночку обсуждать, а вместе со всей семьей, и показывать им, сколько они по вине одного все вместе теряют. Ведь такие наверняка врут дома, за что их уволили или премии лишили. И не администрация, а совет бригады пусть объясняет, что такое рабочая совесть.

— Мысль правильная, — согласился Егор Семенович. — Вот на фронте у нас как водилось: отличился в бою солдат, не так сильно, чтобы ему за это правительственная награда, но все же отличился, и наш политрук за это домой, в семью благодарное письмо от всего подразделения пишет. Для многих такое не меньшая радость и удовольствие, чем от медали. Семья — это сила. А вот кто в бою филонил, трусил, тем пригрозят, что о таком его поведении письмом домой сообщат. Человека выпрямить — для всего подразделения победа... — Помолчал. — Конечно, человека мы по его поступкам определяем, а не по причинам поступков. Поступок на виду, а причины от непристального взгляда скрыты. Я вот в металле разбираюсь твердо, определяю температуру — сливом пробы на плиту, содержание углерода — по излому, количество серы — по цвету плавки. А с человеком, бывает, ошибаюсь. Достойного человека издали видать, а вот к плохому надо вплотную подойти,

разглядеть червоточину, прицельно ею заняться. Но сначала высвети в нем стоящее, человеческое, обопрись на него и только тогда действуй. Вот я канавщика Степашкина уволил — бракодел, прогульщик. А что в натуре оказалось? Жена его с тремя детьми бросила. Стал он, значит, мама, няня, кухарит, стирает. И никому от стыда, что жена бросила, ни слова. А я-то его щучил. Стоит, слушает и даже не моргает. Перед увольнением только узнал о его задолженности в страхкаассу, из своих погасил. А ведь он не столько в материальной поддержке нуждался, сколько в моральной. И пришлось мне приказ об увольнении обратно запрашивать, к Геннадию кинулся не как к брату, а как к депутату, говорю, выручай Степашкина, но чтобы деликатно, незаметно, окажи все возможное. И оказал. Выпрямился Степашкин после того, как облегчение жизни получил. А на меня ребята в цеху долго зло смотрели, извинить не желали то, что я тяжелое положение Степашкина просмотрел и его садминистрировал, и только общественность, мол, меня поправила. — Егор поморгал и, словно в оправдание себе, зло заметил: — Но есть у нас на заводе просто тухлятина, рвачи непоправимые. Если наряд невыгодный — сидит на тарифе, если по болезни товарища станок рядом простаивает, а ему самому заготовок еще не дали, к другому станку не станет, коли мастер удвоенный липовый наряд ему не подпишет. Если государство ему даром квартиру дает, путевку в санаторий или в дом отдыха, детей бесплатно берет в ясли, в детсад, в школу, а затем в вузах обучает, это — пожалуйста, заболает — зарплата идет, это тоже пожалуйста. Это, мол, ему просто обязаны, в благодарность только за то, что он явился на работу. Он одолжение делает, что работает. Рубль для него — главный стимулятор. Это не рабочие, а просто иждивенцы. Таких оберегать нечего, их ведь выучили тоже задаром. За отсутствие рабочей совести надо разряд снижать, если рублем живет, рублем его и воспитывать, раз другого ничего понимать не желает. — Егор Семенович смолк, поежился, пояснил: — Это я отчего ярюсь? Оттого, что хороших людей стало больше, а плохих меньше, и стали они заметней. Значит, не ходи мимо них вокруг да около, а спроси напрямик: зачем ты сам себя унижаешь? Хвостом при заднице жизни срамно быть.

— И ты так кому-нибудь говорил? — спросил Костя.
Егор Семенович смутился:

— Говорил. Сгоряча. Зря, наверное: словами-то не бить надо, а добираться до самой сути человеческой. Такое у меня не всегда получается.

Из всех Должиковых Егор Должиков только с Костей так охотно разговаривал. Другие Должиковы вызывали у него отчужденность. Когда после смерти жены Егор тяжело запил, вся родня поочередно дежурила возле него, не оставляла его одного, заискивала заботами, словно он больной. Но время шло, а Егор все пил, и ему уже не страдали, а приходили упрекать, увещевать, стесняясь того, что вдруг кто-то из Должиковых оказался горьким пропойцей. Возможно, тут немалая была инициатива должиковских жен, которые испытывали зависть к покойнице, к которой Егор негаданно проявил любовь, ставшую ему дороже и необходимей собственной жизни. Любовь эта прямо-таки ошеломяла их.

Егор и в детстве отличался замкнутостью. Если старшие поучали его, напряженно отвечал, угрюмо потупив глаза: «Подлаживаться ни к кому не собираюсь, какой есть, таким и буду».

В школе учился плохо, объяснял: «А я не такой дурак, каким меня там считают, учат неинтересно, ни к какому делу неприцельно, нерассчитанно. Я и без них за лето все учебники прочел. А чего один отец знает, им всем вместе неведомо».

Все свободное время от забот по дому и школе, которое строго и неукоснительно распределялось между всеми членами семьи, он проводил в мартеновском цехе, захваченный и поглощенный там таинством превращения холодного металлического хлама, каменных обломков, известняка, сыпучих, словно песок, присадок в бурлящее солнце металла, из которого происходят все машины, все механизмы и станки, на которых работают Должиковы, делая из них всевозможные изделия.

Но ведь все это первородство — в металле. В его огненной реке, увесистом хлюпающем огнепаде, стекающем в зев ковша, озаренного светом сухих шелестящих искр.

Его пленяла отвага сталеваров, работающих с такой виртуозной пренебрежительностью, с таким невозмутимым спокойствием, будто они льют из бочки воду, а не смертоносную жидкость.

Старший сталевар Игнатий Бурков подметил как-то, что этот паренек не из любопытства приходит сюда, в мартеновский цех. Он заметил в нем напряженное, тревожное

беспокойство, когда плавка не подчиняется заданному режиму, увидел на лице его горестное выражение, когда как-то после взятых проб изломанная лепешка металла в своей кристаллической структуре показала на вредные примеси.

Оглядывая пробу, сталевары обычно не обсуждают, что она дает. Они молча приступают к тем или иным операциям в зависимости от ситуации.

Егор, усвоив это правило, после осмотра пробы молча шел к обратной стороне печи или оставался на месте, и лицо его обретало мрачное выражение, что означало — плавка затягивается.

— Соображаешь?! — осведомился Бурков.

Егор кивнул.

— Так чего без дела околачиваешься? Хочешь попробовать? — Егор снова кивнул. — Ладно, — сказал Бурков, — возьму в ученики. — И сурово добавил: — Заходил к тебе в школу — троешник? Так вот тебе мой приказ — перейдешь в вечернюю заводскую, и, как первую тройку получишь, без всякого профсоюза выгоню, мне дураков не надо. Теперь такая пора, что дураков надо только в цирке показывать, для смеха. Понял?

Из всех Должиковых только Семен Фомич одобрил решение Егора идти в горячий цех.

— Горячий цех — для хладнокровных и сообразительно-вдумчивых, — говорил он. — Зазеваешься и обо что-нибудь обязательно обожжешься, волдырь получишь. Работа, понятно, тяжелая. Но в гражданскую кто лучше всех воевал? Мы, с металлургических, горняки-шахтеры, ну, еще моряки, у них тоже служба тяжелая, штормами все кишки упрессованы. Значит, валяй, — улыбнулся, подмигнул. — В песне правильно говорится: «Закаляйся, как сталь». — Добавил наставительно: — Раз тебя Игнатий Бурков признал, тут моя отцовская воля недействительна. Игнатий по одной походке может определить, годится человек в сталевары или не годится. Коли на ходу ноги волочит или ногами сучит, к металлу поближе шагнуть страшится, значит, негод. И шибко ретивые нам тоже не подходят. Таким место в пожарниках. Наше дело поспешать не спеша. Металл требует серьезного обхождения, уважительного. Даже если плавка не ладится, ты ее обласкай, тогда она тебе подчинится. И печь, она тоже неусыпного внимания требует, за ней ухаживать надо, жалеть ее: перетемперишь из жадности, чтобы сверхскоростную выдать ради почести и надбавки, а она, сердечная, заплачет, потечет

огнеупором. Значит, тебе позор, а печь, тобой поврежденную,— на ремонт. Есть у нас охلامоны, лишь бы лишнюю плавку из нее выдрать. Замучить ее, а выдрать. Если почеловечески рассуждать, так это такое же живодерство, как, скажем, корове на брюхо давить, чтобы она скорее отелилась, или какому другому живому существу. Хороший сталевар не тот, который из самохвального рекорда за одну смену больше других плавок выдал, а тот, у которого печь без ремонта больше прослужила и, значит, в итоге больше металла стране дала. И запомни, по ходу твоей печи мое о тебе мнение будет. Какова печь — таков, значит, и ты. Вот в чем на тебя теперь будет моя мера.

В первый день войны Егор явился в военкомат. Спросили: «Хочешь добровольцем?» Егор ответил заносчиво: «А другие что же, не по своей воле идут?», но на всякий случай выложил значок ГТО первого разряда и к нему удостоверение ворошиловского стрелка. Сказал с обидой: «Для Испании готовился, не взяли. Теперь берите — законно».

На заводе попросил дать ему отгул, дома сложил в мешок что полагалось. Семен Фомич спросил тоскливо:

— Это ты куда собрался? Не выходной ведь.

— Куда, сам знаешь,— ответил Егор.

На фронте сначала был петеэровцем. Подбил два танка, дали орден. Попросил разрешения обратиться к генералу, сказал: «Разрешите эту мою пицаль сменять на пушку, а то мне двух ихних танков за брата мало».

Кончил войну командиром батареи, на орудиях которой было обозначено двадцать восемь звезд по числу подбитых танков и самоходок. Будучи не однажды раненным, не хотел, чтобы эвакуировали из санбата в госпиталь, из опасения, что не вернут обратно в родную часть. Командир дивизии, гордясь им, говорил, здраваясь:

— Опять в чалме из бинтов, все равно как индус, и рука на перевязи.

— Так левая же,— оправдывался Егор.— А головной убор мне старшина большеразмерный добыл, так что можно в строй.

Разведывать цели Должиков отправлялся сам, чтобы с чужих слов свои снаряды зря не расходовать. Объяснял: «К огню-то я на гражданке привык, согласно своей профессии, только та и разница, что огонь разного назначения».

После войны вернулся на завод, встал к печи так уверенно, словно и не покидал цеха. Про войну не рассказывал. С бригадой держался немногословно. С женой был сдержан на словах, помогал по дому, ссылаясь на то, что привык к самообслуживанию на фронте, и был он с ней бережно-застенчив, опять ссылаясь на фронт, где баб не было. Хотел, чтобы одевалась всегда красиво, во все лучшее: «Хватит, находились вы все в портках, стеганках, работали, как мужики, и ходили, как мужики». За всю жизнь только однажды упрекнул: «Зачем губы накрасила?» Добавил, конфузясь: «Может, бумажный цветок и ярче настоящего, но настоящий-то живой и живым пахнет».

Жена игриво сказала: «Тоже мне, целовальщик, первый раз я лицо тебе свое подставила, а ты губами в нос уткнулся, хорош артиллерист — с таким-то промахом».

Держались они не только на людях, но и дома друг к другу уважительно. Вот, пожалуй, и вся их личная жизнь.

А что оказалось? Отчаянная, до исступления любовь жила в Егоре, невыказываемая, затаенная, но сильнее иной ликующей и пламенно-горячей.

Описать такую невидную любовь так же трудно, как мимоходом понять дивную красоту полевого цветка, выросшего на жесткой почве, вопреки всяким невзгодам.

Егор пережил боль потери, но она не оставляла его.

И когда Должиковы, сострадая, советовали Егору обзавестись семьей, он грубовато отшучивался, но глаза его при этом суживались, как в санбате, когда из него выковыривали осколки, а хирург, стараясь отвлечь его, ерничал, травил полупохабные байки, нанюхавшись нашатырю, чтобы не рухнуть от изнеможения.

И Егор отшучивался, чтобы родня не почувствовала, как режут его душу по живому такие разговоры.

Вернувшись из армии, Костя первым делом навестил Егора. Рассказывал о службе, о новой боевой технике. Выслушав, Егор изрек мрачно:

— Дай бы нам тогда такую, мы через год, а то и раньше были бы в Берлине.

А потом Костя доверчиво и тоскливо поведал Егору о своих чувствах к Свете, которые он подавлял и никак не мог подавить. Егор слушал рассеянno, потупясь, затем, не подняв взора, сказал:

— Вот говорят, представляя свою супругу: знакомьтесь, моя половина. Выходит, таким жена вроде приставки, а они ее хозяева. Получается, необдуманными словами женщину принижают. А женщины на такую чуткую душевность способны, которая нам, мужикам, и не снилась. Женщины на все тонко чувствительны, поскольку им природой поручено детей производить и растить, а есть и такие, у которых до самой старости душа остается чисто детская. Вот моя всегда так радовалась мне, незаметному, что от этого вся жизнь была, как сплошное светлое утро. — Поднял глаза на Костю, сказал сердито: — А ты мне о своем чувстве к Свете говоришь так, будто я начальник отдела кадров и должен наложить резолюцию, подходит она тебе или не подходит. О таком словами не бренчат и не советуются. Если чувствуешь, что без нее жить не можешь, значит, это настоящее, а сможешь — тогда, чтоб себе и ей не навредить, обязан пройти мимо. Женятся не только для удовольствия, а главное — для того, чтобы совместно жизнь строить, и на это неусыпный душевный труд от обоих требуется. Я тебе про моего канавщика говорил, как жена его покалечила. Они брак расторгли, а он на производстве стал брак допускать. В семье горе аукнулось, на производстве откликнулось. Ты спрашивал, почему при социализме не все люди ему соответствуют? Но наш большой мир начинается с маленького — с семьи. Вот и считаю, нельзя смаху жениться, сгоряча разводиться. Если семейная жизнь портится, главная беда на детей падает. Я вот к себе в цех двух с кличкой, так называемых трудновоспитуемых парней взял, а корень их порчи откуда? Из семьи. У одного мать разведенка, у другого отец алкаш. На заводе им наставник Аношин, человек редкостной чистоты, сердечности. А вернутся они с завода домой — там что? Только пакость. У одного к матери мужики ходят, у другого отец получку у семьи выманивает на выпивку. Плохие люди чем нам вредны? Тем, что своим близким жизнь портят. Завод, коллектив — сила, может людей выправлять, выращивать, а вот как доставать до каждого в его доме, в семье? Тут мы не все можем и не вполне выучились. Бывает и так: на заводе человек хорош, дома плох, а прямого хода к нему в дом нет. Поэтому я и считаю, чтобы со всех сторон на человека воздействовать, мы должны прежде всего у себя на заводе каждого не только на выполнение высоких производственных норм вытягивать, но и обучать поведению и общению с людьми. Социализм нам не вы-

веска, а дальняя дорога в гору, чем выше поднимаемся, тем легче дышится и лучше видится. Можно просто сказать: плохое — враг хорошему. Поступай с врагом, как с врагом. Но это так и не так. Лекарство может быть опасней болезни. Плохой человек прежде всего сам себе враг. Потому что плохое в нем рано или поздно все равно против него же самого обернется, вот как с Бобровым получилось. Отсюда что? Нельзя ходить мимо человека, если он плох, никому нельзя. Такой теперь по нашим возможностям закон жизни. Я вот вчера шел с работы, идет впереди человек и бросил на тротуар какую-то бумажную обертку, а другой за ним наклонился, поднял, дошел до урны и ее в урну кинул. Первый, конечно, невоспитанный, второй воспитанный, но не вполне: оттого, что не догнал первого и не упрекнул его, застеснялся. Вот и у меня так бывает, легче самому сделать за другого, чем его заставить. Жить нам надо уметь друг за друга ответственно, тогда скорее изведется плохое в людях. — Егор сконфуженно улыбнулся, признался: — Ну, и разговорил ты меня, Костя. Не знаю, как тебе, а мне было полезно, даже не догадывался, что так думаю, а вот в словах и выявилось наружу.

Костя тоже не ожидал от Егора таких признаний и даже был смущен ими. Потому что Егор обычно, если пускался в разговор, то только о делах сугубо производственных. И то когда был чем-нибудь недоволен. Но если собеседник с готовностью с ним соглашался, Егор тут же возмущенно опровергал его, считая, что он один имеет право высказывать недовольство своим цехом, а другие — нет.

Когда Костя уже после армии захотел расспросить Егора как бывшего артиллериста о войне, он поморщился:

— Война! Она и после войны немало людей поубивала — старыми ранениями да тяжким трудом — тех, кто для фронта, для победы надорвался. — Помолчал, проговорил с обидой: — Только в тех странах, которые по-настоящему войной не были задеты, этого не понимают. Вот Америка, она всегда от мировых войн океаном отгораживалась. А полезла, вывезла своих солдат на грабеж, варварство во Вьетнам. Вываляла их там в крови и грязи. В подлой войне победы не бывает. Воюют храбро только народы, которым гибель от врага грозит. Американское начальство должно бы такое сообразить и зря не рыпаться. — Сказав это, Егор затем объявил радушно: — Дай-ка я тебе самолично изготовлю вкуснятину, высшее достиже-

ние кулинарного искусства. Я это блюдо по книге Маше всегда готовил, одобряла.— Взял со стула свою рубашу, обвязал ее вокруг пояса рукавами, получился фартук.

Готовил Егор увлеченно, и получилось первоклассно. Достал три прибора и, когда Костя вопросительно на него посмотрел, пояснил:

— Машино место,— и попросил скорбно:— Ты уж извини. Не из причуды, а от моего к ней уважения.

* * *

Конференц-зал и примыкающие к нему холлы на пятом, последнем этаже конструкторского бюро были превращены, по аттестации Евгения Потаповича Лебедева, в ненаучный центр разнузданного трепы, несбыточных фантазий и утопших в утопиях. Здесь собирались любители интеллектуальной сгущенки, неустомимо любопытные, рождавшие путем титанических умственных усилий немало гениальных открытий — вроде того, что робот действительно мужчина, а не женщина, ибо твердо знает два решающих, величайших понятия — «да» и «нет». Это был центр, отдаленный от реальной науки на расстояние, равное расстоянию до ближайшей галактики.

Действительно, здесь широко были представлены побочные таланты конструкторов: картины, чеканка, керамика, резьба по дереву, куклы, плетенные из проволоки, цветы из латуни и жести, а также экспонаты, сработанные из всевозможных материалов, беспощадно карикатурно изображавшие всех сослуживцев вкуче, включая руководящих лиц, коих во избежание обвинения в подхалимаже запечатлели так, что эти портреты могли стать уликами противоположного свойства — клеветы и очернения честных граждан.

Правда, и прочие сотрудники, увековеченные безвестными талантами, могли заронить в железные сердца кадровиков сомнение, не совершили ли они ошибку, сочтя этих людей милыми, общительными, толковыми специалистами.

Был здесь и отличный бар с огромным транспарантом: «Алкоголь — смертельный яд. Одна сигарета убивает лошадь».

И над всем этим улыбался пустыми глазницами череп, под которым скрестились бутылки, и надпись: «Свидетельствую: не пил, не курил, не ел ближнего, не был зна-

ком ни с одной женщиной. При вскрытии все это подтверждено и засвидетельствовано, чего и вам желаю — ваш доброжелатель».

Сам Лебедев изображался в виде бога Сатурна, а под изображением было начертано: «Науки юношей слабо питают, зато старцам все блага подают».

На подобное творчество пришла в партком кляуза. Зубцов пришел, все осмотрел, сказал:

— Спасибо анонимщику. Получил полное удовольствие. — Попросил ватман, сел, написал:

Пора конструкторам,
как велит вам Зевс,
сократить у ваших творений
излишний металловес.
А лучший напиток из всех
для вас — хлебный квас.

И подписался: поэт Афанасий Зубцов.

Главный технолог Захаров осторожно осведомился:

— А если из райкома придут?..

Зубцов ухмыльнулся:

— Поэты славу обожают, и все прочие, но уже по своей линии того же самого желают. — И тут же без улыбки добавил: — А вот вы, товарищ Захаров, я заметил, большой поклонник монументального творчества. Запас прочности стремитесь обеспечить количеством металла, а не качеством, под ваши машины надо фундаменты циклопических размеров из гранита ставить в качестве свидетельства нашего большого недомыслия.

Здесь, на пятом этаже, после рабочего дня и собирались те сотрудники КБ, которых называли «нарушителями спокойствия». Но толпились они не столько у бара, где продавали квас и минеральную воду, ибо блистательный импортный агрегат кофе-экспресс давно вышел из строя и каждый готовил сам себе этот напиток по своему вкусу на электрической плите, а у черной школьной доски, на которой кто-нибудь неизменно запечатлевал для вящей убедительности свои математические или конструкторские мысли мелом.

Сам Лебедев сидел спиной к бару на высоком табурете (все они были окрашены в разные цвета) и, пользуясь возрастной дальновзоркостью, с такой дистанции наблюдал за умственными, как он говорил, гимнастическими, упражнениями в фантастике своих подчиненных.

— Трение хищнически пожирает колоссальную рабочую энергию, но без сцепления не совершается движения, — замечал он одному. — Чем элементарнее, проще схема привода, тем она гениальней. А что вы там нарисовали? Это же карикатура. На то, что мы делаем.

— Прimitивный модификатор — это как портной, который вышедший из моды костюм перешивает на модный. А у вас не модификация, а фальсификация, — говорил другому.

— Но... — Лебедев властно вытягивал руку и угрожающе выставлял указательный палец. — Но истинная модернизация равна библейскому чуду воскрешения из мертвых. Не реанимация, а именно воссоздание. Дать новую жизнь старой машине, подарить ей молодость, и не такую, какая у нее была, а какой она должна быть в идеале. Машина должна стать логически лучше, совершенней, прочнее, экономичней, мощнее.

Выставив локти назад и опираясь ими о стойку бара, Лебедев осведомился:

— Чего присмирили, голубчики? Это — элементарное требование, необходимое даже при создании вселенной. Она ведь подчиняется тем же законам механики, которым подчиняемся и мы.

Конструктора казнят не за вес машины, а за перевес. Это только животноводам дают премию за привес, полученный путем рационального откорма. Не только женщины должны бороться с лишним весом, но и мы, конструкторы, за изящество своих созданий.

За последние двадцать пять — тридцать лет, — продолжал Лебедев, — в мире использовали минерального рудного сырья столько, сколько за всю предысторию человечества. И мы с вами в этом соучастники. Я не призываю вас каяться, я призываю вас относиться бережно хотя бы к своему производству, если вы не способны проявить бережность ко всей планете.

Освободите толпы людей от устаревших станков, агрегатов путем их обновления. Мы, конструкторы, виноваты в безмерных растратах людских ресурсов. Ведь чем старше техника, тем больше надо на нее людей.

Подвиг — пишется в толковом словаре — это героический поступок, совершенный в трудных условиях. Создать новую машину — мы все знаем — легче, чем модернизировать старую. Кстати информирую: на новое изделие устанавливается поощрительная надбавка, из которой об-

разуются фонды экономического стимулирования, действующие в течение семи лет. А теперь не прошу, а требую внимания и тишины, чтобы услышать, как кое у кого, распутившего здесь у доски свои орлиные крылья, начнут выпадать перья. — Выждал, сказал любезно: — Благодарю вас за эту высокоорганизованную кладбищенскую тишину. Сообщаю: за модернизацию стимулирование полагается только в течение года — лишь как за мероприятие по снижению себестоимости. Так гласит инструкция, выработанная в недрах канцелярского дота.

Итак, желающие заняться умственным трудом добровольно и бескорыстно могут формироваться в группу по разработке модернизации давно освоенного на нашем производстве двигателя. Но хочу предупредить. Что такое драма? Это когда люди всю дорогу недовольны, но потом становятся довольны. Трагедия же — это когда сначала им плохо, а в конце становится еще хуже. Оба эти вида искусства совпадают с нашим конструкторским, ибо мы, скованные по рукам и ногам утвержденными нормативами, сидя в тесной финансовой клетке, должны создать нечто выдающееся. Повторяю — выдающееся и грандиозное по своим полезным результатам. Причем я буду верблюдом о двух горбах, один из которых — модернизация, другой — разработка совершенно нового по своим технико-экономическим принципам сверхмощного двигателя.

В напутствие — афоризм великого восточного поэта: «Если счастья нет в труде, не найдешь его нигде».

Народ загудел, зашевелился. Марат Должиков ненароком услышал такой диалог:

- Не будь идиотом, соглашайся.
- За идиота можешь схлопотать.
- Ну, тогда князем Мышкиным.
- А я не припадочный.
- Не пойдешь, умрешь от зависти.
- Ты сначала сам озарись, а потом других озаряй.
- Да я уже озарился, но у тебя светочувствительность низкая. Вот Ермакова надо спросить.

— Ермакову всегда так некогда, что он ни одного дела до конца не может довести. Ему надо от самого себя отдохнуть.

- Зажмуриваюсь — согласен.

Марату нравились все эти люди. Рядом стоящий спрашивает:

- У вас какая группа крови?

— А что?

— Если за, значит — единокровный?

— Я тут голоса не имею.

— А мы все в порядке самостоятельности беремся, в нерабочее время, значит, всем тут полное равноправие.

Подошла Нелли, вся светится.

— А твою схему гидравлического привода Евгений Потапович одобрил, сказал, что очень остроумно, — обернулась к конструкторам, спросила вызывающе: — Слышали? А вы все еще только треплетесь.

— Язык — друг и враг человека. Друг в процессе принятия пищи, а враг, когда утверждает, что от этого полнеют.

— А ну, все от окна, — скомандовал долговязый седой человек в майке велосипедиста и с оттопыренными карманами, из которых торчали замызганные нормативные справочники. Когда все расступились, склонившись перед Нелли, пояснил: — Даже гениальные произведения искусства нуждаются в выгодном освещении. Нелли, при данном освещении вы ослепительно прекрасны: припадаю благоговейно к стопам, — склонился, и справочники вылезли из карманов, один шлепнулся на пол.

Нелли, кивнув на него, заметила строго:

— У вас в мозгу запоминающее устройство ослаблено, пора без шпаргалки работать.

— У меня в черепной коробке обычное серое вещество. А у вас, Нелли, люминесцентное, даже в темноте, очевидно, если не весь лик, то нимб над головой наверняка светится, как у орлеанской девственницы. Очень буду сожалеть, если выйдете за какого-нибудь нашего прохвоста замуж. Такой феномен — и вдруг испарится. Но жажду котлет с макаронами, ради продления жизни, — и удалился.

Нелли сказала Марату, кивнув вслед ушедшему:

— Шутник... На фронте он служил в подразделении «катюш», попал в окружение, установку успел взорвать, но при взрыве получил ранение. Немцы доставили его в госпиталь, стал поправляться — гестаповцы там же, в госпитале, допрашивали, после каждого отказа отвечать подвергали различного рода хирургическим операциям без наркоза. Какой-то солдат-санитар из сострадания пырнул ему шприцем в вену яд по его просьбе. В мертвецкой у него начались конвульсии, получил огнестрельное ранение от испугавшегося охранника. Во рву — опять конвульсии, увидела местная женщина, вывезла на детских санках

взамен трупа своего расстрелянного мужа, выходила. Кто-то на нее донес, фашисты повесили. Поседел в девятнадцать лет. Конструктор он изумительный. Инженерное воображение потрясающее, как у ясновидящего, — произнесла Нелли с гордостью. — У нас здесь немало бывших фронтовиков. — Добавила с достоинством: — Вот знай, какие у нас тут шутники.

Марат обидчиво напомнил:

— Я сам в санбатах да госпиталях ремонтировался.

— Ладно, не петушись, — сказала ласково Нелли. — Только учти, твой хваленный Лебедевым привод еще сыроват. Сложен для исполнения в деталях. Удорожает значительно стоимость по сравнению с прежним. А мы здесь должны улучшать и удешевлять. Конструктору, помимо всего, надо иметь экономическое мышление, хотя бы на уровне бухгалтера, не только в технических расчетах, а и в финансовых. Вообще знаешь что? — сказала оживленно. — Мы могли бы создать гениально совершенную машину, правда, такой стоимости, что один экземпляр ее обошелся бы заводу в годовой бюджет. У Лебедева она в чертежах существует. В мире такой нет. Евгений Потапович сказал, что создал ее в состоянии инженерно-экономического распутства, пребывая в сладострастных грезах о том, что невозможное когда-нибудь станет возможным. Марат, — объявила Нелли, — я влюблена выше ушей.

Марат смутился. Нелли схватила его за руку, жадно, горячо сжала, прошептала взволнованно:

— Но только тебе скажу, тебе, потому что только ты меня поймешь. Ты же меня любишь! Да? Я к тебе тоже была равнодушна, что ли. Но вот теперь все другое, отчаянно другое. И у меня даже не женское влечение, не знаю, что это такое, но я вся обмираю от восторга, благоговейю и черт знает еще что, когда вижу Евгения Потаповича. Да нет, когда вижу, знаю — он некрасивый, пожилой и еще ерник, но когда слушаю его, это такое блаженство быть близкой такому ослепительно сверкающему человеку, что даже готова умереть.

— Ты что, сдурела? — испуганно спросил Марат.

— Да, сдурела, потеряла голову. Но не могу, понимаешь, не могу.

— И ты ему дала почувствовать?

— Да что почувствовать? Стыдно вспомнить!

— Ну, а что он?

— Обозвал барышней, подал в стакане воды, пересел для безопасности с дивана на стул и начал вещать. Любовь-де он признает как стимулятор полезной для общества деятельности, как сплывающий реагент в семейной жизни, как высокое проявление духовности, а сопутствующая ей физиология уважительна только тогда, когда она связана с целеустремленностью ради продолжения человеческого рода. А потом пригласил в свой кабинет супругу, этакую заплывшую жиром бабеху — она тоже у нас работает, — и сладеньким голосом представил меня, объявив с лукавым торжеством, что вот, мол, девица, а безумно влюблена в конструкторское дело. Свинья! — вдруг обиделась Нелли.

Марат облегченно, счастливо улыбнулся:

— Значит, получилось все по нулю.

— При чем здесь «по нулю»? — произнесла Нелли, гордо вздернув голову. — Если уж любить, так любить необыкновенного человека, огромного человека... А то, что он некрасивый — подумаешь! Я сама красива, а что толку? Он на меня смотрел, как на щенка, который пришел в комнату и напрудил. Я ему этого не прощу! — И пригрозила: — Он еще узнает, почувствует, что такое неистовая, самозабвенная, яростная любовь женщины... — Вдохнула досадливо: — Так мне не повезло, что я родилась девчонкой. Да будь я мужчиной, уж не упустила б такую, хотя бы для того, чтобы проучить, чтобы не приставала к пожилым мужикам, — всхлинула, высморкалась. Подняла голову, сказала с улыбкой: — Хорошо, что у меня еще свои ресницы и некрашенные, а то была бы такая сейчас физиономия. — Сказала деловито: — Так ты свой привод дотягивай, он нам нужен. — Вгляделась в лицо Марата, спросила строго: — Да что такое ты себе вообразил? Я тебя просто проверяла, как ты относишься к Эльзе. Ты же в отцы мне годишься. — Качнула презрительно блестящими взлохмаченными волосами. — Нет, ты просто легковерный человек. Небось если б тебя стали пытаться, как нашего инженера Лазарева, орал бы, как в зубном кабинете... — и рассмеялась.

Но Марат не обиделся. Он понял, что таким притворством Нелли решила как-то сгладить то впечатление, которое она произвела на него своим признанием. Но почему она открылась ему? Не потому ли, что он сам не так давно испытал подобную неловкость, когда Нелли сказала, что он ей нравится. Марат понял, что это был просто мгновен-

ный приступ признательности за то, что он радуется ее радости, любит ее красотой. Это было женской благодарностью и ничем больше. Но все-таки он ощутил вдруг в себе некую враждебность к Лебедеву.

И когда тот пригласил Марата побеседовать по поводу гидропривода и неожиданно спросил:

— Вы знакомы с Сергеем Федоровичем Фоминым?

Марат ответил неприязненно:

— Ну, знаком.

Лебедев, не замечая грубости этого «ну», сказал:

— Так вот, Сергей Федорович Фомин, когда я работал на заводе инженером-дипломником практикантом, именовался тогда Сережкой, поскольку я был старше его по возрасту и уже имел кое-какие профессиональные навыки, а он был в ученичестве. Теперь, я знаю, Сергей Федорович — прекраснейший человек и удивительный мастер. Теперь он председатель совета бригадиров, так не могли бы вы сделать мне одолжение? У него, видите ли, есть дочь с прелестным именем Нелли. Она прилежно работает у меня в конструкторском. Но в последнее время... Я, конечно, человек требовательный, может, и грубоват иногда. А девица оказалась очень впечатлительной... Знаете, сейчас молодежь не та, как мы были, — изобилие информации, стремление за короткое время достичь максимума, конечно, расшатывают нервную систему. И обилие всяких зрелищных впечатлений, и музыка тоже, знаете, чрезмерно возбуждает, мягко выражаясь. А вы, кажется, не чужды спорту, если судить по мощному телосложению? Спорт ведь успокаивающе действует на нервную систему. Смотрел по телевизору бокс. Ну, просто драка, а в финале оба в обнимку — какое великолепное самообладание и великодушие! Вот не могли бы вы вовлечь эту Фомину в какой-либо, ну, конечно, более изящный вид спорта. Очень она в этом нуждается. А у вас, кажется, к тому же и дочь — тренер?

Марат непринужденно расхохотался. Лебедев заметил сдержанно:

— Не могу присоединиться к вашему смеху, поскольку нет повода.

— Евгений Потапович! — радостно воскликнул Марат. — Вы просто удивительно прекрасный человек.

— Позвольте, позвольте, — забеспокоился Лебедев, — конечно, молодое поколение отличается такой экзальтированностью. Но вы-то довоенного производства.

— Сильно довоенного,— сказал Марат и шутливо оправдался:— Это у меня на фронте нервы расшатались. Как познакомлюсь с хорошим человеком, обнять хочется.

— Вы тоже хороший человек,— сдержанно произнес Лебедев,— но мои объятия для вас пока закрыты, подчеркиваю, пока. Пока вы не дотянете до должной кондиции ваш гидропривод. А тогда с восторгом обниму.— Добавил деловито:— Даже академики публично обнимаются, когда совершают всемирного значения открытия или что-нибудь в этом роде.

Вечером Марат позвонил Нелли. Спросил строго:

— Трусы, майка, тапочки есть? Будьте любезны завтра до работы прибыть на заводской стадион и по большой дороге рысью или галопом совершить пробежку.

— Ты что, с ума сошел?— спросила разъяренно Нелли.

— Таково приказание маэстро Лебедева. Он находится под большим впечатлением от твоего визита и сделал совершенно правильный вывод: надо заниматься спортом. Могу тебя пристроить к Октябрине.

— Оба вы наглецы и черствые люди,— уныло произнесла Нелли.— Железки. А как Октябрина-то, поправилась?

— Она-то поправилась, да парнишка, который ее вынес из огня, сильно пострадал. Страшные ожоги получил. Октябрина к нему в больницу каждый день бегает. Я как-то тоже хотел сходить, навестить, потолковать с парнем — может, помощь какая нужна?— а она не пускает. Это, говорит, мое личное дело, он только стесняться будет. Она же у меня вроде тебя, упрямая. А старик хорош,— сказал Марат, возвращаясь к началу разговора,— я сам к нему обниматься полез. От восторга, что такие люди есть замечательные, а он меня моим приводом по башке.

— Так он у тебя уже в натуре?— оживилась Нелли.

— Если бы был в натуре, так после такого жеста меня неотложка забрала бы череп чинить. В кальке привод, в свитке, но стукнуть им меня можно и должно, ибо много лишнего наворотил. А Евгений Потапович сказал — совершенство в максимальной простоте и в минимальном количестве трущихся деталей. Они воруют мощь.

— Как мудро! Попроси Эльзу, пусть вышьет тебе это изречение на наволочке подушки, чтобы помнил днем и ночью. Такие поучения в духе их национальной традиции.

— Но, но,— свирепо произнес Марат.— Эльзу не трогай, она для тебя неприкасаемая.

— А для тебя?— осведомилась иронически Нелли.

— Молчи, распутная,— ласково сказал Марат,— быть теперь тебе пожизненно девой, как той, орлеанской.

— Умник,— сказала Нелли.

— Романтичка,— ответил Марат.

Но Нелли не услышала, она положила трубку.

Но через несколько минут зазвенел телефонный звонок.

— Слушаю,— сказал Марат.

— Слушай и навсегда запомни,— жестким, незнакомым голосом произнесла Нелли.— Чтобы больше ты не смел, понятно!

— Понял, понял, Нелли, прости.

— Не прощу. Не прощу,— и снова бросила трубку.

Марат несколько раз настойчиво звонил ей, пока трубку не взял Сергей Федорович.

— Чего надо?— спросил он сердито.

Марат воровато положил трубку на место, подумав, что Сергей Федорович, очевидно, расстроен. Так оно в действительности и было. Дочь ревела, уткнувшись в колени отцу, плечи ее содрогались.

— Ой, так поздно, а ты еще не ужинал,— спохватилась наконец Нелли, глянув на часы, и помчалась в кухню.

— Ты, пап, на меня не сердись, от слез пятен не останется,— крикнула она оттуда.— Не сердись? Ну, иди, я тебя так сегодня накормлю, как только Егор Должиков кормит Костю, когда тот к нему приходит. А тебе Костя Должиков нравится?

— Токарь он с перспективой,— сказал отец.

— Может, мне за него замуж выйти?— осведомилась Нелли.

— Подожди, пока на шестой разряд выйдет, с четвертым ему жениться непрестижно.

— Папа, ты у меня самый-самый лучший!

— Это чем?

— Ну, вот простил, шутишь.

— А что мне остается?

— Побить.

— Не та эпоха. Вот в мою меня эффективно воспитывали, мать сырым полотенцем, а отец тонким ремешком, широким не так впечатается, как тонким — сразу ум сильно освежает.

Всю ночь Нелли писала гневные письма Лебедеву, писала и рвала, а затем стала сочинять стихи. Ну, и что? — утешала она себя. Сам парторг Зубцов сочиняет стихи. Стишки писать в связи со всеобщим средним образованием — вещь общедоступная. Только чтобы за душу слово хватало, его надо из своего сердца вырвать. Это надо уметь. Это могут немногие.

Но какими бы ни были ее стихи, сердце Нелли было переполнено возвышенным волнением и болью, и... жаждой любви к какому-то необычайному человеку, который принял сейчас облик Лебедева.

* * *

Егор Нилович Горохов, любя свою работу и переживая все связанное с нею, избегал переживаний, не имеющих прямого касательства к его делу.

Но с какого-то времени он вдруг почувствовал по отношению к себе не то что отчуждение, а нечто, подобное вежливому равнодушию со стороны бригады. Воспринял он это не с обидой, а с пониманием того, что в бригаде у людей складываются общие интересы по части производства, а значит, и вообще, по всем другим линиям — душевной, умственной.

Вместе с тем Горохов заметил, что к нему стали подбиваться те высокоразрядники, которые по разным соображениям уклонились от вступления в бригады. Никто их за это не упрекал, не презирал, но вместе с тем к ним относились сдержанно, как к людям, посторонним для бригадных интересов.

Существует земное притяжение, благодаря которому мы держимся на земле. Но есть и другое, межчеловеческое притяжение, и чем больше у людей взаимных интересов, тем сильнее оно действует. Бригады и есть вполне научное доказательство такой закономерности.

Чем больше народу уходило в бригады и начинало действовать как одна футбольная команда с единственным прицелом — на победу, тем сильнее охватывало чувство одиночества и беспокойства тех, кто оставался за их пределами.

Общаясь меж собой, высокоразрядники-сдельщики осторожно заводили разговор о делах в бригадах, с одной стороны, как бы сочувствуя им, а с другой — ища себе оправдание.

— Не поймешь в точности, что такое бригадир? — говорил один. — Не то начальство, как мастер, не то общественник. Если общественник, так это дело суетное, нервное. Начнешь сильно нажимать — не понравится, переизберут. Будешь угождать — на общем итоге плохо отразится. А если бригадир за все отвечает, то зачем нужен мастер? Бригадир, конечно, тоже начальство, но мастеру платят по должности, а бригадиру — сколько он наработает, как и другим. Выходит, выгоды никакой, одни только неприятности.

— А что считать в бригаде конечным продуктом? — интересовался другой. — Если каждую сработанную деталь, то это и на сдельщине так. Если всю машину, так машина не только от сборщиков зависит. Какая-нибудь бригада выпуск своего узла недовыполнит, всем другим бригадам страдать.

Третий сокрушался:

— А вот этот самый коэффициент трудового участия, что за штука? На сдельщине мастер дал наряд — расценка назначена. С чем не согласен, трясешь мастера, а то и начальника участка. А тут перед тобой вся бригада. Ты один, а их много, всех не переговоришь. Одно дело на начальство пожаловаться, другое — на своих. — И заключал: — Далеко еще в этом деле до полной ясности!

Егор Нилович не ввязывался в такие беседы. Молчал, слушал брезгливо, изредка вставлял реплики.

— Бригады, они в самом изначалии Советской власти родились как коллективистские подразделения пролетарского самоуправления и духа. А еще раньше бригадиром Петр Великий велел себя величать. Он хоть и царем служил, но был башковитый, взял Россию в ее средневековой затхлости в переделку. Если человек не хочет видеть нового, бессмысленно ему втолковывать, каким оно должно быть. В жизни ничего в точности не повторяется, то, что было правильно в одно время, не подходит для другого. Сдельщина была полезна против уравниловки, а бригада полезна тем, что человек в ней сможет всесторонне развернуться. Наше производство наукоемкое, и организация труда должна быть такой же. И когда все отладится, бригада покажет себя во всю мощь.

— А что ж ты в бригаду не вступаешь? — спросили Горохова с подковыркой.

— Что я? Я перед всеми теперь как свидетель обвинения против самого себя, первым не пошел, так и последним тоже не желаю,— сказал Егор Нилович и смутился.

Марат Должиков чистосердечно рассказал ему о всех трудностях в бригаде.

Что Марат считал нужным сохранить от сдельщины? Индивидуальный учет выработки каждого. Но это проще простого. Фокус в другом: какой премиальный расценкок положить «учителям» за «учеников»?

А если рабочий с высшей квалификацией не склонен и не способен обучать? Значит, в течение рабочего дня он даст большую выработку, чем другой рабочий той же квалификации, но обремененный заботой обучения отстающего? Или вот, высокоразрядник, не утруждая себя, тютелька в тютельку лишь выполняет норму, а другой с низшей квалификацией в полтора-два раза перевыполнил свою? А если токарь с высшей владеет еще несколькими специальностями? Встал, допустим, к зуборезному станку, выручил заболевшего товарища, но выработку на нем дал меньше, чем на своем токарном, как расценить его труд, когда другие по прямой своей специальности дали больше выработки, чем он?

Тут не арифметика, а алгебра требуется для учета объема и содержания труда и собственное терзание души вдобавок.

Ну, разве кто-нибудь станет из-за трешницы обижаться при сдельщине? Втихую пересчитал у кассы свою получку, и все. В бригаде дело совсем другое. Тут лишний рубль — не рубль, а публичный знак твоего рабочего достоинства. Поэтому недополучившие этот премиальный рубль считают это для себя личным оскорблением, при всем народе требуют объяснений, доказательств своей вины. То, что положено по тарифу, получают смирно, равнодушно, а вот премиальную надбавку по коэффициенту трудового участия всегда с самолюбием. И ошибиться тут нельзя, премиальный рубль должен быть чистым, честным, в высшей степени справедливым.

Конечно, сдельщики, прослышав про такие препирательства из-за рубля в бригадах, усмехались. Но зря. Премиальный рубль вмещает в себя много такого, чего в обыкновенном, бездушном, нет — ведь в него вложен не только труд, а самое высокое отношение человека к труду, и исчисляется он именно этим, как всякая публичная награда.

Плохо, когда люди начинают привыкать к хорошему, но еще хуже, когда к плохому приспосабливаются. Вот именно этого в бригадах не было. Сдельщик может взять невыгодный наряд, уговорив мастера сделать ему за это приписку. Сдельщик охотно потратит время, чтобы выбрать себе заготовки без наплывов, не думая о том, что другим придется затратить больше времени на их обработку.

Сдельщик держит излишний инструмент под замком в то время, когда другим его не хватает. Освоив производство какой-либо детали и достигнув в этом большой сноровки, он смиряет свой пыл, чтобы ему не повысили норму. Значит, может, но не хочет. А тем, кто хочет, но не может — не покажет, не поможет. Самый большой убыток от сдельщины — нравственный, моральный. У таких бывает совесть не то что грязная, скажем мягче — нечистая.

И если говорить о высшем назначении бригадного метода по единому наряду, то это и есть выращивание людей с чистой совестью. Верно, в бригадах, как ехидно подмечали небригадные, еще бывают «склоки». Но это не то что склоки, это скорее чистка людей на людях. Равноправное товарищество, обсуждая плохое, не унижает. Ибо унижение одного ложится укором на всех.

Марат, как и другие члены его бригады, считал, что это трудности начального периода. Так он говорил и Егору Ниловичу, что, мол, люди пока еще только друг к другу прилаживаются. При сдельщине главный спрос с человека — продукция, а тут еще спрашивают по душевной, по человеческой линиям. А такая нагрузка не всем по плечу.

С этим Егор Нилович сочувственно соглашался:

— И тебе трудно и тем, кому в душу лезут. Главное что? Качество выравнили, прогулов нет, браку тоже, межсменный простой сократился. Если и производительность труда поднялась, так это за счет тех, кому вы квалификацию подняли, они за теми, кто с высшей, тянутся, не желают быть их иждивенцами. Но главное, чего бойся — уравниловки. Она нам чуждая и вредная. Слабых-то вы до уровня подняли, а сильных? Может, они теперь у вас себя берегают? Вон как чемпионы по поднятию тяжести — запомнят взятый чемпионский вес и прибавляют по грамму. Им медаль на шею. А сил у них в запасе на килограммы. Значит, полностью свои возможности утаивают. Соображаешь, чего я имею в виду? Бригада — бригадой, но не все

в ней должны под одной крышкой находиться. Отличать лучших надо. И давать им возможность отличаться.

Марат возражал:

— С высшей квалификацией и так все время возвышали с полным к ним ото всех вниманием, а эти вот тысячи, словно рядовой состав, включая вновь прибывших, дотянутся до нормы — и весь с них спрос. А если и не тянут, то вылезает за счет лучших.

— А в бригадах будто не так? — усомнился Егор Нилович.

— Не так. В бригадах лучшие тянут худших, потому что от этого зависит их собственная получка. Тарифная за ними сохраняется, а вот общая сумма наградных выходит больше, из них и процент премиальных начисляется. Если нет в бригаде отстающих, она дает большую производительность.

— А если отстающие есть? Или прогульщики, пьяницы, тогда как? Ты вот поначалу самых сильных к себе собрал, использовал специализацию к их выгоде и завалил цех своими изделиями, а цех запоролся от бескомплектности.

— Исправились же, — досадливо напомнил Марат.

— Ну, по работе, допустим, у тебя препирательств нет. Но вот почему вы считаете, что каждого должны причесывать, а кого-то и против шерсти. На это есть завком, партком, комсомол, администрация. Они и воспитывают, спрашивают, взыскивают.

— А линия у нас у всех одна и на одно нацелена, чтобы всем стало лучше, если каждый станет лучше.

— Слова-то у тебя правильные, да аргументы слабые. Это что же получается? Вам надо спокойно сообща работать, а вы друг друга щучите, какая после этого может быть работа, какая притирка?

Марат улыбнулся:

— Знаешь, Егор Нилович, что на это дядька мне рассказывал? Коммунистам в прежние годы в членскую карточку памятку вкладывали, и на ней было написано: «Завоюй внимание и уважение к себе не должностью, которую ты занимаешь, а своей работой». Наша работа — не просто железки точить, а и себя так шлифовать, чтобы другие за тобой тянулись. Вот Евгений Потапович Лебедев как-то пожаловался: мол, его жизнь — сплошная бесконечная работа. Ему говорят: «А вы меньше нагружайте себя». Он и спрашивает: «Для чего же тогда жизнь?»

— Ну, Лебедев — мужик выдающийся!

— И ты заметь, вокруг него всегда народ, все что-то придумывают, изобретают. Он один никогда не бывает. А если люди вместе и делают общую работу, они всегда заметят, что с товарищем. В единодушии наша сила.

— Думаешь, этими словесами ты меня к стенке припер? Нет, извиняюсь, — взволновался Егор Нилович. — Скажи начистоту. У вас в бригаде что, полное единодушие? Уже, значит, вполне для коммунизма созрели?

Марат опустил голову, задумался и сипло сказал:

— Так, конечно, будет, должно быть. Но вот сегодня произошел такой случай. Бобров пожаловался, что Борис Фетисов у него без спросу взял заточенные им резцы, а вместо них положил свои затупленные и под них подложил рубль. За что, спрашивает, его Фетисов унизил? А Фетисов в ответ развязно и при всех: «Что тебе, шабашнику, рубля мало? На, возьми еще трешку!» — и кинул ему в лицо.

— Ну, и что ты порешил?

— Не я, а совет бригады. Во-первых, велели Фетисову трешку с полу поднять и положить ее себе в карман. Затем собрали у всех мелочь — по гривеннику, вручили ему эту мелочь и в соответствии с его же расценками дали задание — заточить шесть комплектов инструмента, не считая своего. Ну, Фетисов на дыбки. Мол, что за издевательство! Бобров вступился, говорит: «Ладно, я сам все комплекты заточу, у меня это ловчее других получается». Все знают, Бобров себя приниженным в бригаде чувствует оттого, что шабашничал прежде, любому послушный. А зуборезчик Прохоров вдруг говорит: «Может, Бобров по своей шабашной наклонности сам Фетисову за рубль взялся резцы заточить? А потом счел, что берет мало, и отказался с формом, чтобы себя чистеньким перед бригадой показать?» Бобров за лицо схватился, от спертого дыхания слова не может произнести. Тут Иван Ефимович Полозов добавил: мол, лично слышал, как Прохоров уговаривал Боброва помочь ему по ремонту квартиры, а тот отказался, говорит, зарок дал: на стороне ни-ни. И Прохоров ему пригрозил: я, мол, тебя еще на место поставлю. Вот в один день сколько дерьма хлебнули!

— Так как же порешили все-таки?

— По отношению к Фетисову решение совета бригады оставить в силе. Боброва просить производить заточку инструмента для всей бригады. Прохорову рекомендовать

перед Бобровым извиниться. Ивану Ефимовичу Полозову сделали замечание: должен был сразу вмешаться, а не приберегать такой факт к случаю.

— Ну что, справедливо! — одобрил Егор Нилович.

— Справедливо-то справедливо, но когда такое нюхнешь, душу себе свихнуть можно, расходились все, как оплеванные.

— А будь моя воля, — задумчиво произнес Егор Нилович, — я бы вашему совету бригады премию за человечность дал. Никто бы, кроме вас, так чутко не разобрался. Я Фетисова знаю, парень он заносчивый, вредный, и вы его правильно прищучили. Прохоров, конечно, мастер, ничего не скажешь, но вещелюб, каких мало. Сделал бы ему Бобров ремонт, выставил пол-литра, и все, а начини Бобров ерепениться, так пригрозил бы, что расскажет про его шабашничество. Зато теперь он знает, какой стороной себя перед бригадой обнаружил. Будет остерегаться в межсменку заказы на замки слесарить. — Вздохнул, добавил: — Значит, вот какая от вас еще имеется производительность? По линии зачистки совести. А что, КПД сильный, от такого лекарства даже безнадежные могут поправиться, — и добавил: — Задел ты меня, Марат Васильевич, сильно задел, больше, чем всякими твоими красивыми словами.

— Так, может, вступите? — оживился Марат.

— Нет, обожди, сейчас, когда вы на подъеме, гордость не позволяет.

На этом Марат и расстался с Егором Ниловичем.

Оставшись один, Егор Нилович Горохов испытал досадливое чувство: что я, как та баба с аптекарскими весами и с завязанными глазами, которая богиней для судей служила, все «за» и «против» взвешивала! Надо решать — и все!

Конечно, сейчас вокруг бригад шум большой — газетки, киношники, телевизионщики. Почитаешь, поглядишь, послушаешь — сплошное удовольствие в бригаде работать. И зря шумиху разводят. Почитают люди, слушают, поглядят — кинутся в бригаду, а там еще все не на ровном ходу, потряхивает. Начнут с ходу из бригады выскакивать. А дело это большое, отважное, можно сказать, по главному курсу жизни направленное. И сейчас, хотя оно еще полностью не отлажено, дает прирост по производительности и по сознательности человека. Но пока получается, что в бригаде-то умом копошатся, допытываются,

как получше отладиться по-новому, а вся заводская служебная часть по-старинному мыслит, по усвоенной манере руководства.

Чтобы в гору подняться, надо, чтобы все колеса машины были ведущими, пока же получается, административные колеса на прежней малой скорости крутятся, а бригадные жмут, на полный оборот подпирают. Бригады что требуют? Долговременный твердый план-заказ и его неколебимое обеспечение. А он у всего завода плавающий. Вот и не получается с бригадами надежного стыкования: мало того, что внутри бригад конфликты, так еще и администрация добавляет, бригадный наряд тормозит, ибо к нему не подготовлена. И пошла с обеих сторон нервотрепка. Я человек впечатлительный, от переживаний могу так расстроиться, что от работы удовольствие потеряю. А тогда кто я им? Обыкновенный токарь-середняк. Я же себя и дома и на работе оберегаю от излишних, посторонних для дела волнений. Потому и показываю класс, что весь в работе. Значит, в бригаде могу со своей вышки сорваться, а забирался я на нее не один десяток лет.

Марату я нужен для вывески, это понятно. Чтобы таким манером на других высокоразрядников воздействовать. Только почему он со мной так осторожничают? Этого я понять не могу. Когда дело интересов завода касается, тут он всегда твердый. Почему же он со мной нежничает, я ведь по глазам вижу — не терпится ему меня склонить.

Все это обдумывал Егор Нилович по пути к дому, не бодро шагая, как всегда, а волоча уныло ноги, что свидетельствовало о тяжком бремени забот. Знал он, что и дома ему отдыха не будет от нерешенного вопроса — идти в бригаду или нет.

Марата Должикова, в свою очередь, тоже одолевали мысли о Горохове. Горохов не просто высокоразрядник, у него — талант. То есть умение постоянно вкладывать в технологию что-то новое. И не столько для того, чтобы ускорить, облегчить работу, а потому, что иначе работать было ему просто неинтересно. И когда его за это хвалили, он, потупившись, объяснял:

— Вот прочел, в мире каждые тридцать секунд появляются новые достижения в области техники, а я за свои восемь часов тоже обязан что-нибудь в общий котел подкинуть, хотя бы по мелочи.

Марат отлично понимал, что упорство Горохова отрицательно действует на людей, еще колеблющихся, всту-

пать или не вступать в бригаду. После каждого их разговора люди смотрят на Марата выжидающе, а кое-кто и осуждающе: не может уговорить? Да, не может!

Усевшись в «Жигули», Марат включил приемник. «Из одинаковых по весу куриных яиц, — услышал он голос птицевода, — мы сформировали одинаковые группы цыплят, в которых сильные не подавляют слабых...»

Марат послушал, усмехнулся — тоже мне творец шаблонноусредненного... Вспомнил, как уговаривал бригаду принять Боброва, ссылаясь на то, что если он окажется слабаком, то бригада вытянет его. Переключил волну и услышал сильный голос певца — «Я смычок, а ты, как скрипка, вопли страсти издаешь...». Марат резко выключил приемник, подумал: если б дед услышал такое, наверняка досадливо заявил бы: «Во, на западную волну напоролся».

Марат вспомнил, как бригада, узнав, что вновь принятый зенковщик Сахаров уклоняется от уплаты алиментов, порешила: пусть уходит на сдельную. Если он своего ребенка не пожалел, то завтра и у нас чего-нибудь схимичит да смухлюет. Решить-то решили, но некоторых это настояжило: влезание-де в личную жизнь. Прохоров, по своей привычке разжигать конфликты, заявил:

— А мы тут не школьники, чтобы нам сопلي вытирали и руки мыть посылали. По работе что — пожалуйста. А по личной жизни — извиняюсь. Тоже нашлись общественники! Каждого умыть, отглаживать. Бригада не интернат. Пришел домой — и все, не ваше дело!

Нашлись и такие, которые поощрительно улыбались, когда говорил Прохоров.

— Чего зубы скалите? — глядя на них, грубо крикнул Полозов. — У кого совести нет, тот не человек, а только наружная видимость человека. Ты вот, — гневно обратился к Прохорову, — с двумя разными половинками! Одна для себя, другая для других. На двоедушие у нас себе право не выхлопывай, это тебе может боком выйти.

Конечно, многие сдельщики, узнав такое, призадумались: стоит ли вступать в бригаду, может, лучше воздержаться?

Задумывался и Марат, не повредит ли репутации бригады подобная нетерпимость. Но столкновения возникали помимо его воли.

Каждое такое столкновение не походило на предыдущее и выявляло болезненные точки духовной жизни чело-

века. которые нельзя было исцелить без доверия к нему и желания понять и быть понятым.

Обрести доверие человека трудно, но еще труднее сказать человеку жесткую правду, не унижая его, ибо он и так себя унижил, совершив скверный поступок.

В семействе Дожикиковых заведен был обычай: того, кто совершал плохое, на семейном совете подвергать неукоснительной и строгой чистке. Но на то имелось родственное право, право семейной чести. И одно дело — трясти за душу на семейном совете, другое — на совете бригады, когда и по работе у людей накапливается немало разных упущений. Марат заметил, что обычно виновный нетерпеливо торопит с мерой взыскания. Почему? Да потому, что ему тяжелее вынести товарищеское участие, чем наказание. Даже если он этого не показывает, держится высокомерно-заносчиво, или, напротив, с проничным равнодушием. Все эти маски сползают по мере того, как обсуждение проступка принимает характер тревожного беспокойства за судьбу виноватого. Чем более вызываяще он держится, тем сильнее у людей боль за него, и его уже начинают обсуждать, так, словно его тут и нет, и члены бригады ссутуют, обращаются к себе с упреком, почему проглядели и в чем доля их собственной вины.

Случалось, что обсуждаемый вдруг взволнованно начал выступать как свидетель обвинения против самого себя, да такое выкладывать, что и предположить было невозможно. И тогда члены совета бригады расходились еще более взволнованные, озабоченные, не наложив на него взыскания. Да и зачем оно нужно, если человек сам все понял.

Но бывали и такие, кто с полным самообладанием выслушивал упреки, сочувственно кивал, будто все понял. А кончится обсуждение, признается: «Ну, сняли коэффициент трудового участия. Подумаешь?! Тарифная-то остается. Тут всех ваших пастей не хватит, чтобы от нее кус откусить. Не положено». Да еще бойко пояснит: «Я на деньги не жадный. Тарифной мне достаточно.— И добавит:— У меня жена директор магазина. Так что хватает».

Ну, чем пронять такого?

А ведь Марат нашел. Приставили решением бригады к этому пожилому счастливчику молодого паренька наставником. Ему только-только за старательность третий разряд присвоили.

Счастливец обиженно ныл, ныл, но, чтоб от молодого наставника отделаться, пришлось свой высокий класс показать.

И самому Марату от бригады сильно доставалось. Произошло это в ту пору, когда Марат Васильевич Должиков собрал под свое широкое крыло могучую дружину из отборных высокоразрядников.

Выбрали одну на всех деталь и показали на ней свои способности. На наивысшую производительность. Заработки у всех подскочили, пришла слава: печать, радио, кино общим хором дружно восхваляли бригаду Должикова, и, чего греха таить, сам Марат наслаждался такой стремительно приобретенной известностью.

И вот однажды пришел к Марату начальник цеха Серегин.

— У тебя совесть есть? — спросил.

— Даже с запасом, — самоуверенно ответил Должиков.

Серегин кивнул на груды изготовленных бригадой деталей, сурово произнес:

— Если судить по этому, она у тебя иссякла.

— Браку не имеем, — насторожился Марат.

— В изделиях — да, а вот здесь, — Серегин приложил руки к груди, — брачок завелся.

Марат понял, сказал вызывающе:

— Вы начальник, вы и отменяйте нашу с вами договоренность.

— Я уже директору про такое ваше хитроумное, но бесполезное ухарство доложил. Анатолий Кузьмич не знает, что с вами делать. С одной стороны, от вас всему заводу слава, с другой — в цеху завал ваших изделий образовался, других-то для комплекта не хватает.

— Ну, вот сами и отменяйте договоренность с бригадой, — повторил Марат.

— Ты же все понимаешь, Марат Васильевич, только не хочешь повредить своему авторитету. Боишься. Ну, если бригадир трусит, тогда я возьму все на себя, а ты ходи чистенький, хотя такая чистота сомнительна.

— Ладно, — сказал жестко Марат, — поговорю с бригадой.

Тут и началось:

— Мы что, рвачи?!

— Ни одного прогула, внутрисменный простой к самой тютельке свели. Все изделия с первого предъявления, и ни одного бракованного, а нас за это осаживают?!

— Пусть другие бригады за нами тянутся, не нам же к ним подлаживаться.

— И ты, Марат Васильевич, хорош! Что же нам, идти на попятную? От своих высших показателей производительности отказываться, раз другие за нами не поспевают?

— Мы передовики, чего же нам озиаться и по чужому заду равняться!

Марат растерялся. Приказать нельзя, а убедить не может. И тут Шишигин, подслеповато морщась, протирая очки, тихо, но внятно спросил:

— Мужики, а у кого из нас на сдельщине получка выше, чем сейчас, была? Я что-то не припомню. — И смолк выжидающе. — Вот то-то и оно! Не было! Но... — Шишигин надел очки, с упреком оглядел людей, сказал со вздохом: — Специализация у нас липовая. Собрались специалисты с высшей квалификацией, и так ее унизить — одну-единственную деталь точить! Комплект, узел — это еще понятно, но чтоб одну деталь! Это же очковтирательство! И разве вы не знаете, что мы с вами весь цех обобрали? А про нас трезвон в печати подняли. На других заводах теперь тоже будут с высшей квалификацией в кучу собираться. Так вот, надо нам самим по-честному признаться, что не по тому пути пошли. — Повернулся к Должикову, сказал: — А ты, Марат Васильевич, не с того конца разговор начал. Сначала обидел, а уж потом только стал правильную перспективу рисовать, разволновал людей, а успокоить не смог.

Но ведь исправленному трудно верить. В бригады, ставшие комплексными, пришли новые люди, но со старыми замашками сдельщиков, да, случалось, и с квалификацией недостаточной. Правда, обучить их было легче, чем привить дух коллективизма, основанный на доверии, взаимоуважении и повышенной требовательности к человеку. Поэтому первое время на советах бригады больше доводилось обсуждать то, что касалось человека, а не его работы.

Ведь бригада — это не только целесообразная форма организации труда, но и школа воспитания чувств. Нетерпимость к плохому не должна перерасти в нетерпимость к человеку.

Тут-то Марат не раз ошибался и больно ушибался. Взять хоть историю с Фетисовым.

Фетисова в бригаде недолюбливали за заносчивость, высокомерие и какую-то потаенную ожесточенность, и поэтому, когда рассматривали два заявления на жилпло-

щадь — Фетисова и Шишигина, все, в том числе и Должиков, проголосовали за Шишигина.

Но спустя несколько дней Шишигин вернул ордер, сказал смущенно: «Отдайте Фетисову, а я погожу».

Марат стал допытываться. Оказалось, отец Фетисова разошелся с его матерью. Фетисов же с больной матерью в одной комнате, а отец — с новой женой — в другой. Поэтому Фетисов и пошел на завод рабочим, имея высшее образование, чтобы получить жилье. Сказать об этом он стыдился, а, имея нормальную двадцатидвухметровку, просить жилье через райсовет — дело безнадежное.

Работал он хорошо, дело знал, но, измученный домашней обстановкой, униженный обманом отца, когда-то любимого, а теперь ненавистного, он проникся недоверием к людям, не решаясь никому поведать о своей беде.

Шишигин, получив ордер на площадь, все-таки решил проверить, справедливо ли поступила бригада, и пошел навестить Фетисова. И все узнал.

Марат, посоветовавшись с бригадой, переписал ордер на Фетисова. В конце смены Марат подошел к Фетисову, протянул ему ордер, сказал:

— По единодушному решению бригады — тебе!

Фетисов побледнел, хрипло произнес:

— Подачек не принимаю,— повернулся и пошел торопливо, споткнулся о тележку, упал.— Все вы хороши,— сказал подбежавшему Марату. И заплакал, но, должно быть, не от боли, а совсем от другого.

На следующий день он на работу не пришел. Марат оформил прогул отгулом. Еще через день Фетисов явился к началу смены, протянул Марату заявление об уходе. Марат молча порвал заявление.

На следующее утро Шишигин сообщил Марату:

— Перевез вчера в новую квартиру фетисовскую мамашу вместе с имуществом. С конторой перевозки я для себя договорился, но позвонил, что, мол, надо по другому адресу.— Шишигин довольно потер руки.

— Приглашаем с мамой вас на новоселье,— заявил Фетисов, обращаясь ко всей бригаде, и лицо его было совсем иным, чем всегда,— застенчиво-счастливым.

Марат на новоселье не пошел, чувствуя свою вину и полагая, что Фетисову он будет неприятен.

А новоселье получилось удивительное, бригада заметно сплотилась. Долгое время люди не прощали Марату Фетисова.

И еще раз тогда Марат убедился, какой чуткий организм бригада. Чуть неверно ступишь, и все становятся за одного, обиженного. Разные люди в бригаде, есть получше, есть похуже, но все они твердо убеждены, что бригадир должен быть лучше всех.

А что бригадир? Он, в сущности, безвозмездно берет на себя ответственность за сложный коллектив, делит все заботы с мастером наравне: хлопочет насчет обеспечения заготовками и инструментом, следит за состоянием станков, оборудования, обязан думать о внедрении нового, о перспективах, ради которых люди и идут в бригады, мирятся с неполадками, недостатками, с тем, что додумывается на ходу. А от первичной организации — бригады — пора уже переходить к более сложной, комплексной, и дальше, к сквозной, с многочисленным коллективом. И все это не только в интересах производства, а в интересах человекостроительства. И при этом бригадир должен быть впереди по мастерству, квалификации, по выполнению высоких норм выработки и безупречного ее качества. И самое главное — обладать душевным талантом, чтобы не ошибиться в людях и своей ошибкой не испортить им радость от работы и жизни.

Когда все проходило удачно, Марат возносился до небес, когда не ладилось, казалось ему, — падал ниже всех. Одно ободряло его, другое угнетало. Говорят, без умения властвовать собой человек не может руководить другими. Но сердце человеческое чутко. Тех, кто с мучениями одолевает самого себя, любят, а тех, кто достиг самообладания, уважают.

Марата, несмотря на все его промахи, любили. Любили за то, что он, не таясь от людей, переживает свои ошибки, не думая о своем бригадирском авторитете, что он открыт для других и понятен. Это бригада ценила в нем больше всего.

И вот наступило трудное для Марата время. Бригада превратилась в комплексную. Конечной мерой труда и оплаты за него стали узлы и комплекты к ним. Заработок заметно снизился. Причины Марату были ясны. Некоторые высокоразрядники снизили свою производительность, и все же по мере того, как рабочие средней и даже низшей квалификации повышали свое умение и старание, заработок стал повышаться. И тут Марат на совете бригады дал бой высокоразрядникам, имевшим устойчивое вознаграждение. Он предложил на совете определять премиальные,

исходя из коэффициента трудового участия. По кривым усмешкам высокоразрядников Марат понял, что его предложение не пришлось им по душе, что они уйдут из бригады.

И тут вновь вмешался Шишигин, хотя сам он по-прежнему нормы перевыполнял.

— Рубль не палка, — сердито сказал Шишигин. — Погонять им толку мало, а вреда много — можно и оскорбить. Ты, Марат Васильевич, погляди, на кого и ради кого заманиваешься, — указал на вновь принятых. — Эти все еще ученики, а эти, — Шишигин повел в сторону высокоразрядников, — профессора своего дела. Их почитать и уважать надо. На таком приеме ничему полезному не выучишь, только мастеров перестанут уважать. — И сел, утираясь платком, довольный тем, что так отважно заступился за своих, равных ему в мастерстве.

Марат спросил:

— А сами-то они себя уважают? Наш фонд премий возрос не от их усердия, а они от чужого труда прибавку получают, из общего котла. Это по совести?

— Ты тут уравниловку не гни, — грозно предупредил Шишигин.

— Справедливость не уравниловка. По труду честь, по труду и оплата. Премияльные — это награда, а не тарифные.

— Ты нам сомнительные формулировки не подсовывай, — вновь сказал Шишигин.

И тут встал Борис Фетисов.

— Шишигин для меня образец как мастер и человек. — Лицо Фетисова покрылось от волнения красными пятнами. — Прохоров одинаково уговаривал и его, и меня — не жмите, мол, через меру. Что ему Шишигин ответил? Послал подальше, и я тоже. Что же он сейчас занял такую неверную позицию?

— А ты молчи, — взъерился Шишигин, — ты кто сам в нашем коллективе был? Хоть кому инструментом одолжение сделал? Напротив, у Боброва хапнул. Хорош гусь.

Шишигин и не ожидал, что этими словами ополчит против себя всех, даже тех, за кого заступался, и поэтому значительно облегчит Марату задачу убедить высокоразрядников не устраивать себе отдыха, сев на тариф.

Но и к Фетисову отношение коллектива испортилось. Мол, отблагодарил Шишигина за его самоотверженность!

И тут, чтобы разрядить обстановку, Марат спросил:

— Хотите, про один фронтовой случай расскажу?

— Валяй, — ответили ему неохотно. Но Марат не смутился:

— Раз воздушная разведка сообщила, что обнаружила батарею противника, и дала координаты. Ну, выкатили мы орудия и дали такой сокрушающий огонь, что все там в клочья разнесли. И сразу же нарисовали на своих оружейных щитах звезды, по числу засеченных воздушной разведкой и сокрушенных нами орудий. А командир батареи, как ему положено, за передним краем сидел затаенно и оттуда нашим огнем управлял. Вдруг слышит с ничейной полосы стоны. Офицер был отважный, никому поручать не стал, сам пополз туда, откуда стоны слышались, и приволок на себе оттуда обеспамятевшего раненого бойца из разведроты. Оказали ему помощь, принесли в санбат. Там он очнулся и просит вызвать к себе командира нашей батареи. Тот пришел, думая, что боец станет его благодарить как своего спасителя. А боец, еле языком ворочая, шенчет: «Товарищ комбат, батарея, по которой вы били, ложная, я хотел предупредить, да не дополз, стеганули они по мне из крупнокалиберного пулемета. Лежу и плачу, так наших снарядов жаль». Ну что ж, пришлось нам стирать звездочки. Не будь этого бойца, напоролись бы наши бойцы на оружейную засаду, замаскированную невдалеке от этой, фальшивой. Так вы что думаете, наш комбат на этого бойца обиделся? Нет, обнял, поблагодарил, хотя ему сверху выговор вlepили за зря потраченный боезапас. — Марат посмотрел на расстроенного Шишигина, спросил: — Дошло?

Тот ничего не ответил, сердито отвернулся. Уходя, подошел к Фетисову.

— Борь, закурить есть? — И затянулся его сигаретой...

Из всего этого Марат сделал вывод: надо поменьше стегать формулировками, а побольше вникать в умонастроения людей. От малейшего промаха они могут повернуться обратной стороной вместо сердечности и доверия.

Наука эта давалась Марату нелегко, требовала огромного нервного напряжения, наблюдательности, способности чувствовать другого, как самого себя. Поэтому, приходя домой, он долго не мог заснуть, растревоженный дневными переживаниями. Он вновь и вновь прокручивал то, что было, искал ошибки, мысленно их исправлял. Какие расценки полагаются за такую мучительную работу мысли?

Как-то Эльза сочувственно посоветовала Марату:

— Ты побольше читай классиков, Чехова, Достоевского, они так глубоко проникли во все тайники души человека. Тебе это будет полезно.

Марат уныло ответил:

— У них там люди сильно страдают от несправедливого устройства жизни, к нам неприменимо. Вот Прохоров у нас, в общем-то, тип отрицательный, а с Бобровым — тоже тип — на чем сдружились? В подвале дома ребяташкам на свои деньги слесарную мастерскую оборудовали. Заходил посмотреть, ознакомиться. Ребята их до небес превозносят. А я-то думал: отчего один перестал собачиться, а другой вроде как плечи расправил? Считал, что благотворно бригада влияет, а на них вон с какой стороны теплым ветром подуло. И ведь оба скрывали. — Задумчиво произнес: — И почему люди хорошего в себе стесняются? Непонятно. Может, оттого, что исправил вот человек свои ошибки, а доказать не умеет, что исправленному надо верить. А ничто человека так не окрыляет, как доверие.

Эльза сказала, загадочно улыбаясь:

— А ко мне Нелли приходила, сообщила, что тебя уже не любит, но не исключено, что еще передумает.

— Это почему же? — машинально произнес Марат.

— Любит? Не любит? Или зачем сказала?

— Ну, все вместе, — смутился Марат.

— Она хорошая, — заступилась Эльза. — Но ей не хватает в жизни драматических переживаний.

— А зачем? — спросил Марат.

— Испытать себя.

— Вот дуреха.

— Так нельзя говорить, Марат, — упрекнула Эльза.

— Почему?

— Потому что она считает, что настоящая любовь, как у нас с тобой, рождается в испытаниях. Молодая она еще очень.

— Так чего лезет?

— Она не лезет. Она объяснила мне, что полюбила тебя не такого, какой ты есть, а какого я тебя полюбила.

— Таким ребусам я не отгадчик.

— Вот за это-то она и решила тебя разлюбить.

— Ну и правильно! — одобрил Марат.

Марат подошел к Эльзе, обнял, прижал голову к груди и, вдыхая запах ее волос, напомнил:

— Когда мы с тобой встретились, ты была коротко острижена, и волосы у тебя были мягкие, как у голубой норки.

— Голубой? — Эльза задумалась. — Понимаю. Я же поседела.

— У нас в КБ инженер есть, тоже поседел, недобрав двадцати лет.

— От того же?

— Да.

— Я спросила Нелли: «Ты видела фильм «Дама с собачкой»?» Она сказала: «Видела. А после фильма снова повесть перечла». Ты понял?

Марат пожал плечами.

— Ее визит в духе Чехова. Хочешь, я снова постригусь? — внезапно спросила она. — Только теперь по собственному желанию, вернее, для тебя.

— Хочу! — пылко сказал Марат, но тут же осекся: — Нет, не надо, тебе будет тяжело снова видеть себя такой.

— Какой ты у меня хороший, — прошептала Эльза.

И вот Эльза уехала. Марат, как и Егор Семенович, перелазил из спальни на кухню, мостился на коротком диванчике. Каждая Эльзина вещь вызывала у него тоску и нетерпеливую жажду скорее увидеть Эльзу. Многие стали примечать, что Марат Должииков все больше стал походить на своего деда Фому. Только дочь скрашивала его томительные домашние вечера. Не то чтобы она уделяла ему много времени, нет, вечно она куда-то спешила, бежала, а просто сознание, что она рядом, спит в соседней комнате, успокаивало его.

Тоненькая, невысокого роста, крупноглазая, благодаря своему пропорциональному телосложению она казалась даже высокой, когда никто не стоял рядом. Как-то глядя на себя в зеркало, она заявила:

— Знаешь, по-моему, древнегреческие ваятели изображали людей не такими, какими они были, а такими, о каких они мечтали, какими люди могли бы быть.

Марат согласился:

— Пожалуй. Только в Древней Греции одни были замучены, как скотина, а другие жирели за их счет. Ваяли идеального человека. Об этом еще Маркс говорил.

Октябрина улыбнулась:

— Ишь какой ты у меня образованный. Только идеал-то всем нужен, и к нему надо стремиться.

— Конечно, если не стремиться, на черта он нужен?

— Он должен быть недостигаемо далек. Кажется, приближаешься, а нет!

— Тут я не согласен,— заявил Марат.— По-моему, так: достигни идеала, а потом давай следующий, на ступеньку выше.

— Как у вас с плановыми заданиями,— улыбнулась дочь.

— Ну, не так, как сейчас, а так, как должно бы быть,— нахмурился Марат и пояснил:— Надо, чтобы план был неукоснительно твердым и материально обеспеченным. Чтобы и завод и цех имели свой годовой подряд, и бригады тоже.

— И это твой высший идеал?— усмехнулась Октябрина.

— Не мой, а всех,— сухо сказал Марат.— Тогда мы бы за одну пятилетку рванули больше, чем за все предыдущие.

— Знаешь,— жалобно вдруг произнесла Октябрина,— я так соскучилась по маме.

— Я тоже,— буркнул Марат.

— Ты о ней скучаешь?

— Скучать мне некогда,— возразил Марат,— а вот прихожу домой, и все равно как в одиночке.

— Ну, я же с тобой!

— Есть такое в наличности,— улыбнулся Марат и погладил дочь по голове. Октябрина была коротко острижена, точь-в-точь как мать, когда Марат впервые увидел ее. Отец осторожно осведомился:

— Ну, и как идут твои дела?

— Моя обязанность,— гордо заявила Октябрина,— помочь людям продлевать жизнь, сохранять здоровье, и я этим занимаюсь.

— Ишь ты, какая фея,— усмехнулся Марат.

— Люди должны и могут жить дольше. Физическая культура предупреждает болезнь, преждевременную старость. Так что можно считать, что я занимаюсь продлением человеческой жизни.

— Ты вот деду про свою специальность расскажи, это подтвердит его теорию, что социализм каждому в мирное время не менее пяти дополнительных лет жизни подарил.

— Папа,— внезапно сказала дочь.— Я решила выйти замуж.

— За кого же?— встревожился Марат.

— Еще не знаю. Но принципиально считаю, что пока я в хорошей физической форме, я должна родить ребенка.

— Ты что, сдурела? Это для животных правило, а не для человека, — возмутился Марат.

— Люди тоже должны рожать здоровых детей. Разве это не разумно?

Марат подозрительно поглядел на дочь:

— А может, ты уже?

— Никакого уже! — гневно воскликнула Октябрьина.

Марат облегченно вздохнул.

— А я было перепугался.

— Чего? Того, что я могла оказаться беременной?

— Ну, не этого, — соврал Марат. — Просто матерям-одиночкам всегда психологически трудно приспособиться к такому положению. Мы, правда, стараемся, выделили на заводе специальное общежитие, всем отдельные комнаты и клуб при общежитии, чтобы они могли по выходным приглашать гостей. В общем, содействуем образованию семей, но все-таки...

Октябрьина рассмеялась:

— Ну, теперь я знаю, что мне делать и куда обращаться в случае чего.

— Октябрьина! Ты мне тут не темни! Выкладывай все начистоту.

Дочь как-то сразу сникла. Тихо, запинаясь, проговорила:

— Мне кажется, папа, я так думаю... возможно, я уступлю себя одному человеку. Я люблю его, и он меня любит, но замуж я за него не пойду. Мне не хватит мужества выйти за него замуж.

— Кто же он такой? Говори, не виляй.

— Ну, помнишь того студента, который меня спас?..

— Еще бы. Только вот никак не познакомишь нас. Как он? Вышел из больницы?

Октябрьина лицом уткнулась отцу в грудь. Плечи ее задрожали.

— Ну, что ты, дочка, что случилось?

— Он ослеп, понимаешь? Ослеп, из-за меня!

— Из-за этого ты на себя такое обязательство наложила... — горько сказал отец. — Он парень геройский, но что же, без любви — в постель?!

— Нет, я его люблю, — прошептала Октябрьина.

— Так в чем же дело?

— Он не хочет на мне жениться, говорит, что не нужно в жалости.

— Что же, жалеть человека — это стыдно?

— Он гордый!

— А при чем здесь мужество? При чем ребенок?

— Ну, это так, на всякий случай, чтобы вас с мамой подготовить.

— Так у тебя с ним уже что-нибудь было?

— Нет.

— Ну, вот что, значит, так,— сурово произнес Марат.— Матери ты пока про такое не пиши. Сначала сама во всем разберись. Потом мне доложишь.— Помолчал, вспоминая.— Когда я в госпитале на ремонте находился, там тоже такое случалось. Без ног или без рук солдат не желал в таком положении домой, к жене возвращаться, из недоверия, что жизнь сладится. Одни были правы в своем решении, другие — нет. Так что твой случай не новый.— Усмехнулся.— А этот твой студент мне симпатичен, особенно тем, что от тебя отказывается. Ну, далее сама решай.— Марат легонько обнял дочь за плечи.— А теперь давай питаться. А то я без матери на сухом пайке живу, не так, как Егор, который мастер кулинарить.— Он снова погладил дочь по голове.— Волосы у тебя хорошие, нежные, мягкие, Эльзины, и прическа, как у нее была. Мы-то с ней с маху поженились, без всякой подготовки. Полюбились, значит, и все дела.

* * *

Замечено, что чем мастеровитей человек, тем отрешеннее он отдается делу. Посторонним мыслям тут становится тесно, а посторонние разговоры — и вовсе контрабанда! Лица в этот момент хмурые, самоуглубленные, а взгляд напряженный, как у снайпера.

В конце смены или в обеденный перерыв они не сразу останавливают станок, а, словно очнувшись, недоуменно озираются, оглядывая незавершенную работу. Потом, неохотно отходя от станка, они лениво перебрасываются фразами, словечками, не относящимися прямо к делу.

— Эх, выходной без дела,— серая скука, а не отдых,— говорит один.

— А я жду не дождусь, скорей бы на рыбалку,— отвечает другой.

— Не уважаю тех, кто говорит быстрее, чем думает, — сердито замечает третий.

— Верно, — соглашается кто-то. — Глаз видит одно, а язык мелет другое.

— Наш-то, он к людям пристальный, умеет просветить человека, где у него черное, где у него белое.

— Кто не хочет видеть, тому очки не помогут.

— Верно. Для прозрения не обязательно хорошее зрение.

— Врет, а получается вроде правдиво.

— Я его деликатно обозвал не сивым меринном, а серым.

— Кто умом слабоват, от того чуткости не жди.

— Если честно и чисто думаешь, то и плохого поступка не совершишь.

— Он себя стыдиться не умеет.

— Тип, пьет воду из бачка и осматривается, где закуска.

— А за отсутствием хвоста языком виляет.

— Вот Егорова нет, слова его никудышные позабыли, а хорошие дела все помнят. Для него и будни праздниками были, а не только выходные.

— Есть и такие, у кого хорошая память на плохое и скверная на хорошее.

— Припудривать плохое тоже нечего.

— Наш и при большом начальстве заметный.

— А этот привык к тому, что его все воспитывают, в завкоме для него специальных няnek держат.

— Единственное, чем может он блистать, так это лысиной.

— Ему самый лучший начальник тот, который любит давать указания, — в случае чего можно на него и свою вину свалить.

— А этот только тогда доволен, когда другой недоволен.

— Хоть его холь, хоть лелей, а все равно укусит.

— Самые деспотичные — те, кто запрещают другим то, что сами не могут сделать. Но наш-то мужичок вездесущий, всезнающий.

— Близорукого начальника не выручит дальнорезкий заместитель.

— У этого совесть чиста потому, что он ею не пользуется.

— А я свои недостатки не скрываю, но они у меня неинтересные.

— Главное не то, чего ты уже достиг, а то, чего достичь желаешь.

— Если все на завтра откладывать, не заметишь, как жизнь пройдет. То, что положено на завтра, ты сегодня сделай. Это и есть передовик.

— Не длинная жизнь мера человеку, а та высота в ней, на которую он смог подняться.

— Не человек, а исполняющий обязанности человека.

— Бывает, и группа крови одна, да сознательность разная.

— А вот исчерпает предел нашего доверия, кто он тогда? Прищип, и все.

— Для нашего главное удовольствие — в самоповешшую технику чего-нибудь свое запихнуть, улучшить.

— У него высшая инстанция — жена.

— А ты что, не невольник своей?

— За бесстыдство тоже стыдно бывает.

— Больше он у нас морального кредита не имеет.

— Все изобретатели — великомученики.

— Ума не хватает, чтобы говорить просто.

— Чего там. Инвалид умственного труда, и все.

— Если атомками начнут швыряться, пожарные команды отдыхать могут — не потребуются.

— А все-таки против всего человечества не попрешь, обожжешься.

Все эти реплики, вразброд да вперекидочку, рождались из потребности человека разрядиться после трудового дня. Но и течение дня невольно отражалось в этих досужих разговорах. Гнев, ярость, возмущение, обида, горечь и другие чувства, сопутствующие обычно делу, воплощались в слове, которое порой и огласить нельзя. Пожалуй, и в типографском наборе оно расплавилось бы от высокой температуры. Такое слово, соскочившее с языка, бывает, действует вроде предохранителя при замыкании в сети.

А кто обязан предотвратить, быстрее всего устранить любые неполадки? Бригадир! Но он тоже человек. Легко ли ему сохранять выдержку и хладнокровие, когда у самого на душе — буря.

Как часто, чтобы успокоить всех и каждого в своей бригаде, ему приходится подставлять себя под упреки, возмущение, негодование, становиться добровольной мишенью и при этом сдерживаться, не отвечать на грубость

грубостью, на несправедливое обвинение — обвинением. А ведь в бригаде пока не все еще слажено-налажено, хотя, как жизненная сила растения пробивает асфальт, так и бригада — косность. Бригада — враг всякой мертвечине: равнодушию, вялости, утихомиренности и безынициативности, стремлению затратить труда поменьше, а получить побольше, усыпляющему качанию на привычном валу. Бригада — враг того, чтобы освоенную продукцию считать неиссякающим, хоть и мутным потоком, который хорошо питает производителей, но отвращает потребителя.

Случается иногда и такое: бригада, как боевое подразделение, находится в боевой готовности, а командный состав еще только наматывает портянки. На фронте бы такого, конечно, не потерпели. А вот на гражданке водится. В бригадах люди уже постигли высшие формы организации коллективного труда, а администрация еще работает по старинке, не готова к новому. Бригадир не смог бы быть бригадиром, если бы заранее не знал, на что в его бригаде способен один и не способен другой, если бы не мог привести во взаимодействие и людей и станки. Словом, он должен рассчитать, как командир, все огневые средства боя по заранее назначенным целям. Назначенной целью и одновременно главнокомандующим здесь становится план, долговременный и твердо обеспеченный.

Как нельзя воевать без обеспечения боеприпасами, так нельзя работать без своевременного обеспечения заготовками.

При сдельщине что дают, то и делаешь, а не дали — можно отсидеться на тарифе. В бригаде не так. Труд здесь итожится в окончательном изделии. И если каких-либо заготовок не хватает, беспокоится не один, а все. И, конечно, бригадир в первую очередь. Ведь кого прежде всего атакуют? Бригадира!

Марату надо было заскочить в заготовительный цех и упросить, чтобы бригаду обеспечили недостающими отливками и поковкой. А так как в заготовительном цехе бригады еще не сформировались и цех работал без учета всех потребностей механического цеха, это становилось порой невыполнимой задачей.

Марат похудел, скулы обозначились еще более резко, сон стал плохой, но он упорно старался держать себя в форме: на рассвете занимался зарядкой, затем кряхтел под ледяным душем и, наспех перекусив, захватив с собой толстенную книгу всевозможных записей, шел на завод

пешком не столько для моциона, сколько чтобы подумать — известно, что на ходу лучше думается.

По себе Марат знал: человек не так устает от работы, как от беспорядка. Придет на работу и думает, как бы ему запасть заготовками, инструментом. А дисциплина, она не только в том заключается, чтобы безропотно выслушивать всякое замечание начальника. Она в том прежде всего сказывается, что рабочий прочно осознает себя в деле ведущим колесом. Дисциплина — это и экономия сил всей бригады. Один не вышел на работу, другим приходится его выработку на себя брать, так что прогульщик — все равно что дезертир.

У бригадира же должен быть зоркий глаз как на прогульщиков, так и на передовиков. Если кто для себя новое приспособление придумал, бригадир первым должен его поощрить, постараться внедрить новшество для всех, помочь оформить изобретение в БРИЗе.

И человека не просмотреть. Вырос кто из своего разряда — бригадир должен заметить, представить на следующий. Плохое-то замечать легче, чем хорошее. Хорошие люди молчат. Узнай о его нужде, помощи, поддержи. На то ты и бригадир — человекозналец.

У настоящего труженика есть инстинкт на бережливость. Он каждому обрезку металла на полу поклонится, положит в корзину. Державки от сносившихся резцов не бросает, соберет, пойдет в инструментальный, попросит на них наварить твердосплав, и снова в дело.

Эмульсия не струится, а хлещет — заметь, укажи: она денег стоит. Кто-то отошел от станка, чтобы с проходящим приятелем потолковать, а станок работает на холостых оборотах, электроэнергию зря теряет и бесполезно снашивается — призови к рабочей совести.

Скажете, на это заводская администрация есть. Да где она? Не рядом же. А бригадир всегда на людях. И самый главный для них авторитет. А легко ли бригадиру не обругать в сердцах, когда у него накипит, а заранее продумать, взвесить каждое слово и только после этого пускать в ход.

Это-то Марату Должикову, с его горячностью, самого себя обуздывать! Умейте властвовать собой! Да для этого мало умения, надо еще и через самомучение пройти, быть не таким, какой ты есть, а таким, каким ты должен быть по мнению тех, кто тебя выбрал.

На всякую должность назначает начальство. Не оправдал человек надежды, значит, ошибся начальник, который

назначил. А тут коллектив тебя выбрал, он за тебя отвечает, а ты за них всех.

Но вместе с тем нет большего душевного наслаждения, чем быть общепризнанным, общевыбранным. Что скрывать, именно это и компенсировало те душевные убытки и терзания, которые претерпевал Марат, будучи бригадиром.

А тут еще дочь номер выкинула, привела студента, который ее от огня спас. Вошел — глаза зажмурены, на лице стеснительная, застенчивая улыбка, словно извиняется за что-то, лицо все в пятнах от ожогов. Движения замедленны, как у пловца на длинные дистанции. И осторожные, будто он хочет снять паутину.

Ввела, усадила на диван, сказала:

— Посиди, я отлучусь на минуту.— Позвала отца на кухню.

— Папа, ты, пожалуйста, уговори его, чтобы он на мне женился.— Посмотрела в понурые глаза отца.— А в чем дело? Ты же на моей матери женился, когда у нее все пальцы на руке были раздавлены, и неизвестно, в чем жизнь держалась. Да и кто ты для нее был? Русский, победитель. А вот получилось же.

Марат робко произнес:

— Подождем мать. Приедет, ее слово — все...— Искательно спросил:— А может, он себе незрячую найдет? Я даже полагаю, что вдвоем им вечную тьму преодолевать будет легче.

Он знал на заводе подобные супружеские пары, они с непостижимой точностью и ловкостью работали в инструментальном цехе по сборке измерительных приборов.

Он до сердечной муки жалел дочь. Сильная, смелая, жизнерадостная, своей профессией призванная иметь дело с людьми здоровыми. И вдруг, нате вам, обрекает себя на пожизненное сострадание.

Дочь, глядя в отца, словно читала его мысли:

— Если я не выйду за него замуж, то брошу свою профессию, уеду на Север и выйду замуж за оленевода или бурмастера... Ладно, это я так, чтобы ты отдышался. Но учти, паспорт при мне, нужные вещи в чемодане, и, как говорит дед,— «с пролетарским приветом»!

— Может, сначала пообедаем,— попробовал увильнуть Марат.

— Нет, я приготовила бутерброды. Поедим в вагоне.

Никогда с такой пронзительностью Марат не ощущал в дочери своей горячей крови, как сейчас, когда она вызывающе смотрела на него.

— Значит, вам душить, как ты теперь считаешь, можно было, а мне нельзя?

Марат поплелся в комнату, сел рядом с Игорем на диван, закурил, предложил Игорю и тут же спохватился:

— Говорят, когда дыма не видишь, курить невкусно.

— Нет, почему же, — возразил Игорь, — когда я волнуюсь, то курю. — Спросил: — Она здесь?

— Нет, на кухне.

— Я вас умоляю, — горячо заговорил Игорь. — Не расстраивайте ее. Согласитесь для видимости. Я же понимаю, что ей не подхожу. А насчет меня вы, пожалуйста, не беспокойтесь, мои родители — люди мужественные. Вы Короленко читали? У меня мама — музыкант. Ну вот, я буду, как его герой, слепой музыкант, — Игорь отважно похлопал Марата по колену. — И не вздумайте, пожалуйста, считать меня спасителем своей дочери. Кричали, что кто-то остался в бараке. Ну, я и бросился, не разобрав в дыму, кто это — старуха или дед, — во всяком случае, если судить по весу, не младенец. И вообще я это совершил как бригадир студенческого отряда, чтобы избежать ответственности за гибель человека. — Пожал плечами. — И не понимаю, почему Октябрина это отнесла к своей персоне? — Игорь выговаривал слова тщательно, спокойно, но при этом его сомкнутые веки вздрагивали и губы пересохли, как у больного.

— Знаешь что, Игорь, — сказал вдруг Марат, подавшись силе его гордого самообладания, — парень ты что надо. Но давай с тобой как мужики договоримся: одну руку Октябрины я тебе сейчас вручу, а другую пускай моя жена. А в случае чего вдвоем ее и атакуем.

— Нет, — сказал Игорь. — Не согласен.

— Да ты что? — изумился Марат.

— Видите ли, вы мне тоже неожиданно понравились. Но не будем эксплуатировать взаимные симпатии. Это небезопасно для судьбы Октябрины. Я, знаете ли, все-таки ее некоторым образом люблю.

— Ишь ты, — обиделся Марат. — Некоторым образом. Она влюблена в тебя выше темечка, а ты вроде как с оговоркой.

— Вы забыли о моей неполноценности.

— А я в санбатах да в госпиталях в войну на такое не смотрелся, что мне целый человек чудом казался. Тоже мне, неполноценный. Голова, ноги, руки в комплекте. Тот, у Короленко, я что-то не припоминаю, на дудке, что ли, играл, а мы заведем рояль. Музыка у нас в почете.

— Да нет, это я для красного словца... Музыкантом я не буду.

— А кем хочешь, только будь,— согласился Марат и, взяв Игоря за руку, как Октябрина, повел к накрытому дочерью столу.

Когда Октябрина и Игорь ушли, Марат горестно засомневался в том, что судьба их сложится, как надо. Дочь была горячеей, впечатлительной, а Игорь умирал себя рассудком. Дочь была предельно откровенной, легко взрывалась, особенно когда сдержанность в чувствах принимала для нее невыносимую для нее скрытность.

И Марат испытывал неиссякающую боль, считая, что, соглашаясь на их брак, обрек и дочь и Игоря на безысходное страдание...

* * *

Анатолий Кузьмич Иванов любил иногда заглянуть ночью на завод, пройтись по опустевшим цехам, поглядеть на шеренги лоснящихся станков, стоящих на невидимых фундаментах, как на каменных корнях, поглощающих разрушительную силу вибрации, на стальные подвижные мосты кранов с поджатыми под себя в этот час мощными литыми крюками. Он шел к проходной рощицей, посаженной после войны. Роща возникла внезапно: новые жилые кварталы после войны отодвинули за город и сюда свезли к заводу выкопанную живую природу: липы, березы, ели. Этим зеленым окружением все заводские гордились. Разбили перед главным входом цветник, а когда посреди цветника захотели поставить скульптуру рабочего-солдата и на постаменте выбить имена всех заводских, погибших на фронте, началась предварительная дискуссия: почему памятник только тем, кто погиб на фронте? Ведь сколько народу пропало от бомбежек! Согласились написать имена всех заводских, погибших во время войны. Тогда снова возникло сомнение: получается что-то вроде кладбища. А людям, входящим на завод, надо поднять настроение, для этого больше подходит памятник в честь общей великой победы. Но все-таки фронтовики и те, кто работал на

заводе в годы войны, настояли на своем и решились на мемориал.

Получилось правильно. Вот уже сколько лет люди воевавшие и невоевавшие (а их уже стало гораздо больше), подходя к заводу, замедляли шаги, испытывая благоговейное волнение, чувство своей пожизненной задолженности перед теми, кто отдал за них свои жизни.

А вот те, кто увольнялся с завода «по собственному желанию» или кого увольняли, истощив свои общественные и административные воспитательные усилия, эти поспешно и воровато проскакивали мимо мемориала, опустив глаза, не то боясь при этом споткнуться, не то страшась грозного молчаливого упрека тех, кого уже нет.

Директор входил в цеха, и непривычная тишина оглушала его. Сумеречную мглу огромного пространства освещали дежурные светильники. Остро пахло холодным потом смазки, терпко — остывшим телом металла. Он проходил мимо грузных крупногабаритных станков-ветеранов, казавшихся неуклюжими рядом с изящными новыми.

Ветераны обладали могучим запасом своего железного здоровья, прочности, износоустойчивости, но, увы, они были мало образованны против нынешних, не так умны, как те, с электронными мозгами, и потому обречены на переплав.

Анатолий Кузьмич сам некогда работал на таких станках и теперь смотрел на них признательно, с почтением и жалостью.

Когда же подходил к новейшим изысканным красавцам, похожим на инопланетян, представителей высшей цивилизации, приводимым в движение одним касанием кнопки пальцем, он испытывал чувство грусти и вместе с тем тревожного беспокойства от этого властного нашествия нового, не только в машинах, но и в людях. В последнее время он стал явственно ощущать, что их интересы, ранее ограниченные рабочим местом, стали все настойчивее расширяться. Раньше он, как единоначальник, сам вознаграждал, поощрял и взыскивал. Теперь это право перехватил у него совет бригадиров.

Раньше он первый поощрял большие и маленькие открытия, которые делались на заводе, теперь это делали советы бригадиров, а ему оставалось только поставить свою подпись.

Структура управления, сложившаяся за много лет, была надежной и прочной, но теперь в связи с бригадной

организацией труда она стала выглядеть как станки-ветераны рядом с новейшими. Прежде любой конфликт на производстве требовал неотложного вмешательства администрации. Теперь необходимость в этом отпадала — бригады стали справляться своими коллективными силами. Хорошо ли это? Несомненно, но это как бы отдалило его, директора, и администрацию от рабочих. Даже поток жалобщиков почти иссяк. А если такое случалось, все равно он был вынужден вызывать бригадира для совместного обсуждения жалобы.

В бригадах теперь обсуждались все вопросы: справедливого получения жилплощади, летних, самых удобных отпусков, размер премиального вознаграждения, повышение в разряде, а случается, и снижение — нерадивым. На бригады свалилось все то, что прежде отнимало время, нарушая деловое самочувствие у администрации.

Они взяли на себя еще и дополнительную работу, на которую нет плановых норм, — воспитание человека. Труднейшую и важнейшую потому, что этой работе нет предела. Правда, и в бригадах всякое случалось, бывало, уходило.

Правда, потом обратно просились. Почему? Да при всех своих воспитательных издержках и не всегда ясных нормативах распределения вознаграждения по труду бригады все-таки давали большие показатели. Может, не столь уж заметные, как в иных починах, но зато такие многомерные, что не всегда укладывались в прописные нормативы.

Анатолий Кузьмич понимал: многое из того, что являлось плодом неустойчивого общезаводского планирования, ложится теперь на бригадиров. А как тяжело глядеть в глаза заводским, когда на руках необеспеченные планы, ему хорошо известно. И он с тоской ждал того момента, когда бригадиры потребуют от него того, что он сам неоднократно требовал для себя — твердого, долговременного, обеспеченного плана. Ведь только это поможет полностью проявить возможности бригады.

И тут Анатолий Кузьмич заметил начальника цеха Серегина, который, сидя на корточках у раскрытого металлического ящика, где была смонтирована программная система управления станка-автомата, препирался негромко и увлеченно с электромонтерами, а точнее, электронщиками.

— А я утверждаю, — говорил Серегин, — одного предупредительного красного сигнала недостаточно. Он дол-

жен отказываться принимать неверные распоряжения оператора.

— Может, ему диктофон подладить, чтобы еще выговаривал при этом «Васька дурак»?! — иронизировали монтеры.

— А что! — обрадовался Серегин. — Идея! Только без грубых слов, конечно.

Увидев директора, Серегин с трудом поднялся и, размяв отекавшие ноги, пошел ему навстречу.

— Что не спите? — осведомился Иванов.

— Не станок, а чудо, — ответил Серегин. — Самомыслящая машина. И, знаете, даже способна давать словесное указание оператору.

— Мне бы такую в дирекцию, — сказал Анатолий Кузьмич, — а то жить стало невозможно: реконструкцию поэтапную проводим — это раз. Освоенную продукцию модернизируем — два. К производству сверхмощного готовимся — три. Бригады, работающие по новому методу, нас штурмуют — четыре. В-пятых, вот переходим на планирование производства по нормативной чистой продукции. А наша система управления со всем этим еще не стыкуется.

Серегин сердито заметил:

— Это точно. Начальство за рабочим классом не поспевает.

— А вы чего злитесь? — спросил Анатолий Кузьмич с недоумением.

— Да то, что сначала надо наладить цехам твердый долговременный план.

— Будет, со временем все будет, — не очень пылко пообещал директор.

— А на меня бригады жмут, — сказал неприязненно Серегин.

— Вот вы и спланируйте им, — посоветовал директор.

— А вы мне, — непреклонно заявил Серегин.

— Так вы что, против планирования по нормативной чистой продукции? — осведомился директор.

— Чистая, значит, честная, — сказал Серегин. — Сколько затратили труда, столько за него и получили. Кто же против этого? А раньше что получалось? Приплюсовывали на свою продукцию стоимость чужого труда, вложенного в добычу сырья, материалов в комплектующие изделия. Все что-то выгадывали, выкраивали.

— Да разве одни мы? Все! — сказал директор.

— Правильно, все, — согласился Серегин. — Но ведь не всем враз станут начислять по-новому, не все враз перестроятся на новую систему.

— Ну, не все, — согласился директор.

— А кто первый, тот боками осваивает новое, — сказал сердито Серегин.

— Значит, по-вашему, погодить? — спросил директор.

— Нет, так дело не пойдет. Что ж тогда получится? — Серегин кивнул на «обрабатывающий центр», освещенный лампами. — За прогрессивную технику первыми хватаемся, а в остальном будем плестись позади всех?

— Ага! — обрадовался директор. — Самолюбие заводское заговорило! А мне такая перестройка все равно что с женой развестись и по рекомендации руководства на капризной девице жениться.

— Значит, и вам трудно достается? — сочувственно осведомился Серегин.

— Дошло? — обрадовался директор. — Еще как! Зато будет полная экономическая ясность на действительные объемы нашего производства и на реальные затраты нашего труда.

— Ясность-то будет, — согласился Серегин и сочувственно добавил: — Но склок, препирательств, драки с поставщиками не избежать.

— Чего, чего, а этого будет хватать выше ушей, — уныло согласился директор.

— А нас еще потребительский каприз ожидает. После модернизации цены на двигатели повысятся, хоть на немного, а заказчик на дыбы — его старые, по старой цене, видите ли, пока устраивают! И может получиться сюрприз: спрос снизится.

Лицо директора приняло воинственное выражение:

— А мы новых, поумнее заказчиков найдем, а этих проучим: попросят — откажем.

— Если бы так только самих заказчиков можно было наказать, а то ведь и дело будет страдать.

— Верно, не захочешь, а будешь гуманистом.

— Да, — сочувственно произнес Серегин, — скучать вам не приходится. — Вспомнил, рассмеялся. — Я вот на индийской выставке изображение их древнего бога видел, рук у него много, во все стороны протянуты, и с одной головой, надо полагать, со всеми ими управляется.

— Думаешь, мне своей на такое не хватит? — сердито спросил директор.

— Да нет,— смущенно сказал Серегин.— Вам, на мой взгляд, на одной шее приходится несколько голов держать, чтоб со всеми нашими проблемами справиться.

— А головы мне, верно, нужны, да только чтобы каждая на своей шее и за свое дело полностью отвечала.

— А вы за них за всех?

— Когда дело завода в целом касается, я единоответчик.

— Интересное слово придумали. Это что, взамен единоначальника?— ехидно осведомился Серегин.

Анатолий Кузьмич усмехнулся:

— Одно без другого эти понятия недействительны.

Серегин произнес задумчиво:

— Мы вот скачем без остановок, без передышки.

— Остановиться — значит отстать,— сурово заявил директор.

— А отсталых бьют,— добавил Серегин.

— Опережают — это похуже. И тогда ты кто? Был, да весь вышел.

— А вы чего ночью в цех явились?— спросил Серегин с целью переменить тему для разговора.

— Для моциона,— неохотно буркнул Анатолий Кузьмич и, смутившись своей невежливости, откровенно признался:

— Просто, без дела зашел. Когда вот так поглядишь, сколько у нас техники, подумаешь: чего она только не может?! Ну, и думаешь: все ты от нее берешь или что-то упускаешь?— Добавил мрачно:— Конечно, посмотришь, как всю ночь она зря простаивает, обидно.

— В ночную охотников нет, да и людей не хватает,— напомнил Серегин.

— А вот если б повысили чувствительно оплату, нашлись бы.

— Фонд зарплаты не позволяет такой надбавки, и закона на это нет, финансисты не дадут.

— По законам здравого смысла надо поступать,— сердито сказал директор.— Хочу попробовать завести третью смену.

— Неприятности вам будут.

— Больше неприятностей оттого, что оборудование убыточно простаивает. А людей набрать можно, даже вот с этого «центра» сколько рук освободится. Ну, и в бригадах уже объявилось немало владеющих многими специальностями, многостаночников. Сначала бригады численно

росли, а теперь сокращаются, качеством берут — в интересах общего заработка. Механизировали межцеховой и внутризаводской транспорт, погрузочно-разгрузочные, уборку цехов — тоже люди освободились, обучим — вот нам и кадры.

В деревнях теперь умудряются с одного гектара по две разных культур снимать, а мы завод, можем и по три брать, если в три смены.

— У верблюдов горбов и то бывает лишь два, а вы хотите сколько на себя взвалить.

— Горб верблюду не ноша, а питательный запас на длинный путь.

— Ну, тогда, к примеру, альпинисты. Они когда лезут в гору, осмотрительно лишнего веса на себя не берут.

— Увеличение нашей продукции не может быть лишним, — строго заметил Анатолий Кузьмич. — А если не дюжишь, отойди в сторону, другим не мешай.

— Эти ваши слова ко мне относятся?

— Нет, ко мне прежде всего.

Затем они оба вернулись к монтируемой системе. Долго молчаливо любовались ею, потом Серегин произнес восхищенно:

— Не иначе как пришелец из двадцать первого века.

Анатолий Кузьмич возразил:

— Смастерили-то его в нынешнем. А к тому сроку он наверняка устареет, — сказал он так скорее от привычки к тому, что его слово бывает первым, хотя переживал то же самое, что и Серегин. Затем, чтобы еще хоть как-то оправдать свое ночное посещение, он сделал замечание Серегину: — Я бы на вашем месте обратил внимание на то, что инструментальные шкафчики выглядят, как дачные почтовые ящики. В доме такие у себя никто бы держать не стал, а на заводе можно? И расположены они неудобно.

Серегин, не задумываясь, сказал машинально:

— Исправим положение. — Затем опомнился, обиделся: — Меблируем, как в лучших домах.

Но они всегда хорошо понимали друг друга. Прощаясь, Анатолий Кузьмич горячо пожал Серегину руку:

— Не бережете вы себя, не бережете. — Посмотрел на часы. — Через два часа начнется рабочий день, а вы без сна.

— Вы ж сами ратовали за ночную! — не удержался Серегин.

— Усвоили! — добродушно произнес Анатолий Кузьмич. Вдохнул: — А у нас завтра совещание. Тут такая наступательная стратегия идет, все сообразительные способности должны быть мобилизованы, при полном взаимодействии всех служб подразделений и объединений. Этап для нашей промышленности, скажу, эпохальный. — И снова, словно оправдываясь, добавил: — Вот и зашел в цеха, чтобы проветриться перед совещанием, вроде как освежиться, от созерцания новой техники ума набраться, свой-то против нее еще выпуска первых пятилеток, но, конечно, по ходу времени реконструированный. — Хитро сощурился: — А все тянет, как паровоз, хотя пора на ракетовоз переходить.

Серегин не стал возражать, хотя Анатолий Кузьмич с удовольствием принял бы такое возражение. Он только улыбнулся. Анатолий Кузьмич нарочито бодро пошел к выходу. В потемках он шел так уверенно, будто все светильники цеха горели своим дневным светом.

Но вообще-то Анатолий Кузьмич был не совсем точен, когда сообщил Серегину, будто он по своему собственному вольготному желанию решил ночью прогуляться по цехам. Вечером у него было резкое столкновение с сыном.

Сын работал в мартеновском цехе и был всеобщим любимцем, не столько потому, что хороший сталевар, сколько из-за того, что мастер спорта и неоднократно отстаивал спортивную честь завода, даже на всесоюзных площадках.

Унаследовал он от отца незаурядную силу и поэтому занялся тяжелой атлетикой. Был он непомерно самолюбив, дважды, кажется, достигал всесоюзных рекордов по поднятию тяжестей.

Поступив в металлургический институт на заочное и прозанимавшийся три курса, Сергей объявил отцу, что бросает институт.

— Почему? — поинтересовался отец.

— А я таких инженеров могу на свою заводскую получку двух содержать, и еще кое-что себе останется, — равнодушно ответил сын.

— Не все оценивается рублем, — возразил отец.

— Главное, не хочу на побегушках с дипломом бегать или бумагами зарастать, — сказал сын небезосновательно.

— Но ты мог бы стать мастером, затем начальником смены и, наконец, сменным инженером.

— Что-то я у себя административных способностей не замечал, а как показывают твои — это самый эффективный путь к бессоннице, — развязно заявил сын.

Поссорились.

— Не понимаю, — говорил отец, — как можно с таким упоением заниматься поднятием тяжестей. — Сказал так нарочно, чтобы уязвить сына. — Тогда тебе, может, целесообразно наняться грузчиком? И тренировка и зарплата куда выше, чем за умственный труд.

— Что касается умственного труда, — мстительно заявил сын, — то я занимаюсь им в умеренных дозах, чтобы не изнурять своими поучениями других, как это делают с упоением некоторые.

Поссорились.

Отец узнал, что сына вместе с его бригадой оставили на постоянную дневную смену. Он возмутился:

— Это еще что за привилегии! Пользуешься тем, что мой сын?

— Папаша, — заявил грубо Сергей, — таких директоров, как ты, куча. А рекордсменов — единицы. — Устыдился, сказал: — Прости, но ты сам же бил в солнечное сплетение. Я не просил — цеховая общественность постановила, так сказать, воля болельщиков.

Снова поссорились.

Как-то, проходя мимо закуской, Анатолий Кузьмич увидел, как двое новичков из литейного цеха обмывают свои первые получки, выставив угощение покровительствующему им высокоразряднику Орлову.

Анатолий Кузьмич стал разносить Орлова — тот смутился, пролил недопитое на пол, жалобно сказал:

— Завтра же выходной. И потом, заметьте, я не на их пил, на свои. Попросили составить компанию.

— А ну, вали отсюда, не порти людям тут настроение! — вдруг подскочил какой-то алкаш. Занес над головой сизый кулак.

Анатолий Кузьмич схватил кулак алкаша, сжал так, что тот опустил на колени, спокойно произнес:

— А вот хулиганить не надо. — Обратился к ребятам: — Может, проводите? Прогуляемся?

Те покорно пошли за Анатолием Кузьмичом. Он рассказывал им, как тоже обмывал свою первую получку, как пришел домой пьяный, без денег. А дома был накрыт стол, на столе торжественно стояли новые ботинки, купленные матерью, тяжело болевшей ревматизмом, но продолжав-

шей работать в прачечной. А сын в это время в кухне блевал над ведром и стонал, держась за стенку.

— Вот так-то, ребята,— сказал на прощание Анатолий Кузьмич,— та боль, которую я причинил матери, до смерти не заживет, вот потому-то я вас и увел, чтобы вам то же самое не переживать.

В тот же вечер сын, приняв душ, заглянул к отцу, растирая махровым полотенцем свое сильное, мускулистое тело, насмешливо сказал:

— А ты, оказывается, силен мужик. Теперь твоя популярность на заводе поднялась на порядок выше. Тебе бы еще на борцовском коврике выступить! Стал бы вообще любимцем публики.

Поссорились.

Поссорились не потому, что Анатолий Кузьмич считал свой поступок с алкашом правильным, он, пожалуй, его стыдился. А потому, что стал упрекать сына в самолюбии, а это и есть себялюбие — хроническая болезнь индивидуалиста.

Сын ответил вызывающе:

— Я стыжусь не своих недостатков, а того, что они у меня мелкие.

Отец сказал с горечью:

— Группа крови у нас с тобой одна, а понятия разные.

— Верно,— не растерялся сын.— Я не как ты, по орденам не скучаю.

Тут-то отец, сделав над собой усилие, промолчал и ушел на завод.

Остыв, они горестно понимали, что оба были не правы. Отец, привыкнув к должностной власти, машинально распространял ее на сына. Сын, стесняясь того, что его отец — начальство, рано начал стремиться к самостоятельности. Пошел, не спросив отца, на завод рабочим. Потом, ничего не сказав отцу, поступил в институт. Услышав, как отец им хвастал, мол, работает и еще в вузе учится, бросил институт. Как-то раз, вернувшись с соревнований домой, бросил отцу небрежно:

— Привет знаменитому хозяйственнику от знаменитого спортсмена!

Отец не понял, обиделся:

— Я в знаменитости не лезу.

Отец гордился тем, что с малолетства пошел на тяжелую работу, учился, и вот кое-чего достиг, стал директо-

ром, поднял завод из отсталого на уровень передового предприятия.

Сын, любя отца и гордясь им по-своему, пытался повторить путь отца. Не случайно он пошел в горячий цех и на поприще именно тяжелой атлетики достиг рекорда. Но каждому свое и в свое время. Оба они не то что не понимали этого, но, понимая, не желали друг другу в этом признаться и томительно выжидали, кто уступит, кто признается первым в том, что был не прав.

Отец страдал, что не находит подхода к сыну. Сын мучился тем, что хочет, но не всегда может уступить отцу. В сущности, это была любовь, хоть и трудная, мужественная, не приносящая мгновенной радости, но глубокая, крепкая и даже нежная.

После смены Константин Должиков часто оставался в цехе, наблюдая, как монтажники собирают новейший автоматический станок. По сути это была многооперационная универсальная машина, предназначенная для изготовления особо сложных и высокоточных деталей. Она имела программное управление, была оснащена «механическими руками». В специальном магазине размещалось до тридцати инструментов: резцы, сверла, фрезы. Машина давала высокую точность обработки — десятые доли микрона.

Костя заворуженно следил, как монтажники, поглядывая на схему, уверенно собирают детали в узлы — подвижные суставы машины. В специальном металлическом шкафу монтировали ее мозг. По разноцветным ответвлениям проводов-нервов будут поступать в машину его повелительные импульсы.

Один оператор совмещает здесь работу более десятка станочников.

Костя с завистью думал о том счастливце, который станет ее хозяином. Он благоговел перед этой машиной, словно перед инопланетянином, спустившимся на землю.

Но когда машина после пуско-наладочных работ вступила в строй, Костя испытал разочарование, наблюдая за работой оператора. Не в машине, нет, в должности, которую занял при ней человек. Вся его задача состояла в том, чтобы внимательно следить за пультами, вовремя нажимать кнопки. Если оператор запаздывал, машина издавала раздраженный сигнал, подобный автомобильному. Такая

зависимость человека от машины не устраивала Костю. Здесь не нужны были ни смекалка, ни напряженность ума. Только внимание.

Он даже стал высокомерно думать, что эта машина при всех своих способностях — существо ограниченное. Она не сможет дать больше и лучше, даже если к ней станет непревзойденный мастер, как Егор Нилович Горохов, который может сотворить на своем станке деталь такой совершенной конфигурации, какие прежде на заводе не изготавливались.

А вот машина так не сможет, для этого придется ее переналаживать. Только тогда она сможет повторить то, что сделал первым человек, одаренный своим умом, талантом, неиссякаемым духом творчества.

Прикинув все это, Константин Должиков напросился, чтобы его перевели в наладчики-ремонтники. Он хотел своим умом познать все таинства работы механизмов, их прихоти и слабости, понять, где они полностью повинуются законам механики, а где лишь неуклюже, насильственно приспосабливаются.

Наладчиков-ремонтников называли пожарной командой или скорой помощью. Когда вызывали, они действовали, как спасательная команда, и зависимые от них станочники глядели с немой мольбой. Но если не было вызова, они оставались без дела.

Ремонтнику-наладчику полагалось все уметь, все знать и угадывать в машине. Поэтому самые опытные из них, мастера, почитались особо. И составляли элиту.

К маститым относился и Платон Иванович Михеев. Поскольку он был однополчанином Дмитрия Семеновича Должикова, то проявил благосклонность к Константину Должикову. Быстро убедившись в его способностях, Михеев стал доверять ему особо сложные работы, зорко за парнем наблюдая и давая четкие советы.

Он говорил мечтательно:

— Я на фронте орудийным мастером служил, чинил орудия прямо на передовой. А под огнем — это вроде того, как у тебя пад душой нервный станочник стоит — все скорей требует, а скоро не значит споро. И ты ему ненавистный за то, что работу его задерживаешь, и он тебе покою не дает. Орудие — машина многовесная. Легче сруб руками разобрать и сложить, чем орудие без должных технических средств. Расчет, конечно, изо всех сил помогает, потому как не терпится снова палить, все равно, как на-

шим станочникам работать. А то, бывает, станочники — руки в брюки и только зудят: давай-давай! Такого на фронте, конечно, не было. Дмитрий Семенович, комбат, как-то меня своим телом прикрыл. Его осколками поскребло, меня нет. Я к нему с претензией. Он строго меня осадил. В случае тяжелого ранения, мол, вместо него без промедления нового комбата пришлют, а вот такого мастера, как я, не скоро сыщут. — Произнес одобрительно: — Рабочий человек рабочего человека с первого прищипра оценит.

Вскоре Михеев предоставил Косте право на самостоятельную работу — нарушил сложившееся обыкновение не торопиться с выдвижением молодых кадров. За это маститые его порицали. А Костю молодые стали упрекать за то, что он воспользовался «протекцией». Костя сильно переживал, думал даже перейти под начало к Иннокентию Федуловичу Орлову. Орлов прежде всего обучал своих подручных, как только он вынет сигарету, мгновенно подносить ему зажженную спичку, носить за ним ящик с инструментами, термос с крепким чаем, складную низкую табуретку с парусиновым сиденьем, чтобы работать не нагибаясь. Он разговаривал со своими подручными больше жестами, мимикой. А если и произносил что-нибудь, то отрывистым голосом, только называя нужный ему инструмент.

Как-то Костю вызвал к себе секретарь комитета комсомола Виктор Крылов. Спросил, как дела, долго внимательно слушал. Сказал:

— Надо там тебе революцию устроить. Организуй комсомольско-молодежную бригаду, попроси в наставники Михеева.

На первом же совещании в бригаде, скорее за инициативу, чем за что-либо другое, бригадиром избрали Константина Должикова. В армии он обучился и умению отдавать команды и умению слушать команды. Вначале этот опыт ему пригодился. Но, в сущности, он больше слушал советы Платона Ивановича и исполнял их. И не только технические. Вспомнив свое комсомольское прошлое, Платон Иванович предложил без всякой там разрядной канители делить всем заработок поровну, поскольку все сознательные и горят одним желанием — воткнуть старикам. В своей увлеченности молодежью он даже облачился в джинсы и короткую куртку с множеством карманов на молнии, сбрил усы и куцую седоватую бороду, но совер-

шил ошибку — многие ребята обзавелись такими украшениями, хотя волосы у некоторых были жидковаты, как они грустно признавались — подмышечного качества.

Такое перерождение Михеева было встречено маститыми мастерами насмешливо. Да и молодежь не одобрила. Особенно то, что Михеев, называя их только по именам, потребовал того же и по отношению к себе самому. Первым запротестовал Костя. Из соображения, что ребята начнут панибратствовать с Платоном Ивановичем, а это он считал недопустимым.

По инициативе Платона Ивановича бригада стала коллективно закупать билеты на стадион, в кино, в клуб, отправлялась за город на рыбалку или по грибы. Все садились в один ряд на лекциях, на совещаниях. В доме у себя он устраивал чаепития, во время которых самолично готовил на кухне угощение.

Все это, конечно, спланивало ребят. А Платон Иванович блаженствовал, словно к нему вернулась юность. Особо он гордился тем, что заработок делит поровну, «по-коммунистически». Но очень скоро обнаружилось, что это не всегда справедливо. Вот, например, Коля Юрчиков. Отец его погиб на фронте, мать болела, сестра не работала — училась в музыкальном училище. Отцовской пенсии и заработка Коли едва хватало, чтобы покрыть семейные нужды. У Коли был четвертый разряд и, несмотря на то, что его тоже не допускали к самостоятельной работе, он получал больше, чем другие молодые ребята с меньшими разрядами. А теперь его получка стала меньше, о чем он грустно молчал.

Или вот Федя Загибин, футболист заводской команды. Его частенько отпускали с работы на соревнования по заводским патриотическим соображениям. И бригада брала на себя его труд. Но получал он столько же, сколько другие.

А Гриша Рубин учился на заочном отделении в институте, и когда дело касалось электрооборудования, он превосходил своими познаниями даже старых мастеров. Он знал и умел больше, чем другие, а получал, как и все.

Сергей Бобрин пришел на завод набирать рабочий стаж, срезавшись на экзаменах в вуз, но пообык, «застрял». Работал он без азарта, без инициативы, вроде как по привычке. И тоже получал, как все.

А тут вот что произошло.

Андрей Анучин, самый из всех выносливый и яростный на работу, вдруг во время ночных по неотложному ремонту вышел по нужде и не вернулся обратно. Его нашли спящим возле батареи прямо на полу, с головой, обернутой полами пиджака.

После смены устроили обсуждение недостойного поступка. Анучин слушал, бледнел, молчал. Стали требовать объяснения — отвернулся, долго в платок сморкался, а может, расплакался, потому что при этом худенькие плечи его вздрагивали.

— Ладно! — сказал кто-то. — Давайте простим, раз так переживает — значит, дошла критика, осознал.

И тут Анучин повернулся ко всем опухшим от слез лицом и сказал в отчаянии:

— Чего осознал? То, что я изо всех своих сил вкалывал, а мне за все про все, как Сергею Бобрину? Которого мы просто по-товарищески терпим и только гайки отвертывать и заворачивать доверяем, да и то сами дотягиваем. Ему что, родители с обеих сторон обеспечивают, и мать и отец с должностями. А у меня ребенок, жена учится, как заработки стал недобирать, пришлось на погрузке-выгрузке подрабатывать, вот потому и уснул. Промерз на товарной станции и заморился.

Посмотрел с гневом на Константина Должикова:

— Тебе хорошо надо мной суд устраивать. Вас, Должиковых, полно, что недополучишь, то перехватишь. А у меня родни нет, чтобы одолжить. В завкоме мне и так уже столько наодолжали, что дальше совести.

Конечно, на всех это произвело горькое впечатление.

Растерянным и даже потрясенным выглядел Платон Иванович Михеев. Константин Должиков чувствовал себя, словно парашютист, пять минут назад наслаждавшийся парением в высоте и вдруг шлепнувшийся в лужу.

Пришлось доложить обо всем Виктору Крылову.

Нахмурившись, Крылов сказал:

— Это, конечно, с твоей стороны, Константин, упущение. Но еще не ошибка. Настоящий твой промах в том, что ты не заметил разницы между тем, что было полезно в одно время и стало вредно в другое. — Прозорливо заметил: — Платон Иванович, конечно, мастер выдающийся и душа человек. Но он во что вас втянул? В самое для него лучшее, но прошедшее время. Увлекся, радовался с вами. Равенство тогда хорошо, когда есть равенство возможностей, чтобы каждый мог проявить себя полностью. Зар-

плата — это что? За работу плата. Кто больше и лучше работал, тому и больше причитается. — Спыхватился: — Ты извини, что я не столько тебе, сколько самому себе выговариваю, хотя, по существу, должен был за вас схлопотать выговор. — Жалобно улыбнулся. — Тоже, понимаешь, хвастался вами. Не бригада, а дружина. Главное-то и упустил. — Спросил: — С кем соревнуетесь?

— Со стариками, — уныло сказал Костя.

— Ну и как?

— Не отстаем. И даже иногда наш показатель бывает самую чуть больше.

— А меж собой?

— А зачем? Кто филонил, те подтянулись, а кто и так тянул, не захотел особо выделяться, тем более что платят всем поровну.

— С одной стороны, хорошо, — вздохнул Крылов, — с другой — совсем плохо получилось. — Выпрямился. — Ну что ж, давай вместе думать, прикидывать, чтобы и хорошего не упустить и на новую ступень достойно подняться. У вас долговременный производственный план на бригаду есть?

— Добился. Сначала исходили из плана предупредительного ремонта, затем выпросил у экономистов данные, сколько приходится разных оперативных вызовов. Приплюсовал, получилось, что не все полностью наше рабочее время покрывает. Взялись производить ремонтно-восстановительные работы по списанным узлам. Деталей тысяч на десять заводу в дело вернули.

— А какой процент их стоимости вам за это начислили?

— Не знаю, не спрашивал. Мы же это добровольно.

— А личные плановые обязательства у вас на каждого есть?

— Думали, но начальник ремонтного цеха сказал: морока. Трудно нам их составить. Ремонт — не готовая продукция, каждый раз разное время требуется. Допустим, шестеренка полетела. Подумаешь, новую поставить! А для этого весь механизм приходится разбирать и собирать. Всего не перечислишь, как бывает.

— Ну, вот что, — сказал Крылов решительно. — Обратимся к технологам и экономистам, пусть помаракуют. Нет такой работы, чтобы ее трудоемкость нельзя было определить. Пусть составят реестр, отдельные нормы, расценки.

И сюда же все новые показатели в интересах проявления инициативы и повышения производительности труда.

— Ладно, пусть, — без всякого энтузиазма согласился Должиков, удрученный всем происшедшим в бригаде и опасаясь того, что теперь может нарушиться возникшее в коллективе пламенное единодушие. А пока, поскольку существенного различия в разрядах членов бригады не было, решили поручать работу по так называемым выгодным нарядам тем, кто нуждался в большем заработке. Платон Иванович в канун получки, обсуждая работу каждого, неопровержимо доказывал, кто работал хорошо, а кто так себе. И его анализ был настолько убедительный, глубокий и тонкий, что с ним не только все соглашались, но с его помощью как бы прозревали, заново знакомились с человеком, работа которого оказывалась вроде бы его портретом.

— Теперь все всем про себя ясно? — осведомлялся Платон Иванович. И, надев очки, вынув из кармана бумажку со списком удостоенных им премии, зачитывал нарочито равнодушно, чтобы никто не обиделся. Закончив, он вопрошал:

— Возражения есть? Может, нужна дополнительная аргументация, разъяснения? Нет? Ну, значит, быть по сему.

Конечно, никто не возражал и не спорил. Но все-таки в душе у ребят возникало сомнение, почему именно Платон Иванович решает, кого, за что и как наградить. Справедливо ли это?.. Вот Болышев, разбирая агрегат, второпях свернул резьбу с двух болтов, а Платон Иванович позабыл, а может, по доброте решил не заметить, и пришлось Андрею Анучину на токарном станке резьбу восстанавливать. Или еще случай: остановился многоагрегатный автоматический станок — жди инженера с завода-поставщика, поскольку гарантийный срок еще не миновал. А Гриша Рубин всю ночь провозился с этим станком и пустил его в ход. Сколько денег государству он сэкономил! И что же? Начальник механического цеха Серегин сказал ему спасибо. И больше ничего. Станок, мол, пока на гарантийном обслуживании, средства на его ремонт не отпущены, бухгалтерия оплату не утвердит.

Или вот Коля Юрчиков — владеет многими станочными специальностями, и если какая-нибудь простая деталь нуждается в смене, а в ремонтной кладовой такой в налич-

ности нет, он может сам ее выточить, чтобы не задерживать ремонт станка.

Нужно в узаконенном регламенте предусмотреть проявление находчивости и инициативы, а не так, чтобы один только бригадир оценивал и вознаграждал, хоть и правильно. Нужно заранее знать, какая работа тебе назначается и сколько за нее запишут по наряду. А уж если не выполнил, чтобы бригада по снисходительности не отдувалась за тебя, а главное — не платила больше, чем ты наработал.

Это-то и щемило ребят, тревожило: с одной стороны, никто не хотел стать иждивенцем бригады, а с другой, должна же быть уверенность в зарботке.

Обсуждение планового задания в бригаде проходило вяло и даже скучно. Показатели, нормы брались из опыта сдельщины, и все итожилось, как говорится, «в общем и целом». Да ведь в этом объеме работы выполнялись и раньше. Что же их обсуждать?

Тогда Костя предложил в порядке сообразительности повысить некоторые показатели. Все без разговоров согласились. И потому, как догадался Костя, что мало кто представлял себе возможности бригады в целом. Ну, раз бригадир предлагает,— он знает, так, должно быть, подумал каждый.

Значит, он, Костя, ошибался, начав с общего плана, а не с личных.

Для составления личных плановики выдали специально разграфленные бланки с перечнем показателей. Некоторые заполнили тут же, другие взяли домой, и когда Костя и Платон Иванович потом стали изучать обязательства, оба крепко огорчились. Получалось, что ребята брали на себя то же, что и при сдельщине, не больше, не меньше, и только такие, какие были намечены плановиками.

Значит — опять промах.

— Ладно,— сказал Платон Иванович,— мы вот сейчас с Колей Юрчиковым сядем в сторонку и помаракуем.

А разговор был такой.

— Для плановиков мы кто? Усредненные людишки. Они складывают все показатели за год в кучу, а потом ее делят поровну, подушно и бездушно, поскольку при этом в своем уме не держат, кто передовик, кто отстающий. Выходит, что из одних вычитают, другим приплюсовывают, чтобы все на один салтык получались. Им так в их деле удобней подсчитывать да рассчитывать. Но ведь ты — не

середняк. Ты личность! Можешь то, что другие не могут, умеешь то, что другие не умеют, знаешь то, что другие не знают. Вот про это и пиши смело. Если эти твои способности в графе не значатся, рисуй новую графу на себя. Напишешь про то, что ты запросто делаешь, пиши на обратной стороне бумаги то, чего сможешь добиться, если постараться, да если, к примеру, будешь обеспечен полностью запасом ходовых деталей, электроинструментом, схемами. Ну, вот еще запиши: если после твоего ремонта межремонтный срок увеличится, чтобы тебе шел процент за такое качество работы. Да мало ли что можно еще придумать и в свою пользу и в пользу всего завода.

Юрчиков тут же дополнил:

— Вот когда в ночь работаем, от переносок света недостаточно, и мы включаем освещение во всем цехе. Перерасход электроэнергии получается. А вот если сделать что-нибудь вроде гибкого торшера, то и руки будут свободнее, и свет в любую точку нацелен, и экономия. Или еще: сдают без нас оборудование сношенное в утиль, в переплав, а если его перед этим разобрать и выбрать детали, какие еще в дело годятся, — это же тысячи сбережем!

— Верно, — согласился с удовольствием Платон Иванович, — попал в самое яблочко. На то мы и бригада, чтобы широкомысленные обязательства брать. И в своем личном интересе и в общем.

Он еще долго сидел с Колей Юрчиковым, то радуясь, то споря.

На следующий день Костя решил вывесить обязательства Юрчикова на доске объявлений: вроде и не навязываемся, — хочешь — равняйся, не хочешь — не надо, а в то же время все-таки ставим ребят в известность, влияем.

Почти все, кто первым сдал свои обязательства, забрали их обратно и долго не приносили. И хотя руководители цеха и завкомовцы сердились на такую задержку, Костя самоуверенно отвечал:

— Ничего. Когда до дела дойдет, впереди будем.

И уже исходя из совокупности всех обязательств, перделали общебригадный план.

— Надумали, наконец-то! — ворчали одни руководители, ознакомившись с планом бригады Константина Должикова. — На бумаге-то вышло красиво. Да будет ли так же красиво выглядеть, если не справятся?

— Ладно, пусть на себя записывают, что хотят, но вон еще сколько наворотили требований к разным службам, —

говорили другие. — И заметьте, с одной стороны, на себя взяли великодушно много. Жмут на качество и на экономию средств. А с другой, разметили на себя все процентники отчислений. Вот тебе и бригада коммунистического труда! За копейками гонятся.

— А что ж, нормально, по труду и оплате, — защищали третьи. — План реальный, разумный. И хорошо, что подкреплен ясным и точным вознаграждением за все разновидности труда. И то, что бригада встречные требования к управленцам предъявила, тоже правильно, что греха таить, наши управленцы не всегда еще четко представляют себе возможности и интересы бригад. А здесь все наглядно.

И когда на завод прибыл начальник главка Семенов Семен Семенович, чтобы вручить заводу переходящее знамя за перевыполнение годового задания, произошло следующее.

Руководители завода и его знатные люди уселись в президиуме. Семен Семенович пошептался со своим помощником, затем поднялся и сказал, оглядываясь с улыбкой на членов президиума:

— Если товарищи не возражают, я попросил бы сюда к нам товарища Должикова, — и зааплодировал, глядя на Марата Должикова.

Марат Должиков, тоже улыбаясь, направился в президиум. Семен Семенович дружелюбно указал на стоявший рядом стул, и Марат по этому призыву уселся с ним бок о бок.

Свое выступление Семен Семенович начал с того, что похвалил ремонтную бригаду товарища Должикова за проявленную плановую инициативу, поскольку личные и бригадные планы — эффективная форма доведения заданий государства до каждого коллектива и каждого рабочего. Они являются стержнем социалистических обязательств, помогают выявлять и приводить в действие резервы, позволяют объективно оценивать вклад каждого в результаты общего труда. Здесь Семен Семенович прервал свое выступление, обернувшись к тому месту, где сидел Марат Должиков, и зааплодировал. Но место было пустое. Марат в это время выбирался из-за стола президиума. Семен Семенович, истолковав это как порыв скромности, заговорщически подмигнул залу — мол, такие переживания всем понятны, продолжал свое выступление, хотя в зале слышались шорохи и приглушенный шепот.

Костя, сгорая от стыда, тоже выбрался из зала. Он догнал Марата за проходной. Молча шли рядом.

Марат сказал:

— Ну, я вляпался, а ты чего за мной плетешься? Твое место там,— кивнул головой наверх.

— А мне выпендриваться незачем,— сказал Костя.— То, что получалось неправильно, мы поправили. Только и всего.

Марат тяжело вздохнул.

— Ладно, не прибедряйся. Я тоже хотел дух сдельщины выбить. Увлёкся, ну и проскочил мимо того, что индивидуализм — это одно, а индивидуальность — совсем другое.

— И я на таком споткнулся,— признался Костя.

— Споткнулся, да перепрыгнул,— возразил Марат.— У меня высокоразрядники народ заносчивый, с самомнением. Те, кто разрядом ниже, стали тянуться, а эти словно пришли в бригаду отдыхать после сдельщины. Но ведь при сдельщине-то они тоже обязательства брали. А я не допёр.

— То-то и оно,— сказал Костя,— что как только новый почин — мы к нему всей кучей кидаемся, а то полезное, что уже было, забываем.

— Ну, давай руку пожму, что ли, поздравляю, значит! — усмехнулся Марат. Спросил: — А жизнь-то твоя как?

Костя оживился.

— Я вот, знаешь, у нашего Коли Юрчикова дома бывал. У него сестра музыкантша, училище закончила — учить будет.

— Ты это к чему?

— Да к тому, что Октябрина-то твоя на стадионе тренером работает и председателем заводского совета по физкультуре. Ты дома ее часто видишь? То-то и оно. А Игорь ее один скучает. Может, его познакомить с Юлей Юрчиковой? Она сказала: незрячие особенно способны к музыке, поскольку недостаток зрительного аппарата слуховым компенсируется.

— Он на завод поступил, к Геннадию в сборочный цех. Придумал себе разные приспособления. Технолог увидел — ахнул. Полная схема для автомата.

— А если автомат поставят, Игорю куда? — забеспокоился Костя.

— Он уже себе должность придумал. Изобретает такой портативный радиолокатор, который может звуком ориен-

тировать человека. Он не только незрячим нужен, но и горнякам, пожарникам, разным спасателям, когда в дыму или в густом тумане приходится действовать, водолазам. Он решил на радиотехническое отделение в институт поступить. Раньше-то он на автоматике учился. Думаю, что осилит, парень он башковитый. Да поможем. Дмитрий так просто его обожает. Он сам после контузии в войну почти полгода слепым был.

— А Октябрина? Она как?

Марат нахмурился:

— Еще не пойму. Только из жалости его любит или за что другое, может, за жизнестойкость, как Дмитрий. Но по-настоящему-то любят не «за что», а просто другой жизни тебе без него, этого человека, нет. — И перевел разговор: — А ну, валяй обратно, а то подумают, что все Должиковы такие же дураки, как я перед ними оказался.

— Нет, — решительно заявил Костя. — Если уж идти, то вместе, как ни в чем не бывало. Я ведь о твоих сварах в бригаде знал, такие и у меня происходили. О чем я тогда думал? Как бы смотаться. А потом почувствовал, дело все в том, что в бригаде нашей есть какая-то несправедливость. Стал докапываться, и как докопался, дальше все просто стало.

— Простое — оно самое трудное, — произнес задумчиво Марат. — Что проще колеса? А куда мы без него? Все великие открытия — простые, как вот то, что земля вращается. Правда, первого, кто это доказал, на костре спалили. Тот, кто пользуется благами, которые не соответствуют отдаче его труда, кто он? По существу — вор. Ясно и просто, — сказал, думая какую-то свою думу.

А Костя поддакивал, радуясь тому, что вернется вместе с Маратом. И тогда никто не посмеет сказать: Марат Должиков обиделся, что его обставил Константин Должиков.

— Ты вот что! — сказал, шагая в ногу, Марат. — Приращи-ка мне эти ваши личные обязательства и бригадный план тоже, любопытно будет взглянуть, как вы их свалили в общую кучу.

— А мы не сваливали, мы выстраивали в систему взаимосвязанных обязательств. А то в личных один ориентировался на один показатель, другой — на другой, третий — на третий. Пришлось корректировать.

— Ну ладно, я пошутил, — оправдался Марат. — Самолюбие меня защемило, понять должен.

На ходу Марат споткнулся, больно ушиб ногу, морщась, оперся на плечо племянника. Но вскоре боль прошла. Теперь он уже не по необходимости, а нарочно с силой напирал на Костино плечо, хитровато поглядывая на него.

Лицо Кости было невозмутимо. Вернулись к проходной, Марат снял руку и притворно стал растирать ее, будто замлела. Сказал:

— Силен мужик.

— От такого слышу, — ответил Костя.

* * *

Геннадий Семенович Должиков хорошо знал свой заводской народ и как начальник цеха, и как член бюро парткома и завкома, и как депутат городского Совета.

Самыми капитальными, знающими и уважаемыми считал он на заводе бывших фронтовиков. Война, и кончившись, продолжала убивать их, — старыми ранами да контузиями. Поэтому их оставалось все меньше. Привыкнув на войне к тому, что каждый час и даже минута жизни вроде как подарок, они дорожили и секундами рабочего времени и жестко требовали того же от других, а тех, кто растрачивал его попусту, презирали. Ведь все можно вернуть обратно, кроме времени и здоровья.

Рассказывая о войне, они, как правило, говорили о себе стеснительно и неинтересно. Но, переходя к сегодняшнему времени, обращались к молодежи строго и даже повелительно, пытаясь внушить, как много ей дано и как дорого за это заплачено — жизнями самых лучших людей. И тут уж если кого и прижигали за расхлябанность, лень, безразличие, то словами от них было не отделаться.

Работали фронтовики не столько за премиальные, сколько боясь, как бы свой брат, ветеран, не сказал, сощурясь: «В обоз списываешься. Ну валяй, валяй, служба там смиренная, для удрученных возрастом подходящая». И многие, действительно боясь, как бы их не списали «в обоз», приходили, конфузясь, к Октябрьне на заводской оздоровительный комплекс и секретным, тихим голосом просили:

— Покажи, дочка, разминку для продления пребывания в норме. Фигуры мне не надо!

И Октябрьна занималась с группой таких великовозрастных. И даже потом сформировала из них несколько

команд городошников, которые с удивительной меткостью выбивали поставленные в фигуры чурки.

Играли они меж собой и в волейбол, но в футбол гонять стеснялись.

Вторыми по надежности Геннадий Семенович считал тех, кто пришел на завод в годы войны подростком. Среди них было много сирот. Здесь, на заводе, они и росли не только в высоту, но и до высшей квалификации. Работали на равных мальчишки и девчата, чтобы помочь своим отцам на фронте или отомстить врагу за их гибель. Наверное, от сиротства и от раннего взросления они рано женились. Некоторые даже до совершеннолетия. Скандалили в загсе, когда их не расписывали, распахивали стеганки, показывали медали, а кто и ордена. Лица были у всех у них суровые, как у взрослых. И в загсе уступали. По упорству, настойчивости, смелости они шли рядом с фронтовиками. И даже сами фронтовики относились к ним почтительно.

Семейная жизнь у таких складывалась прочно — ничто так крепко не спаивает, как совместно пережитые трудности.

В третьи Должиков зачислял тех, кто прошел службу в армии. Завод армию сильно эксплуатировал. Уходили в нее так себе, вроде — серединка на половинку. Возвращались — цельными, привлекали армейской выправкой, самодисциплиной и исполнительностью. Но главное, понимали всякую технику, которую доставляли на завод как самоновейшую, а она им была вроде старой знакомой. Женились эти ребята без особого промедления, часто на тех, с кем переписывались в годы службы, принимая это как несомненный знак верности. А если и наспех, то жены к таким припаивались прочно, потому что они сильно отличались от своих сверстников, по тем или другим причинам не служивших в армии.

Эти рядом с армейцами вели себя, как школьники, выпущенные из класса на переменку. Теперь по-научному их называют инфантильными.

Положительные ребята приходили из ПТУ, уже с разрядами.

Но кто завод мучил, а кадровиков прямо изнурял, так это кочевники-летуны, бродячее племя. К оседлой жизни приучить их никто по-настоящему не решался. Не то от рыхлой доброты, не то из опасения обидеть.

Напишет такой заявление — «по собственному желанию» — кадровик поворчит и отпустит, твердо зная, что будет он гулять с завода на завод, как кукушка, которая своего гнезда не имеет, все по чужим лазит. Бывали и с претензиями на исключительность, на особое положение. Считали, что вроде делают одолжение Советской власти тем, что работают. Все свои права наизусть знали. А вот то, что им по заводским правилам положено, знать не желали.

Обычно такие хорошо владели бойким, напористым словом. Говорить с ними — легче вторую смену отработать. Но самые опасные среди летунов были, конечно, расхитители жилплощади. Поработают год-два, пролезут в передовики, получают квартиру, и будь здоров, только их и видели, — устраиваются на непыльную работу. Или покажут класс, получают высокий разряд и отдыхают на тарифе, едва держатся на норме. Правда, эти сами себя наказывают — их обгоняют те, кто ходит на курсы повышения квалификации, изучает новую технологию, новые сорта металла. И получается: или заново учись, или скашивайся с разряда.

Имелись и просто прогульщики, выпивохи. Этих считали вроде как больными — лечили, в больницу помещали.

Над такими, бывало, дружелюбно по-мужски посмеивались. Как в старину над юродивыми. А те рады стараться самих себя вышучивать. Но вот подсчитают заводские экономисты, во что заводу в год эти хиханьки-хаханьки обходятся, и ахнут и задумаются — на таких-то терпеливых поровну бы убыток разложить, возможно, они и потеряли бы тогда свое голубиное терпение.

Геннадию-то Семеновичу больше всего душевных сил, терпения, времени приходилось тратить именно на такую публику, а на хороших работников не оставалось ни минутки. Справедливо ли это? Ведь хороший человек обычно не умеет для себя ни потребовать, ни даже попросить. Значит, вот и получается, что хороший работник обделен, а плохому все внимание.

Конечно, у начальника цеха нет таких крупных забот, как у директора, но по мелочам — не меньше, а то и больше. У него нет приемных дней, но к нему обращаются по разным делам и вопросам целый день, потому что цех — это тоже завод, но только маленький.

С формированием бригад начальник цеха почувствовал облегчение, словно сняли с него часть груза.

Высокий коэффициент полезного воздействия бригады на человека ни в какую графу не запишешь, нормативом его не обозначишь. Но, в сущности, он являет собой бесценный прирост духовной производительности труда человека.

Для начальника цеха, освобожденного от разного рода необоснованных претензий, жалоб, открылась уже не форточка, а большое пространство для размышлений и для дела.

Но у каждого начальника цеха есть свое задание, и он выполняет его в интересах своего цеха по валовому расчету. А потом уже корректирует по заводу в целом.

Особо трудно из-за этого доставалось сборочному цеху, как итоговому. Геннадию Семеновичу стало ясно, что цеховая форма управления с рождением бригадной системы организации труда изжила себя. Он предложил директору создать централизованное управление тремя цехами — механическим, сборочным, а также заготовительным.

Анатолий Кузьмич согласился в качестве эксперимента лишь на сборочный и механический. Хитро подмигнув, заметил:

— А уж если с Серегиным поладите, Геннадий Семенович, то это ваше личное дело.

— Почему мое?

— А кто же, кроме вас? Другой фигуры не вижу. Вы мысль подали, вам за нее и отвечать.

После смены в «кабинете» Серегина, а по существу за стеклянной перегородкой в цехе, Должиков изложил ему свои соображения.

Серегин сразу догадался, кому из них быть сверху другого. И хотя он никогда не стремился выйти в начальство, такое предрешение его задело. Ну, будь это приказ директора, а то вроде как добровольно попроситься в подчинение, и к кому? Такому же, как и он, начальнику цеха. На все то, что говорил Должиков, он согласно кивал, а затем встал, торжественно протянул руку, сказал:

— Поздравляю.

— Это с чем?

— Ну, ясное дело, с чем! — И снисходительно похлопал Геннадия Семеновича по плечу. — Я что? Как козел, только бодаюсь с заготовительными цехами. А вы король-лебедь, всю и всех добычу под себя подгрэбаете. Кто что не додаст, крику на весь завод.

Может быть, эти слова и свидетельствовали о том, что Серегин был бы не прочь и сам взять дело под свою команду, но оно требовало иных знаний, чем те, которыми Серегин обладал как металлообработчик.

Во всяком случае Должиков хотя и чистосердечно поблагодарил Серегина за «доверие», но не разгадал, что у того на душе. И вышло, что совместно с экономическими и техническими службами он целиком взял на себя расчеты по проектной трудоемкости всех узлов и деталей; определению величины нормированных заданий, обоснованию количественного состава бригад, а также повышение квалификации рабочих и овладение ими смежных профессий, что являлось бы надежным фундаментом для дальнейшего совершенствования бригадной системы труда. Но все это время Серегин без устали атаковал Должикова множеством малозначительных вопросов, с которыми мог бы легко справиться не только он сам, но даже мастер.

Должиков разрешал эти вопросы, не задумываясь, почему с такими мелочами обращаются к нему. Но когда Серегин пришел, чтобы испросить разрешения заменить пятидесятисвечовые светильники у станков на стосвечовые, Должиков не выдержал и попросил Серегина сесть.

Они глядели друг на друга, Серегин — с хитринкой, ожидая, что Должиков взорвется, наговорит грубостей и тем самым даст ему возможность заявить, что они не могут сработаться и Серегин просит перевести его в отдел главного технолога, куда он давно метил, утомившись от разного рода конфликтов в цехе. Должиков же смотрел со злостью и обидой.

— Ну, так как? — спросил Геннадий Семенович. — Будем, что ли, на «вы» переходить?

— Это в каком же смысле?

— Ну, в таком, что захотелось установить неприступную дистанцию?

Серегин торопливо произнес:

— Скажешь — зависть. Этой хронической болезнью души не хвораю. Но по служебной лестнице всегда идут одни вверх, другие вниз, всем-то на самой верхней ступеньке не поместиться!

Геннадий Семенович задумчиво опустил голову, тихо сказал:

— Я вот иногда так думаю: в каждой минуте мы зряшно теряем секунды, в часу — минуты, в месяце — дни, в каждый год — месяцы, а в итоге и часть жизни тра-

тим ни на что. Значит, нужен такой руководитель, который поможет людям от этих бесполезных утрат избавляться. И если он такое может, его должность наивысшая из всех. Не может — как бы его должность ни называлась, — он для людей на самом низу.

— Выходит, ты можешь, а я не могу?

— Смогу или не смогу, время укажет. Я ведь, как и ты, опасался высокоразрядных в бригады отпускать, да и сами они боялись бригад. Боялись уравниловки, боялись затеяться, боялись того, что их индивидуальные способности не будут заметны и надежно стимулированы. А что получилось? Повысилась загрузка оборудования, работать стали ритмично. И соревнование теперь приобрело иной характер — каждый заботится не только о себе, а обо всем заводе, чтобы в срок выполнять всю номенклатуру изделий, снижать трудоемкость, меньшим числом дать побольше и, конечно, получить за это дополнительное вознаграждение. А в целом к чему все сводится? К сбережению секунд, минут, часов. К уплотнению рабочего времени, чтобы драгоценная жизнь человека не расходовалась из-за нашей недодумки впусую.

— Чего это ты меня просвещаешь? Я и сам просвещенный! — сердито заметил Серегин.

— Давай так, — сказал Геннадий. — Пройдет квартал, я перед тобой отчитаюсь, сколько полезных часов, дней, месяцев я людям сберег, а ты передо мной.

— Соревноваться вызываешь?

— Ну, вроде того.

— Так твои масштабы крупнее, а мои мельче.

— Что же с того? С моей стороны — фора.

— Да ну тебя, — потеплев, произнес Серегин. — Что мы с тобой, дети?

— Не знаю, как ты, а когда я смотрю на себя в зеркало, вижу, рожа пожилая, подержанная. А вот как узнал, что мой цех наградили переходящим, вышел из дому, на асфальте детишки классики начертили, не поверишь, запрыгал на одной ножке. В радости человек молодеет до ребячества, а в горе да обиде раньше времени старится.

— Да ну, черт с тобой, — растроганно произнес Серегин. — Но договоримся: я классики в заводском дворе нарисую, и кто не справится — будет по ним прыгать при всех.

— Конечно, лучше бы от радости, чем по взысканию, — сказал Геннадий.

— Ну, уж это зависит от добровольного желания,— пошутил Серегин.

И на этом расстались.

Но все-таки Геннадия Семеновича долго скребло, что он с самого начала не посоветовался обо всем с Серегиным, вот и вышла заминка, знал же он, что Серегин отличался большой осторожностью и не спешил вцепляться в новые почины, поэтому редко бывал отмечен в многотиражке или на собраниях. Но уж если, обдумав все за и против, за что-либо брался, то держался твердо занятой позиции. И был прав, потому что нет ничего пошлее самоуверенного оптимизма. Хотя, конечно, и чрезмерная осторожность не всегда украшает человека.

Механический цех, в котором Серегин был начальником, часто добивался высоких показателей. Люди радовались, а Серегин говорил скрипучим голосом: на верхушку забраться можно, да удержаться на ней трудно...

По существу-то это было верно, но говорилось часто невпопад, и не потому, что Серегин был перестраховщик. Он имел большой опыт, а большой опыт имеет две стороны, полезную и вредную. Полезную — от знаний, которые придают смелости, а бесполезную — памятью о тех ошибках и шишках за ошибки, которые приходилось получать.

Так вот, на эти сумеречные стороны у Серегина была память прочная, как у человека, перенесшего спасительную операцию, но запомнившего лишь одно — боль.

Серегин считался человеком смирным, спокойным и для начальства удобным. Оттого он и просидел в цеху на своей должности так долго, что все решили — это и есть его потолок, да и он сам так думал. А если человека долго не повышают или не понижают, жизненный тонус его находится постоянно на одном и том же среднем уровне. Он обретает титул нужного человека, но не необходимого, выросшего, но не растущего, знающего, но без дальней перспективы.

Геннадий Должиков испытывал к нему глубокое уважение, но и жалость, а точнее будет сказать — соболезнование, какое обычно принято высказывать при несчастных случаях. Серегин, сознавая это, укорял себя за то, что стремление к спокойной жизни превратило его в какого-то душескреба, что и сам он, оберегая себя от тревог и волнений, не получает удовольствия и другим не доставляет радости.

Геннадий Семенович Должиков теперь частенько заходил к Серегину, с жаром делился своими замыслами. Говорил с восторгом о том, что посредством внедрения новых систем механизации и автоматизации получил возможность освободить значительное количество рабочих рук. Серегин слушал его уныло, а дослушав, сказал каким-то тускло-серым голосом:

— Разряд предприятию определяют по численности. Чем больше людей, тем больше размеры фонда зарплаты, а значит, и премиальных средств. И оклады руководителей в прямой зависимости от численности персонала, а не от эффективности его использования. — Он высоко поднял брови, взглянул на Должикова, торжественно промолвил: — Вот вам и заборчик. Можно на нем штаны порвать.

Должиков надменно дернул головой, объявил:

— Значит, пустим его на слом.

Серегин спросил зловеще:

— А ты знаешь, на что замахиваешься?

— Да не я, а само время, — улыбнулся Должиков. — Вся высшая власть у него. Ну, а я по его полномочиям в самые высокие инстанции кинусь.

— Допустим, — сказал Серегин. — Вот ты благородно хочешь помочь заводу расширить дефицит кадров. Только общезаводской фонд зарплаты-то главк соответственно числу освобожденных снизит. Этого ты не учел. Да и лишние руки про запас тоже нужны, как все равно дефицитные материалы. Деревне помогать надо? Надо. Отпускники уходят или, допустим, грипп. Количество ручного труда у нас в нормативе. Лишнее оборудование в цехе всегда пригодится. Поломка станка — пожалуйста, другой в запасе стоит, новенький. Вот вы уборку собрались механизировать. А фонды откуда? Вот, значит, какой пейзаж получается, — изрек с горечью Серегин.

— Ты на меня не фыркай, не я придумал. Вот Анатолий Кузьмич в министерстве и главке на всех тигром кидается по поводу ветхозаветных сооружений. Стоят все равно как избы в городе. Да, совершенствовать только одно нельзя, надо все, во всех направлениях. И главное — стабильные планы.

— И как же, кумекаешь, всего этого добиться?

— Ничего так не поднимает людей на инициативу, как доверие. Но инициатива порядка требует. Надо завести во всем и всюду четкий порядок. И если отступают, как на фронте, — лишать званий.

— А если не по своей вине?

— Тех, кто виноват — без колебаний!

— И нас с тобой? — расхрабрился Серегин. И с той же храбростью признался: — Это я тебя хотел малость охладить, уж очень ты пылкий и самоуверенный. Но не перепрыгивать же надо, а размеренно шагать. Ты перепрыгнешь, другой об это же споткнется. — Спросил: — Ты же депутат?

Должиков кивнул.

— Ну вот и надо с этой вышки голос поднять, тогда без усилителя в ЦК услышат.

— Так в ЦК уже все сказано.

— Верно, сказано, — согласился Серегин, упрекнул: — Так чего ж команды ждать, — действуй.

— Значит, поддержишь?

Серегин помолчал, посмотрел на мощный строй станков, сказал с гордостью:

— Гвардия стальная, с ней можно такое творить, что раньше не снилось.

И оба без промедления, чтобы не терять пыла-жара, пошли в кабинет директора.

Сначала Иванов слушал стоя, давая понять, что очень занят другими делами. Говорил только Серегин, громко, с запалом, а Должиков с удовольствием слушал, любясь преображением приятеля.

— Ты на меня не напирай, — перебивал Анатолий Кузьмич, — не ершишь, у меня шкура толстая. Чего ты меня на верхи науськиваешь, я и так туда не с поджатым хвостом являюсь. Я с курса не соскальзывал ни влево, ни вправо и в хвосте не тащился. А чего мне бояться, у меня два с занесением за пазухой. Сам говорю, научно-техническая революция требует революционной решительности. Знаю, знаю, что экономический закон один на всех, а тем, кто для себя придумывал, еще Владимир Ильич всыпал.

— И Леонид Ильич тоже, — сказал Должиков.

— А что он, не ленинец? Не инженерит по всем параметрам нашей жизни? Только ты мне по макушке не стучай, сам в мечтах и звуках, а как их осуществить полностью? Ну, стих, выдохся?

— Еще в запасе есть кое-что. А вот если б я весь свой запас вывернул, — гора получилась бы, а твои, директор, претензии — только кучка.

— Верно, по птице перышки. Только и они во мне, как штыки, торчат.

— Да я на тебя не жалуюсь, а горжусь.

— Спасибо на добром слове. Но я не хозяин, а хозяйственныйник, хозяева вои там, в цехах. Мое дело фронт работ твердо, прочно и долговременно обеспечить и гарантированный план. А то придется на дверях кабинета табличку повесить: «не исполняющий обязанности». Что, здорово придумал?

Затем Анатолий Кузьмич долго и внимательно слушал Серегина, что-то записывал. В заключение спросил:

— Все? Ладно, остальное побереги для себя.

Откинулся в кресло, долго разглядывал Серегина, заявил изумленно:

— Вот ты какой оказался ферт! Не знал, а то бы Геннадия Семеновича не беспокоил, тебя вместо него на линию огня вывел, ишь какой меткий, по всем болевым точкам постукал. Давно бы так.

Выйдя из кабинета директора, Серегин пожал руку Должикову, сказал:

— Спасибо.

— За что? — удивился Геннадий Семенович.

— Дал возможность высказаться. Я ведь в расчете на твою мощную поддержку это себе позволил.

И вид у Серегина был какой-то обновленный, и шагал он шире, чем всегда, и пиджак расстегнул, чего никогда прежде себе не позволял ни при каких обстоятельствах.

* * *

Семен Фомич Должиков пригласил Платона Ивановича Михсева на пиво, как он ему затем пояснил — на пенсионерский напиток.

Усевшись за стол и дружелюбно глядя на Платона Ивановича, грустно изрек:

— Я ведь, Платоша, до седьмой пятилетки пивом брезговал, а с нее и вовсе отрекся.

— Пиво — напиток слабоутешительный, — язвительно произнес Михеев.

— Да вот, поговорить надо. А пиво, оно задушевности прибавляет. — И без перехода спросил: — Чего это ты у Кости в бригаде комсомольскую романтику развел? Жизнь тогда какая была? Деньги — тьфу! Настоящая оплата чем была? Спичками, керосином, уж очень повезет — стеклом для лампы, куском мануфактуры, ну,

съестным. Пообедаешь, аппетит каким был при тебе, таким неутоленным и остался.

Платон Иванович кивнул.

— Натощак жили. Но,— поднял указательный палец,— в нравственной чистоте и в светлых надеждах.

— Как и положено,— одобрил Семен Фомич, пососал пиво, вытер усы ребром ладони.— Так вот, замечание хочу тебе сделать. Уравнение людей бывает только от общей беды или бедности, а где ты такое теперь у нас видел? Теперь кто как работает, тот так и ест.

— Лозунг революции отменяешь?!— грозно произнес Платон Иванович.

— Отменяю!— решительно хлопнув по столу ладонью, объявил Семен Фомич.— И не я, сама наша жизнь!

— И для жулья, спекулянтов, воров тоже?— с негодованием спросил Платон Иванович.

— Не морить же их голодом. Кормить по норме, согласно существующему закону.

Семен Фомич залпом допил пиво, крикнул, оглянувшись на висящее за спиной зеркало, сказал с грустью:

— Вот я хоть снаружи своим возрастом уже подпорченный, и, как у пойнтера, щеки брыльями обвисли, и со лба волос сносился, а на затылке голая лужайка, но кое в чем остаюсь прочный до самой своей смерти. Зря назад не оборачиваюсь, вперед гляжу на сколько силы соображения хватает, чтобы подальше видеть.

— И что ты там узрел?

— А то, что с ходом жизни люди не ростом, а умом выше стали.

— Мой ликбез на фронте был, а они после детсада уже политграмотные.

— Ну, это ты загнул.

— Ничуть. Мой внучек по картинкам в «Огоньке» точно называет, кто с нами и кто против нас.

— Мы-то не по картинкам это знали, а в натуре.

— Чего же тогда новое поколение выше своего возносишь?

— А ты прикинь: чего они сейчас могут в день, мы в год не могли.

— Обстановка не позволяла.

— Ну, это точно,— опустив голову, задумчиво произнес Семен Фомич, помедлил, оживился.— Так вот за что я тебя сейчас прижму. Ты ребят в бригаде чем и куда заманивал? На уравнение? Не знаешь, как мы с этим боро-

лись, когда с карачек на ноги встали? По труду честь, по труду слава и награды. С этого и пошли люди один другого на голову выше, а низкорослые-то кому впрок? Только портным, материала на них меньше требуется. И нам теперь можно и должно материально обеспечивать тех, кто больше своим трудом возвысился. Им больше и причитается.

— Ну, дал промашку,— печально согласился Платон Иванович.— Но исправились же.

— А кто теперь исправленному будет верить? Подорвал авторитет бригады. Слава богу, вовремя спохватились.

— Кто же тебе про нас доложил?

— Как кто? Костя! Не спит по ночам, ворочается. Ну, я ему допрос по всей форме. Высказался без утайки. Тут я ему и пояснил, что даже на коня надо садиться не со стороны хвоста, а от головы. Понял?

Платон Иванович кивнул.

— Да не тебя спрашиваю,— досадливо произнес Семен Фомич.— Он понял!— Снова разлил пиво по стаканам, сказал:— Ты против меня еще молодой, а позабыл, что к чему.— Приказал:— А ты пей, пей, нам пиво полезное, брюхо холодит и в голову не ударяет. Хотя если взять вино, то оно против пива напиток более удовлетворительный. И из-за стола бегать кое-куда нет надобности. Ты как, принимаешь?

— Давно на сухом режиме,— грустно признался Платон Иванович.

— А я еще могу,— похвастал Семен Фомич,— но воздерживаюсь, чтобы поддержать противоалкогольную агитацию. Внучек-то мой, Костя, каков на твой зуб?

— Парень крепкий, с дальним прицелом мыслит.

— Надо в пределах достигаемости, чтобы вперед самого себя не забегать.

— Международную обстановку как оцениваешь?

— А чего тут, все ясно. Америка сразу после войны со всех народов дань забрала, считает теперь — мало. Зубы скалит, укусила редьку с толстого хвоста, а прожевать не может. Только народ умнее своих хозяев,— задумчиво произнес Семен Фомич,— за ним и будет последнее слово.

— Наше было первым — мир народам, и теперь оно на всю землю убедительно звучит.

— И от самого авторитетного нашего человека, — сказал Семен Фомич, — он войну насквозь прошел, знает, что она такое. Кому и верить, как не ему.

— Это точно, — сказал Платон Иванович.

— Ну, а как тебе в бригаде-то? — спросил Семен Фомич.

— Да я у них там не то наставник, не то комсорг по старой памяти.

— Я тебя еще молодым помню. Тощий, рыжий, горячий.

— И теперь еще не остыл.

— Вот именно не остыл, — иронически произнес Семен Фомич, спохватился, не обидел ли, улыбнулся: — А нам хладнокровные не нужны.

— Молодые-то, Семен, какие нынче пошли? Не желают удивляться на удивительное, считают, все так и надо, по ихней эпохе положено. Привезли станок — все сам умеет, только что не разговаривает, а они походили вокруг него, посмотрели, какой он самоработающий, и высказали неудовольствие, зачем при нем оператор? Поставить, мол, на дистанционное управление, тогда одного человека на десяток таких станков хватит. Видал, какие?

— А у меня свой такой, — сказал Семен Фомич с нескрываемой гордостью. — Говорит, главный враг в станках — трение. Мол, надо такой самосмазывающий материал изобрести, который можно применять как стойкое покрытие для всех работающих деталей. Тогда число ремонтников сократится до самого минимума или совсем надобность в них отпадет. А станки требуется целиком сменить. Не потому, что они сработались, а потому, что они по своему техническому уровню устарели. Видал, куда закидывается?

— Все может быть, — кивнул Платон Иванович. — Они своего достигли. Лучом металл режут. А что такое керосиновая лампа, примус, вобла — котлета «карие глазки» — на первое и на последнее блюдо, не знают.

— Вобла теперь реликт, — сердито сказал Семен Фомич, — извелась рыбка, нечем юность припомнить.

— А ты слыхал, что от дочери Марата Нелли Фомина мужа уводит? — спросил встревоженно Платон Иванович. — Не успели обжениться, и нате вам — вот теперь они какие на эти дела скорые.

— Это слепого-то?

— Да он башковитей зрячего. Его Евгений Потапович Лебедев от Дмитрия Должикова к себе в КБ перетащил.

— А Марат что?

— Понятно, в обидном смущении, парень-то ему по душе пришелся. Дочь во всем обвиняет.

— А она что?

— Какой с нее спрос? Ей на завкоме вкатили!

— За мужа?

— Нет. За физкультуру. В интересах телесной закалки и общего оздоровления кадров на спорт большая сумма отпущена, а процент простудных заболеваний не снизился. Все почему? Она на рекорды нажимала, чемпионов выращивала, а главную свою миссию из внимания упустила.

— Ну, а муж при чем?

— Если она не человеколюбивой к заводским кадрам оказалась, чего ж от нее ждать мужу при его несчастном положении.

— Ну, это ты хватанул. Тут не так все просто. А Фомина-то что? По-тихому увела?

— Нет, зачем, по-громкому. Пришла на стадион, вызвала Октябрину и, говорят, в глаза ей все и выложила. Мол, Игорь — светлая голова и я — не хуже, у нас общие интересы. Это сам Евгений Потапович отметил. Он не видит, что я красивая, значит, будет любить не за то, за что все, кто за мной ухаживал. И когда я, мол, начну увядать, он меня не разлюбит. Кроме всего прочего, он мужественный, отважный человек. Это то, чего мне не хватает в мужчинах.

— Она что, дура? — осведомился Семен Фомич.

— Нет, незаметно.

— Значит, наглая.

— Не скажу. Она пришла ко мне и попросила, чтобы я все это Марату точно передал.

— Зачем?

— Затем, чтобы дошли ее мотивы без всяких комментариев.

— Ну, а Октябрина что?

— Слезы льет. Да еще от завкома влетело и от людей за то же самое.

— То есть как за то же самое? — запротестовал Семен Фомич. — Одно дело служебное, другое — семейное.

— Ну, это ты врешь, — возмутился Платон Иванович. — Раз нечуткость к людям проявляет, значит, и мужа могла ущемить.

— Не солидно как-то у молодых по этой линии получается, — грустно сказал Семен Фомич.

— Это точно. Вот у нас в бригаде Сергей Бобрин по третьему разу женился, был я у него на свадьбе, а он меня с двумя бывшими женами знакомит, я и врубил им — зачем пришли, это же неприлично. Хохоцут: а это мы новенькой в порядке предупреждения, чтобы на короткой цепи его держала.

— Так это же распущенность! — возмутился Семен Фомич.

— А ты что хотел, чтобы серной кислотой бывшему мужу в рожу плескали?

— Так где же их женское достоинство?

— А что им — обе при деле, материально от мужа независимы. Зачем им за него держаться?

— Ну, душа-то у них не в ридикюле?

— Теперь ридикюли сумками называются.

— Да хоть авоськами. Срам. От сраму прежде вешались. А что, теперь такого не бывает?

— Бывает, — скорбно произнес Платон Иванович. — Вот Зеленцов из КБ лаборантку горячего цеха бросил, она своими химикатами отравилась. Только в реанимации и отходили.

— Так его, подлеца, судить надо! — с гневом заявил Семен Фомич.

— Собирались, но она после больницы заявление подала: Зеленцов ни при чем. Это, мол, ее другой тип обманул.

— Зачем же соврала?

— Что, не понимаешь? Сильно любила.

— Значит, есть у них высокая любовь?

— А как же, имеется в наличности. К ней за такую безаветную любовь наш Миша Трофимов любовью воспылал. Она все от него отказывалась, плакала, но перед его напором не устояла. Он ресторан под свадьбу заказал, а она не идет. Тогда он говорит — не пропадать же продуктам! Рассмеялась, затем разрыдалась и повисла у него на шее. Поженились, родила ему ребенка. У лаборантки зарплата чуточная, а у него еще мать на руках. Все на сверхурочные просился, чтобы такую свою артель при полной норме содержать. Живут дружно, друг на друга радуются. Вот такая у них карусель бывает.

— Ну, а что этот, Зеленцов, как он?

— Понятно, все его бойкотировали. Замаялся, ну и припелся к Трофимовым жалости просить. Те помялись, помялись и смилосердствовали. Позвали к себе домой на именины. Но он все ж таки снова сукиным сыном оказался. Пришел на следующий день в КБ и говорит: теперь вам ясно, как меня оклеветали? Один только Евгений Потапович Лебедев ему поверил. Но он простодушной души человек. Однажды при всех высказался: «Я никогда не был хозяином ни одной женщины. Слугой — да». Нашел чем хвастаться. Дай бабам полную волю, так они всех нас охомушают, как при матриархате. Хорошо, что их на ремонтные работы не берут, а то я бы в грузчики ушел, где им полный запрет.

— Но твоя-то тобой, как генеральша, командует, — напомнил ехидно Семен Фомич.

— Ну, положим, звание ее лейтенант запаса, а мое — ефрейтор. Учитывать надо.

— Ладно, учитывай, — безобидно согласился Семен Фомич и пожаловался: — Сколько мы с тобой пива выпили, брюхо пучит и более ничего.

— А я даже на фронте на спирт слабо реагировал, сто граммов мне были как слону дробина, — похвастал Платон Иванович.

— Говорят, бывали охотники свои нормы копить, а затем перед боем все полностью принять, и море по колено.

— Таких я не одобрял, — со всей серьезностью заметил Платон Иванович. — Для боя нужно все нервы в полную натяжку иметь. От этого и бóльшая выживаемость и точнее прицельность.

— Ну и повидали мы! — вздохнул Семен Фомич.

— Не говори, такую биографию имеем, на десятилетях хватит, и лишек еще останется. Ну, давай за наилучшее. — И Платон Иванович потянулся к Семену Фомичу.

Тот отодвинул свой стакан, сердито напомнил:

— Пивом не чокаются. Забыл, что ли? Ерундовый напиток!

— В предзакатном возрасте медициной не только разрешается, но и рекомендуется. — Платон Иванович выпил залпом, поморщился, пожаловался. — Эрзац, одно слово.

Семен Фомич вышел проводить приятеля. Они шагали молодой липовой аллеей, насаженной вдоль недавно выстроенных домов.

— А чего тут было, помнишь? — спросил Платон Иванович.

— Ну чего, пустырь, свалка.

— А после?

— Окопы рыли, когда против беляков воевали.

— Ну, а еще?

— Противотанковый ров копали, да мелковат оказался, бутылками с горючей жидкостью из него в фашистские машины швыряли.

Семен Фомич тронул Михеева за рукав.

— Ты лучше понюхай, как липы пахнут! Счастливое дерево, столько от него радости людям!

И оба замедлили шаги.

Когда строительство физического оздоровительного комплекса было завершено, Анатолий Кузьмич Иванов заявил:

— Вот она! Самая полезная и приятная точка на всей планете.

Строителям он давал такое задание: строить дешево, но красиво. Правда, из сметы все-таки вышли, и, когда финансовые контролеры отметили такое нарушение, Анатолий Кузьмич объяснил:

— Это же я капкан для молодых кадров строил. Придут, увидят и с завода — никуда.

Ему заметили:

— Может, эти средства лучше бы на общежитие?

— Так я бы себе рядом со стадионом землянку выкопал, чтобы поближе было, — восторженно сказал Анатолий Кузьмич и тут же сухо добавил: — По-вашему, тяп-ляп — и общежитие, а по-моему, надо строить капитальное здание гостиничного типа. Я такое специально для молодежи закладываю. — Вспомнил: — Вот в мое время, в тридцатых годах, — дощатый барак, глиной обмазанный, двойные нары, а жили дружно, решали все хором. Одно терзало — кровожадные клопы. Как-то добрый старичок посоветовал: наловите синиц и в бараке выпустите. Синица — единственная из всех птиц, которая вонючего клопа склевывает. Наловили. Ну и стало жить нам совсем отрадно — проснешься, птички чирикают, порхают, и чесаться тебе всю ночь уже не надо. — Хитро сощурился. — А вот, допустим, привели бы нас тогда на наш теперешний заводской оздоровительный комплекс. Вот крику-то было бы — «это что за буржуазно-аристократическое заведение? Вызов пролетариату, всему рабочему классу!». А нынешним пока-

жешь — «А где бассейн? Летний каток? Велотрек?». Ну, осаживаешь: мол, обрати внимание, у нас беговая дорожка утрामбована лунным грунтом.

По вечерам стадион щедро освещался, словно гигантский театральный зал, в то время как на заводе каждый станочник сводил к минимуму холостой прогон станка, чтобы зря не расходовать электроэнергию, и цеха погружались во мрак, как только завершала работу последняя смена. Стадион превращался в парк культуры и отдыха. Одни сидели на трибунах, любясь тренировками спортсменов, а те ради зрителей устраивали самодеятельные состязания; другие гуляли по тополевым и липовым аллеям, третьи сколачивали наспех команды, азартно и самозабвенно играли в волейбол, футбол, баскетбол.

Тут же была и площадка для танцев. По-модному называемая — дискотекой. Обычно на танцплощадках дежурят милиционеры либо дружинники. Но тут такой необходимости не было, стоило кому-нибудь нарушить правила поведения, как спортсмены, прерывая на время тренировки, вежливо, но крепко взяв нарушителя под руки, выводили его или, подняв на весу, выносили далеко за пределы стадиона.

В пределах комплекса находился оздоровительный профилакторий — однодневный, а точнее — двухдневный дом отдыха. У комплекса был и детский филиал, в миниатюре повторяющий все то, что имелось в главном: разнообразный спортивный инвентарь, площадки, эстраду в виде раковины.

Этот оздоровительный комплекс можно было бы сравнить с Олимпией в Греции. Правда, территория для олимпийских игр была, пожалуй, поменьше заводской, хотя сооружения там были из камня, но зато на водный бассейн, видно, средств не хватило, а на зимний каток тем более. Спортсмены жили на казарменном положении в помещениях вроде конюшен. И судьи там были ненадежными. Так Нерону в связи с его высоким служебным постом присудили множество спортивных побед, собственно говоря, все лавры, хотя, как известно, из-за распушенности, излишеств в еде и прочем у него было сильно подорвано здоровье. Если судить по скульптурам победителей, телосложение у них было отличное, но спортивные показатели ниже, чем у наших. Женский пол в качестве болельщиков не допускался, а нарушительниц, говорят, безжалостно

топили в протекающей рядом речке. На заводской же стадион вход всем — свободный.

Греческие спортсмены выступали нагими и только умасливали свои тела для красоты. Наши же, заводские, не уступали в красоте древним грекам, хотя и скрывали ее порой под удобной спортивной одеждой.

Бывшие фронтовики, например, как древние гладиаторы, были разукрашены шрамами, рубцами, впадинами от ранений. Старокадровые рабочие имели мощную мускулатуру, хотя и не гармонично развитую по всему телу, а лишь по надобности их профессии.

Те, что пришли на завод подростками, не обладали, как нынешние акселераты, высотой роста, но были жилисты и отличались исключительной выносливостью.

Нынешняя же молодежь выглядела «аполлонисто», то есть телосложение имела почти гармоничное. Почему? Да все из-за научно-технического прогресса.

Представьте себе, приходит оператор-прокатчик. Раньше он, как гладиатор, бросался с клещами на раскаленную полосу и выволакивал ее из калибра в калибр всей своей богатырской силой. А теперь труд прокатчика стал сидячим у пульта. Вот и бегают наши прокатчики на длинные дистанции ради исцеления от геморроидальности. Кузнецы же просятся в тяжелую атлетику, а служащие хотят обучаться боксу.

Инструментальщики занимаются теннисом, это логично — тут нужна меткость. Из горячих цехов бросаются в бассейн, а администрация и бригадиры тянутся к классической или вольной борьбе, поскольку в разного рода конфликтах им приходится проявлять вежливую сдержанность, так хоть здесь, на тренировках, можно отвести душу.

При формировании спортивных команд тренерам приходится считаться не столько со спортивными данными, сколько с тем, кто из какой бригады. Обычно члены одной бригады вступали гуртом в команду. В цеху отстаивали свою производственную бригадную честь, а в оздоровительном комплексе спортивную.

Октябрина Должикова гляделась здесь, как амазонка. Ладно сложенная, широкая в плечах, узкая в бедрах, она казалась подростком. Это подчеркивала и ее короткая стрижка. Лицо, бронзовое от загара, щеки впалые, скулы резко обозначены, подбородок волевой, глаза строгие, зоркие, как у снайпера. Здесь она повелительница, главный

тренер. Но она еще и гимнастка. И когда работает на спортивных снарядах, собираются смотреть все. Работает она с такой легкостью, что, кажется, ей это ничего не стоит, да и любой то же самое сможет. Ан нет, подойдет какой-нибудь паренек, весь облепленный мышцами, подпрыгнет, вцепится в кольца и повиснет на них, как мешок. Октябрина его поправляет, учит, как наставник в цеху своего ученика. И там и здесь, на стадионе, одинаково учат мастерству. И там и здесь помогают преодолеть застенчивость, неуверенность, неловкость, внушают веру в себя. Здесь — для здоровья, в цеху — для дела.

Стадион — гигантская чаша здоровья. Так думал Анатолий Кузьмич и объяснял это тем, кто считал, что он допускает финансовые излишества. «Человек — это драгоценность, — говорил он. — Затраты на его здоровье он с лихвой вернет своей работой, значит, я вкладываю деньги под самый высокий и наивыгоднейший для завода процент».

Все, кто ходил к Октябрине на стадион, заметили, как она изнуряла себя в последнее время тренировками. По заводу ползли слухи о неблагополучии в ее семейной жизни. Слухи эти невольно поддерживало то, что Октябрина переселилась жить на стадион в одну из спортивных раздевалок, поставив там раскладушку, тумбочку и пару стульев.

Сергей Иванов, сын директора завода, также усердно готовился к соревнованиям.

— Это правда, что Игорь от тебя ушел? — спросил неожиданно как-то Сергей.

— А тебе какое дело?

— Чтобы знать, человек ты или нет?

— Я просто несчастливая.

— Почему ж несчастливая? Потому, что другая стала счастливой?

Октябрина пожала плечами.

— Просто я не смогла любить его так, как хотела. А он это понял. Не захотел меня мучить.

— А раньше? Вы любили друг друга раньше?

— До того, что с ним произошло, мы были просто товарищи, мы на практике вместе в студенческом стройотряде работали. Он, по-моему, на меня особенного внимания не обращал.

— А потом?

— Потом? — Октябрина подняла голову и, следя, как ползут кучевые облака, наливаясь синевой, медленно произнесла: — Он меня спас, я чувствовала, что своей жизнью обязана ему, а он стал совсем беспомощный, я решилась.

— Не чувствовала, а размышляла? — поправил ее Сергей.

— Какая разница?

— Большая, — сказал Сергей. — Чувство сильнее разума. А ты раздумывала — надо, не надо?

— Нет, нет, не так! — крикнула Октябрина.

— Так! — сурово произнес Сергей. — Мол, он своей жизнью пожертвовал, дай я ему за это свою отдам. Вот какая была твоя арифметика. И Игорь это прекрасно понял. А может, он тебя не любил? Просто растерялся, когда ослеп. И тебя пожалел.

— Ну зачем ты меня так бьешь, за что? — спросила жалобно.

— За то, — гневно сказал Сергей, — что я вот в тебя врезался. А сказать тебе этого не мог. Думал, какая я сволочь, раз у тебя Игорь такой. И, может, еще даже сильнее влюбился за то, что ты его любишь. Я думал о тебе, как о недосыгаемо высокой, а ты, оказалось...

— Но не я же от него ушла, он меня бросил.

— Не бросил, а оставил, потому что почувствовал, что тебе не нужен, не захотел быть в тягость.

— Просто его сманила красотка Нелли, — зло произнесла Октябрина.

— Да ты что, сдурела, откуда он может знать, какая она красотка?

Октябрина снова потупилась.

— Главное зло, которое он мне причинил, то, что отец презирать меня стал. А я вот тебе клянусь, я его все-таки любила.

— «Все-таки» не любят.

— Ну, и ушел, а тебе-то что?

— Так я же тебя тоже любил, а теперь что-то надломилось, — с горечью произнес Сергей.

— Значит, и ты не любил, — жестко сказала Октябрина.

Сергей внимательно посмотрел на нее, поднялся со стула и вышел.

Октябрина долго сидела, скорчившись, худенькая, согбенная, вытирая тыльной стороной ладони глаза.

Она думала о том, что хотела походить на свою мать и отца в их обоюдной самоотверженности, а вот не смогла. Этого не понял отец, и никто не поймет. Вот и Сергей ничего не понял. Как же ей теперь жить?..

* * *

На белой террасе под большим разноцветным зонтом за столиком сидели Нелли и Игорь, Костя и Света Должиковы, инженер Лазарев и Евгений Потапович Лебедев.

— Глубокую сосредоточенность ученого, как ни странно, часто принимают за рассеянность, — говорил Евгений Потапович. — Но способность мобилизовать всего себя в равной мере необходима людям любого труда. Кстати, молодежь, заметьте, недобросовестность в учебе приводит к недостаточным знаниям, и значит — к недобросовестной работе. — Потянул носом воздух. — Приятные запахи благотворно действуют на психику. — И тут же заявил: — Человек не должен быть рабом своих желаний. Удовольствие и счастье вещи разные. Чтобы достичь полного счастья, нельзя размениваться на мелочь удовольствий. Впрочем, духовных невежд убеждать бессмысленно, их надо учить. Это к вам не относится, конечно.

Встретил я на днях одно, теперь угасшее, светило. Недоволен жизнью. На все и всех ропщет. А почему? Однажды был озарен одной-единственной дельной мыслью и с тех пор пользовался ее все тускнеющим светом. Ум должен быть безмерным тружеником. Дал передых — все. Серое вещество, лениво хранимое в черепной коробке, усыхает. Человека, который по лености ума обжуливает сам себя, я бы привлекал к ответственности как за уголовное преступление. Я признаю чувство восторга только перед талантом.

Если человек долго учится, это вовсе не означает, что он многому научился. Нужно жить деятельно, жить по-другому — значит жить бесцельно. Да, да, и упрямство вовсе не твердость характера, а слабодушие или просто боязнь нового, неизвестного. А бывает, что чем свободней и развязней рассуждает человек о самых сложных проблемах, тем он ограниченнее. Хотя случается, что прежде времени высказанную истину люди считают ложью.

Так поучал начальник КБ молодую компанию, которая с удовольствием внимала ему, наблюдая, как Лебедев с ре-

бляческой жадностью поедал мороженое, чмокал, наслаждаясь и не стесняясь этого. День сверкал, грело солнце.

Покосился на часы, ахнул, вскочил, схватился за голову:

— Опаздываю! — скорбно посмотрел на официантку, несущую на подносе еще всем по порции, и исчез, перепрыгивая по лестнице через ступеньку вниз, с веранды на стадион.

Игорь сказал, поправляя очки с темными стеклами в сверхмодной оправе (приобретение Нелли):

— Какой удивительно красивый человек. (Видел бы он облезлую внешность Лебедева!) Сколько мужества и самообладания. Ведь к модернизации двигателя главк предъявил такие претензии, которые требуют крупного изобретения. Разработка нового сверхмощного двигателя пока задерживается, а реконструкция старого целиком лежит на его плечах. А он себе философствует, да работает так, что у самого сильного зверя не хватило бы выносливости Евгения Потаповича.

— А ты откуда знаешь? — спросила Света.

— Уважаемая девица, — ответил за Игоря Лазарев. — Наш молодой коллега у нас в КБ работает как математик-вещун, а также как поставщик технических идей. Понимэ? И, заметьте, он у нас мечтатель-реалист. Это исключительно редкостная способность, свойственная революционерам. Вы это знаете?

— Я не знала, что Игорь такой умный, — смутилась Света.

— А я не подозревал, что вы так недогадливы, — съязвил Лазарев.

Нелли произнесла предостерегающе:

— Света, учти, Лазарев у нас кусается. Особенно, если задевают членов КБ.

— А меня никто не задевает, — вмешался Игорь. — Просто я люблю решать задачки. Память у меня отличная. К тому же на лекции хожу с магнитофоном. И сам себе сочиняю задачки — для КБ. Сам сочиню, сам решаю. Все очень просто — так вслепую дают сеансы шахматной игры на нескольких досках. Только вместо фигур у меня цифры и формулы.

Игорь бесстрашно произнес эти слова — «так вслепую», но все замерли в растерянности.

— Вот именно, — Игорь нарушил возникшую паузу, — как вслепую. Хотя мне иногда кажется, я вижу математи-

ческие формулы, они как бы вспыхивают передо мной. Правда, интересно? — И улыбнулся.

Чувствуя не то тепло, исходящее от Нелли, не то аромат ее волос, Игорь резко повернулся, нашел ее руку и со счастливой улыбкой сказал:

— Мы с Нелли вот о чем думаем: из дыма медеплавильного завода добывают серу, а почему бы пылевидные отходы ценных металлов, минералов и газов по трубопроводам не доставлять на обогатительные фабрики и химзаводы? Я вот сейчас рассчитываю для Нелли установку вакуумно-плазменного упрочения трущихся деталей. Помоему, можно многократно повысить их износостойкость. Математические расчеты я закончу ко дню ее рождения и подарю ей.

— Почему только ей? — спросил Лазарев.

— Видите ли, когда мы с Нелли предложили установку вакуумно-плазменного упрочения деталей для особо ответственных частей двигателя, подвергаемых агрессивным воздействиям газов, от нас потребовали такую уйму справок из различных инстанций, что для них потребовался бы чемодан. Вот вроде и выходит, что эта рационализация больше нужна нам с Нелли, а не им. Похоже, что эти люди, будучи при смерти, потребуют себе на визу собственный некролог.

— Однако ты сердитый, — сказал Костя.

— А ты?

— Знаешь, в некоторых видах спортивной борьбы применяют удар головой, так вот это мой излюбленный прием.

— Бодаться! — поддела Света.

— Нет, не жалеть головы, если уверен.

— То есть самоуверен, — снова кольнула Костю Света.

— На неприятности не закрываю глаза.

— Кажется, ты относишься к себе слишком великодушно.

— Жалости к себе не испытываю.

— А к другим?

Густые ресницы Светы распахнулись:

— Мне снилась, — сказала она, в упор глядя на Костю, — огромная прозрачная река, и я, рыба, плыву по чистой воде и вижу чистое небо и в камушках дно.

— А меня? — спросил Костя.

Света пожала плечами.

— Ты, как всегда, отлучился! — ответила за нее Нелли.

— По служебным надобностям! — рассмеялся Костя.

— Очень смешно! Очень! — произнесла Света сквозь слезы, проведя под глазами пальцем, чтобы не потекла тушь.

— Острят невпопад либо тупые, либо бестактные люди, — строго заметил Лазарев.

Игорь забеспокоился. Нашел плечо Светы, повернул ее к себе, сказал искательно:

— Ну что ты, не знаешь Костю? Он же как мимоза. Чуть коснись — сожмется, а не трогаешь — торчит иголками.

— Он не мимоза, он дуб, — объявила Света.

— Ладно, — согласился Игорь. — Пусть дуб, но мимозовидный. — И все рассмеялись.

— А на вас я не сержусь, — сказал Костя, обращаясь к Лазареву.

Лазарев недоуменно приподнял брови.

— Он позволяет себе только на меня сердиться, — ответила за Костю Света.

— Он, ваше сиятельство, от вас облучился и теперь страдает светолучевкой, — добавила Нелли.

Костя, не глядя на Нелли, серьезно сказал Лазареву:

— Вы имеете право учить других. — Затем обернулся к Нелли: — Света мне светит только тогда, когда ее нет рядом, а когда она со мной, не я, а она выставляет свои иголки.

— Ах, какой чувствительный, — ответила насмешливо Нелли.

— Но ведь это так хорошо, когда человек чувствительный, — взволнованно заступился Игорь.

— Уж ты молчи! — ласково сказала Нелли, прижалась к его плечу, прошептала: — Ты мой локатор, а я твоя лока-торша.

Лазарев обратился к Косте:

— Евгений Потапович личность замечательная, удивительная. Он раздает свои мысли, находки с беспечной улыбкой, называет все это «мелочишки для мыслишки». И будет раздавать до конца жизни, а ведь целую коллекцию званий, наград мог бы получить даже за половину, да что там, за четверть того, что он раздал и раздает.

Но он не только умеет отдать. Он дьявольски видит. Вот глядим на одно и то же, а видим разное. Он про Горохова говорит: «Глядя, как работает токарь Горохов, в свои мозговые запоминающие устройства я втискиваю идеаль-

ную схему экономно точных движений этого волшебного токаря, для того чтобы воплотить их в металле. Записав в программу совершенное рукотворчество человека, мы можем приблизиться к созданию его копии, конечно, в грубом механическом исполнении». Видали, каков? А что я? Ну, во время войны не подкачал, телесно малость поврежден. Но вы заметили, характер-то у меня испорченный. Посмотрите, — он простер руки к зеленому полю стадиона, с веранды видному как на ладони. — Нет ничего совершенней, гармоничней, прекрасней нормально развитого тела человека. Не зря древние греки запечатлевали своих богов обнаженными. А вы посмотрите, как эти наши боженята там бегают, прыгают через препятствия, метают диски, копья. Да и ваша родственница, Октябрина Должикова, когда работает на снарядах, будто совершает свободное парение, вопреки законам гравитации. Так и кажется — еще мгновение, и у нее из лопаток развернутся крылья.

— Здорово, поэтично сказано, — одобрил Костя. Спросил: — А что же вы, раз так любите спорт, не занимаетесь?

— Понимаете, я, как старый моряк, который не может скинуть рубашку, стесняясь неприличной татуировки, — усмехнулся Лазарев. — Меня на войне так разделали, располосовали, что просто неловко портить людям настроение такой живописью. — Посмотрел Косте твердо в глаза, жестко спросил: — А что вы мне, например, скажете, ну, допустим, как ее родственник, если я вам сообщу, что мне нравится Октябрина? Староват для нее, седоват, шкура, как у зебры? — нетерпеливо произнес: — Слушаю.

— Начистоту?

— Валяйте! — Лазарев откинулся вольготно на спинку стула, но лицо его при этом было напряженным.

— Видите ли, она хотела принести себя в жертву героизму Игоря, а он не принял такую жертву.

— Ну, и?..

— Возможно, и к вам она проникнется тем же чувством.

— Жалости? — поспешно спросил Лазарев.

Костя кивнул.

— Только по жалости? — пробормотал Лазарев. Тряхнул головой: — Нет, так не пойдет.

— Верно это — по-мужски, — сказал Костя.

Очевидно, вдруг смутившись своей доверчивой откровенности перед этим насупленным парнем, Лазарев кивнул головой в сторону Светы, произнес ободряюще:

— Она, кажется, в вас того... а вы как?

— А я свое личное ни с кем не обсуждаю.

— Пронзил, пронзил насквозь. — И Лазарев даже по-ежился, будто его укололи, а затем покраснел от стыда.

Костя, поняв его состояние, наклонился, положил руку на колено Лазарева, не то сострадав, не то извиняясь за ненамеренную резкость.

— Октябрина, знаете ли, очень хорошая. Но она, как бы вам это сказать, ну, ею всегда восхищались. Потом она боготворит мать и отца, особенно за силу духа. Она и в гимнастику пошла потому, что гимнастика требует не только физических сил, но и силы духа. Если вы наблюдали ее раньше на тренировках, она искала себе упражнения максимальной сложности для того, чтобы самоутвердиться, что ли...

— По-моему, вы правы, — согласился Лазарев. — Даже несомненно правы.

— Но я считаю, что фокус не в этом, — сказал Костя. — Уж если рисковать своей жизнью, то ради жизни других людей, как вы, например.

— Я не предмет обсуждения, — резко произнес Лазарев.

— Нет, предмет, — упрямо сказал Костя, — поскольку она вам ничем помочь не может, а вы ей можете.

— Спасибо за грубость, может, она пойдет мне на пользу. — Лазарев жалко улыбнулся: — А то, знаете, я сам в себе запутался.

— Бывает, — мрачно сказал Костя. — Когда люди сами себя обманывают — это тоже жульничество, и, как всякое жульничество, оно наказуемо.

На веранду поднялся Сергей Иванов, весь облепленный выпуклой мускулатурой, проступавшей сквозь футболку. В руке он держал растрепанный букетик цветов. Без колебаний шагнул к Нелли, склонился, произнес:

— Разрешите доставить вам эстетическое удовольствие.

— Разрешаю, — сказала надменно Нелли, передала букет Игорю. Затем царственно осведомилась: — Откуда добыча?

— Похитил из вазочки в столовой, у официантки не оказалось сдачи. Счел возможным совершить подобное хищение стоимостью, равное сдаче. Если будет суд, прошу почтительно быть свидетельницей обвинения.

— Чего врешь! — прервал Сергея Костя. — Видел, как покупал в киоске.

— Совершенно верно, — не смутился Сергей. — Хотел пленить разбойным поступком, а ты обличил, унизил. Подай-ка за это стул.

— С такой мускулатурой и сам не надорвешься.

Присаживаясь, Сергей говорил, кивая на Костю:

— Они, из механического да из ремонтного, все бело-ручки — интеллигенция. А мы, из горячего цеха, — истинные представители пролетариата. Вот взгляните, свидетельствую мозолями.

— Мозоли у тебя от гантелей, и гребете вы, сталевары, вдвое больше нас.

— Извините, юноша, — Сергей отодвинул Костю от Светы. — Вот я весь. Вот моя наличность, — пошевелил мускулатурой, — если есть охота, хватайте жениха, парень я характером хилый, скажете — женись, и женюсь беспрекословно. — Посмотрел на пустые вазочки из-под мороженого:

— Наслаждались! — Заметил горестно: — А мне запрет, наберу лишних сто граммов — перевес, и загремлю в полусреднюю.

— Кажется, у вас тренер Октябрина Должикова? — с подковыркой осведомился Лазарев.

Сергей посмотрел на него, любезно сообщил:

— Кроме тяжелой атлетики, я занимаюсь боксом, чтобы оградить Октябрину Маратовну от притязаний неспортивного характера.

— Я знаком с одним представителем вашего вида спорта, — сказал Лазарев, — служили в одном подразделении, но пришлось отчислить в обоз. Понимаете, есть различие между физической силой и силой выносливости, так вот первой он обладал в изобилии, а второй — увы. Не сдюжил, как говорили бойцы.

— Хук в скулу, но нокаут не получился. В любом виде спорта выносливость — дело решающее. — Обратился к Свете: — Я только что разошелся с Октябриной во мнениях по этой же самой проблеме выносливости. — Оглянулся на Нелли, та опустила глаза. Сергей, не щадя ее, разъяснил: — Она утверждала, если человек совершил подвиг, от него нельзя в дальнейшем требовать героизма, а я — если нет способности к героизму, подвиг вообще совершить нельзя, а уж если совершил, значит, и дальше может.

— И вы правы,— сказал, оживившись, Лазарев.

— Благодарю, вы в этом больше других разбираетесь.— Спросил Свету:— Ну, так как, не желаете быть моим тренером? Чтобы вылепить из меня личность в своем вкусе?

Света гневно сказала:

— Да из тебя уже кто-то постарался, вылепил одну мускулатуру.

— Вот это отбрила!— обрадовался Костя и с обожанием посмотрел на Свету.

Она придвинула к нему свой стул, вопросительно взглянула ему в глаза, положила свою ладонь на его плечо. У Кости дернулось веко.

— Ясненько,— с сожалением произнес Сергей. Подо-звал официантку, показал три пальца, потом указал на себя, то есть ему все три порции, потом оглядел сидящих.— Вот буду остужать свое обидой разгоряченное сердце.— Спросил деловито Костю:— А что у Марата за бум в бригаде? Недосмотрели, что ли, подачу смазочного? Или что-то там полетело? Значит, премию всем тютю?

Костя опустил голову, потом сказал:

— Да, Марат поставил Боброва к новому станку, когда на него претендовал Прохоров. Бобров — человек старательный и всегда вызывался первым, когда нужно было кого-то заменить, кому-то помочь, поработать на другом станке. Он даже работал одновременно на двух, рассчитав операции так, чтобы они проходили попеременно. Конечно, при этом его выработка несколько снижалась. Прохоров же работал только на своем станке, на «своих» деталях и давал выработки чуть больше нормы, чтобы ему засчитали перевыполнение. Стали разбираться. Больше всех разгорячился Прохоров, стал склонять бригаду к тому, чтобы Боброва выгнать. А потом уборщица показала Марату промокшую в масле подстилку, на которой обычно стоял Прохоров у своего станка. Выходит, заметив в обеденный перерыв масляную лужу под станком Боброва, Прохоров вытер ее этой подстилкой и никому не сказал. А Бобров в эту смену как раз работал на двух станках, на новом фрезерном и старом строгальном, и недоглядел, что у него масло течет. Мнения в бригаде разделились почти поровну. Кто за Прохорова — может, это сам Бобров подстилкой Прохорова масло вытер, а кто за Боброва. Но два высоко-разрядника, которым оказался не по нутру бригадный метод, воспользовавшись этим случаем, заявили о своем уxo-

де. Сослались на то, что раньше такие дела в два счета решал мастер или начальник участка, а тут только митингуют. Пригрозил уходом и Прохоров, понимая, что о его промасленной подстилке могут пойти в цеху неприятные разговоры. И Марат оставил Боброва в бригаде до выяснения всех обстоятельств. Но теперь даже те, кто был на стороне Боброва, в связи с уходом двух высокоразрядников стали на Марата ворчать: теперь, мол, все пойдет «сикось-накось» и взамен ушедших мастеров никто из толковых ребят не пойдет в бригаду. Заменят их «петеушниками», упадет выработка, значит, премиальных не жди.

Марат все это с тоской и тревогой поведал Косте, и Костя признался тогда ему, что об этом событии у него в бригаде идут разговоры. «Выходит, я и тебе подгадил, — мрачно сказал Марат и добавил: — Ты уж извини, пожалуйста». Эти слова Марата больно резанули Костино сердце.

Глянув на Сергея, он вдруг разозлился на него и на себя за то, что вроде бы поддерживал слухи, которые поползли о бригаде Марата по заводу.

Он поднялся, грубо сказал Сергею:

— А ну, поставь свой стул на место, садись на мой, а то тебе не терпится кому-нибудь поплакаться, что Октябрина тебе отставку дала.

Сергей вскочил, но Костя с силой сунул ему свой стул под колени, и Сергей, не удержавшись на ногах, плюхнулся на него. Уходя, Костя мельком оглянулся. Он увидел только глаза Светы, отчаянно раскрытые и показавшиеся еще огромнее от нахлынувших слез.

* * *

Жилплощадь. Слово — надежда, слово — мечта, слово — история. После войны люди не жили — ютились. Кому повезло, кто имел собственную жилплощадь, мог разместить топчан, этажерку, самолично сколоченный столик. Жилплощадь в то время не выделяли, ею награждали особо отличившихся.

Это теперь, что ни город — архипелаги жилых массивов. По статистике новостроек, если бы все население Франции пожелало переехать в Советский Союз, ему бы хватило этой новой жилплощади, хватило с излишком. Но нам самим еще недостаточно. И, пожалуй, всегда не будет хватать, поскольку по возможностям страны растут по-

требности людей. Такова диалектика нашей жизни: от плохого идем к «получше», от «получше» — к хорошему, от хорошего — к отличному, а это отличное, в свою очередь, будет когда-нибудь считаться плохим, и так далее.

Егор Нилович Горохов был награжден жилплощадью в одном из первых заводских домов, который хотя и назывался новым, но был подобен старым, надежно кирпичный, с кровлей, увенчанной печными трубами — тогда надежного расчета на паровое отопление не было. Дом торопились сдать. Жильцам ждать было некогда. Поэтому полы, двери, оконные рамы были сделаны из недовыдержанного материала. Жильцы самостоятельно все это перебрали, застругали, сложили и выкрасили заново. То же самое и с сантехникой — выручал черный рынок. Поэтому каждая квартирка приобрела свой неповторимый облик в зависимости от вкуса и возможностей владельцев.

Егор Нилович Горохов переложил ровненько половицы и через трафарет узорно их выкрасил, глянешь — ковер. Стенки покрыл небесно-голубым колером и таким же окрасил рамы, поэтому прилипшее к окнам небо было словно бы продолжением помещения.

Егору Ниловичу дали удобный второй этаж, но он бесечно сменялся с многодетным семейством на пятый, неудобный, поскольку лифта не было.

Тогда еще не было моды на малогабаритную мебель, чрезвычайно удобную для новых зданий с низкими потолками, смонтированных из железобетонных плит наскоро, в порядке штурма, в ответ на крайнюю нужду людей хоть в какой-нибудь крыше. Поэтому Егор Нилович купил по объявлению, наклеенному на столбе, старый монументальный буфет из еловых досок густо-коричневого цвета — под дуб. К нему пуфик и два стула, таких прочных, что они могли бы держать на себе колонны, но, увы, без сидений. Затем, на базаре, табуретки и два матраца, набитые не то слежавшейся паклей, не то песком, если судить по их тяжести и жесткости.

Буфет он долго оттирал наждачной бумагой, вернув доскам их первоначальную древесную внешность, покрыл лаком, и получилось прилично. Тот стал веселеньким, блестящим и светлым. Стулья также оттер и покрыл лаком, а супруга сшила нечто вроде наволочек в синий цветочек, набила разного рода тряпьем, и получились сиденья. Потом такие в лучших домах стали модными. Но ни

Егор Нилович, ни его супруга не знали, что явились первооткрывателями моды.

К пуфу Егор Нилович приладил высокую спинку и ручки, получилось что-то вроде вольтеровского кресла, только на нем нельзя было барственно развалиться, а следовало сидеть, не сгибая спину. К табуреткам путем набитых наволочек тоже сделал мягкие сиденья, приятные задю. Правда, по красоте его мебель несколько уступала сработанной крепостными мастерами и выставленной для обозрения в Останкинском музее. Но, если по-честному, все это могло бы быть достойно музея, посвященного трудным временам жизни наших соотечественников — музея, которого нет, но который мог бы служить поучением всем последующим поколениям.

В сортире Егор Нилович выкрасил белилами чугунного литья унитаза, и он получился как фаянсовый. То же самое он проделал в кухне с раковиной.

Через несколько лет печное отопление сменили на паровое, чем сравнивали старый дом с его младшими по возрасту братьями.

Поскольку Егор Нилович любил и берег свою супругу, он с каждой своей премии покупал ей то набор эмалированных разнокалиберных кастрюль, то пылесос, то электрополотер, то стиральную машину, то электрическую мясорубку. И, конечно, холодильник. Приобретение каждой такой вещи обставлялось празднично, торжественно, будто в доме поселялось симпатичное, доброе и полезное существо.

В передней имелся встроенный шкаф, предназначенный для хранения одежды. Объемы его были таковы, чтогодились бы для какой-нибудь дореволюционной франтихи, хотя супруга Егора Ниловича, должно быть, от фронтальной привычки содержала в нем для себя только два комплекта обмундирования, строевое — для работы и парадное — для гостей, для праздников. Повседневный капот-халат считался вроде как дополнительным маскировочным обмундированием. Поэтому, подумав, супруга пожертвовала великодушно этот шкаф в полное владение Егору Ниловичу.

Егор Нилович приладил внутри шкафа откидной столик, верстачок, на дверях развесил легкий инструмент, на полках разложил потяжелее, на гибком стержне прикрепил светильник.

Поскольку передняя по странному замыслу архитектора была обширней кухни, ванной и туалета, вместе взятых, здесь размещались также полки с книгами. Это было чрезвычайно удобно для супруги Егора Ниловича, когда она занималась уборкой. Достав с полки какую-нибудь книгу, она приказывала:

— На-ка вот, возьми да почитай. — И красноречиво открывала перед мужем дверь на лестницу.

Сидя в сквере и пережидая время, когда супруга закончит уборку, Егор Нилович иногда так увлекался чтением, что приходилось его загонять домой.

Как-то Константин Должиков зашел к Горохову и нашел его на кухне, где он, сидя в трусах и майке у раковины, вылавливал из ведра разносортную рыбешку, потрошил и чистил. Лицо его было сильно озабоченным и в то же время гордо счастливым по причине хорошего улова.

— Садись! — приказал Егор Нилович. Кивнув на ведро, скромно пожаловался: — Совсем клева не было: не то рыбка зажралась, не то поумнела шибко, побалуется с приманкой, пошалит поплавок, а чтобы взять — не желает. Надергал вот мелочи. — И показал глазами на ведро, где среди рыбешек, скольцевавшись, лежала довольно увесистая щука.

— Ого! — сказал Костя.

Егор Нилович сконфузился:

— Это так, щуренок, — но щеки его поползли в довольной улыбке.

— Ты футболист, — снисходительно произнес Егор Нилович, — тебе бы только мяч по выходным пинать, а вот дядя твой, Марат, — рыбак, уважаемый мною. Только чего это он бросил? Так без него вся река куда-нибудь утечет, на дне одни лягушки да травка останутся, — пошутил Горохов. Упрекнул Костю: — Вы там в пыли и в поту за мячом гоняетесь, не подозреваете, какая на реке благодать. Тишина, пространство, воздух наивысшего качества. И для мыслей просторно. О чем хочешь, о том и думай, одним глазом, конечно, на поплавок, а другим обзревай тальник, стрекоз, бабочек. Но главное, на что стоит смотреть, — это на реку. Миллион раз приди, а она все разная, то такая, то сякая, не обсказать, не постичь ее красоту.

Я вот чего соображаю: может, и есть где-нибудь в небесном пространстве наивысшая цивилизация, но ежели у них такой, как у нас, речки нет, тьфу, предложили бы на ракете слетать — отказался бы. Значит, без настоящего

удовольствия там жизнь.— Спросил живо:— Хочешь. щу- ку тебе подарю? Не желаешь? Тогда заверну я ее тебе в газету, а ты отнеси ее Марату. Может, я его ею на рыбалку и раздразню.

— Не до рыбалки теперь Марату, сами знаете.

Егор Нилович опустил голову, сказал тусклым голосом:

— А это не против него свара, а против бригадного метода высокоразрядники затеяли. И Прохоров тоже от чего зашелся? Почуял, что бывший петеушник Петька Нарышкин со своим третьим разрядом уже может его, шестого разряда, работу выполнять, ну и перепугался за свой престиж. Петька-то на курсы повышения ходит, а Прохоров брезгует, вот и напоролся.— Вздохнул, поднял голову.— Прохоров, конечно, мужик вредный, а отчего? У него сын институт кончил, надеялся он устроить его мастером в цех, а сынок с нашего же завода стерженщицу привел, говорит — знакомься, жена. Ну, отец, понятно, взбеленился. Сын с высшим, а привел кого? Недавно уборщицей была. Турнул обоих, отказал в помещении. А его на ремонтном заводе в обнимку обхватили, однокомнатную — раз, должность сменного инженера — два. Родили внука — три. Но даже посмотреть деда на внука не пускают. Вот он, оплеванный, теперь на всех и кидается. Жизнь, она у людей пестрая, полосатая, с одного взгляда не разберешься.— Спросил, недоверчиво сощурясь:— Тебя, случаем, не Марат ко мне послал?

— Нет, я сам.

— Я его упреждал, что трудно ему придется, коли в бригаде будут только с высшей квалификацией. Они к чему привыкли?— к побрякам. Если порядка в цеху нет, их простой дороже любого другого обходится. Ну, у того, другого заготовки берут и высокоразрядным перекидывают, чтоб не так дорого простой обходился. А если изделие ниже их квалификации, все равно в наряде приписывают за квалификацию. Скажешь, несправедливо? Конечно, порядок на производстве это и есть та самая справедливость, которую труд себе требует. А когда порядка нет, тут плесень и заводится.

— Так с бригадами порядок в цеху стал лучше.

— Верно! Но люди-то не сразу лучше становятся, тут химия посложнее, чем наша производственная.

— Ну, и что?

— А то, что Марату надо бы с этим считаться.

— Подлаживаться к высокочинам, угождать, любезничать, покрывать — так, что ли? — гневно воскликнул Костя.

— Ты не ори. Ранения были, контузии — нет, так что слышу, чего там сосед за стеной на своей скрипке выпиливает. А зачем я Марату нужен? Для вывески?!

— Она у вас уже повыцвела. Последний сдельщик. Так и будет записано в истории завода.

— А ты меня историей не пугай. Я ее во всяких видах видал и ничего, не жмурился. В санбате с ранением отдохну и снова на фронт, от нетерпения поглядеть, какой он такой Берлин.

— Марат больше вас орденов имеет...

— Марат — мужик геройский. В Прохоровке сколько фашистских танков намолотил, уволокли в госпиталь без памяти, после чего он месяца два слова пролепетать не мог, числился в списках как неизвестный. Партбилет и прочие документы у него санинструктор как у покойника взял. Его бойцы из второго эшелона обнаружили, подобрали, хорошо, что наспех не зарыли, когда в нем ни пульса, ни дыхания не было. Вот его и не нашли, когда наградить хотели. На фронте я под его командой с гордостью служил бы, а в мирное время не желаю.

— Почему?

— А зачем он меня реликтом при всех обозвал? Что я ему, ископаемое животное?

— Реликт обозначает редкостное, что все невзгоды времени вынесло, а осталось почти таким же.

— Пришел я домой, взял энциклопедию, прочел, вначале так точно и прочитал, а потом примеры пошли: утконос, морда птичья, туловище звериное, размножается тем, что яйца несет, как курица. Выходит, это я утконос?

— Да это вы шутите.

— Лучше шутить, чем гневаться. Желаешь начистоту? Так вот, раньше Марат со мной и на рыбалку вместе, и в кино, в Дом культуры. И в цех бегал советоваться, а как сдельщики стали не в чести, стал сторониться, чтобы не подумали, что он водится с таким отсталым. Вот где он мне штык в сердце вогнал, вот в чем меня по-настоящему обидел. Теперь я для него ничто, и он для меня никто. Все, точка! — решительно объявил Егор Нилович. — На этом разговоре конец. — Через силу улыбнулся, спросил: — Хочешь, ухой угощу? Ах, не желаешь, тогда привет и будь здоров.

Когда Костя рассказал Марату о своем посещении Егора Ниловича, Марат выслушал, жалобно улыбаясь:

— А все-таки он хороший, чистый человек. Зуб на меня имеет, и за дело. Заслужил. Мои на меня кидались, что я Горохова оберегаю от критики общественности, заискиваю перед ним, как его бывший ученик. Словом, корили за беспринципность, и я, верно, сдался, стал уклоняться от встреч. Ну, и правильно заслужил по морде.

Вид у Марата был удрученный. Бригада безмолвствовала по поводу ухода двух высокоразрядников и Прохорова, который громогласно подсчитывал, сколько дней ему осталось до ухода.

Марат со страхом ожидал конца месяца. Общий заработок бригады, думал он, будет снижен в соответствии со снижением выработки. Но бригада все-таки выполнила свой план и даже получила процентное вознаграждение за то, что справилась меньшим числом рабочих. Правда, возник новый конфликт: по настоянию бригады Прохорова и еще одного высокоразрядника лишили начисления по коэффициенту, потому что они, нарочно взявшись за самую простую работу, еле дотянули до нормы. Узнав об этом, они гордо покинули бригаду.

Весь конфликт произошел в обеденный перерыв. Пока люди обменивались репликами, одни — горькими, другие — злобными, Прохоров заметил, что кто-то включил его станок еще до звонка и работает на нем. С яростным воплем: «А ну катись отсюда, я пока еще со своего рабочего места не сошел!» — ринулся Прохоров на него. И замер: за его станком стоял Егор Нилович Горохов.

Обернувшись, Егор Нилович строго сказал:

— Тебе чего тут надо? И не ори под руку. — Склонившись к станку, брезгливо заметил: — Это кто же его так заделал? Ты бы, Прохоров, как высокий мастер, такому уши натер, вот это правильно было б. Небось свой обхаживаешь лучше, чем зубы чистишь.

Все обступили Горохова в недоумении. Егор Нилович остановил станок, вытер руки паклей, сказал, обращаясь к Марату:

— Товарищ бригадир, я как новенький к самому замызганному станку стал, не возражаете?

— После разберемся, — подавленно произнес Марат. Он не мог больше ничего из себя выдавить, горло сжало, в глаза что-то наплыло, смаргивал вроде слезы.

В сторонке в это время стоял Серегин, наблюдал с любопытством, чем кончится дело. Не выдержал, подошел к Горохову.

— Значит, кадровый дефицит разрешился? Не возражаете, ежели я посмотрю, за чей же станочек вы встали? — Провел пальцем по станине, вытер, произнес: — М-да, — обратился к Прохорову: — Станочек я вам хороший подобрал, старого выпуска, но после капремонта, как новенький, и что же вы с ним сделали? Придется перед уходом привести в порядок.

— А я еще заявление не подал.

— Слышал, шумели, что уходите, — деликатно напомнил Серегин.

— Шум во внимание не принимается, а бумаги марать я не приучен.

Горохов спросил Прохорова:

— Выходит, я твой станок занял? Ну, ни в жизнь бы не поверил, что это твой.

— Ладно там, хватит топтать, — буркнул Прохоров и включил станок, хотя перерыв еще не кончился.

Марат, сияя, сделал широкий жест:

— Выбирайте любой, Егор Нилович, все в вашем распоряжении.

Горохов сухо заметил:

— А ты тут за всех не главнокомандуй. Какой мне бригада ответит, за тот и стану.

Подскочил Серегин.

— Может, желаете за свой? Пожалуйста!

— Так мой-то вон где стоит!

— Не беспокойтесь, любой другой выделим, — с готовностью предложил Серегин.

— Да что ж, — сказал Горохов, — к какой конюшне прибилсь, на тех конях и ездить.

И все рассмеялись, кое-кто не без подхалимажа.

Вечером в доме Егора Ниловича, отведав ушицы с соответствующим сопровождением, Марат долго изъяснялся ему в своей признательности, благодарности, глубокой симпатии и во всем остальном.

Егор Нилович слушал Марата без возражений. Но при этом, слегка отодвинувшись от стола, внимательно созерцал надетые по такому случаю новые импортные туфли, приобретенные супругой, как всегда предусмотрительно на номер больше. Склонился, пощупал, сказал уныло:

— На клею подошва, недолговечная.— Потом произнес с воодушевлением:— А вот еще задолго до войны купил я скороходовские ботинки, кожа бокс, подошва спиртовая на медных гвоздях, не было им сносу, только набойки снашивались. Сколько лет прошло, а все их помню, надежная вещь, с юности до седых волос мог носить.— Вдохнул, не отрывая капризного взгляда от новых туфель, сообщил:— Ты мне тут много высоких слов нагородил, а мне они ни к чему. В бригаду почему пошел, соображаешь? Нет? Скажу! Мне тебя, приятеля по рыбалке, стало терять нежелательно. Не перед кем уловом похвастать, а первому попавшемуся душа не позволяет. А к тебе я привык, хоть и громко лопочешь, рыбу отпугиваешь. Но зато мастак, даже сытую без приманки хватаешь,— улыбнулся.— Ну, вроде как меня, карася.

Прощаясь, горячо обнялись, и не потому, что оба несколько подвыпили. Просто душа велела.

Что ни говорите, а роль личности как в истории, так и в практике текущей жизни имеет большое значение.

Пришел Егор Нилович в бригаду, ничего такого особенного там не совершал, работал, как раньше, так и теперь, вдумчиво, аккуратно. Заметит, у кого что не ладится, свой станок выключит, молча подойдет, посмотрит, в чем загвоздка, покажет, как надо исправить. Значит, не поучал, а учил. Хотя поучать легче, пополоскал языком, отошел от человека и тут же про него забыл.

Так называемая зона обслуживания станков стала у него шире, чем у всех, ибо стал он считать своим рабочим местом место всей бригады.

Теперь он обзавелся бесценным словом «мы» и употреблял его даже в тех случаях, когда следовало бы сказать «я». Прямо как прежде говорили только цари и императоры.

На совете бригад, куда его избрали, и на совещаниях он обычно молчал, когда дело не касалось производства. Но когда возникала необходимость, говорил коротко и точно. Если человек ясно мыслит и ему есть что сказать, он обходится обычно малым количеством только необходимых слов.

Пребыванием в бригаде Егор Нилович не внес особо заметного вклада в производительность труда. Но если дело касалось какой-нибудь особо сложной работы и качества, тут он был незаменим.

А главное, что следовало отметить, с зачислением Егора Ниловича в бригаду высокочинаники сильно присмирели, а по линии производства рванулись ревностно к самым показателям, чтобы доказать Горохову, что не такого уж он полета птица. Правда, авторитет Егора Ниловича был непререкаем. Стоило ему подойти к какому-нибудь низко- или среднеразряднику и спросить:

— У тебя какой? Третий? А я думал — четвертый, — и этого хватало, чтобы бригада поставила вопрос о повышении разряда такому растущему.

Тем, кто прогуливал, или опаздывал, или якобы по нужде засиживался, почитывая там газету, Егор Нилович говорил:

— Бой — дело святое. Но и там находились филонщики: засядет, бывало, в воронку для собственной безопасности, огнем товарища не прикроет. Спрашивается: кто виноват в гибели товарища? Свой. Боеспособность бойцов от подносчика снарядов зависела, а находились и такие среди них, что прилягут этак-то отдохнуть, припоздают. Патронов нет, враг совсем близко, приходится кидаться в штыковую, рукопашную. Несем зряшные потери.

— Ну уж сравнили! — оправдывались лодыри.

— А я не сравниваю несравнимое, — мирно говорил Егор Нилович. — Но если дошло, на том спасибо.

— Да за что спасибо?

— За то, что совесть до конца не потерял.

Как-то, когда Марат благодарил его за помощь, Егор Нилович сказал:

— Ты на меня все не вали и с себя не сваливай. Ухватился бы, как Костя, за индивидуальные обязательства. Лес-то он лес, но из разных деревьев состоит, одно выше, другое ниже, это только бревна по размерам равные. А все живое растет по-разному. Всеобщий закон природы.

Если в бригаде случалось что плохое, Егор Нилович был тверд. Хотя говорил мягко, без нервов, казалось, нажми — уступит, а нет, стоял на своем.

С ходом времени люди стали относиться к Егору Ниловичу как к главному советчику и, прежде чем обратиться к Марату Должикову, все обсуждали с ним. Конечно, это задевало бригадирское самолюбие Марата, и он стал относиться к Егору Ниловичу с холодком. Егор Нилович быстро это уловил, но виду не показал, только чуть насмешливо на него прищурился.

Однажды он сказал Марату:

— Ну, чего ты ежишься, как на морозе? Командир на фронте из одного котелка с солдатом хлебает не потому, что голоден, а для разговора, для общения. Поэтому же из его кисета махорку закуривает. Генеральского долга нет. А есть один для всех — солдатский. А у нас — рабочий. Кто кем бы ни был у нас в бригаде, он все равно рабочий. Высшая должность на земле! А дополнительное звание при этом, оно только обязывает больше, но привилегии повелевать другими не дает. Руководитель не повелитель, а исполнитель того, к чему его звание призывает, понял? А он должен остальных увлечь, доказать, как можно лучше, легче, проще дело делать.

Видя растущее влияние Егора Ниловича, Марат Должиков крепко задумался, не передать ли ему бригадирство, с тем и стал дожидаться совещания в бригаде.

* * *

У Константина Должикова тоже возникли проблемы в его комплексно-молодежной бригаде. Взяв на себя индивидуальные обязательства, ребята не сводили глаз со сменной доски показателей. Одни испытывали при этом гордое воодушевление, другие — удовольствие, третьи — унылую обиду, но каждый стремился обскать другого. Теперь они уже не брались за любую порученную им работу, а стали привередничать — кому что делать. Освоив одну операцию, пытались отпереться от иных, где сразу себя не покажешь, другим нос не утрешь. Стали отлынивать от такой работы, которую не запишешь в производительность своего труда — подремонтировать станок, убрать стружку. А тут еще Михеев принялся восхвалять на летучках особо отличившихся, добродушно признаваясь, что даже его самого обставили. «Во мастер! — говорил он и показывал большой палец, хваля кого-нибудь, а остальных упрекал: — Не вам чета».

По совокупным показателям бригада считалась передовой. Но Костя тоскливо ощущал возникшую разобщенность.

А Платон Иванович ликовал — вырастили кадры! Дают почти с высшими наравне, — торопил, хлопотал о повышении разрядов. И все свое пламенное внимание уделял им. Говорил: эти моей выучки, уйду на пенсию — моя сноровка, мои приемчики на заводе себя обозначать будут в таких вот ребятах.

Семен Фомич засек, что внук стал приходить с работы не таким, как прежде, взволнованно-разговорчивым. Уже не спорит с ним, а только вяло отвечает. Как-то решил дед раззадорить внука, сказал, что социализм стоит за коммунизмом в очередь. Костя гневно заявил, что коммунизм — это не дефицит, за которым в очередь становятся, он в корнях народа, и ростки его там вылазят, где новое одолевает старое.

— Вы нас, что ли, одолеваете? — сердито осведомился Семен Фомич. — Вы, выходит, ростки, на которые нам только любоваться остается?

— Старое — это то, что вы не одолели, — запальчиво отбрил Костя, — и исторически нам назначено одолеть.

— А история тебе не папаша, не мамаша, чтобы лично завещать. Ее самим надо делать. Как мы, по-крупному.

— Ну да, хвастаетесь, что воевали.

— Дурак только этим может хвастаться. Войны на нашем пути — все равно как стихийное бедствие. Мы строили, а они ломали. Людей не воскресишь. Не будь войны, мы бы давно только из одной Сибири такую б Америку для себя сделали!..

Но такие схватки между ними теперь случались редко.

Костя приходил домой кроткий, унылый, неразговорчивый. Дед терпел, терпел, да и приказал:

— А ну, вываливай из себя весь сор, давай разбираться, что от чего.

Внук вяло поведал о своих тревогах.

Дед насторожился.

— Чем конь резвее, тем он урысливей. Это я когда в кавалерии служил, понял, — пожевал губами, задумался. — Вот послушай-ка, чего я тебе расскажу. В начале тридцатого года меня прорабом на стройку назначили. Опытных рабочих всего несколько десятков, а из деревни пришедших сотни. Понятно, крестьяне, рабочей сноровки нет. У меня материальный фонд для вознаграждения одеждой, обувкой, мылом, мануфактурой. Ну, я, понятно, раздаю только тем, кто уже обученный. Мужики расстроились, работать не хотят. Митинговал, митинговал, осип, а до донышка не достаю, чувствую, слова разлетаются по ветру. Пришел к парторгу: так и так, не могу овладеть массами. А парторг не самоучка, как я, а старый большевик с дореволюционным стажем. Слушает, весь в дыму махорочном — когда задумывался, он особо сильно курил. И говорит мне: «Ты, Семен, вот что, засеки, до какой мер-

ки могут сейчас тянуть те, кто из деревни прибыл. А кто хоть чуть перетянет, без промедления ему сапоги, стеганку, мыло или что там у тебя есть. Сразу и отмечай. Умение умением, а старательность старательностью, от нее до умения один шаг, а в старательности и сознательность просвечивает. Кто сознает, чего хочет, все одолеет. А за то малое, что ты приметил, он от радости еще большим ответит».

Дед откинулся на спинку стула, спросил обеспокоенно:
— Что, в точку попал или мимо?

Спустя некоторое время Константин Должиков, опираясь на коэффициент трудового участия, предложил увеличить процент отчисления тем среднеразрядникам, кто стал хоть ненамного, но лучше работать. А от этого и общебригадная выработка поползла вверх, и авторитет бригады.

На Костю навалились высокоразрядники:

— Дискредитируешь индивидуальные соцобязательства!

— Обожаешь середнячков!

— Давишь инициативу!

— Подлаживаешься к отсталым!

Костя слушал, молчал. Затем поставил на голосование — отчислять или не отчислять лишний процент? Понятно, большинство подняло руку «за», поскольку передовиков меньше. Те зло сказали:

— Использовал машину голосования, как капиталисты делают.

— Сравнили лягушку с трактором, — весело произнес Костя, — я рассчитывал только на сознательное большинство, а несознательные поймут, очухаются, поскольку с общей прибавки и им перепадет.

И чуть не испортил все дело, когда передал рассказ Семена Фомича. Его сразу не поняли, даже обиделись.

— Что мы, за костюмы, велосипеды, телевизоры работаем? Может, это ты вещелюб, а мы нет. — Но, как бы то ни было, конфликт рассосался.

Между тем Костя испытывал чувство оскорбленной справедливости.

Ребята взялись сверхурочно отремонтировать два станка после смены.

Ремонт был не более чем предупредительный, а мастер записал как капитальный. Костя кинулся к мастеру. Мастер ответил:

— А ты чего взбеленился? Михеев предложил, я дал согласие.

Костя помчался к Михееву. Тот недоуменно заморгал:

— Так ведь те же деньги.— Упрекнул:— Про интересы цеха тоже думать надо. Сверхурочные не в чести, с ними даже борются, руководству премиальные снижают, и показатель страдает по заводу. А бумаге все равно, что на ней написано. Зато никому обиды нет.

— Так ведь это жульничество!— с негодованием воскликнул Костя.

— Кому свой престиж дороже заводского, тому жульничество, а кто заводской бережет, тому здравый смысл,— наставительно произнес Михеев.— Обстановку надо понимать и с ней считаться. Это кто со стороны, те могут из гонора и формализма цепляться, людям настроение портить, а кто душой за дело болеет, тем что главное? Польза заводу.

Костя был в смятении. Он никак не ожидал от Платона Ивановича такой изворотливости и беспринципности, того, что по-научному называется прагматизмом, а в быту более точно — приспособленчеством.

Вечером он расстроенный пришел к Марату. Тот чинил соседу пылесос. Не успел Костя войти, как Марат стал ругать конструкцию пылесоса: тяжел, много лишнего металлового, слабо использованы пластиковые заменители, не универсален.

— Вот бы к нам на завод,— быстро бы усовершенствовали, правда, теперь они у каждого словно веники, а ведь после войны не только пылесосов, щеток зубных не было.

Костя сочувственно выслушал, а когда Марат выговорился, рассказал о стычке с мастером и с Михеевым.

— Материального убытка в этом заводе нет, а вот моральный есть, и немалый. Дисциплина у нас должна быть сверху донизу. Как на фронте — и для солдат и для генералов. Задан заводу план, разработали график его исполнения, значит, каждое отклонение — ЧП. За это надо спрашивать, а не спрашивать — портить людей.

— Все это я понимаю, кроме одного, как мог на такое пойти Платон Иванович?— скорбно спросил Костя.

— Добрым, покладистым приятнее слыть, но такая доброта — вред делу и людям.

— Но так же нельзя!

— Нельзя, конечно. Закон есть закон, и чтобы никаких лазеек, а то уж такую гибкость ума проявляют, что всякая

премия стала считаться нормой, как зарплата. Порядок — это прежде всего честность и чистота во всем.

— Хорошо бы,— заметил Костя.

— А этого хорошего мало — нам ход от него ко всему наилучшему.

— От деда оптимизма нахватался?

— Своего могу одолжить.

— А я тебе другое скажу. К нам в ремонтники оператор с многоагрегатного автомата просится, говорит, надое-ло, неинтересно пассивно наблюдать да кнопки давить. А ведь работа престижная — десять станочников столько не наработают, сколько он один на своей машине.

— Любопытно,— произнес Марат протяжно.— Это что же, мы полностью ему ручной труд ликвидировали и даже почти от умственного освободили, а ему мало?

— Говорит, не хочет быть придатком машины. А у нас работа трудная, грязная, сборка-разборка, и соображать надо, где от чего неполадки,— объяснил Костя.

— А ты чего сам-то в нее полез?

— Так ведь интересно, каждый раз по-разному работаем. Мы ведь не просто одну на другую деталь меняем, мы устраняем и причину, отчего машина ломается да сшивается.

— Наша генеральная — на полную механизацию и массовую автоматизацию производства, а парень от нее сбежать хочет. Как понимать?

— Не знаю,— уныло сказал Костя.

— Нет, врешь, знаешь. Хочется человеку самого себя в труде обозначить, выказать свои способности, как и тебе в твоём ремонтном. Это тоже проблема.

— Вот я и стараюсь ее решить в бригаде переменной труда. Овладеет человек несколькими станочными профессиями и все свои способности выкладывает. Но опять же автоматика человека от многого освобождает, а человек — существо думающее, или, как пишут в газетах, творческое. Не каждый, конечно, изобретатель, но каждый желает свой почерк в труде иметь. Автоматика труд обезличивает.

— Ты деду об этом говорил?

— Говорил. Зажрались, говорит. Вместо того, чтобы радоваться, уже опасается.

— Так ты берешь своего оператора в ремонтники?

— Не знаю. Может, он там со своим автоматом избаловался совсем?

— Бери,— решительно сказал Марат.— Он тебе пригодится, голова у него, видно, хорошая, раз самостоятельной работы требует. Машина что? Машина, сколько бы в нее электроники ни напихали, самоусовершенствоваться не может. Это от человека при ней зависит. Ему единичных автоматов мало. Ему что надо? Чтобы все процессы труда они смогли свободно исполнить. Автоматы только путь, а полная автоматизация — цель. Может, этого парня на такое и тянет. А человек — личность беспокойная. Надо, чтобы человек состязался не с автоматом, а чтобы автоматика смогла исполнить все то, что он хочет сам, да без машины не может. Мы, помнишь, в космос сначала пустой шарик запустили, после — с собачкой, потом — человека. Теперь люди в нем проживают и работают, все равно как мы у себя в цеху. Значит, сразу ничего не бывает. Наша задача — от малого до великого дистанцию сокращать. И тогда все будет в норме.

— А вот у тебя в пересменку Пахомов замки делал с секретом и попался. Это как, тоже норма?

— Ну и что, я его эту склонность отметил и в цех ширпотреба перевел.

— Наказал, то есть?

— Мог бы, конечно, взыскание наложить, а обставил так, будто человек получил по своим способностям дело. Такое для хорошего мастера чувствительней. Трудной, сложной работой человека возвышают, а простой, несложной задевают. Вот такая у нас диалектика пошла в ход.

Все это Марат говорил с уверенностью в своей правоте. На самом-то деле все было гораздо сложнее. Пахомов обвинил Марата, будто он сводит с ним личные счеты да еще хочет отделаться от высокоразрядника для того, чтобы в бригаде тузом выглядеть. Мол, он, Пахомов, неоднократно давал большие выработки, чем сам бригадир. А тому это пришлось не по нраву.

Может быть, Марат потому и взялся чинить пылесос соседу, чтобы отвлечься от мрачных, жгущих его мыслей о Пахомове,— а вдруг и правда его личная неприязнь к Пахомову тут пересилила? Но то, что он говорил Косте, действовало успокоительно и на него самого, поскольку высшие соображения всегда отвлекают от мелких, житейских.

Вспомнив, с чем пришел к нему Костя, Марат сказал то, что говорил другим не однажды:

— К хорошему мы быстро привыкаем, а вот если к плохому приспособляемся — это худо. Думаю, Платон Иванович сильно переживает, но сразу сознаться ему не вмоготу. Он вам чем светит? Своим участием, задором, а тут вдруг сам от себя отступил. Принципиальность, она, как луч, не гнется. — Вздохнул. — Ну, а как ты считаешь, Пахомова я правильно устранил?

— Нет, неправильно! — живо ответил Костя. — Он человек с пятнами. Вы в бригаде их знаете, зачем же такого от себя в другой цех выпихивать, чтобы он там людям настроем портил? Значит, ты признался, что нет у тебя сил с ним сладить.

— Ишь ты, какой приткий, сам бы попробовал, — огрызнулся Марат. Но, остыв, добавил: — А что, окарантинится там, и, если сам из-за гордости не попросится обратно, схожу, спрошу, как ему живется, может, и заберу назад. Такой урок, он зря не проходит.

Марат выглядел усталым, расстроенным. Может, из-за того, что приезжала Эльза, но на короткое время — полечить зубы: там это очень дорого. И, как сказала,дохнуть кислорода.

Провожая ее на аэродром, Марат жестко произнес:

— Лучше бы ты не приезжала.

— Почему?

— Я уже позабывать стал, какая ты.

— А я и приехала, чтоб напомнить, — счастливо улыбнулась Эльза.

Марат растерялся, сипло осведомился:

— Ну, как там?

— Неофашисты маршируют. Протестующих бьет полиция. Товаров много, цены кусаются. Обыватели кряхтят. Капиталисты наживаются. Политики кротко ронщут на Вашингтон, просят, хотя бы для приличия, чуть удлинить американский поводок. Хотят вместо капусты сажать на границе американские ракеты с ядерными боеголовками. Те фирмачи, с которыми мы имеем дело, склоняются к правым, но вместе с тем страшатся их политических успехов, чтобы это не отразилось на выгодном бизнесе с нами. Ах, Марат, — произнесла она вдруг слабым голосом, — как я о тебе стосковалась!

Потом, как бы между прочим, сообщила:

— Видела я там одного старика, такой приличный, гуляет с собачкой... Даже странно, нет ничего общего, а вместе с тем что-то есть, как увидела, мне даже стало

плохо... — Пожала плечами. — Но в общем, ерунда, переутомилась, наверное, и перенервничала. Там такая неофашистская гадость выставлена в книжных магазинах и даже то, что издавалось при Гитлере. Но... свобода торговли. Если есть спрос, будет и товар.

Эльза неожиданно спокойно отнеслась к известию о том, что дочь разошлась с Игорем. Сказала:

— Просто она не доросла еще до больших, высоких чувств. Любовью не платят, даже за свое спасение. А она не любила. Ее рассудок вел.

— А ты? — спросил Марат.

— Что я? — растерялась Эльза. — Я заплатила за свое спасение? Дурак! Ты для меня был рыцарем без страха и упрека, хотя, наверное, ты так испугался, когда я тебя полюбила, что мне действительно было тебя жалко. Забыл, как ты хныкал и извинялся за то, что поступил как мужчина? А я, гордая тобой и собой, тебя простила. И знаешь, — сказала Эльза, — я по-женски понимаю Нелли. Все вы восхищались только ее красотой и ничего иного не хотели видеть. А она умница, чуткая и гордая. Может, она сама себе бросила вызов: «Ах, вы все твердите — красивая! Так вот, нате вам! Выхожу за того, кто этого не видит и никогда не увидит, но узнал во мне такое, что вы не хотели узнать и оценить». А Игорь ведь и сам красивый парень. Нелли же это понимает, и она, несомненно, питает слабость к красоте.

— Но прежде всего он умный, способный, — напомнил Марат.

— Вот уж когда я в тебя влюбилась, то совсем не интересовалась, умный ты или дурак.

— А если б я дураком оказался?

— С меня было достаточно того, что у тебя хватило ума полюбить именно меня. А когда человек сильно любит, он многого может достичь. Любовь — это сила, — гордо объявила Эльза и вдруг как-то сникла. — Там мне очень трудно и тяжело из-за воспоминаний, но когда я думаю о тебе, то мне, черт побери, даже этот старик, на одного гестаповца похожий, кажется древним и жалким. Хотя тот, которого я знала когда-то, не был жалок. Он вывертывал руки, посасывая при этом окурки сигары, чтобы прижигать людям кожу.

О Косте Эльза говорила радостно:

— Он правдив до жестокости к самому себе. Чисто русская черта. Быть недовольным собой, когда все им до-

вольны. Самодовольство — это черта тех. — Эльза мотнула головой. — Но что мне там немножко стало нравиться, так это то, что им надоело служить американцам. Им захотелось хоть чуть-чуть быть хозяевами в своем доме, а не слугами. Но при этом, еще не сняв ливрею, они натягивают на себя военные мундиры, а это опасно, я же помню, к чему это привело!

И еще: там военнослужащий, даже солдат, идет по тротуару и смотрит на встречных свысока и шагает так решительно-угрожающе, что все с унизированной поспешностью уступают ему дорогу. Родные мои! Как я буду без вас всех тосковать! — И снова пожаловалась Марату: — Представляешь, жалкий старик в темных очках шаркает со своей таксой, а мне все кажется, что это тот, который мне пальцы перебил. Такая я там стала мнительная!

Когда на аэродроме объявили посадку, Эльза почему-то растерялась, лицо ее стало жалобным, скорбным. Она прижалась к Марату, долго не отрывалась, а потом, словно задохнувшись, молча, не оглядываясь, шагнула к контролю, как обреченная.

* * *

В городе стояла сушь, жара. В конструкторском было нечем дышать. Но Лебедева никакая жара не брала. Он ходил по комнате, размахивал руками, громко доказывал:

— Создавать заново куда легче, чем переделывать. Мы были узниками предыдущей конструкции, лишены свободы действий, скованы по рукам и ногам стандартами. И вот мы совершили чудо. Из неуклюжей кучи железа создали шедевр, — усмехнулся, — конечно, местного, заводского значения, но менее металлоемкий и с большим КПД. Мы вдохнули новую жизнь в существо умирающее.

Действительно, модернизированный двигатель получился лучше прежнего. Но директор, поздравив без особого жара, почесал концом карандаша за ухом и сказал задумчиво:

— Все это прекрасно. Но что получается? Работали, думали, тратили мозги и время: новый проект, новые рабочие чертежи, частично новая технология, создание образца, испытания, освоение. Металловес изделия стал меньше, стало быть, и все оно дешевле, вместо цветного металла — удешевленный сплав, тоже скинь с цены. Выходит, чем больше снижаем себестоимость изделия, тем

меньше заводу выручка. К тому же на мозги расценки не установлены.

Лебедев гордо заявил:

— Я мозгами не торгую.

— А у меня совести нет, по-вашему? Народному хозяйству от вас прибыль обозначится в весьма почтительных цифрах, а добавить за инициативу детишкам на молочишко я никак не смогу. Знаю, как это бывает: ручку в благодарность пожмут, да ничего в нее не положат. А я не могу так, — извините, мол, новое вы, конечно, создали, спасибо вам, но инструкции старые, они нового в жизни не признают, где вес на кило, другой меры нет. Ну, да ладно. Сейчас сильный ум против мелкого в бой пошел. Что-нибудь отвоюем...

Может быть, ничего такого особенного в модернизированном двигателе и не было, но сознание, что он лучше прежнего, бодрило людей.

Социологи могли бы отметить при этом укрепление морального климата в коллективе. Заводские экономисты — увеличение производительности труда. Кадровики — почти прекратившуюся текучесть. ОТК — значительную прибавку продукции во всех цехах и по качеству — с первого предъявления.

В общем и целом можно было бы засвидетельствовать радостную закономерность: силенки у людей прибавляется от соприкосновения с новым, даже когда оно им только светит, но пока еще не всегда греет.

Завод находился в состоянии реконструкции, получал и осваивал новую технику — вот-вот ожидал заказы на новый сверхмощный двигатель. Дирекция и партком в связи с этим решили освободить Марата Семеновича Должикова от бригадирства и назначить его в специально созданную группу по внедрению и освоению новой техники, а на его место рекомендовать бригаде избрать Егора Ниловича Горохова.

Егор Нилович поежился, поотпирался, но согласился, когда Марат лично попросил его об этом. А Марат, что же, он понимал, что бригада приняла на себя многое из того, что прежде обременяло цеховых инженеров, а иногда отрывало их начисто от главного дела: взять от техники все и даже больше, чем у нее записано в паспорте. Именно этому должен был Марат посвятить теперь все свое время.

Прецизионные станки, как показала практика, нуждались в специальном помещении, где сохранялась бы по-

стоянная, стабильная температура и куда не было доступа частицам пыли. Автоматы выстроили в шеренгу с таким расчетом, чтобы один оператор наблюдал за несколькими станками, а для повышения его бдительности к системе световой сигнализации подключили звуковую, чтобы было легче ориентироваться.

Анатолий Кузьмич расстарался и добыл плитку для пола в цеху с выпуклым орнаментом не столько для красоты, сколько для того, чтобы не поскользнуться на масляном пятне. Получилось красиво и в то же время с пользой для дела, с некой гарантией техбезопасности.

Все станки для заточки инструмента свели вроде как в заповедник, чтобы наждачная пыль никак не могла повредить новым прихотливым машинам.

Каждый старался придумать что-то рациональное по своей специальности. Рабочим выделили новые спецовки светлых тонов, на грудном кармане — эмблема завода, у каждого цеха свой цвет. На заводе царило праздничное настроение.

Дело несколько тормозили снабженцы. Они, конечно, осознавали, что на заводе совершается научно-техническая революция, но помочь этой революции не были в состоянии. «О чем прежде договорились — дадим, а сверх нормы не выйдет», — говорили они.

Анатолий Кузьмич похудел, щеки ввалились, голос осип от бесконечных телефонных разговоров и визитов в вышестоящие организации к смежникам, где он кланялся, упрасивал, заискивал или угрожал разными, с трудом добытыми грозными бумагами и требованиями.

А тут еще нависла опасность невыполнения плана в заготовительных и горячих цехах, где оборудование в одну минуту за короткий срок не поставишь, не наладишь. Правда, временно снабжать завод заготовками обязали другую организацию.

Ну, а люди? Одни самоотверженно включились помогать монтажникам, строителям, сев, как говорится, на тариф. Другие же, пользуясь своей дефицитной специальностью, ушли с завода, не желая терпеть убытка. Это, естественно, наносило ущерб, ибо к новому оборудованию рабочего без достаточного опыта и квалификации не поставишь.

Все с нетерпением ждали конца реконструкции. А тут завод вдруг перестал получать заготовки. Что

ж предпринять? Обходить Христа ради с шапкой в руках другие заводы, может, кто пожертвует на бедность?

Костя знал, что завод сел на иждивение по заготовкам. Его бригада полностью переключилась на монтажно-строительные работы в заготовительных цехах, работа была тяжелая и даже изнурительная.

Подсобить монтажникам решили и в других бригадах. Егор Нилович, отпуская своих станочников, говорил:

— Дело серьезное, мы, конечно, в качественном и бесперебойном снабжении заготовками заинтересованы. Но на энтузиастов-общественников только полагаться не желаем. В каждом деле должен быть свой порядок.

Ему подсказывали те, кто оставался в бригаде:

— Раз будем план выработывать меньшим числом, пусть платят, как полной бригаде.

— Вы сначала справьтесь, а потом за рубли хватаетесь! — поучал Егор Нилович.

— Рублями нечего упрекать. Заработаем. А кто не хочет, пожалуйста, пусть остается на монтаже, обойдемся.

— А это что, не рвачество?!

— Какое ж это рвачество — у кого ума да сноровки больше, тем и надо плюсовать.

У Егора Ниловича имелась заношенная книжица, в которой в конце месяца он подбивал итоги. Однажды он пустил ее по рукам.

Если сложить все, что собиралось под знаком минус — опоздания, затянувшиеся пересменки, ожидание заготовок, переналадка станка, которую можно было произвести в нерабочее время, не подготовленный к работе инструмент и прочее, — то в общем итоге на все это тратилось столько времени, сколько было запланировано на полный рабочий день полутора-двух человек.

А если подытоживать все то, что значилось под знаком плюс, то можно было отметить бесперебойную рабочую загрузку всех станков при строгом соблюдении производственной и технологической дисциплины, выходило: если бы все в бригаде работали одинаково хорошо, то для выполнения планового задания мог бы образоваться излишек людей.

Расчеты Егора Ниловича на членов совета произвели сильное впечатление, но как их применить на практике?

И Егор Нилович слукавил. Безо всякого нажима со стороны общественности отпускал он членов своей бригады на монтажные работы и таким образом сократил число

рабочих. Теперь он мог продемонстрировать на практике все, что у него было записано, просчитано, продумано. Но при этом, боясь шумихи, разъяснял, что просто дает возможность ребятам заработать, а для этого все должны как следует поднажать. И намекнул на то, что, когда пойдут качественные заготовки, людей в бригаде понадобится еще меньше. Кто хорошо себя покажет, тот и останется.

Предположения Горохова оправдались: бригада с уменьшенным числом рабочих стала давать продукции больше. Ее опыт самотеком расползлся по заводу. Но тут вмешались финансисты. Естественно, они не были против организованного труда, но вот что касается распределения оплаты — от первоначальной численности бригады, — тут они поднялись на дыбы, — не положено, и все, и точка.

Зарботок держался на прежнем уровне, конечно, за счет того, что каждый работал теперь за двоих.

Финансистам, наверное, мерещилось, что бригада Горохова состоит из четырех-, шестируких людей. Тогда финансисты придумали схему оплаты, которую была в состоянии рассчитать разве что электронно-вычислительная машина. Но Горохов стоял на своем: что тут мудрить? Все ясно и просто. Работаешь за двух человек — получи как за двух, а за трех — как за трех. По-научному — аксиома. Обо всем остальном он умалчивал.

Анатолий Кузьмич принял доводы Егора Ниловича и поставил свою подпись под его системой оплаты. На заводе поговаривали, что он, таким образом, подписал самому себе приговор. Но его шаг оценивали и по-другому: бригада Горохова, в том числе и те, кто вернулся назад с монтажных работ, старалась изо всех сил, и не столько по финансовым соображениям, сколько доказывая пользу и выгоду для завода инициативы своего бригадира.

Что касается Константина Должикова, то он испытывал нечто подобное зависти к успехам бригады Горохова, о чем все-таки стали трубить по заводу и даже за его пределами, но использовать его опыт не мог.

Рассчитать работу ремонтников, переходивших с объекта на объект, чему был установлен свой срок и, как всегда, минимальный, было практически невозможно. Кроме того, не всегда можно было заранее предвидеть, учесть, спланировать и саму работу, которую бригаде придется выполнять. Косте оставалось только одно — поддерживать у себя в бригаде тот повышенный тонус, который царил на

заводе благодаря стараниям Егора Ниловича и его подопечных.

Среди монтажников, с которыми Косте приходилось сталкиваться, встречались люди бывалые, повидавшие свет.

Павел Иванович Гребешков в заграничной спецовке и в модных, как у кинорежиссера, очках, внушительно говорил:

— Мы во всяких зарубежных странах немало нашего оборудования монтировали. И в капиталистических и в слаборазвитых, чтобы они стали развитыми. У них как было раньше? За каждый кусок железки капстраны забирали богатство недр и земной поверхности. А мы им — металлургический комбинат, пожалуйста. Есть от чего на нас зуб занять капам. Мы им теперь — кость в горле.

Как-то ставили западноевропейской державе наш агрегат согласно коммерческой договоренности, а они на него, как на слона, дивуются. Не потому, что таких никогда не видели, а потому, что этот «слон» — советский, на нашем заводе выращен. Нет у них о нас правильной информации. Меня спрашивает один тип: «Почему вы много оружия делаете?» — «Какого, — говорю, — охотничьего?» Час втолковывал, что нам не с кем и незачем воевать.

«Почему ж вы Америку не любите?» Отвечаю: «Американцев мы, как и всякий другой народ, уважаем, а вот к тем, кому мы там поперек горла, симпатии нашей нет. Почему? Мы им давно твердим: давайте по-честному посчитаемся, у кого что за пазухой выглядывает. Лучше бы всего оружия вовсе не иметь. А то, если некоторыми предметами начнем кидаться, наша планета, как луна, станет необитаемая». А они мне: «Вот вы, коммунисты-гуманисты, и уничтожьте свои запасы оружия». Говорю: «Так мы согласны. Только чтобы всем зараз».

— Ну, а он что? — спросил Костя.

— А что он мог ответить за свое правительство? Я ему так пояснил: мол, аккуратно теперь всем жить надо и с фактами считаться. Лучше уж мы вам по вашему заказу агрегат поставим, а вы нам по нашему — свои изделия. Правильный, полезный обмен вещами получается. И вам и нам от этого лучше. А то ведь ваши безработные не такие уж беззаботные. Выходят на улицы колоннами, шумят. А вы с ними деретесь. «Безработные, — отвечает он мне, — свидетельство технического прогресса: чем выше техника, тем больше безработных». Видал, какой поворот? Я ему:

мы тоже очень много труда с человека на машины сваливаем, хотя и недостаточно, а безработицы нет. Спрашивает: «Куда же людей девааете?» Отвечаю: идут учиться, чем выше техника, тем больше знаний требуется. Ну, и к тому же страна у нас обширная, нам всем делов на ней на тысячу лет хватит, чтобы жили всюду с удобствами и полным удовлетворением житейских и культурных потребностей.

— Ну, а он что?

— Сказал, чтоб я его не агитировал. Видел я там шестые борцов за мир с транспарантами, лозунгами против атомки. Их политики за бомбу высказываются, на нас науськивают, а они возражают, не боятся.

Костя сказал сердито:

— При Гитлере вон сколько миллионов за коммунистов проголосовало, тоже возражали, а что получилось?

— А история — это тебе не карусель, — строго заметил Гребешков. — Возьми-ка лучше глобус, погляди, что на нем раньше было и что теперь обозначилось. Сообразил? Совсем другая картина. Из зависимых сколько стран стало независимыми!

— Тоже космонавт объявился, всю Землю обзрел.

— А я во многих странах побывал. Тебя вот в школе учили, что в Африке только крокодилы, удавы, обезьяны водятся, а там ребята, как вы, на таком же заводе, как наш, и совместно с нами построенном, работают и тоже в союзе молодежи состоят...

После таких разговоров Костя и его ремонтники старались ни в чем не уступать монтажникам. Хотелось скорее завершить пусконаладочные работы — этого с томительным нетерпением ожидали рабочие заготовительных цехов. А может быть, после подобных разговоров прибавилось и ощущение того, что они работают не только для себя, но и для тех народов, которые где-то далеко воюют за свою свободу.

* * *

Молодежь, родившуюся в пятидесятых годах, на заводе звали ласково — пятидесятками, а некоторые — телевизионным поколением. Сами же они себя не то из скромности, не то по заносчивости именовали средневековыми, при этом намекая, что жить им в двадцать первом веке. Это был образованный народ, какой-нибудь технической новинкой их было трудно удивить. Токарей называли снис-

ходительно — стружкогонами, ибо им-то самим были известны литье под давлением и в вакууме, резка электронно-лучевая и ультразвук и многое другое. К станкам-автоматам они также относились без особого почтения, замечая, что до системы, которая управляется с одного пульта, еще далеко. Вообще, если б они однажды явились на завод и вдруг узнали, что их заменили машинами, возможно, они высказались бы так: «Ну, наконец-то!» Больше всего их раздражало то, что новейшие изобретения не материализуются тотчас же в деле. Что же касается остального, то все эти ребята были разные.

Из таких и состояла бригада Константина Должикова. Костя думал, думал и затеял у себя в бригаде реконструкцию. Решил разбить ее на звенья: в звене по три-четыре человека и один старший — звеньевой. Каждое звено будет самостоятельно завершать свой наряд по всем специальностям, а не так, как раньше: один сделал свое дело — удалился, другой сделал свое — тоже удалился, разбери тут, кто что делал, когда ремонт выполнен. Кроме того, можно распределить по звеньям всю технику, подлежащую уходу, надзору и ремонту. У кого она работает исправно, сверх положенного срока, тем почет и премия. Все это вместе должно привести к сокращению простоя оборудования, значит, сэкономит рабочее время, которое является частицей жизни человека и не должно теряться понапрасну.

Кроме того, из соображений бережливости между звеньями распределяется инструмент, запчасти, крепежный материал. Со своим-то инструментом не будут обращаться, как с ничейным.

В конце квартала подсчитаешь, начислишь процент со сэкономленного по копейкам — получатся рубли. Да не в рублях дело. Сбереечь труд людей все равно что продлить им жизнь.

Ко всему этому еще одно обстоятельство играло роль — ребята взяли индивидуальные сообразительности, стали соревноваться между собой, каждый сам за себя переживает. А звено — коллектив, хоть и крошечный, но коллектив. Все плечом к плечу. Всем друг друга видно. Здесь еще большая взаимозависимость и взаимозаинтересованность, чем в бригаде.

Михеев одобрил, сказал:

— Орудийная батарея, верно, вся по одной цели бьет. Но у каждого орудия свой расчет и свой командир.

Так и оказалось.

Гриша Рубин объявил в своем звене лозунг: ремонт — это модернизация! Раньше к ремонтникам технолог не заглядывал, а теперь повадился. И даже сам Лебедев навёдался. Жить и работать стало, как говорится, весело и интересно. Теперь ремонтники не просто починкой занимались, а тоже вроде производили продукцию. А с чего началось? Сережа Бобрин свернул болт, хотел выбросить, поставить другой, а Юрчиков не дал, восстановил резьбу.

Костя тогда не сделал замечания Бобрину и не похвалил Юрчикова, чтобы не говорить ему под руку, когда он нарезал резьбу. Да вскоре пожалел, что не воспользовался случаем. Ведь если собрать по мелочам все то, что является результатом труда человека, и посчитать время, на него затраченное, то из минут получатся часы, из часов сложатся дни, из дней месяцы, из месяцев годы. Значит, кого-то, может, лишили года жизни. Костя даже ужаснулся такой вьедливой мысли. И обнаружил, что из-за этого к Бобрину стал относиться плохо, а к Юрчикову — хорошо. Даже когда они работали на равных. Вот и придумал тогда во избежание подобных происшествий посадить каждое звено на хозрасчет. Таким образом, чувство рабочей совести (Костя вообще подумывал, не завести ли бригаде «Книгу рабочей совести») теперь обрело отчетливые организационные формы.

Обычно ребята Костиной бригады устраивали вечеринки вскладчину дома у Коли Юрчикова. Он был женат, имел сестру, учительницу музыки, которая жила вместе с ним.

Костя слышал от деда немало проклятий в адрес вещьлюбцев. Поэтому испытывал некоторую неловкость, когда Коля Юрчиков со своей супругой Лялей, работающей стерженщицей на заводе, с гордостью показывали ему свою квартиру — крохотную кухню с самодельными полками, на которых нарядно выстроились эмалированные кастрюли мал мала меньше, холодильник «Саратов», просили погладить рукой обои, предупреждая, что это можно делать смело, поскольку они моющиеся, раздвижной стол, удобный тем, что, пока гостей нет, за ним Коля работает, но, когда приходят гости, он так здорово раздвигается, что становится почти от одной стены до другой. Раскрывали шкаф, показывали драповое пальто, плащи, с особой гордостью — шубку Ляли из синтетического меха. При этом

они вспоминали, как, когда и за сколько что купили, как сомневались, покупать или не покупать.

Рассказывали, сколько денег у них сейчас на общей сберкнижке и как они хотят их истратить — Ляля настаивает на том, чтобы накопить на пианино Юлии, а Коля считает, что пианино можно взять в прокате, а сначала лучше купить цветной телевизор, а то он ходит смотреть хоккей, футбол и кинофильмы к соседям, а Ляля за него стесняется. Мечта Коли — купить в конце пятилетки мотоцикл. А Ляля боится за него и тайне завела себе отдельную сберкнижку, куда кладет премиальные и сверхурочные, — записалась в завкоме на «Москвич», будут на нем ездить вместе, а когда вместе, тогда не так страшно за Колю.

А сестра Коли Юлия поведала о том, что она сейчас стала работать по совместительству в детском саду, и две ее песенки для детей приняли на радио. Коля и Ляля считают ее будущим композитором и, когда она пытается сочинять музыку, запираются на кухне, чтобы не мешать. Коля купил ей очень дорогой радиоприемник высшего класса, чтобы она музыку слушала и знала, кто чего достиг. Приемник этот был накрыт салфеточкой, и, когда кто-нибудь из ребят хотел включить его, Николай строго предупреждал:

— Это вам не граммофон и не громкоговоритель, а Юлино пособие для музыки.

Мать Юрчиковых, когда муж погиб, вышла замуж, может быть, и за неплохого человека, но Николай и Юля, взявшись за руки, ушли из дома, долго бродили по городу, ночевали на вокзале, но потом набрали на интернат, куда их приняли из уважения к отцу, поскольку, как гласила справка из военкомата, Ю. М. Юрчиков повторил подвиг Матросова. Здесь же находилась и круглая сирота Ляля. Отец Ляли, шофер, и мать-доярка, захватив дочь, поехали на полуторке под Новый год к родителям в дальнюю деревню, в дороге машина поломалась, начался буран, отец сжег доски кузова, крыши, чтобы не замерзнуть. Когда все сгорело, отец снял с себя полушубок и завернул в него дочь. Родители легли под машину, положив дочь между собой. Родителей нашли мертвыми и между ними — живая Ляля.

В интернате Юрчиковы с ней дружили. А когда окончили школу, поступили вместе в ПТУ, а затем на завод.

Юрчиков получил квартиру на двоих с сестрой и предложил Юле забрать к себе из общежития Лялю. Однажды сестра сказала:

— Знаешь, Коля, чего мы вместе с Лялей больше всего боимся? Вдруг ты женишься и приведешь ее сюда, а нам куда?

— Ну вот еще, очень нужно! — сказал Коля. — Лялю и так все считают нашей родственницей, если она пожелает, можем законно оформить наш брак.

Когда они справляли свадьбу, у них почти ничего не было, все занимали по соседям. Но Коля купил дюжину шампанского, потому что где-то читал, что так шиковали богатен.

А теперь Юрчиковы могут принять много гостей, частично позанимствовав у соседей стулья и посуду. Но всем собственным Юрчиковы очень гордились. И вот эту гордость Костя вначале принял за приобретательство, так жестко осуждаемое Семеном Фомичом, видящим в этом «опасность перерождения». Но нигде вещи не казались Косте столь привлекательными и даже одушевленными, как в доме Юрчиковых. И разговоры об их приобретении были похожи на домашние легенды, потому что каждая вещь имела свою историю, которая обычно начиналась с того, за что Юрчиковы были премированы...

Костя с уважением относился к Николаю Юрчикову за то, что тот владел многими специальностями, но раньше его корбило, когда Юрчиков, самодовольно потирая руки, сообщал: «Не зря учился, вот мне за это и надбавочка». Теперь он увидел, понял, почему так радовался Николай.

Возвращаясь от них домой, Костя спорил с дедом. Семен Фомич торжественно возглашал:

— От каждого по способностям, каждому по потребностям. И никаких лазеек.

Костя хитро осведомлялся:

— А если один человек способен на большее, чем другой, а потребности у него маленькие. Как тогда?

Дед твердо заявлял:

— Значит, человек высшей сознательности!

— А если высшей сознательности человек, но имеет меньше, чем ему надо. Тогда что? За сознательность же не платят.

— Раз сознательный, значит, и работает хорошо, значит, и хорошо зарабатывает, и купить все может, что ему надо.

— А вот у нас в цеху парторг Михеев. Если б он только по своей квалификации работал, большую б сумму получал, а он сколько времени на нас тратит и ничего за это не получает. Значит, за способности людей воспитывать ему одно только «спасибо»?

— А «спасибо» что, мало?

— Ему не мало, раз он такой человек душевный, но как же тогда быть с его потребностями?

— Нет, ты все-таки скажи, значит, ты считаешь, за душевность деньгами надо платить? — сердился дед.

— Ну, не деньгами, а еще чем-нибудь.

— В президиум сажают, награды дают, общественность уважает. Это дороже всяких денег!

— А если он всесторонне развитая личность? — с коварством спросил Костя.

— Тыфу, — плюнул дед. — Чего ты мне голову морочишь, рубил бы без подходцев, сразу. Так он кто, этот всесторонний? Есть он в натуре или нет? Когда он будет, тогда и обсудим, а сейчас все люди нормальные, у всех одно хорошо, другое не очень, у каждого свое положительное и свое отрицательное, одни сами с собой справляются, другие — воспитывают, на третьих кодекс есть.

— Так, по-твоему, гармонично развитых людей нет?

Дед подумал, сказал:

— Вот гений революции, Владимир Ильич. Он — да.

— Гений — исключительность.

— Ну и что? Они нам тоже требуются! И на данном этапе они нам нужнее, чем этот всесторонний из будущего времени. — Заявил строптиво: — И что это значит — всесторонне развитый? Надо, чтоб человек развивался по обстановке, если человек сознательный, он себя в самонужном направлении растить будет — и по квалификации, и по уму, и по хватке. А так, если он на все стороны одинаков — середняк. Это, по мне, мало.

— А я не про середняков говорю, — разозлился Костя. — Я против того, чтобы люди были серединка на половинку, из положительного и отрицательного состояли. Если бы так было, как ты сказал, а у нас по-другому выходит: сегодня человек один, а завтра — другой, потому что сегодня в нем положительного больше, а завтра отрицательного.

— Это ты вонзил, — сказал дед, — сразил меня штыком прямо в самое сердце. Теперь дошло. Верно, хороший человек, значит, во всем хорош, это не мало, а даже очень

много. Ленин гений, а народ его еще за что любил? Как самого хорошего на земле человека. Это точно. У нас сейчас большой спрос на хороших людей. И много их, а нам все мало. Это, если хочешь знать, наш самый главный капитал, который мы за эти годы нажили. — Успокоившись, осведомился: — А может, ты конкретно какую личность имел в виду?

— Имел, — сказал Костя, — из нашей бригады Николая Юрчикова.

— А он чем таким выдается?

— Да, говорю, ничем, просто хороший, и все.

— Ну и что с того, что он хороший?

— А то, что я его плохим считал, думал, он деньги любит, а он не деньги, а свою жену и сестру. И не из-за денег работал, а чтобы им хорошо жилось.

Дед пожевал губами, согласился.

— Раз другим хочет хорошего, значит, и сам хорош, — но тут же заявил упрямо: — Но он вовсе не всесторонний, у него в левом боку доброе сердце все остальное перетягивает. Такие вот и для коммунизма годятся.

— Он очень вещи любит, которые для дома купил, — признался Костя.

— Ну, и что? — сказал дед. — На свои же, заработанные. А случись чего-нибудь, полотенце, мыло, бритву, кружку в вещмешок, и без повестки явится.

— А ты говоришь, вещи людей губят.

— Так какие и каких? Если в них деньги только заморожены, да еще нетрудовые, — дело другое. Я всех таких считаю обмылками прошлого. Но мы сами бываем виноваты, когда наша общественная собственность плохо лежит. Вор сейчас не с фомкой, а с шариковой ручкой. Такие лабиринты в бухгалтерских отчетах нарисует, сам ОБХСС замучается, пока концы сыщет.

— А кто же они, эти воры?

— В мое время, — вздохнул дед, — был классово чуждый элемент. А в нынешнее? — он развел руками. — Я бы вот таких не по судам судил, где помещение маломестное, а днем, в театрах, когда спектаклей нет, а мест много. У нас народ пошел все занятой, всем некогда, все при деньгах. Придет к какому никудышному, который сам ничего делать не умеет, сантехник кран починить, а он ему на радостях — трешник, а из этих трешников большая сумма складывается. И с продавцами та же история — на

прилавке нет, а из-под прилавка — пожалуйста. Этих, понятно, словят, а кто попустители? Мы все.

— А если товаров не хватает?

— Его частично не хватает оттого, что он не на прилавке, а под прилавком. Значит, он вроде как сворованный, а ты за свой трешник тому соучастник.

— Считаешь, от этого и жулики плодятся?

— Жулик, он прежде всего тунеядец, у него ни склонности, ни способности к труду.

— А если человек всестороннее развитие имеет?

— Тогда он не только взять, он даже дать себе трешник не позволит.

— А ты?

— Да ты что, ошалел? Я же партиец!

— Ну вот, — торжествующе произнес Костя, — значит, у нас есть всесторонне развитые люди, и не из будущего, а в настоящем.

— Так вот ты к чему все вел, — возмутился дед. — Я тебе как член комиссии народного контроля исповедовался, а ты меня когтями цапнул.

Костя рассмеялся. Затем спросил:

— А в холодильнике у нас чего есть?

Дед сказал с усмешкой:

— Чего ты туда не клал, все твое.

— Ну дед! — упрекнул Костя.

— Ладно, — сказал дед, — пойди на кухню, сними там с кастрюли крышку, только сначала понюхай и доложи, чем пахнет.

Из кухни раздался печальный голос Кости:

— Кабачки тушеные.

— А какая в них начинка? — сказал дед. — Из молотой ветчины!

— Зачем смолот, цельная вкуснее!

— По твоим зубам — да, а по моим нет, — строго заметил дед и упрекнул: — Все вы, молодые, только о себе думаете. Вот когда я сам молодым был, — он произнес это как-то робко, неуверенно, — очень обожал от мяса хрящи глотать. Пес не мог так чисто их разделать, как я. Во зубы были! А с возрастом проел. Питаюсь кашей. Аппетит прежний, а удовольствия от еды нет. Врачи курить не велят. А может, я с детства к куреву приучен, потому как табак-ком желание пожрать глушил, поэтому весь, как копченая колбаса, стал крепкий. — Строго заявил: — А тебе, Костя, курить ни к чему. Вы себе физкультурой лишние годы

жизни натянете. Вот Октябрина волейбольную команду из пожилых сколотила, обещает всем за это долголетие. А те стараются, потеют, прыгают, обвислыми брюхами трясут. А что, все может быть. Сейчас пенсионеры на завод полезли. Тухнуть без дела неохота. У меня один пенсионер после инфаркта, как только сердце у него срослось, в пост народного контроля попросился. Взял я его, но предупредил: деятельность у нас для нервной системы вредная. А он таким живчиком оказался, второй год работает. Засядет за отчеты, за бумаги, в очки глядит, а они у него все равно как увеличительные лупы. Глаза огромные, как у коровы, получаются. А на людей без очков посмотрит, одни щелочки серенькие, блеклые и голос тихий, вежливенький. Зато как начнет цифрами уличать, взглянешь на проверяемого, а он весь корчится, воду пьет. Тот его зудит, зудит и докажет правду. И каждый раз объясняет: «Это не я вас уличил, а арифметика, она наука точная». И хвастает: «Сейчас даже звезды в Солнечной системе все подсчитаны и на учете. А ваш склад по сравнению с ней в безобразном состоянии. Очень некрасиво это с вашей стороны».

Костя, слушая Семена Фомича, улыбался. Конечно, не тому, что он услышал, а тому, какая жизненная сила в его деде, непокорная возрасту. И вспомнил, как тот сказал ему однажды:

— Здоровье зачем теперь мне нужно? Для любопытства к жизни. Мне теперь каждый день, как новенький. И к тебе я прилип из-за чего? Интересно в натуре знать, что из вас получится, как вы всем, что вам дано, распорядитесь.

Дед, чтобы не беспокоить внука, на ночь надевал себе наушники от радиоприемника. Но, слушая, забывался и громко возражал или одобрительно соглашался, производил различные реплики. Так в наушниках и засыпал.

* * *

Евгений Потапович Лебедев оказался недостаточно дальновидным, полагая, что главные трудности, которые предстояло одолеть коллективу КБ в модернизации двигателя, заключаются лишь в том, чтобы на основе базовой модели создать более совершенный образец.

Это удалось достичь довольно легко. Втайне восхищаясь далеко идущим пылом творческой мысли своих сотрудников, Евгений Потапович вдруг вынужден был не-

преклонно ее обуздывать и сдерживать, не давать ей заходить за пределы поставленных условий.

Высшей похвалой для всех прозвучало, когда он сказал:

— Компактно, изящно, экономично.

Пятый этаж КБ стал на заводе местом паломничества. На столах были разложены схемы, чертежи, папки с техническими и экономическими характеристиками деталей и узлов двигателя.

Константин Должиков явился сюда вместе со всей своей командой. Пояснения давал Лазарев. Он говорил устало, равнодушно, монотонно. Когда ребята задавали вопросы, высоко поднимал брови, будто недоумевая, откуда возникают эти вопросы, а может быть, удивляясь знаниям того, кто задавал такие сугубо профессиональные вопросы.

Костя это подметил и радовался впечатлению, которое произвели на Лазарева его собригадники.

Будучи человеком деликатным, Лазарев не спрашивал, почему ремонтники интересуются двигателем, но поскольку он был наслышан о том, что бригада Константина Должикова, ремонтируя станки, частенько реконструирует и модернизирует их по новым образцам, отвечал с удовольствием. Наконец вопросы иссякли, и Лазарев осведомился, каково же будет мнение в целом.

— Здорово! — сказал Костя.

Лазарев поморщился.

Но Костя, не обращая на это внимания, продолжал:

— В такой узкий хомут вы столько всадили, что даже завидно.

— Благодарю. — Лазарев шутливо, но вполне искренне поклонился. Было видно, что слова Кости доставили ему удовольствие.

Костя продолжал говорить:

— Мы ж понимаем — легче новое сделать, чем старое по-новому возродить. У вас тут не просто модернизация, в этой штуке много всякого заложено для нового, для сверхмощного двигателя.

Этими словами он попал в самую точку: конструкторы, включая и Лебедева, думали именно так.

А тут еще Коля Юрчиков добавил:

— Наверное, вам очень обидно.

Лазарев повел шеей, словно ему жал воротничок сорочки, и ничего не ответил. Возникла напряженная пауза.

В КБ все ждали исхода стендовых испытаний образца. Для тех, кто считал себя духовными учениками Лебедева, а их было большинство, удачный результат означал возможность перехода к новым интересным работам. Неудачный же угрожал не только тем, что они застрянут на месте, но и опасностью, что их образец, а точнее, вложенные в него мысли, расклюют, расхватают недоброжелатели, чтобы использовать их для диссертаций и статей. Такие любители проехаться на чужом горбу не переводились, и, может быть, именно щедрость Лебедева способствовала их появлению.

Костя уходил из КБ вместе с Маратом. Марат молчал, был чем-то озабочен, Костя тоже молчал, мучаясь завистью к Лазареву, правой руке Лебедева, и соображая, не следует ли ему на заочном отделении политехнического института двинуться по конструкторской линии, хотя до этого он делал ставку на электронику.

Вдруг Марат спросил:

— Ты встречаешься со Светой?

— А тебе какое дело! — грубо ответил Костя.

— Ты же с ней дружишь.

— Не так, как ты думаешь.

— А как я думаю?

— За двоюродными сестрами не ухлестывают, — на всякий случай опережающе заявил Костя.

— Ну и зря.

— Ты что?! — Костя остановился и гневно уставился на Марата.

— А то, — сказал беспечно Марат, — что, во-первых, она симпатичная. Но главное — экономист.

— Я ее должностями не интересуюсь.

— А я посоветовал бы поинтересоваться. В нынешней ситуации это ведущая профессия.

— Ну и валяй, переквалифицируйся, если она ведущая.

— Света и так со мной занимается, просвещает.

— Ну, ясно, теперь Света тебе светит.

— Да ты не сдурел малость? Инженер без экономического образования сегодня все равно что машина без тормозов.

— Мне тормоза не требуются.

— Требуются. Вот, положим, вы к станку приладили программно-числовое управление, вам хвала, премия, а Света подсчитала — нерентабельно. В убыток заводу.

Хоть ваше приспособление и зачислили в рубрику новой техники, но производительность-то у станка старая. Ну, станочника сократили, подумаешь, сейчас один рабочий и так несколько станков обслуживает.

— Не ожидал я такого от Светки, — угрюмо признался Костя.

— Да не от нее, это ж экономические расчеты по эффективности, — объяснил Марат.

— А почему она тебя не обсчитала?

— Было, дала мне цену: всего два часа работаю по прямой инженерной специальности, остальные — как любой толковый служащий со средним образованием.

— Так она всех нас может разделить, ай да Света!

— Ты подожди шутить, тут дело серьезное, — сухо сказал Марат. — Вот лебедевские ребята значительно сократили металлоемкость двигателя и, значит, его вес.

— Чего ты мне, как дурачку, разъясняешь?

— А я подчеркиваю — вес!

— Ну вес! Повтори еще раз!

— Ты не кривляйся, слушай! В ценообразовании наших изделий металловес имеет значение, так?

— Ну, имеет!

— Значит, чем больше металловес, тем больше выгоды, а чем меньше вес, тем меньше.

— Да что я тебе, из детского сада? — возмутился Костя.

— Да слушай ты! — рассердился Марат. — За прежние изделия с большим металловесом мы средств получали больше, значит, премиальные фонды у нас были больше, и на социальные нужды вложения больше. А раз новый двигатель будет иметь меньший металловес, то, соответственно, и отчисления будут сокращены. Понял, наконец, механику?

— Так это не механика, а глупость! — беспечно сказал Костя.

— Глупость, да. И сейчас она отменяется. Должны вступить в действие совершенно иные принципы. Но мы-то со своим модернизированным попадаем в стык. Заказов на наш модернизированный навалили сверх возможностей. Главк в восторге. У нас сейчас идет на полный ход реконструкция, механизация, автоматизация, реорганизация системы управления, бригадный метод со всех сторон напирает. На все это нужны средства и средства. Мы думали на модернизированном подработать — увеличить преми-

альные за трудности в условиях реконструкции, людей отблагодарить, расширить социальные услуги, количество нового жилья и прочее, вот затеяли подсобным хозяйством обзаводиться: инкубатор, птицеферма, овощи в закрытом грунте.

— Ну, и правильно, это сейчас на всех передовых предприятиях заведено,— одобрил Костя.

— А денежки?— спросил Марат.— Прибыль-то у нас снизится.

— Еще чего! Ребята такую машину дают, пальчики оближешь — топлива меньше жрет, рабочие детали более износоустойчивы, схему упростили — стала более доступна механикам, коэффициент сложности для изготовления к ней деталей снизили. Да за один ум, в нее вложенный, сколько денег надо уплатить!

— Пока не платят,— уныло сказал Марат.— А нам сейчас они вот как нужны.— Марат провел ребром ладони по шее.

— Надо надбавку сделать!

— За что?

— За то, что машина лучше стала.

— Так покупатель бы рад, да не может — тарифа на это нет. На вес, скажем, есть, а на удобства нет. И все в нем, в этом модернизированном, твое умненькое тоже оплате не подлежит. Вот если б его на чугунный лафет поставили в тонну весом, вот тут бы у нас красивая жизнь началась!

— Так это же подлость была бы!— возмутился Костя.

— Подлость!— повторил Марат.— Но вот ведь легкая промышленность пришивает к дамскому дешевому пальто воротник из чернобурки, который дорожке всего пальто вдвое, а то и втрое, и народ берет, куда деваться?

— Таких надо в театре судить,— гневно сказал Костя.

— Почему же в театре?— изумился Марат.

— Ну, чтоб было позорней.

— Ладно,— сказал Марат,— сбросим пары. Я вот Свету просил поколдовать, может, найдутся какие-нибудь инструкции, дополнения, разъяснения, чтобы нам хоть немного, но перехватить средств.

Костя с сожалением заметил:

— Стоило тебе бригаду оставлять, чтобы бухгалтером заделываться — там рупь прибавить, тут рупь убавить. Ты не замдиректора по коммерческой части, а начотдела по

внедрению новой техники. Ну, так давай, внедряй! Или модернизация к тебе не относится?

— С одной стороны, модернизированная техника, это не новая, ее в графу как новую не впишешь, а с другой стороны, она новая, потому что уже не старая, — улыбнулся Марат.

— Об этом и речь.

Как ни загадочно Маратом было это сказано, Костя, очевидно, что-то по-своему понял. Сказал, прощаясь:

— Я тоже со Светой поговорю.

Когда Костя вошел в кабинет к Свете, она подняла на него усталые глаза, неприветливо спросила:

— Чего надо?

— Я к тебе так, вообще зашел, — соврал Костя. Оглядел шкафы, полки с толстыми пыльными папками, посоветовал: — Попылесосила бы!

— Возьми в коридоре, в шкафу, и займись.

— Ты чего злишься?

— Не люблю, когда воду мутят, говори, зачем пришел?

Костя хотел рассказать о разговоре с Маратом, но передумал — увидел, что Света чем-то взволнована, замаялся. Света категорично сказала:

— Садись и выкладывай. Как ты ко мне относишься?

— Нормально.

— Опять трусишь.

— Ну, когда уходил в армию, думал: у всех есть девушки, а у меня нет, стал тебе писать, словно ты моя девушка.

— Значит, морочил мне голову?

— Себе тоже. Но писал-то я не от головы, а от сердца.

— И что же?

— Одумался.

— Почему?

— Ты же мне родня.

— А жена не родня? Она даже больше, чем родня.

— Вот как о жене, я о тебе не думал.

— Значит, лишь бы покрутиться вокруг меня, и все?

— Зачем крутиться, когда мы с тобой и раньше всегда вместе были.

— Костя, то ли ты недоразвитый, то ли романтик, то ли просто хитришь?

— Здравсьте, разве я с тобой когда-нибудь хитрил?

— Значит, считал меня только своей приятельницей?

— Почему? Я же сказал — влюбился, особенно в армии.

— Ну, а дальше? — нетерпеливо потребовала Света.

Костя потупился.

— А потом прикидывал, что получится, если мы с тобой поженимся, как это отразится по линии наследственности. Вот у аристократов такое было принято, но у них часто идиоты родились, вырожденцы.

— Ах, так! — возмутилась Света.

— Я с дедом советовался, — спокойно сказал Костя. — Он кричал, кричал, потом меня пожалел, только порекомендовал сначала к врачу сходить.

— И ты ходил?

— Нет, раздумал.

— К врачу или вообще?

— И то и другое. Я что подумал: ты со мной с детства. Я к тебе привык, как к самому себе. Ты мне больше, чем сестра, больше, чем друг, и я с тобой — в постель... Ну, знаешь, я себя таким подлым почувствовал, таким подлым...

— Костенька, — шепотом сказала Света. — А я ведь почти то же, что ты, чувствовала. И только из самолюбия на тебя разозлилась. — Все это Света говорила, глядя куда-то в сторону, на напряженно повернутой ее шее часто пульсировала жилка. Косте было мучительно жаль и ее и себя. Возникло такое чувство, как перед прощанием. Казалось, солнце идет к закату, натекают сумерки, день все гаснет, и наступает непроглядная темнота.

Света обернулась, в глазах стояли слезы. Она сморгнула, сказала:

— Смотри-ка, кинулись в пропасть, кинулись, а не разбились. Оба целые и невредимые.

— Ну, это еще время покажет, — серьезно ответил Костя. — Если честно, то я к тебе по одному экономическому вопросу зашел. А пережил такое, что на всю жизнь хватит. Знаешь, — Костя посмотрел исподлобья, признался: — Кажется, я тебя сейчас так полюбил, как никогда никого на свете.

— И я тоже, — выдохнула Света. — А у тебя никого не было? — спросила она неожиданно.

— Нет.

— У меня тоже.

— А какое это имеет значение?

— Не знаю, — сказала Света.

— Нет!— подумав, заявил Костя.— Если б с тобой это было, мне было бы очень неприятно. А помнишь, как ты при мне купалась?

— Помню. Я сделала это нарочно, чтобы узнать, хороший ты или плохой.

— А я тогда плохо о тебе подумал.

— Я это почувствовала, и мне за себя стало стыдно.

— А мне за себя.

— Странно,— сказала Света.— Мы ведь уже были тогда почти взрослые, а как нас это с тобой пронзило.

— Почти наповал,— сказал Костя.— Ну, как молния прожгла, и что-то худое, что появилось к тебе, выжгло.

— Ну, ты заговорил слишком красиво, значит — вранье,— рассмеялась Света.— Вот я тебе скажу. Ты мне снился иногда таким малюсеньким-малюсеньким, и будто это я тебя родила. Представляешь?

Дверь раскрылась, вошел Марат, спросил, обращаясь к Косте:

— Ну, получил информацию по интересующей тебя проблеме? А теперь вали домой. Света!— произнес он властно:— Собирай все твое бумажное хозяйство, и пошли вместе к Зубцову, да не забудь расчеты. Я рассказал Зубцову, он заинтересовался.

Костя шел домой. Капал мелкий серенький дождик. Люди спешили, поеживаясь под дождем. Костя чувствовал себя опустошенным, но вместе с тем из него ушло что-то не его, чужое, что незаметноросло в него, а теперь он это из себя вырвал. Стало легче, но пустота зияла.

Внезапная открытость Светы поразила его.

Он шел и смятенно думал о том, что, может быть, это и есть то, что называется и считается любовью.

Дед открыл ему дверь в трусах и майке. Голова его была взнуздана радионаушниками, провод со штепсельной вилкой свисал на грудь. Сдвинув с одного уха наушник, дед объявил торжествуя:

— «Правда» выдала всем весоторговцам! По нашему заводу тоже стеганула. В самую жилу попала. За машину, говорит, не по весу надо платить, а по ее КПД. В этом вся цена. Что, съели?— ехидно осведомился.— Мы, бывало, даже гвозди не по весу, а поштучно отсчитывали. А шурупы и вовсе. Коли не израсходуем, оставшиеся в бумажку завернем и — в кисет для сохранения.

— А когда ты сам на заводе работал, чего молчал?— огрызнулся Костя.

— А чего мне было шуметь, мое дело ясное, мы плавку выдаем по весу. Ну, конечно, когда заказная, то давай наперед качество, а вес уж потом. Но нам без весу нельзя. Это показатель производительности печи. А вот вы с нашим металлом такое делаете — это все равно, я извиняюсь, что скотину хлебом кормить для привеса.

— Давно это для вас машина скотиной стала?

— А ты не заедайся,— оборвал дед.— Вот вас, стружкогонов, в будущем ликвидируют как класс.

— Я ремонтник,— напомнил Костя.

— И в тебе надобности не будет, машина обязана списываться не по снашиваемости, а из-за того, что по морали не соответствует.

— Опять радио наслушался! Может, это из научной фантастики вещали, а ты до конца не дослушал.

— Нет уж, если толково говорят, я с начала до конца слушаю. Не так, как ты меня. Чего рожка унылая? — забеспокоился дед.— С передовиков свалились?

— Нет еще.

— Я тебе дам — еще. Залезли на доску, держитесь на ней, как мы на позиции до последнего патрона держались.— Сказал примирительно:— Тут Нелли со своим Игорем заходила. Он тоже, как я, радиолюбитель. Все знает. Даже разговаривать неинтересно.

— А чего ей надо было?

— Со мной посоветоваться. Стоит ли ему мучиться без особого шанса, на глазную операцию решаться? Говорит, не меньше, чем на полгода положат, но результата может не быть.

— Ну, и ты что?

— Я Нелли сначала кулак показал, потом на кухню вызвал: «Ты что, парня сбегриваешь?» Она в слезы. Говорю: «Поклянись». «А как?» — спрашивает. Ну, а я сам не знаю, как... Вышли. Я к парню, к Игорю то есть. Заявляю: «Сейчас даже самой большой человеческой фантазии не хватит, чтобы точно сказать, чего завтра наука достигнуть может». Он улыбнулся. «Спасибо», — говорит... Я ему: «За что?» — «За то, что в Нелли надежду вселяете». — «А как же, — говорю, — она без тебя скучать будет». — «Знаете, что она мне предложила?» — спрашивает Игорь. «Откуда я знаю?» А он: «Взять с ее глаза для моего роговицу». Ну, я вскипятился, говорю Нелли: «Ты взгляни, разве можно такую красоту портить?» Потом очухался, не удержался, чмокнул ее, все равно как дочку, говорю: «Милая, ты за

наукой мало знаешь, а мы с Игорем твоим знаем. Сейчас можно пересаживать роговицу со свежего покойника, после несчастного случая, лучше всего прирастает». Она пу-ще того в слезу. Теперь уж за покойника расстроилась. А может, снова за своего. Ну, я тогда догадался, успокоил. «Вы оба, ребята, красивые, вам и по одному глазу хватит, чтобы перед другими красоваться».

— И тебе не совестно так говорить?

— А что, может, им легче, когда о таком, как о самом обыкновенном говорят.— Дед задумался.— Вот когда они оба ушли, стал я думать. Я вас, нынешних, не очень еще на зуб распробовал. Но вот эта Нелли меня ожгла в самое сердце. Чего-чего я в жизни не видал, не встречал, но чтобы глаз свой мужу отдать? Я даже, по своей подлости, в ней усомнился. В больницу позвонил, как самый последний гад. Верно, говорят, предложила такая-то гражданка себя в качестве донора. Ну, что ты теперь про меня ска-жешь?— удрученно спросил дед и склонил взъерошенную седую голову.

Костя ничего не сказал, лег на постель, закусил угол подушки и лежал, сомкнув глаза.

Дед подошел, сел на постели, спросил встревоженно:

— Ты что?

— Зуб болит.

— А мне теперь хорошо, почти совсем зубов не оста-лось, болеть нечему.— Задумчиво произнес:— Вот, гово-рят, кто слишком заживает, тому все становится неин-тересно. Брехня. По себе свидетельствую. Я старый пень, многое во мне засохло, а вот Нелли ушла, я про свою старуху стал думать. Сколько она ребят мне нарожала. Худая от недоедания, от работы, только брюхо одно тор-чит. Мне на гражданскую. А она мне говорит: «Ты, Семен, не беспокойся, я ребят выращу. В них душа твоя останется». Такая была чувствительная, меня пони-мающая.

Семен Фомич не то вздохнул, не то всхлипнул, а ведь был человеком несокрушимой силы воли. Дядья Косте рассказывали, что когда его отец, Дмитрий Семенович, считавшийся без вести пропавшим, объявился, вися меш-ком между костылей, и жалкими глазами уставился на от-ца, он сказал сыну: «Скажи спасибо, что башку не оторва-ло, она человеку предмет первой необходимости. Отдыхай, сколько надо, а потом прикинем, на какую специальность

тебе на завод податься. — Осмотрел гимнастерку сына, сказал нарочито-завистливо: — Хорош гусь! Отца по наградам обставил!» — И Дмитрий просиял, взбодрился.

* * *

Опытный образец модернизированного двигателя прошел все стендовые испытания и даже проработал сверх положенного предела. Теперь специальная комиссия должна была исследовать техническое состояние всех его узлов и рабочих деталей. Ответственное лицо, специально прибывшее совершить этот акт, недоверчиво наблюдая работу двигателя, брюзгливо сказала, обращаясь к Лебедеву:

— Ну-с, еще посмотрим, что покажет нам вскрытие.

— А вы что, в морге работаете? — осведомился Лебедев.

Евгений Потапович не был ни тактиком, ни стратегом. Про таких говорят: что на уме, то и на языке — радовался, так радовался, злился, так злился. Бывало, глубокой ночью он звонил Лазареву и без «здрасьте», без «извините» произносил с отчаянием:

— Ну, все, полный тупик! Смотрел на себя в зеркало, — можете поздравить! Лицо идиота. Ничего не соображаю.

— При чем тут зеркало? — невозмутимо спрашивал Лазарев.

— Как при чем? — возмущался Лебедев. — Проверял свое психическое состояние. Зеркало беспристрастно показывает — лицо истукана. Ни тени живой мысли.

— Это какого истукана вы имеете в виду? — пытался иронизировать Лазарев.

— Ну, как какого, вообще — истукана.

— Дело в том, Евгений Потапович, что «вообще» истуканов не бывает. Даже древние ваятели при весьма ограниченных изобразительных средствах, вкладывая в свои скульптуры глубокий и весьма обобщающий смысл, изображали конкретных людей.

— Вы так думаете? — спрашивал Лебедев. — Значит, с вашей точки зрения, каменные изваяния на острове Пасхи — это не символы, а портреты действительно существовавших личностей?

— Несомненно. Но, естественно, они шли от частного к обобщениям.

— Хм,— задумывался Лебедев.— А знаете, это мысль! Я действительно завяз в частностях. И начал с ног, а не с головы, черт меня возьми. Благодарю за совет. А вы что не спите?— спохватывался Лебедев.

— Нет, я сплю,— сухо сообщил Лазарев.

— Значит, я вас разбудил? Мне совестно.

— Можете свою совесть не тревожить, а меня — пожалуйста. К вашим услугам. Я привык подчинять себя любым обстоятельствам.

Иногда же Лебедев, наоборот, объятый восторгом от только что пришедшей ему в голову догадки, кричал в телефон:

— Нашел! Нашел! Нервные клетки моего головного мозга, кажется, сейчас пребывают в кипении. Знаете, это состояние прекрасно! Я чувствую себя так, будто голова моя вместила лучшие умы мира, они мне подсказывают, а я их идеи машинально записываю на листах. Вы меня слышите?

— Слышу.

— Ну, и как?

— Слышимость нормальная.

— И вы не прыгаете?

— Если надо, могу.

— Вы — рыба!

— А какая сейчас перед вами лежит папка? Та, на обложке которой собственноручно начертали слово «Бред»?..

— Она самая.

— Позвоните мне утречком, пожалуйста.

— Хорошо, позвоню!— смиренно отвечал Лебедев.

Лебедев нуждался в Лазареве. Тот всегда был ясен, чист, как сама правда, и вместе с тем жесток и непреклонен, тоже, как правда. И высшей оценкой у него было: «правдиво». Средней — «оправданно». Еще ниже — «правдоподобно».

Наблюдая, как слесари механосборочного цеха разбирали механизм машины, осторожно раскладывая ее маслянистые внутренности по стеллажу, Лебедеву казалось, что он присутствует при операции на теле близкого ему родственника. Он побледнел, тяжело сел на табурет, ему было явно нехорошо.

Спустя несколько дней, когда узлы и детали прошли проверку, в кабинете Анатолия Кузьмича в присутствии всех членов комиссии, руководства заводом и, естественно, Лебедева, акт о принятии двигателя был подписан.

Подписав акт первым, ответственное лицо сказалo многозначительно:

— Для того, чтобы построить дорогу, нужна дорога.

На что Лебедев незамедлительно заявил:

— Для того, чтобы достичь возможного, нужно стремиться к невозможному.

Ответственное лицо впервые снисходительно улыбнулось и произнесло, как все, что оно произносило, значительно:

— В пределах исходных данных, конечно.

Затем, оставшись с ним вдвоем, Анатолий Кузьмич мягко, деликатно, даже с кроткой нежностью заговорил о ценах. Лицо выслушало невозмутимо, сухо ответило:

— Мы получили указание свыше. Соответственно в этом направлении идет должная разработка.— Поглядело на Анатолия Кузьмича.— У вас только один завод, и то в нервическом состоянии пребывает, а у нас таких сотни, с многомиллионной номенклатурой изделий. Вы чего хотите? Чтобы мы к каждой железке бирочку с расценкой незамедлительно привязали? Чтобы по каждому частному случаю молниеносно решали финансово-экономические проблемы?

— Так мы сами можем составить смету, только бы утверждение получить.

— В общем порядке, и плюс к годовому плану, который мы вам доведем.

— Но мы же двигатель в этом году запускаем.

— Ну и что?

— План нам утвержден на прежнее изделие, а теперь оно, по существу, новое.

— Что положено за его модернизацию, вы получите.

— Сумма слишком незначительная получается, завод на двигателе много теряет.

— Согласно новому положению, вы не теряете, а даже, напротив, обогатитесь.

— Так решение уже есть?

— Находится в проектной разработке.

— Когда ж мы его получим?

— Когда одобрят соответствующие инстанции после возможной корректировки.

— Что же делать? Ведь время идет.

— Существовали столько лет без нового положения, и еще посуществуете.

— Убыточно получается.

— А за это мы с вас персонально взыщем. Завод работал с прибылью, и вдруг — убыток. Не желал бы я тогда оказаться на вашем месте.

Ответственное лицо было знатоком теории осмотрительности, поэтому всегда находилось в состоянии крайнего напряжения мысли. С одной стороны, оно иногда стремилось быстрее других ухватиться за новое, с другой стороны, понимало, что пока старое, привычное еще совсем не ушло, можно малость передохнуть. И если в пределах дозволенного оно произносило «да» или «нет», то упрямо отвергало все то, что могло его поколебать. Это была не уверенность, не твердость характера, а скорее слабодушие, трусость, боязнь неизведанного и страх: как бы не пострадал собственный авторитет.

Проводив ответственное лицо, Анатолий Кузьмич остался наедине со своими заместителями.

Заместители, как правило, бывают разные. Если директор умен, зам должен быть только в меру разумен. Если директор близорук, то зам должен быть дальнзорук, но ровно настолько, чтобы директор не почувствовал своей близорукости.

Но при всем том зам должен быть личностью, памятуя о том, что директор к тем, кто с ним быстро соглашается, всегда относится с недоверием. Для директора желательно знать как можно лучше, а для зама как можно больше.

Хотя это вовсе не означает, что все директора одинаковы и замы тоже. Они тоже разные, как и все люди.

Что касается Анатолия Кузьмича, то он, умудренный годами, суровой практикой жизни и работы, путем самоанализа установил, что заместитель — это вовсе не дополнение к тому, чего ему, директору, самому не хватает, а высший командный состав. И чем он отважней и самостоятельней, тем все заводские службы скорее окажутся на высоте. Поэтому он подбирал на эти должности людей не удобных и легких, а сильных, каждого в своем деле.

И хотя Зубцов не был его заместителем, он принадлежал к таким же. Убеждая директора в чем-нибудь, он не любил ссылаться в качестве аргумента на авторитеты, редко цитировал классиков. Пользоваться словами классиков по делу и не по делу он считал кощунством. Есть мысли заветные. На фронт Зубцов ушел добровольцем сразу после школы. Напутствуя полк, батальонный комиссар откровенно обрисовал тяжелое положение, сложившееся а фронте. Свою речь он закончил словами Ленина

о том, что нет ничего вреднее для дела пролетария, чем благовидная, благопристойная обывательская ложь. Суровая эта истина обожгла сердце Зубцова, стала законом его жизни.

Анатолий Кузьмич хорошо понимал и ценил Зубцова и всякое начинание, всякую идею обсуждал прежде всего с ним, секретарем парткома, так же, как и всякое свое затруднение. Вот и теперь, после разговора с ответственным лицом, директор пришел к Зубцову. Выслушав Анатолия Кузьмича, Зубцов спокойно сказал:

— Если рассказать о достоинствах модернизированной заводской общественности, каждый поймет, что делает доброе дело — сберегает государству материальные ценности, участвует в научно-технической революции. А с таким самочувствием люди поднимут производительность своего труда выше запланированной, что незамедлительно отразится на экономико-финансовом положении предприятия. Разве не так, Анатолий Кузьмич?..

— Вашими бы устами, да мед пить, — буркнул директор.

— Ну, нам пока еще всем не до меда. Что верно, то верно.

Исподлобья взглянув на Зубцова, Анатолий Кузьмич посоветовал:

— Ты все-таки, Зубцов, и в ведомственные бумаги иногда заглядывай, ведь нам такие проволочные заграждения ставят, что, чуть шире шагнешь, — колются. А по партийной линии можешь нам сильно помочь.

— Ничего, — улыбнулся Зубцов, — у тебя, Анатолий Кузьмич, и у самого опыт немалый.

— Это точно, ветеран, — в свою очередь улыбнулся директор, — весь в выговорах, как в рубцах от снятых швов.

— Не прибедайся, вон как с общежитием всех перехитрил. А что там у тебя с новым домом?

В свое время Анатолий Кузьмич запросил ассигнования для строительства нового заводского общежития. Но ответ по разным мотивам задерживался. Тогда он не просто капитально отремонтировал старое общежитие, но переоборудовал его в дом гостиничного типа.

По свойственной Анатолию Кузьмичу осмотрительности и дальновидности он перед вышестоящими инстанциями об этой своей инициативе умолчал. Во-первых, потому, что не терял надежды все-таки получить средства на

новое, во-вторых, чтобы не вызывать любопытства к своей инициативе.

На вопрос Зубцова — кем собирается заселять дом? — хитровато сощурился, но твердо заявил:

— Молодежью.

Почему хитровато? Да потому, что существовала давняя традиция: женское общежитие строить на почтительном отдалении от мужского. По примеру монастырей, что ли? И дабы быть правильно и точно понятым, Анатолий Кузьмич добавил:

— У меня на заводе женскому полу только один запрет: в горячие цеха — ни-ни! — И докладывал дальше: — Три нижних этажа будут для холостяков и незамужних. Два верхних, где однокомнатные квартиры, с меблировкой — молодоженам: в порядке поощрения и с учетом демографической проблемы. — Признался добродушно: — Сам молодым был, по баракам жил, но никакой монастырский комендантский надзор не мог препятствовать тому, что сама природа человеку назначила. Я, например, своей будущей супруге на складе свидания назначал. А вот женился, и семьянин получился приличный. Значит, исходя из личного опыта, теперь как хозяйственник считаю: надо организованно содействовать формированию семейных кадров.

— Ну, знаете! Такая откровенность не для печати.

— Нет, я в прятки играть не буду! — рассердился Анатолий Кузьмич. — На такое надо открыто, по-умному глядеть. А что касается того, о чем ты подумал, так это ваша забота — поднять уровень морально-воспитательной работы, — расплылся в улыбке: — Что? Знаю, на кого в случае чего сваливать?

При огромном уважении к Зубцову у Иванова были с ним довольно-таки сложные взаимоотношения. Оба они, что называется, люди с характером, оба испытывали друг к другу никогда не высказываемую симпатию, но каждый был начеку.

Анатолий Кузьмич хорошо овладел маневренной тактикой, применяемой им как к смежникам, так и к своему ведомственному многоступенчатому руководству.

Так, переходя от одного начальника к другому, он с поразительным артистизмом, в зависимости от обстоятельств, мог преображаться из простака в трагедийного героя, готового погибнуть за свою правду.

А когда ему удавалось достичь благоприятных результатов, он любил эффектно при людях отдать соответствующее приказание. Величественно и властно, не показывая, каким трудным путем, преодолением каких барьеров добился он возможности сделать это давно всеми ожидаемое распоряжение. И только Зубцов он со вздохом признался:

— Говорят, хитроумие человека зависит от количества извилин в мозгу. Ей-богу, мне уже их не хватает, чтобы обойти разного рода начальство.

Зубцов иронически отзывался:

— Мыслительный аппарат — руководящий орган человека. И подчинять его разного рода мелким обстоятельствам по меньшей мере неуважительно.

— А если велит здравый смысл?

— Он не всегда равнозначен принципиальности.

— Важен конечный результат.

— Не во всем, вопрос — каким путем его достичь.

— Понятно, — усмехнулся Анатолий Кузьмич. — Хочешь сказать, кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая?

— Во всяком случае, в служебных взаимоотношениях должно быть так.

— А с людьми? — коварно осведомился Анатолий Кузьмич.

Зубцов замялся.

— Ну, бывают такие моменты в жизни, когда нужно проявить к человеку терпение, осторожность, с учетом всех его особенностей.

— Во! — обрадовался Анатолий Кузьмич. — А в нашем ведомстве что, не люди? Вот я и учитываю их особенности, психологию.

— Словчил, — неодобрительно произнес Зубцов. — Ловко вывернулся.

— Обучился, — самодовольно произнес Анатолий Кузьмич. — Имею большую жизненную практику.

— А что, если она устарела? Ведь не только техника у нас обновляется, но и взаимоотношения между людьми тоже.

— Попал, как говорится, прямо в точку, — мрачно произнес Анатолий Кузьмич.

— А ты как думал, у меня слабина тоже имеется. Бывает, говорю с тобой, да и с другими тоже, а твердой уверенности, что именно так надо говорить, нет. Вот и раз-

мышляю потом с болью — не так все должно было быть, душевной откровенности, что ли, не хватило.

— И у меня так случается,— подхватил Анатолий Кузьмич.— Решение-то я выбивал и стоя, и сидя, и с улыбочкой, и со слезой, и с воплями. А объявил о нем на заводе так, вроде — пришел, увидел, победил. Нехорошо, да? Наши-то знают, как вертеться пришлось. Да не удержался, чтобы не покрасоваться.

— Хороший ты мужик,— сказал Зубцов,— только стесняешься почему-то быть таким, какой ты сейчас.

— Должность не позволяет,— заявил Анатолий Кузьмич.

— Выходит, не можешь проявить свойственное твоей натуре?

— А ты можешь? — обиделся Анатолий Кузьмич.— Ты сам не просто Зубцов, а секретарь парткома. Мы с тобой сейчас с глазу на глаз разговариваем. А ведь я могу квалифицировать твои рассуждения как недооценку со стороны парткома того решения, которое я в главке получил. Что, попался?! — Анатолий Кузьмич хитро поглядел на Зубцова.— Вот и я не желаю попадаться на необязательной откровенности, чтобы потом не сказали: директор-то у нас фигура дутая.

— Такого хода мысли я от тебя не ожидал,— горестно сказал Зубцов.

— А ты что думал, только ты меня можешь обучать, а я тебя нет? Не понимаю, чего ты распетушился. Я тебе в своей слабине признался, а мне это тоже вовсе ни к чему. Да, самолюбив. Ну и что? А у тебя самолюбия нет?

— Есть, конечно.

— Гордишься тем, что секретарь парткома?

— Естественно, как доверием коммунистов.

— Ну, и я горжусь тем, что директор.

— И правильно — гордись.

— Ты меня все шлифуешь, а я не алмаз, бриллианта из меня не получится.

— Почему? Человек должен быть многогранно развитым.

— Мне граней хватает. Это тебе требуется ими обзаводиться со всех сторон, как воспитателю душ.

— Значит, полагаешь, людские души — мне, а дела завода — тебе?

— А ты меня на слове не лови, официально заявляю — парторганизация осуществляет контроль за деятельностью администрации.

— Не только.

— Правильно, не только. Ну, поговорили. Привет, — раздраженно произнес Анатолий Кузьмич, поднялся, протянул руку.

Потом он долго с сожалением вспоминал этот разговор с Зубцовым, свой самолюбивый срыв в конце. И припоминал с горечью, как такие его срывы не однажды приводили к тяжелым последствиям. И только он, Зубцов, терпел такую его слабинку, никогда не обрывал, не мстил, не обращал во вред делу. Потому-то Анатолия Кузьмича и тянуло на откровенные беседы с Зубцовым, он испытывал в них душевную и деловую необходимость, хотя опять, из самолюбия, воздерживался делать шаг первым к таким беседам.

И вот вдруг пришло разрешение на строительство нового общежития, сборно-панельного девятиэтажного здания. Анатолий Кузьмич был в восторге. Воспользовавшись этим случаем, он пригласил к себе в кабинет Зубцова и, развалившись в кресле, указывая перстом на бумагу, торжественно произнес:

— Читай и ликуй!

— Здорово! — просиял Зубцов.

— Но я так думаю, — посерьезнел Анатолий Кузьмич, — на черта нам это общежитие?

— Ты что, сдурел? — вспыхнул Зубцов.

— Во! — обрадовался Анатолий Кузьмич. — И у тебя нервы. Слушай: закладываем двух- и трехкомнатные квартиры. И всех семейных из общежития туда. Для стабильности радости. Что, сильный ход? Выходит, не только о техническом прогрессе пекусь, но и о прогрессе по линии упрочения семейных форм жизни.

— Молодец! — похвалил Зубцов.

Анатолий Кузьмич коснулся ладонью своего лба, сообщил многозначительно:

— Значит, работают извилины, в качестве и количестве которых ты, кажется, сомневался.

— Не в качестве, а в их применении, — напомнил Зубцов.

— Ну ладно, замнем для ясности, — благодушно сказал Анатолий Кузьмич, — и обрати внимание, целый этаж

с планировкой гостиничного типа отводим матерям-одиночкам. А внизу — ясли, детсад.

Зубцов усмехнулся.

— И такое предусмотрел — для плодов твоего комфортажного общежития?

— А ты зубы не скаль. В жизни все бывает. Я на реальность ориентируюсь.

— Понимаешь, что я подметил, — задумчиво произнес Зубцов. — Проводим мы лекции о морально-правственном облике человека, девчат полно, парней чуть. Выходит, девушки активно ищут те высокие духовные черты, которыми отмечается лучшее в человеке. И когда обнаруживают, что их нет, решительно со своими парнями расстаются. Материальная и социальная независимость облегчает такое решение.

— Вот и выступил бы с такими мыслями перед заводской молодежью. Это твоя функция — в души вникать.

— И твоя тоже. Ведь вызываешь на беседы летунов, пьяниц, прогульщиков.

— А они что, не люди?

— Для тебя — кадры.

— Ну, и что? Занимаюсь, потому что человек сегодня один, а завтра может стать другим.

— Ишь, какой ты скорый.

— Это я условно сказал: сегодня, завтра. Человек меняется под воздействием атмосферы в коллективе, влияния на него других людей. Против всех не попрешь — это точно.

— Не только против. Его можно и нужно увлечь примерами лучших.

— На это есть школы передового опыта.

— А школы жизни, взглядов, убеждений?

— Опять же твоя епархия.

— А ты что, не коммунист? Ты вот директор завода. Фигура. Как ты им стал, что в себе превозмогал, что в себе воспитывал, кто тебя воспитывал? Живой полезный пример.

— Да что я, должен исповедоваться или хвастать? Нет, я на такое не гожусь, я вот с собственным сыном не слажу. Все ему твердил, с каких низов жизнь начал, хотел, чтобы он в инженеры вышел, а он слушал, слушал, разозлился и вместо вуза — в сталевары. Утер мне нос. Вот давай теперь воспитывай его. А ты все на меня наваливаешься.

— С чего ты взял?

— Забыл, что на директорском совещании, как удав, на меня глядел? Мол, давай, давай, царствуй, а я тебя потом все равно на бюро прижму.

— Ты это всерьез?

— Вполне. Пришел я на бюро тихий, скромный. А ты там спектакль устроил. Выпустил с докладом Лебедева. Ну, он гимн спел модернизированному. Как кончил, все встали и зааплодировали. Не бюро — театр. А потом эту девчонку в очках выпустил, Свету Должикову, тоже нашел авторитетного экономиста. А она как пошла жать выкладками, исчислениями, да еще школьную ей доску приволокли, она на ней мелом, как учительница, выписывала выгоды от производства модернизированного. Деваться некуда. Все ей поверили.

— А ты?

— Задачки-то она правильно на доске решала. Да как их натурализовать при нашей сложившейся ситуации, вот в чем вопрос. А что она в ней понимает? Ты хотел, чтобы я с этой девчонкой полемизировал? Мол, она здорово соображает? Ловко ты придумал.

— Выходит, раскусил мой замысел? — улыбнулся Зубцов.

— Умеешь петлю красивым бантиком на шее повязать.

— Значит, повязал?

— А как же, деваться теперь некуда. Сам руку поднял, когда вопрос на голосование поставили, сам себя к стенке припер. Заказ на старые двигатели с нас не снимут, а новый не выполню, с меня шкуру сдерут.

— Не сдерут.

— Как это нет? Наверняка сдерут.

— Ты же наш отчет по обследованию производственных фондов после ввода новых мощностей слушал?

— Слушать-то слушал, да если и сейчас рабочих с высшей квалификацией и вообще станочников не хватает, какой может быть с железа спрос? Ты не хитри. Об отсутствии кадров позабыл?

— Не позабыл, просто упускать возможность получить новый заказ не хотел.

— Нет, хитришь, я тебя знаю. Рассчитываешь, что с переходом на бригадный метод и люди тесней сплотятся, и квалификацию повысят, и смежными специальностями овладеют, и многостаночниками станут. Да и на автоматы многое свалим.

— А что, не так?

— Ну, может, и так.

— Тогда в чем дело?

— Нам срок был дан на освоение новой техники и пусконаладочные работы. Мы его успешно сократили, получился резерв. А девчонка твоя доложила, что мощности уже задействованы.

— Верно.

— Ничего не верно. На заводе, да. А для главка — еще нет.

— Так ты вон на что прицелился!

— А как же, на всякий случай за пазухой кое-что иметь надо. Потому и решился выполнить план и одновременно приступить к производству модернизированного. Который пойдет как внеплановая продукция. Значит, и премия и социальные фонды с присыпкой.

— Решил словчить?

— С вами словчишь! Все равно в следующем году навалят по уровню выполнения нынешнего. Но резервы на него — тью-тью, фондов нам уже не добавят.

— Но ведь пусконаладочные сроки и время на освоение нам удалось значительно сократить? Поднажали, и получилось.

— На одном энтузиазме.

— А он что, не сила?

— Сила. Но пользоваться им аккуратно надо. Меру знать. А опираться на расчетные показатели.

— В бригадах в среднем увеличилась производительность труда на 5—10 процентов. Этого тебе мало?

— По сравнению с недавней — много. Но опять же нам ее запишут как прибавку к достигнутому.

— Ну, и правильно.

— Ты вот распалил людей на бригадный метод, сейчас они душой пылают, а если остынут? Энтузиазм-то и поиспарится. Мало ли у нас было починов? Шум-гам, а с ходом времени все стихало.

— Хочешь, я тебе свое мнение о бригадном методе скажу? Во-первых, у нас никакого шума и гама в связи с ним нет. Дело это великое, но требует величайшей вдумчивости, исследований, поисков, совершенствования, и на многие годы.

— Я на будущее не закидываюсь, в масштабах ежеквартального плана мыслю.

— Не приbedняйся. Не в главке. Пойми, главное даже не эти 5—10 процентов, которые мы уже имеем, сами люди

меняются по своему душевному настрою. Вот резерв, вот перспектива.

— Уровень сознательности поднял, спасибо, только я не тем отчитываюсь, — упрямылся Анатолий Кузьмич.

— А то, что на слабом уровне сознательности просчитываешься, сам знаешь. Вот начальник цеха Серегин решил самостоятельно «помочь» заводской экономике, увеличил сверхплановый выпуск машин большой материалоемкости, которые легче делать, а рассчитались за них только как за овеществленный труд, вот и прогорели.

— Серегину-то я разрешил, — скорбно вздохнул Анатолий Кузьмич. — Мой ляп.

— Ну, ты извини, это я не удержался, чтоб тебя не поддеть.

— Да ладно уж.

— Ты пойми, — взволнованно произнес Зубцов, — весь вопрос сейчас состоит в том, с какой полнотой мы пользуемся возможностями сознательного коллектива. Ну, вот планирование — основа экономики. А возьмем наш завод, чем ниже спускаешь план по цехам, по бригадам, тем он становится неустойчивее. Почему? Да потому, что мы нацелены выполнить, или, точнее, вытянуть общезаводское плановое задание в точно обозначенные сроки. А плановая цепочка частенько обрывается в низовых производственных звеньях. Каждый человек должен четко и твердо знать, сколько, когда и какой продукции он обязан дать, чтобы общезаводской план был выполнен. Вот если б каждый сознавал, как он своим трудом приближает выполнение общезаводского плана, в какой степени от его труда это зависит, тогда мы не знали бы беды. Это и администрации касается, всех, от директора до уборщицы. Так что прежде всего мы должны поднять чувство ответственности каждого за себя и за весь завод в целом.

— Ну что ж, это мысль, — согласился Анатолий Кузьмич. — Надо навалиться на экономистов, пусть посчитают, что дают личные сообразительности к выполнению общезаводского плана.

— Настроение людей надо знать и учитывать. Вот как с модернизированным двигателем — воодушевили людей и сами воодушевились.

— Я от людей не отрываюсь. Да надо мной начальства целая горка.

— Но ты же не кнопка от дверного звонка, чтобы на тебя только нажимали. Не хитри, ты хорошо знаешь, кто

прав и кто не прав. Но полагаешь, что правильное восторгается над неправильным само по себе, ну, не через месяц, через полгода, год. Зачем самому впутываться? Так?

— Да я каждый раз захожу в главк, к нашему непосредственному, как на ринг. Ты что, не знаешь? — рассердился Анатолий Кузьмич.

— Знаю. Но получается, что, как ни бьешься приносить пользу заводу своими управленческими стычками, ты все-таки не борешься за интересы дня завтрашнего. А он в союзе с наукой. И техника, и технология, управление и организация, все подвижно. Творческие побудительные силы человека безграничны. Но как монотонный труд угнетает человека, так и заостеневшие формы управления висят на ногах, как гири. И бригадный метод труда для нас с тобой первый звонок к работе по-новому.

— Опять про бригады? — мрачно осведомился Анатолий Кузьмич. — Ну, было, поежился на совете бригадиров, что мне консилиум навязывают. А разобрался — понял: хорошее дело, нужное, умное. И от персональных конфликтов освободился.

— Значит, использовал?

— А как же, они — меня, я — их, — усмехнулся Анатолий Кузьмич, — но заметил ли ты, что теперь многие мои приказы за двумя подписями ходят — первая моя, а вторая — председателя совета бригадиров? Так что больше меня за бригаду не агитируй.

— Ну, что ж, значит, объяснились начистоту?

— Обожди, — задумчиво произнес Анатолий Кузьмич. — Наше время вызывает необходимость роста позитивно-критического мышления?

— Верно. И чем больше, многостороннее знания человека, тем шире арена для его деятельности.

— Ты это о чем?

— О том, что с нас, со старшего поколения, теперь больше спроса, чем с молодого, и мы не должны допускать, чтобы они повторили наши ошибки.

— А свои совершать могут? — усмехнулся Анатолий Кузьмич.

— Молодые сегодня образованные, но политически инфантильны, а высокая квалификация сочетается у них с недостаточным чувством ответственности. Вот тут мы должны их направлять.

— Ну, это ты зря брюзжишь, — возмутился Анатолий Кузьмич. — На заводе у нас ребята один к одному. Возьми

только бригаду Константина Должикова — орлы! Получка у каждого не меньше, чем у начальника цеха.

— Получка не показатель, — сказал Зубцов. — Вот обучить бы правильно пользоваться жизненными благами, да таких курсов нет. У нас за плечами великий жизненный опыт всевозможных бед, лишений, я бы даже сказал, чрезвычайный опыт героического. А в чем они могут себя проявить героически — подумал? Пожалуй, в высокоразвитом чувстве правды.

— У них — чувство правды, а у нас — нет? Вот я верчусь, комбинирую, препираюсь с разными ведомствами — ради чего? Для удовольствия своего, что ли?

— Точно! — усмехнулся Зубцов. — Геройски выговоров нахватал.

— Так ведь хозяйственник без выговоров, что дерево без ветвей: чем выше растешь, тем их на тебе больше.

— Вроде ты на это не обижаешься?

— А они мне, как нашивки за ранение.

— Ну-ну, полегче, — предупредил Зубцов.

— Ты пойми и мою диалектику, — примирительно произнес Анатолий Кузьмич. — Спускают нам новый образец, осваиваем его выпуск, а он уже устаревший по сравнению с тем, который в чертежах у наших же конструкторов. Я живой человек, меня на новое тянет, но сначала нужно старое отработать и на нем заработать. Идет освоенная продукция, план в ажуре, все тобой довольны. Не жизнь — благодать. Только ведь это обман?

— Ну, а я тебе что говорил? Ты понимаешь, да помалкиваешь, выгоду соблюдаешь. А молодые молчать не будут.

— Так не для себя же, для завода.

— Ну завел сказку про белого бычка. Перейти своевременно на новый образец не только экономическая необходимость, но, если хочешь знать, историческая. Что ж, значит, все выяснили? — спросил Зубцов, поглядев на часы.

— То есть как это все выяснили, — встрепнулся Анатолий Кузьмич. — Я же с тобой главный вопрос не обсудил. Лебедев предлагает, не дожидаясь полной проектной разработки из НИИ, начать разработку своего сверхмощного на основе модернизированного без дополнительного ввода новых мощностей.

— Ну, и что вы?

— «Вы», ишь как заговорил,— обиделся Анатолий Кузьмич.— Я за то, чтобы сначала получить дополнительное оборудование, оснащение. А потом уже решать.

— Значит, опять будешь ловчить?

— В интересах завода.

— Ну, Иванов, будем...

— Ругаться,— перебил Анатолий Кузьмич, раскрыл папку.— Вот полюбуйся, какие мощности можно получить. Не завод будет, а прямо выставочный зал новой техники.

Зубцов отстранил папку.

— Не принципиально к делу подходишь.

— Нет, принципиально,— упрямо заявил Анатолий Кузьмич.

Так они переругивались, то обращаясь друг к другу на «ты», то переходя на официальное «вы», пока Анатолий Кузьмич мстительно не заявил, что немедленно пригласит самого Лебедева. Зная пылкий характер Лебедева, Зубцов уныло сказал:

— Давай передохнем до завтра, а то мне с вами обоими не совладать.

— Почему с обоими?— удивился Анатолий Кузьмич.— Это же идея Лебедева, а он тебе союзник, не мне.

— Тогда зачем же его звать?

— Затем, что твоя аргументация слабая, его сильнее. Вооружусь и подамся в главк.

— Знаешь,— сердито сказал Зубцов,— тебе, Анатолий Кузьмич, пора бы новую штатную единицу завести — психолога.

— А мне он не нужен.

— Нам нужен, чтобы через него с тобой общаться, постигать сложные лабиринты твоего мышления.

— Оно ж у меня позитивно-критическое,— усмехнулся Анатолий Кузьмич.— Со всех сторон примерь, а уж стой на своем, как надолба,— никто не свалит. Так-то вот. Что, хитер?

— Нет, просто умен,— сказал Зубцов и прикрыл ладонью глаза, не то потому, что начался приступ боли, не то устал за день.

Зубцов знал, что в этой беседе с директором много было не высказанного до конца и им самим и Анатолием Кузьмичом. Да можно ли, нужно ли было все до конца высказывать? Будут еще разговаривать, и не один раз, сближа-

ясь и отдаляясь, и снова сближаясь. Не так прост Анатолий Кузьмич, особо когда хочет казаться простаком.

— Понимаешь, — однажды признался Анатолий Кузьмич. — Государство вложило в завод на сотни миллионов овеществленного труда народа, и мой долг — отвечать за эти колоссальные вложения. И когда по тем или иным причинам мы недодаем сполна продукции, у меня возникает чувство, будто я похитил огромные народные ценности, будто я преступник, но каждый раз почему-то оправдан по суду всевозможными ссылками на объективные обстоятельства. Но такие ли они на самом деле объективные? Может, просто у меня не хватило силы воли, ума, способностей, чтобы преодолеть эти объективные обстоятельства? И вот ночью, один, я прямо-таки трагически переживаю, передумываю, где, когда, что мог, да не смог. И сам сужу себя. А затем на работе снова должен быть спокойным, бодрым, уверенным, внушая это же людям, будто и не было таких мучительных переживаний! — Спросил: — Может, это от переутомления? Или раздвоение личности, симптом того, что уже не тяну?..

Вот ведь как. А Зубцов находил Иванова излишне самоуверенным и всегда пытался его поддеть, считая это недостатком для руководителя, а он, оказывается, самоед.

И тогда Зубцов сказал убежденно:

— Не тебе приbedняться, мужик ты стосильный, подключить генератор — энергии хватит завод осветить.

Анатолий Кузьмич пытливо посмотрел ему в глаза, заметил иронически:

— Значит, могу фонарем работать, ну-ну, такой у себя способности не подозревал, — и поспешно перешел к делу.

* * *

Октябрина внушала отцу:

— Физкультура должна быть необходимой составной частью социалистического образа жизни. Человек, уклоняющийся от занятий физкультурой, все равно что полуграмотный. Он нуждается в таком же обязательном физическом образовании, как во всеобщем среднем. Согласен?

— В таком случае я — с незаконченным высшим, — усмехнулся Мараг, — а в анкете писал высшее. За такую приписку могут в случае чего и к ответу привлечь.

— Неостроумно шутишь, — строго заметила дочь. — Человек, пренебрегающий своим здоровьем, не принесет

обществу той пользы, которую он может принести. И главное — он вынуждает общество затрачивать средства на восстановление его ослабленного здоровья уже с помощью медицины.

— Судить надо страшным судом таких сукиных сынов,— заявил Марат, насмешливо щурясь.

— Тебе смешно, а мне горько. Еле-еле сформировала группу из пожилого контингента, радовалась, что ни одного занятия не пропускают. А выяснила, что на самом деле они ходят на стадион общаться. Сделают зарядку, потом залезут на трибуну, соберутся кучей, разговаривают, спорят, волнуются, курят.

— О чем спорят?

— Какое это имеет значение? Вместо физического и психического равновесия, которого добиваются зарядкой, они входят буквально в стрессовое состояние. И, значит, все зря.

— Я спрашиваю, о чем спорят-то?

— О чем? О чем? О том же, о чем на заводе, дома и вообще везде.

— Молодцы, что не остужаются,— одобрил Марат.— Ты не понимаешь: сейчас каждый себя фигурой считает, вроде как министром по их масштабу, до всего ему дело, да еще к тому же прихватывают мировые проблемы.

— Физическая культура закладывает основы гармонического развития человека и продолжительности его жизни.

— Ну да, обрстет мускульным мясом, а мозгохранилище в кулачок.

— Мы же не культуристы. Мы против мышечного излешества. Они только формально спортсмены, их спортивные показатели обычно ничтожны. Мы их идейные противники.

— Скажи пожалуйста, у вас там и идеология водится!

— Папа, ты человек односторонний, ограниченного инженерно-заводского мышления. Своей механизацией и автоматизацией вы лишаете человека привычной и необходимой ему физической нагрузки. И это может привести к неполноценности, притом, заметь, всего рабочего класса, ты думал об этом?

— Что?!— яростно и ошеломленно спросил Марат.— Да ты сдурела!

— Не в ближайшем будущем, конечно, — спохватилась Октябрина. — А в отдаленном. Но упреждающие меры надо принимать теперь же.

— А я принимаю, — сказал Марат, — зарядку делаю. И не я один. Что тебе еще надо?

— Зарядку ты делаешь неправильно. Если спешишь, помашешь руками, подрыгаешь ногами — и все.

— Комплекс я весь успеваю прихватывать, но в темпе, понятно. Если некогда.

— Папа, ты дикарь!

— Сейчас каждый хочет урвать время для прибавки знаний и желательно на то, чтоб побольше думать. Не на спортивной арене себя показываем! Оттого, что вы там быстро бегаете, высоко прыгаете, ловко на турнике крутитесь, человечеству не легче. А мы своими машинами силы стране прибавляем. Может, по лошадиному исчислению их на нас сейчас миллиард работает. Ну, и другим дружеским странам тоже помогаем.

— Лошадиными силами! — иронически произнесла дочь.

— А ты не скалься. Сама знаешь, сколько их в одну только космическую ракету впрягают. Не нравится лошадиная, называй ангельской.

— Ты не сердись, а вдумайся. Человек должен быть красивым!

— Еще Чехов об этом толковал. Но ведь не только по наружности, а и вообще. По своему внутреннему содержанию.

— Ну, а ты?

— Чего я?

— Каким ты себя считаешь?

— Когда как. Иногда ничего, а, бывает, думаешь, хуже тебя никого нет. Самому перед собой совестно.

— Но это очень хорошо!

— Что ж тут хорошего? За один день ты то такой, то саякой. Придешь домой, собой недовольный, утром бреешься, на свою рожу в зеркале смотреть противно. Вот такая моя гармония.

— А какой, ты считаешь, она должна быть?

— Ну, чтобы все строго по графику, ровный распорядок, спокойствие.

— А Лев Толстой называл человеческое спокойствие подлостью.

— Так я про производство, а он в нем не разбирался. Но если он про равнодушие, так то в самую точку. Человек, у которого душа дремлет, вроде ходячего желудка, а в больших масштабах — это гнусная уступчивость всякому злу. Человек для чего работает? Чтобы жизнь всех была получше. А если этого не желает, значит, протухнет сам в себе, вот и все.

— А какой у тебя идеал?

— Чтобы предприятие, запертое на замок, само работало.

— Электроника, кибернетика, автоматика, роботы — значит, этому молитесь?

— Не молюсь, а стараюсь, насколько ума хватает, производственный процесс совершенствовать.

— Ради повышения производительности труда, — снисходительно произнесла Октябрина.

— Тебе меня не поддеть. Ради людей. Чтобы они могли заниматься тем, что сейчас для них недостижимо. Климат по всей планете наладить, на дно океанов и морей — дистанционное управление, добычу полезных ископаемых увеличить, чтобы нашу сушу не ковырять, запустить в космос солнечные батареи и оттуда на землю электроэнергию доставлять.

— Но это все техника.

— Техника, но ради человека. Кроме того, в технике и политике нерентабельно, чтобы каждая страна по отдельности таким делом занималась, хошь не хошь, а договариваться о совместных работах придется.

— И с Америкой?

— А что Америка? Ну оружия они могут наготовить целую гору. Но ведь и мы не лыком шиты. И нужно еще заставить людей Америки это оружие в руки взять. Народ его только тогда сам хватает, когда его жизни и свободе угроза.

— Так Америка нами всех пугает.

— Кто пугается, а кто и нет. Наша политика честная, мирная, она на виду и жизнью подтверждена как правдивая. Человек с головой и неленивый в рассуждении на дешевый испуг не поддается. Там тоже не рабы живут, тоже есть люди соображающие. — Спросил живо: — Ты знаешь, когда пошло, что люди за руку стали здороваться? Еще с каменного века. Если человек свою открытую ладонь другому протягивает, то это означает, что у него в руке против другого камня нету. Мы им открытую ладонь про-

тягиваем, так ты считаешь, что они дурнее тех, из каменного века? Не понимают, что это означает?

— Ну есть и такие, кто не понимает.

— Понимают! Но не хотят понимать. В средние века инквизиторы тоже не хотели понимать, что земля вертится,— усмехнулся.— Кстати, инквизиторы тоже любили рассуждать о гуманизме, полагая, что сжигание на сырых дровах более гуманно, чем на сухих, так как человек погибает сначала от дыма, а уж после сгорает. Ну, а эти то же самое о нейтронке считают.

— Но это ужасно!

— Ничего, мы и Ленинград и Сталинград пережили, а войну кончили победой. На Западе и на Востоке. От такого факта не отпереться. Кому следует, те должны помнить. Планета наша на всех одна, другой не обзавестись, на ней надо благоразумно обустраиваться, иного хода нет. Потому и внушаем: не лезьте!

— А как же быть?

— Как, как? Ты давай по своей линии физкультуру подымай на уровень, а мы — технику, во всю свою мощь развернемся, покажем всю красоту нашей жизни. Они считают, что теперь «эпоха великой неуверенности». У них — да. А мы свою дорогу наперед далеко знаем.

— Скажи, папа,— загадочно улыбаясь, произнесла Октябрина,— ты ко мне относишься лучше или хуже, чем к тебе дед?

— Не понял.

— Ну считаешь, что твое поколение лучше моего? Ваше геройское, а наше пока под вопросом?

— На фронте такой приказ был: действуй по обстановке. Каждое поколение по своей обстановке действовало и действует.

— Но бывает обстановка похуже или получше.

— Правильно! Так и действуй, чтобы всегда было получше.

— И ты считаешь, что мы это делаем?

— А как же!

— То есть я хочу сказать, что именно мы, мое поколение.

— Ишь ты, что это за филиал такой? Поколение. У нас такой дележки нет и не будет!— заявил твердо отец.

— Но есть же между нами различие?

— Есть!

— Какое?— Дочь напряженно склонилась к отцу.

— А вот как в срезе дерева кольца. Выпал год хороший, они пошире. Тяжелее — еще и подтверже. А вам надо такие высоты брать, какие нам в годы войны одолевать было некогда.

— Какие же?

— Укоротить дистанцию до нашей конечной цели.

— Это до коммунизма, что ли?

— Я тебе дам «что ли»! — грозно произнес отец и даже приподнялся на стуле. — За это «что ли» миллионы людей жизни свои отдали, чтобы вам для него позицию удержать.

— Ну я оговорила, не сердись, — попросила дочь. — Просто сразу догадалась, к чему ты тянешь.

— Тянешь! — снова возмутился отец. — Опять вклепила мусорное слово. Деду коммунизм чуть светил, а нас он уже греет. Я на фронт уходил, кто мы были? Одинокая на весь мир страна социалистическая, а теперь...

— Ох, папка! Ты же настоящий политик!

— Небось, когда в команде гимнастов за рубеж ездила, тоже кое-чего нагладелась!

— Видела. А в спорте все ясно: кто больше очков набрал, тот и победил. Понятно, кто кого сильнее.

— Ну не так просто. В спорте понятие силы относительное. Работоспособность в тренировках, воля к победе, смелость, настойчивость, самообладание — вот что решает успех. И на производстве то же самое требуется, — вздохнул отец.

— Ага, — обрадовалась дочь, — теперь дошло.

— Ну, а как вы там с ними контактили?

— Настоящий спортсмен, если его превзошли, хочет понять, почему, в чем превосходство соперника. Мы, бывало, им объясняли.

— А у нас разве не так? Ты рабочие чертежи КБ видела? Мы их расцеховали своевременно, технологию разработали. Только народ у нас неукладный. Один Фомин столько своего накидал, приходится опять коррективы вносить. А тут, понимаешь, еще какая история: Егор Нилович решил с автоматом сразиться по количеству отработанных деталей. Выдал столько же, но шероховатость поверхности у его деталей получилась меньше, чем у автомата, дошлифовки не требуется.

— Так это здорово!

— Кому как. Считали, что техника новейшая. А оказалось, от человека уже отстают. Егор Нилович, конечно,

альборовые резцы применил с такой геометрией, чтобы одновременно несколько операций производить.

— Так усовершенствуйте эти автоматы.

— Трудно, конструкция не позволяет. Костя верно говорит, что должна быть предусмотрена возможность реконструкции автомата, но пока, увы...

— Но автоматы — это же последнее слово техники!

— Теперь не бывает последнего слова, потому что техника технику выпирает. Новейшая новую.

— Как у людей?

— Тоже сравнила! Человек сам из себя вырастает, а техника сегодня одна, завтра другая. Ты мне лучше скажи, почему Сергей Иванов к тебе зачастил?

— Он же спортсмен.

— Он тяжелый атлет, а ты гимнастка. Не ври, разбираюсь. По этой линии общего у вас нет.

— Знаешь, как он меня называет? — оживилась дочь. — Лучезарная.

— Это же чистый подхалимаж. Мордашка у тебя кругленькая, скуластенькая, ничего особенного.

— А фигура?!

— Так он что, из-за твоей фигуры таскается? — возмутился Марат.

— Вовсе нет. Я ему нравлюсь потому, что он мне не нравится.

— Ну загнула, невозможно понять.

— Ну как ты не понимаешь, все считают его неотразимым. Отец — директор, он сталевар, известный спортсмен. Отец по улице идет, так на него не оглядываются. А на Сережку все.

— Подумаешь, толкает штангу, шея, как у кобры, надутая, глаза выпучены.

— Уел, уел, — рассмеялась дочь. — А вот он мне сказал: «Конечная моя цель — олимпийский чемпион, а бесконечная — ты».

— Что значит бесконечная? Он на тебя долгосрочную программу разработал?

— Папа, я же сказала — он мне не нравится.

— Так зачем он тогда за тобой волочится? Самолюбия нет.

— Я ему советовала в какую-нибудь другую влюбиться, не терять зря времени, а он говорит, ладно, успею, время еще есть. Вот ты считаешь: сейчас техника должна быть совершенной, а я — любовь.

— Качество ее хочешь поднять? — сыронизировал Марат.

— А что ж! Может, я люблю Сергея, но хочу, чтобы это чувство во мне осталось на всю жизнь. Поэтому никогда ему об этом не скажу.

— Это что же за фокус такой? — испуганно спросил Марат. — Не нравится, а любишь, любишь, но молчишь для того, чтобы в себе сохранить.

— Я хочу совершенной любви, папа.

— М-да, — озабоченно произнес Марат, — перемудрила ты что-то, дочь. Вот и с Игорем и с этим... Он директорский сын, мне это не нравится. За директорского сына — категорически возражаю.

— Папа, — воскликнула дочь, — такого никогда не будет!

— Будет или не будет, но я тебе твердо сказал.

— Как представитель жесткого поколения? — усмехнулась дочь.

— Во-во! Приду к его отцу и скажу: не желаю такого тестя.

— А он скажет — такую жену сыну.

— Значит, договоримся.

— Ну уж тогда и мы договоримся и вас обоих прочим.

— Октябрина! — Отец побагровел.

— Ну, что ты такой нервный, — сказала с упреком дочь, — я же все это придумала, мне просто было интересно, как ты будешь реагировать. Уж если кто мне нравится, так это Андрюша Анучин из Костиной бригады, долговязый, тощий, чего-то там изобретает. Со мной больше молчит, но так жалостливо в глаза смотрит, не то хочет о чем-то попросить, не то действительно до полного обалдения влюбился.

— Если обалдел, так ты его не обижай, — кротко сказал отец. — Сам знаю, если настоящее, то, верно, ничего не соображаешь. — Произнес грустно: — Неделя прошла, а от матери ни ответа, ни привета. Я ей беспощадно каждые два дня пишу про всякие свои переживания.

— Производственные! — подхватила дочь.

— Да ладно, — уныло отмахнулся отец, — сама знаешь. Проснусь ночью, зажгу свет, ее письма заново перечитываю, хожу по коридору, тебя светом беспокою. Теперь батарейным фонарем стал светить.

— А я тебе запасные батарейки купила!

— Спасибо,— сказал отец,— вишь ты, какая внимательная.

* * *

За последнее время на заводе сложилась напряженная обстановка. Завод должен был выполнить заказы по прежним своим обязательствам, и, чтобы их выполнить, пришлось значительно сократить подготовительные работы по производству модернизированного двигателя.

Анатолий Кузьмич пошел на это не то по слабодушию, не то потому, что на него крепко нажали заказчики из авторитетных ведомств, не то потому, что КБ по настоянию Лебедева внесло в конструкцию дополнительные поправки, что потребовало кое-каких переделок в уже изготовленных узлах. И заказчик, и Лебедев, и даже директор были правы.

Лебедев в том, что раз открылась возможность улучшить конструкцию, недопустимо от этого отказываться.

Анатолий Кузьмич в том, что нельзя обмануть заказчиков или запустить в производство двигатель, зная, что его еще можно улучшить. К тому же он не хотел упускать прибыль, поскольку отчисления с нее шли для завершения работ по строительству многоквартирного дома, возводимого на средства завода.

На совете бригадиров Анатолию Кузьмичу пришлось выслушать немало упреков, и больше всего от Фомина по поводу сокращения подготовительных работ по двигателю.

Оба так разгорячились, что Анатолий Кузьмич бросил гневно Сергею Федоровичу:

— Скромность и разумность, я вижу, не ваша характерная черта.

А Фомин — директору:

— Ваше недоверие к коллективу идет от запуганности высокими заказчиками.

Ночью Анатолию Кузьмичу стало плохо, жена поставила ему на область сердца горчичники, заставила принять лекарство.

Фомина увез к себе домой Геннадий Семенович Должиков, так как Нелли не было дома. Все вечера она проводила в клинике. Месяц назад Игорю сделали операцию, вот-вот должны были снять с глаз повязку, и Нелли буквально поселилась в палате.

Марат тоже отправился к Геннадию, потому что был на стороне Фомина. Сам же Геннадий Семенович предпочел придерживаться нейтралитета. Самых шумных бригадиров он уговаривал образумиться, поскольку директор поступает так ради того, чтобы закончить строительство многоквартирного дома в интересах заводского же коллектива. Но от него только отмахивались.

Хотя самому Геннадию Семеновичу не терпелось приступить скорее к сборке модернизированного двигателя, настаивать на этом он не решался: он знал Лебедева и его неудержимую творческую ярость, если дело касалось улучшения образца.

По-своему реагировала на события молодежь.

Костя Должилов предложил своей бригаде: давайте заведем «Книгу рабочей совести» и будем записывать в нее все проступки. Каждый свои — по велению совести.

Что тут началось!

— Как завмаг, книгу жалоб и предложений?

— И так на совете бригады исповедуемся. Хватит!

— Если человек сам свои проступки проанализировал, чего писать? Сам и исправит.

— А зачем я буду перед всеми себя стриптизить? Очень надо!

— Самого себя объективно оценивать трудно, без поправки не обойтись.

— Себя, зн чит, жалеешь критиковать, а другого — нет?

— А может, интересно получится, прочтем, скажем, через год и увидим, какие были и какие стали.

— Начнем записывать со скидкой. А потом разохотимся, завысим мерку. И получится: были надежные, стали безнадежные.

— А кто эту книгу читать будет?

— Только мы, ясно.

— А потом куда ее?

— В архив!

— Нет, зачем, свернем, закатаем в банку, зароем и в комитете заявление оставим: открыть в двухтысячном году.

— А они прочтут и скажут: во дураки!

— Не скажут, объясним, поймут.

— Подумаешь, двухтысячный! Да мы сами достанем, сами и почитаем.

— Если только каяться, нефигурно будет выглядеть.

- Ну тогда и достижения надо вписывать.
- Бригадные или личные?
- Бригадные ни к чему, их, чтобы понять, надо с другими бригадами соотносить. А это морока.
- Ну, тогда личные.
- Дай тебе, ты про себя такую легенду сочинишь, что будут удивляться, почему тебе в заводском дворе памятник не поставили.
- Так надо, чтобы о плохом проступке каждый сам за себя писал, а о хорошем — другой. По поручению бригады.
- Надо оперативно свои недостатки исправлять, а не просто фиксировать.
- А вдруг в комитет попадет книга или в завком, начнут в общественном порядке разбирать.
- Книга — личная собственность бригады. И под нашей охраной будет находиться.
- А как хранить будем?
- В железном ящике напаяем петли на два замка, от одного — ключ у бригадира, от другого — у парторга. В банках такой порядок заведен, в кино видел. Надежно.
- Но только уговор. Кто что написал, про это языками не чесать.
- А тогда зачем?
- Как зачем? Чтоб друг у дружки глубинку узнать.
- А то бывает, железно помнит, чего сам другим сделал, а как ему другие помогали, начисто стерлось.
- Вот Коля Юрчиков у нас компанейский, у кого дома что случится, к тем кидается, да не один, а с женой, и еще сестру прихватит. Заболеешь, обед сготовит, на стуле возле постели по очереди сидят.
- Ну вот и напиши!
- И напишу!
- И про то не забудь, как тебе Сыгин угощение выставил за то, что ты ему приспособление сделал, а он им потихоньку от других пользовался и в дамки выскочил.
- И не стесняйся, напишу все, как было.
- Сам себя заклеямишь?
- Да уж лучше сам, чем ты.
- Михеев, узнав о затее с «Книгой рабочей совести», произнес задумчиво:
- Такого у нас не бывало. — Добавил неуверенно: — Самокритика — дело серьезное.
- Костя сказал:
- А если человек самоусовершенствоваться хочет?

— Для этого главный рычаг — общественность.

— А мы что, не общественность?

— Ну навалает в книгу кто что хочет, а это все же общебригадный документ! Значит, кто-то должен быть за него ответственным.

— А все, кто в нее записи будет делать, и отвечать будут.

— Вот и получится всеобщая безответственность.

— Так само желание написать — это уже ответственность.

— Может, так, а может, не так. Напишет такое, мимо чего общественность пройти не должна, тогда как?

— Очень просто. Раз мимо такого общественность проходила, не заметила, а человек в себе отметил и сам осудил, то никакой критики общественности и не нужно.

— Значит, уклоняетесь.

— Не уклоняемся, а сами к себе требования завышаем.

— А ты с кем об этом советовался?

— О том, чтобы требования к самим себе завышать? — коварно осведомился Костя. — А вот с вами советуюсь, надо или не надо?

— Я про книгу.

— И книга для этого.

— Навалите вы на себя с пылу чего-нибудь лишнего, а мне потом отвечать.

— Вам тоже придется про себя в нее делать записи.

— Ни в коем разе, — категорически заявил Михеев.

— У кого есть рабочая совесть, тот и пишет в книгу, а у кого ее нет, те, конечно, не пишут.

— Ты что?! — возмутился Михеев. — Такое посмел про меня высказать!

— Так не я, а вы сами.

— Ты на меня свою петлю не набрасывай. Моя совесть в наличии, в личном партийном деле записана.

— Вот, исходя из этой записи, помогите и нам узнать, какие мы.

— А вы что, сами не знаете?

— Может, кто и не догадывается.

— Что ж тут догадываться, когда по всем линиям есть установки, — буркнул Михеев.

— И по личной жизни?

— А как же. И по духовной. Духовная жизнь человека — это и есть его сознательность или несознательность! — наставительно произнес Михеев.

— Так вот, чем выше сознательность человека, тем больше он предъявляет к себе требований.

— Если с такой позиции, ну что ж, валяйте, — не очень охотно согласился Михеев.

Полную тайну записей бригаде Константина Должикова соблюсти не удалось. Не могли утерпеть — по двое, по трое делились впечатлениями.

Были здесь деловые, сдержанно-критические, были и откровенные, не всегда понятные. Но как бы то ни было, интерес друг к другу, уже не только производственный, а скорее трогательно-человеческий, значительно вырос, меньше стало грубых ссор, необоснованных обид, недоверчивости, будто в каждом открылось что-то новое, заманчивое, интересное. Постепенно записи становились все пространнее, свободнее, ребята как будто думали вслух.

Михеев был недоволен книгой, считал, что мало пишут деловых предложений, соображений по производственной линии, не записывают желаний насчет повышения квалификации, дальнейшей учебы. А рассуждения о морали, нравственности, переживания на этой почве отмечал звездочкой. Сам записывал в книгу рекомендуемую им литературу, документы, постановления, как бы этим избавляя себя от высказываний по щекотливым вопросам, которых касались другие. Например, о качестве. Качество, писали в книге, государству доходней, чем количество. Количество же планируют, и за него есть точная оплата, а качество плохо планируют и мало оплачивают, хотя знак ставят. А зачем? Что, все остальные изделия без этого знака некачественные? Стоит ли тогда их выпускать? Что завод выпускает, должно быть лучшим, а нет, так надо такой завод закрывать.

Писали, что прогульщиков следует считать дезертирами, как на фронте. И того, кто филонит, не дает продукции столько, сколько может дать, считать жуликом, мол, он ворует у коллектива.

Что при равной зарплате на разных заводах фактически одни получают больше, а другие меньше, потому что у одного завода есть жилье, Дом культуры, дома отдыха, спортбаза и много еще чего, а у другого ничего этого нет.

Что вывешивать на доску Почета надо не только портреты и фамилии передовиков, но и ведомости по зарплате,

чтобы каждый мог лично проверить, за что и сколько он заработал в сравнении с другими.

Таких записей было порядочно, но еще не было ясно, как ими пользоваться и как пойдет дело дальше.

* * *

Октябрина, лежа на кровати, перечитывала «Войну и мир». Когда она дочитала до того места, где Наташа Ростова вышла замуж за Пьера Безухова, она снова прониклась к ней жалостью, потому что Пьер ей не нравился, и считала, что Наташа пошла за него замуж только потому, что была в безвыходном положении — с Андреем Болконским никто и никогда даже близко сравниться не мог. А то, что Безухов рыхлый, толстый, вызывало в ней чувство брезгливости. Он почему-то напоминал ей штангиста тяжелого веса, обремененного своим огромным телом. Когда раздался звонок в дверь, Октябрина оторвалась от книги с большим неудовольствием. Она решила, что это отец возвратился домой так поздно, и собралась наброситься на него с упреками за то, что он в отсутствие мамы позволяет себе слишком много.

Открыла дверь. На нее почти упала обессиленная Нелли. Она дрожала, словно в ознобе. Губы ее были белы, сухие. Она с трудом произнесла:

— Ты... ты... я к тебе. Вот... Игоря больше нет... — Нелли шагнула в комнату, тяжело опустилась на стул. — Я ему говорила, не надо, не спеши... А он не дождался доктора. Доктора вызвали срочно к телефону, и сестра из палаты вышла. А Игорь сказал: «Я не могу больше ждать, не могу!» Сорвал повязку, зажмурился, открыл глаза, снова зажмурился, потом как закричит: «Нелли! Это ты? Неужели это ты?!» И заплакал. Смотрел и плакал. Потом вдруг схватился за глаза и упал. Тут уж я закричала. Прибежали сестра, потом врач. Уложили его на кровать, что-то с ним делали, проверяли, опять наложили повязку. А потом мне сказали, что он видеть, наверное, не будет, что произошел стресс, что-то там сдвинулось, потому что он снял повязку раньше времени и очень долго смотрел. Я пришла на следующий день, как всегда приходила, стала рассказывать о заводе, будто ничего не случилось. А он мне все гладил руку. И говорил, говорил: «А я тебя вижу, вижу, какая ты. Ах, какая ты! Ты правильно сделала, что настояла на операции. Теперь я тебя понимаю... Как

я только мог осмелиться жениться на тебе!..» Я почувствовала, что он думает нехорошо, даже подумала в ту минуту: лучше бы он меня не видел. А потом он опять повторил: «Какая ты...» Я его целую, а он все твердит: «Какая ты...»

Октябрина слушала и тоже начала дрожать, как от озноба.

— Потом он сказал, что хочет глотнуть воздуха. Дверь балкона была открыта — балкон у них в сад выходит. А ты, говорит, достань из-под подушки наушники, посмотри, они что-то барахлить стали. Я достаю — там проводок переломился, а сама думаю: видно, нервничает и не хочет, чтобы я заметила. И вдруг — крик внизу...

Нелли судорожно всхлипнула. Заглатывая слезы, сказала:

— Ах, зачем, зачем я это сделала? Если б он был с тобой, этого не случилось бы. Какая проклятая у меня рожа! — Нелли упала лицом на стол и прошептала: — Ты никогда, никогда меня не простишь за это, я виновата и перед ним и перед тобой.

Содрогаясь от жалости к Нелли, Октябрина собралась с силами, пытаюсь ее утешить.

— Ни в чем ты передо мной не виновата. Я решила выйти за Игоря замуж только из чувства долга. Он это понял и ушел от меня. И ты здесь ни при чем. И, пожалуйста, не преувеличивай, что он был так ошеломлен твоим лицом, что не захотел снова надеть повязку. Я его знаю, он только притворялся, что привык к слепоте, он все время надеялся. Ну, а раз не получилось...

— Не смей! — крикнула Нелли. — Не смей! Ах, какая ты подлая! — Она была худа, веки опухли, хрипло дышала.

Октябрина хотела обнять ее, прижать к себе.

— Не смей, — отшатнулась Нелли, — не смей! — Встала, хотела идти, оперлась о стену и как-то вяло сползла на пол. Октябрина бросилась ее поднимать.

Вошел Марат. Он легко поднял Нелли на руки, положил на кровать, спросил дочь нетерпеливо:

— Чего ждешь? Вызывай «Скорую».

— Не надо, — сказала Октябрина, — я сейчас уйду, а ты вот что, пойдем на минутку со мной, я тебе что-то скажу.

Когда Марат вернулся к Нелли, она уже пришла в себя, спросила Марата сипло:

— Ты знаешь, какая у тебя дочь?

— Знаю,— сказал Марат.— Эгоистка, она только себя любит.

— Нет, нет,— всхлипнула Нелли,— это неправда. Его я убила, я.

— Послушай, Нелли, ты теперь отца пожалей. Ты у него одна. Понимаешь? А Игорь поступил неправильно,— жестко сказал Марат.— Солдаты, бывало, берегли последний патрон для себя, чтобы их потом не истязали, а приближался фашист, и этим последним патроном они били по нему. Как Игорю ни трудно было жить после всего, что случилось, он должен был жить, а не бояться, что ты его разлюбишь. Это зависело от него самого.

— Нет, нет,— простонала Нелли.— Это неправда, это все не так. А ты жестокий человек, я тебя ненавижу.— Нелли снова забилась, заплакала.

Марат спросил:

— Он тебе оставил письмо?

— Нет.

— Вот видишь. Значит, о тебе в тот момент не подумал. Считал, что живет для себя. Моя дочь его любила, а он ее бросил, верные люди так не поступают.

— Она мне только что сказала совсем другое. Зачем ты мне лжешь?!

— А ты думаешь, мне Октябрину сейчас не жалко, она, как и ты, себя виноватой считает. Я тоже... упустил парня. Мне бы с ним по душам потолковать, да вот с делами зашился.— Махнул ладонью возле глаз, произнес с ожесточением:— Я же знал, знал, когда по госпиталям валялся... такие, как он, с родными не желали видеться, чтобы обузой им не стать, гордость не могли свою усмирить.

— При чем тут гордость?— воскликнула Нелли.

— А при том, что настоящие парни не терпят, чтобы их всю жизнь жалели. Ты это понять можешь?

Нелли, затихнув, теперь только изредка вздрагивала.

Марат приказал:

— Спи.

— Я не могу,— простонала Нелли,— я больше недели совсем не спала, совсем. Ждала, когда снимут повязку.

Марат положил свою ладонь на глаза Нелли, чувствуя, как она затихает.

В такой позе он просидел до утра. Пока незапертая дверь не открылась и не вошел Фомин. Лицо его было серым.

Марат глазами показал ему на стул.

Сергей Федорович сел.

Марат молчал. Фомин тоже молчал. Только напрягшиеся скулы его еле заметно двигались и одно веко дрожало.

Пришел рассвет, серый, тусклый. А впереди был еще непочатый день. Очень трудный. Для всех.

* * *

В цехе при свете переносок бригада Константина Должикова завершала монтаж агрегата для закалки и наплава на рабочие детали пленки из особо устойчивого сплава редких металлов.

— Здорово, полуночники! — сказал Зубцов, останавливаясь.

Костя вылез из-под станины и, глядя снизу вверх, радостно произнес:

— Теперь будет что ни станок, то долгожитель. Себя от мороки избавляем и наживу заводу обеспечиваем тысяч в сто.

— Ишь ты, какой щедрый.

— А как же, на совете бригадиров подсчитали и сказали Анатолию Кузьмичу, что за такое наше благодеяние количество ремонтников сокращаем, освобожденных — на новые агрегаты операторами, а на прибыль от всего этого пусть «Жигули» купит в автоклуб.

— Ну, и он что?

— Он ничего, не возражал. Фомин же как председатель совета бригадиров стал его критиковать, мол, недостаточно понимает, сколько времени люди тратят на дорогу, чтоб до завода доехать, а потом домой. Ну и вытряхнули на приобретение автобусов. Установили маршрут: завод — центр — и график движения от смены к смене. Теперь шалишь, не скажешь — опоздал, мол, по транспортным причинам.

— Значит, руководите руководителем?

— А как же? Никакое АСУ ему такого не подскажет. В общей упряжке и решаем, по-хозяйски.

— Вот и получается рабочее самоуправление, — с улыбкой произнес Зубцов.

— Почему самоуправление? — недовольно сказал Должиков. — Мы совместно с Анатолием Кузьмичом договариваемся, он свою подпись, наш председатель свою. И никто от такого документа никуда не денется.

— Ну, а с бригадой у тебя как? Кстати, оказал бы доверие, показал бы вашу «Книгу рабочей совести», ведь интересно, что у вас там получается.

— Решили отставить.

— Почему?

— А потому, если человек желает сам себе во всем признаваться, пусть дома дневник заводит. А в душу лаять, исповедоваться друг перед другом ни к чему. Человек должен сам самовоспитываться. Обязан уметь сам себя судить и о себе объективное мнение вырабатывать, конечно, с учетом мнения о нем коллектива. Чтобы механика мысли у него о самом себе всегда активно работала, с мозаикалкой. Тогда он личность.

— Ну, и как же вы о нем судите?

— Как-как, каждый день вместе, что нравится в нем и что не нравится, ему говоришь, и он тебе тоже. Человеку же охота стать лучше, чем он есть.

— А если такого желания нет?

— Так самому же от этого плохо.

— И как вы тогда к нему относитесь?

— Не уважаем — и все. А без этого в коллективе не удержаться. Коллектив — это прежде всего, когда друг друга уважают. Из-за этого каждый из всех сил и жмет, чтобы доказать, что ты личность, фигура. Это самое приятное для человека и на работе и дома.

— Это ты сам додумался?

— А чего тут додумываться, когда по нашей жизни и работе так получается. Только в бригаде это всем виднее и чувствительнее.

И Зубцов подумал: «Вон какие ребята у нас выросли, к себе самовзыскательные. Такими руководить непросто, и только с открытым сердцем». А вот он сам сколько раз мирился с тем, что заводу то или иное было только временно выгодно и доходно. Вот, к примеру, брали устаревшее оборудование только потому, что оно имелось в наличии, хотя было менее производительно и требовало значительно больше станочников, чем полуавтоматы или автоматы.

Да и сама система спускать план заводу от достигнутого. Она только потворствует погоне за валом, за числом изделий, но не побуждает повышать их качество, не способствует переходу на новую технологию, на производство изделий, превосходящих все существующие. Правда, по смете была предусмотрена надбавка за новизну, но эта

надбавка выглядела как списходительное поощрение, а не как мощный стимулятор активного участия заводского коллектива в научно-технической революции на новом этапе исторического и социального развития. Как мешает узкохозяйственный практицизм осознавать, что каждый, в сущности, — реальный участник борьбы за новое! Что особенно замечательно и привлекательно в бригадном методе? Люди взяли на себя добровольно коллективную материальную и моральную ответственность за свой труд. И особо важно — моральную, воспитательную друг за друга. Вот наглядный пример: бригада молодого Должикова. Да и не его одного.

Зубцов слышал, как Егор Нилович Горохов внушал своим бригадникам:

— Мы не на ОТК работаем, а на потребителя. ОТК наши изделия примет, но соображать при этом не будет, насколько высококачественные изделия продлят межремонтный срок. А чем дольше двигатель будет работать, тем он доходу больше даст, не нам, конечно, а всюду, где он будет служить. Если на круг посчитать, то мы от этого государству капитала столько прибавляем, что на наши денежки космическое пространство можно будет освоить. А вы что думаете? — с улыбкой произнес Егор Нилович. — У нас здесь у каждого не только свое рабочее место, но и общая боевая позиция. Дадим побольше и получше — наш втык капиталистам, дадим поменьше и похуже, — они нам втык. Значит, кто мы все здесь, на своем месте? Борцы в международном масштабе. Вот чего нам надо в своем уме держать. А то считаете, если я на вас жму и иногда по невыдержанности своего характера срываюсь, так это вроде мне от вас лишь как бригадиру нужно, а ведь не только мне — стране, вот какая карусель-то получается.

Правильно, думал Зубцов, дисциплина, порядок, четкая организация производства — разве это лишь хозяйственная проблема? Внутрисменный простой, плод плохой организации производства, компенсировали сверхурочными. За один и тот же труд, выходит, платили в два-три раза больше. Это ж не только материально убыточно, это разрушает в людях убеждение в разумной и справедливой оплате их работы. Плохая постановка дела всегда выгодна рвачам.

При бригадной организации труда межсменные простои сократились заметно. Трудовая отдача каждого стала общим интересом. А требовательность, мнение коллектива

по своему влиянию на личность оказались сильнее любого воздействия со стороны администрации. И кроме того, коллектив зорче подмечает достижения, незамедлительно поощряет лучших, будь то повышение разряда, когда, не дожидаясь решения комиссии, совет бригады предписывает повысить оплату из своих общих наградных ресурсов или премирует передовиков улучшением жилищных условий. Многие бригаде виднее, чем администрации. Справедливость — категория коммунистическая, и чем справедливей жизнь к человеку, тем ответственнее он относится к другим людям и к делу. А дисциплина, порядок, организованность — это и есть равенство, сознательность, добросовестность во взаимоотношениях людей в труде.

И главное, многие из тех парторгов, что считались прежде середняками, стали теперь большой силой, — раскрылись у людей активные воспитательные способности, которые прежде либо не были замечены, либо не находили применения.

Выходит, бригадная организация труда и есть один из важнейших участков партийной работы на заводе. И партком создал специальный семинар для партийных организаторов, почти на таком же уровне, как для секретарей и членов бюро.

Зубцов думал также о том, что задача всех — от бригады до министерства, от партийного организатора до секретаря обкома — овладеть всеми звеньями трудовых коллективов и новым содержанием их деятельности, совершенствовать систему управления, руководства, воплощая политику партии в дело, доводя ее до каждого человека.

Зубцов вспомнил, как обсуждался на заводе вопрос о переходе на выпуск нового модернизированного двигателя. Это требовало переоснастки, повышения точности, качества обработки, овладения новой технологией новых операций по повышению износоустойчивости рабочих деталей и многого другого, в то время как уже освоенной продукцией рабочим был гарантирован и повышенный заработок и спокойный ритм. Однако Марат Должиков решительно выступил за модернизацию двигателя и привел расчеты. По этим расчетам завод на сэкономленные средства может построить четыре улицы из пятиэтажных зданий. И, кроме того, выпуск модернизированного двигателя — это, по существу, путь к освоению сверхмощного, того, что заводу предстоит делать в будущем.

Да, это были голоса людей, для которых большая поли-

тика партии — их собственная. Они ощущали себя не исполнителями приказов, которые им «спустили», а активными проводниками большой политики.

И разве мало таких, как Егор Нилович Горохов, изделие которого можно определить с первого взгляда? А ведь ОТК не требует такой «изысканности». Что это, частность? Из таких вот бесчисленных частностей и складывается бесценный резерв, чтобы уже сегодня можно было одолеть то, что считается преждевременным, что вчера выглядело едва ли одолимым. И эти мысли приходили к Зубцову, когда он наблюдал за пусконаладочными работами бригад монтажников и ремонтников.

Когда внезапно погасли лампы переноски, из тьмы вынырнул Костя Должиков и, вытирая паклей натруженные руки, сказал сипло и устало:

— Все!

— Что все? — спросил Зубцов, встревожившись тоном, каким это было сказано. — Не сработала техника?

— Работает на всю катушку, — пренебрежительно ответил Костя. — Только вот, видите? — протянул руку и показал на часы: — Написано — противоударные, а я не снял в азарте, обо что-то тюкнул, и все. Была «сейка», а теперь металлолом. Остался с одной браслеткой.

— Подожди, но ведь монтаж поручен заводу-изготовителю, а вы тут зачем?

— Да просто так, зашли посмотреть. Из интересу. Ну, и ввязались. — Костя встрепнулся: — А который час на ваших? Вот это лихо, выходит, нам скоро уже заступать в свою смену. Время-то как незаметно проскочило. Вроде команда на команду. Они от своей фирмы, мы от своей.

— Значит, решили посоревноваться?

— Да нет, какое тут соревнование. Это совсем другой азарт.

— Вы что же, так договорились?

— Да нет, говорю же, пришли поглядеть и ввязались — кому неохота себя показать!

— Как же вы без отдыха и сразу в смену?

— А настроение! Мы же им нос утерли! Да и не вся бригада работала — самые настырные. А к смене придут остальные — свеженькие. — Спросил неожиданно: — А можно нам на ваш авторитет сослаться, чтоб из буфета досрочно какие-нибудь вчерашние недоедки выдали, а то организм отощал.

— Пошли,— с готовностью согласился Зубцов.— Думаю, пойдут нам навстречу.

Сидя за столиком рядом с Зубцовым, Костя говорил оживленно:

— Вот со столом заказов это вы ловко придумали. Народ очень доволен. До смены бумажку подал, после смены, пожалуйста, все, что заказал, затарено в бумагу, как следует. Для семейного — счастье.

— А ты все в женихах?

— Мечтаю для себя принцессу обнаружить.

— И какие для нее показатели намечаешь?

— Требуется красота, наружная и внутренняя,— не задумываясь, ответил Костя.

— Ну, на внешнюю есть типовой стандарт, а для душевной такого нет.

— То есть как это нет? У классиков имеется, правда, современные писатели допускают, что одно у нее может быть хорошо, а другое похуже.

— Значит, если у девушки что не так, такая тебе не подходит?

— Не она мне, а я ей, поскольку сам имею много недостатков.

— Каких же?

— Да вот начинаю с чужими бороться, а обнаруживаю свои.

— А без этого не можешь?

— Не бороться или не обнаруживать?

— Ну, во-первых, не бороться, но лучше сказать — считаться.

— Так можно, но зачем, если я откровенный.

— А ты досчитай сначала до ста, подумай и тогда скажи.

— Буду считать, остыну.

— И хорошо. Зачем же вгорячах?

— Правдивей получается.

— Но ведь обижаешь человека и сам потом огорчаешься.

— Не без этого. Но под других подделываться не собираюсь.

— Почему же подделываться?

— А потому, что не люблю таких, что финтят. От тех, кто прямо в глаза режет, эффективность воздействия больше.

— Ну, а если я, руководствуясь твоими соображениями, скажу, что ты примитивно рассуждаешь?

— Во!— обрадовался Костя.— Значит, и в вас такое есть, раз мне врубили.— Засмеялся.— Я ведь знаю, какой вы. Вам охота, чтобы все на высокий уровень подтягивались.

— А тебе этого не хочется?

— Так без хороших людей разве мы всего бы достигли?..— Подмигнул: — Знаю, как вы со всякими недоделками в людях мучаетесь.

— Почему мучаюсь? Работаю, убеждаю.

— По-нашему, бракованную деталь исправляете?

— Похоже, только ты деталь заводу возвращаешь, а я человека — людям.

— Ладно,— рубанул рукой Костя.— Все понял. Поговорю еще, прежде чем из бригады его гнать.

— Кого?

— Ну, это мое дело. Сказал — дошло!

— Да что?

— Хоть он и тип, но коленом действовать мы не будем, еще потерпим малость, обложим со всех сторон, коллективом, может, и дотянем до уровня.

— Теперь понял,— сказал Зубцов.

— Теперь,— иронически усмехнулся Костя,— вы всегда все вперед понимаете, и про меня тоже. Только не признаетесь. А знаете... скажу напрямик. У кого бы я хотел кой-чего нахвататься, так это у вас.— Сконфузился.— Считайте за подхалимаж. Но поскольку это пережиток,— произнес задорно,— буду с ним бороться, в порядке усовершенствования своей натуры. Во, как отмочил!

Зубцов пошел к себе в кабинет. Все возвещало начало рабочего дня.

Он вспоминал, как по настоянию Лебедева первый опытный образец модернизированного двигателя поставили на испытательный стенд рядом с зарубежным, таким же по мощности, изготовленным прославленной фирмой. Оба двигателя выработали на стендах назначенные им ресурсы и продолжали работу с повышенной нагрузкой, пока это не стало опасно. Все ликовали, довольные исходом этого состязания. Но когда двигатели разобрали и исследовали их рабочие узлы, выяснилось, что у зарубежного степень амортизации почти всех деталей была равномерной, а у нашего износоустойчивость одних превосходила другие.

Лебедев огорчился:

— Выходит, наша конструкция еще сыровата.

— Но ведь двигатель почти в два раза превзошел расчетные ресурсы!

— Превзошел. Но чтобы производить капитальный ремонт, выгоднее заменять целые узлы, чем изготавливать для него отдельные детали. Это не ремонт, а кустарщина. Нет, нет, надо еще подработать. — Сказал раздраженно: — Стоимость машины складывается не только из затрат на ее производство, но и с учетом всех последствий, связанных с ее эксплуатацией. Машина должна изнашиваться в точно положенный срок и списываться по старости. Все узлы и детали должны быть на это рассчитаны. Если же одни изнашиваются, а другие переживают свой срок, — это свидетельство недомыслия и экономической безответственности, заложенных в конструкцию.

— Но наша не уступила прославленной зарубежной!

— Машина не имеет права на почтенную старость. Она должна жить и умирать в назначенный срок.

— Ну, и беспощадный же вы к своему детищу! — вмешался Анатолий Кузьмич.

— Почему? Я горжусь им! Но не желаю, чтобы одни органы у него были хуже других. Механика — это гармония, и законы ее применимы как для вселенной, так и для машин. А мы должны уметь ими пользоваться.

— Зазнался, — вполголоса произнес Анатолий Кузьмич.

— А вы что хотели? — услышал эти слова Лебедев. — Чтобы я прыгал от счастья, потому что наш агрегат не уступил заграничному? Подумаешь, не уступил. Если бы уступил, ни мне, ни вам на заводе и оставаться не следовало бы. Обоих — в цех ширпотреба, — покосился на Зубцова. — Что, не так?

— Знаете, — ответил Зубцов с улыбкой, — все это у вас от излишней скромности, а может, оттого, что мы не умеем радоваться или глупеть, что ли, от великой радости.

Лебедев задумался и произнес очень серьезно:

— А что, пожалуй, в точку. Может, за шампанским послать, кажется, в таких случаях полагается?

— Завтра, может, митинг проведем? — неуверенно предложил Зубцов.

— Нет, преждевременно, — запротестовал Лебедев, — кое-что пока сыровато. А знаете что, заберем жен и гуртом в ресторан, загуляем!

— Поздновато,— напомнил директор,— пока соберутся, оденутся, рестораны закроют. А что касается загулять, коньячок у меня найдется.

— Коньяк на ночь!— Лебедев приложил ладонь к груди.— Знаете ли, сердце.

И... разошлись по домам.

А ведь действительно все эти дни, пока шло состязание двух машин на надежность, каждый чувствовал себя, словно в суде, в ожидании приговора. Теперь вот налицо результат, а отпраздновать, отметить его не сумели...

Когда на заводе стало известно об итогах испытаний, люди восприняли их как должное. Больше говорили о недостатках двигателя, чем о достоинствах.

Константин Должииков заносчиво заявил:

— Ну, и что? Раз у них тоже такой есть, значит, надо целиться на другой, какого у них нет и не будет. А так, подумаешь?! Лучше наших «тридцатьчетверок» ни у немцев, ни у союзников за всю войну танка не было. Машину надо закладывать как модель двадцать первого века. Вот это будет втык.

— Рассчитываешь участвовать в ее производстве?

— А как же, подсчитал, пенсионером еще не буду.

— Ну-ну, желаю успеха.

— Вот и надо без промедления сверхмощный двигатель закладывать, а то у ребят в голове одна скука.

— Скука? Ну, и сказанул!

— А что, на работе должно быть весело!— рассердился Должииков.— Вот в конструкторском Лебедев хохочет от радости во все горло, когда ему предлагают то, чего, он считал, еще не может быть. А мы что, хладнокровные, как лягушки? Нам тоже интересно делать то, чего раньше не делали.

Это драгоценное чувство стремления к новому Зубцов считал наиважнейшей чертой в людях. Всегда сдержанный, он радостно преображался, если вдруг кто-либо предлагал неожиданное решение, представлявшее в ином свете то, что раньше считалось неприемлемым.

А что, говорил он, приводя в пример некоторых лекторов, бывает, слушаешь общеизвестное — скука. Скука же — враг живой мысли.

— А когда несут всякие глупости?

— На глупость реакция — смех. Смех полезен как средство для душевного здоровья и как вежливая форма критики. Разве не так?— И Зубцов при этом рассмеялся.

Сам Зубцов не однажды испытывал себя в качестве лектора-общественника. И откровенно радовался, когда его после выступления обступали с вопросами, растроганно благодарил за оказанное ему внимание, обретая в нем ту душевную прочность, которая ему необходима, как и всякому другому человеку.

Однажды Зубцов в сердцах заявил секретарю обкома партии:

— Ну, вот скажи, почему, как только наши четкие, ясные решения по экономической политике начинают ходить по разного рода ведомственным этажам, на них там лепят столько разъяснений, дополнений, предупреждений, инструкций, оговорок, уточнений, что за этим бумажным наросом не всегда видно главное? Мы ведь сами должны осмыслить и найти кратчайший путь выполнения этих решений, а нам подсовывают шпаргалки. Шпаргалки-то ведь никогда делу не помогали. По существу, мы уже получаем план со множеством оговорок, то есть зауженный план, в котором нас обделяют творческой инициативой, предприимчивостью...

Секретарю областного комитета партии Акиму Петровичу Терехову Зубцов нравился как раз за то, что Терехов сам у себя считал недостатком и долго учился его побеждать. А именно: излишнюю страстность, увлеченность.

Но, как ни странно, люди с такими же недостатками вызывали у Терехова симпатию, правда, тщательно скрываемую. А к тем, у кого такие недостатки отсутствовали, он относился сдержанно. Но были и такие, которые выдавали за страстность обыкновенную исполнительность, даже бездумность — лишь было бы указание начальника, независимо от того, выполнимо оно или нет. К таким он испытывал недоверие.

Те же, кто Терехову нравился, доставляли ему больше других умственного и душевного беспокойства своей напористостью. Они, как правило, полагали, что чем больше трудностей встает у них на пути, тем увлекательней поиск возможностей эти трудности преодолеть. Успех они оценивали не только по результатам, а по тем преградам, которые им удалось одолеть.

— Новая техника должна обладать значительной идеей, — горячо утверждал Зубцов.

— Идейная техника?! — вопросительно поднял брови Терехов. — Формулировка свеженькая, но недостаточно внятная.

— То есть как это невятная? — удивился Зубцов. — А если она преобразует сам труд, повышает сознательность человека, значение результатов его труда, содействует тому, чтобы он работал лучше? Отсюда же рост его достоинства, самосознания.

— Ну, а если конкретно?

— Конкретно? Пожалуйста. Вот ремонтная бригада Константина Должикова принесла заводу выгоду, доказала, что рабочие детали в механизмах должны изготавливаться из особопрочной стали, подвергаемой особой закалке, и покрываться износостойчивым сплавом. Это сулит огромную экономию средств в процессе эксплуатации. Чем аргументировала? Тем, что, случается, общие затраты на ремонт превышают стоимость самой машины при ее изготовлении. На запасные части уходит пятая часть металла. Вместе с тем возможно продлить жизнь машины без ремонта, если изготавливать узлы из особопрочного металла и сократить их износ, применяя новейшую технологию.

— Ну, правильно! — одобрил Терехов.

— Но в проекте реконструкции такое не было предусмотрено и фонды не отпущены. А новая технология несколько увеличила расходы, стало быть, ухудшатся общие показатели предприятия.

— Качество и должно быть главным и всеобъемлющим показателем! — напомнил Терехов.

— Истина бесспорная. Но на новую технологию нужны средства, а где их взять? Так вот, ребята создали группу по обследованию того, как используется уже существующая техника. И доказали: если ее использовать на все сто процентов, то мы уложимся в средства, которые нам отпущены, и сможем закончить специальные агрегаты по новой технологии. Воодушевили другие бригады, и, представьте, коэффициент использования существующей техники значительно повысился. Вот вам пример «идейной техники».

— Убедили, — задумчиво произнес Терехов. — Без неуклонно ясной ориентации на будущее мы бы не достигли того, что вчера считалось недостижимым. Но вот Маркс отмечал, что в науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. — Улыбнулся, спросил: — Что, здорово сказано? Вот эти слова нам нужно всегда помнить, когда мы рассуждаем о трудностях. Да, в сущности, само слово «трудности» включает в себе «труд», то есть работу. Трудности преодо-

леваются трудом, и только трудом. Вот мы сейчас завершаем пятилетку. А кроме экономических показателей, что надо отметить? Вот это самое, о чем и ты рассказал: человек ощущает свою ответственность не только в пределах завода, но и всей страны, как эта ваша бригада Константи́на Должикова. Это и есть самый надежный задел на будущее. А насчет ведомственных этажей ты хоть и горячо высказался, но не по-деловому. Упростить, усовершенствовать систему управления надо, согласен. Но как? Подумай, предложи. Обсудим. Может, как эти должиковцы, и ты нас обрадуешь...

Зубцов шел домой.

Стояли сухие осенние дни, пожелтевшая листва цвета остывающего солнца медленно парила в воздухе, опадала с деревьев, ложилась узорно на землю. Когда город после войны лежал в развалинах, горисполком на месте многих разрушенных зданий устраивал скверы, а когда началось жилое строительство, люди с энтузиазмом сажали перед фасадами прутики с остроконечными почками, в которых таилась туго свернутая будущая листва. Сажал такие прутики и Зубцов, ходил он тогда в кирзовых сапогах, вылинявшей гимнастерке, был наголо обрит: шрамы на голове зарастали плохо. Пригревало солнышко, Зубцов чувствовал себя счастливым от того, что живой, что со всеми сажает будущие деревья, что в общежитии, в узкой комнатухе с фанерными стенами, ждет его девушка, да не девушка — жена, а он так долго стеснялся этого слова — жена, что, произнося его в ее присутствии, каждый раз боялся, а вдруг она скажет: «Ты что! Какая я тебе жена! Тоже нашелся муж!»

Прутики стали сильными, ветвистыми деревьями. А когда-то никто не мог себе представить, что они станут такими, теперь деревья выглядели старше домов.

Возились с саженцами и дома эти двухэтажные возводили, когда война только кончилась — Зубцова демобилизовали по чистой из-за контузии, — но люди спешили жить, уверенные в том, что мир теперь — навсегда. И первый заказ, полученный заводом, который, по существу, был тогда чем-то вроде мастерских, оказался на раскладушки, необходимые людям, возвращавшимся в родной город.

Каждый отдавал все для фронта, все для победы и, веруя в победу, сажал деревья. Как знак неиссякаемой жизни и незыблемой человеческой стойкости.

Марат вошел и сказал заискивающе:

— Здравствуй, Света!

Света подняла свое бледное, утомленное лицо, произнесла с отчаянием:

— Ну, когда ты перестанешь мучить меня?! Дядя, называется! — уронила голову на вытянутые поперек стола руки. — Я от себя устала.

— Я знаю, Светочка, как тебе сейчас трудно.

— Трудно — не то слово. — Подняла лицо, неприязненно оглядела Марата: — Ну! Сколько ты стоишь? Какова твоя производительность? Рентабелен ты или нет? Сколько времени надо, чтобы тебя освоить? А может, есть получше тебя образец!

— Света, я сам зашиваюсь, — пожаловался Марат. — Рекомендовал приобрести у НИИ роботов, подают заготовки, снимают готовые изделия. Кузьмич взъелся: на психику, видите ли, я ему давя! Робот, робот! Говори — манипуляторы. Ищи завод, где изготавливают дешевле и лучше. Ну, и выдал мне.

— Это я ему подготовила данные, — сказала Света.

— Он меня поставил по команде смирно и заявил: ни сил, ни средств не жалеть, но чтобы техника и технология отвечала полностью задаче: получать заготовки, близкие по форме, размерам и качеству обработки поверхностей к готовым деталям. Тогда и на твои дрессированные бобики-роботы согласен, если я получу на заготовительном уровне формообразование деталей и этим соответственно сокращу количество стружкогонов! А целый ряд профилей будем обрабатывать на электрохимических станках. Окрылен ссудой на реконструкцию, стал таким вездесущим, что от его всезнайства никуда не денешься. В печенках у меня уже сидит.

— Он все службы заводские в единый штаб превратил. А нам, экономистам, сказал: за каждое разумное доказательство нерентабельности исчисляю премии, в пропорции к тому, сколько бы мы потеряли, приняв невыгодное оборудование, технику, технологию. — Света вяло улыбнулась, сказала: — Я теперь стала абсолютной рационалисткой. Если мне будут делать предложение, сначала сниму все показатели, произведу расчеты, выведу общий ба-

ланс. У кого сальдо окажется в его пользу, тому и дам согласие.

— Значит, выбор с точки зрения материальной!

— Нет, почему же? Даже вот при расчете достоинств техники мы учитываем коэффициент физической нагрузки, нервно-психологической, умственной, квалификационной и перспективу перехода на более сложную нагрузку, в связи с освобождением человека от лишнего напряжения. Значит, возможность его совершенствования.

— А сама ты как, в личном плане?

— А тебе какое дело! — вспыхнула Света.

— Раз так рассуждаешь, значит, не очень.

— Не знаю, — сказала Света, опустив голову. — Вот Нелли, она сейчас для вас всех самая несчастная. А я думаю — самая счастливая. Пережила такую любовь, которой ни у кого не было и не будет.

— Так у нее особое стечение обстоятельств, — сказал неуверенно Марат. — Не будь этого, все было б как у всех.

— Как у всех! — повторила она. — А у тебя самого, как у всех? Да?

Марат поежился.

— Так все по обстановке получилось.

— У Октябрины тоже по обстановке. А что потом?

— Чувства нельзя планировать, — сказал Марат.

— Значит, все зависит только от случая? От обстоятельств? А если не будет случая?

— Я в этой механике не разбираюсь, — уныло признался Марат. — Думаю, если тебя кто сильно полюбил, так за это одно его полюбить стоит.

— А какая она, настоящая любовь, и какая не-настоящая?

— Настоящая, считаю, та, которая во времени устойчива и терпелива.

— Значит, надо терпеть, приспособливаться?

— Люди, хотя и любят друг друга, всегда разные, а раз жить вместе, нужно и притираться друг к другу.

— Логика унылого человека.

— Если любят, то не себя считают лучшим, а другого, перестанешь так считать — все, нет никакой любви, крышка.

— Значит, не может быть равенства? Один выше, другой ниже?

— По-моему, выше тот, кто способен другого выше себя ценить, с этого и любовь начинается.

— Значит, я еще не созрела до настоящей любви,— горько произнесла Света.

— Раз переживаешь, терзаешься соображениями, значит, поспевает в тебе большое настоящее чувство. Выходит, кому-то повезет.

— Повезет!— с возмущением произнесла Света.— Тоже нашел словечко.

— А как же, если такое счастье от тебя кому привалит, считай, этого клада ему до конца жизни хватит. И дети ваши от этого будут получше, поскольку какая семья, такие и ребята получаются.

— С таким благоразумием,— иронически сказала Света,— и завалился на работах.

— Иванов мне говорит: «Мне не требуются выставочные экспонаты для удивления публики». И, мол, прежде чем новую технику предлагать, ее показатели должны быть экономически обоснованы. Ну, я и хожу к тебе, побираюсь — подай вычисления. А на мне еще стандартизация, сокращение числа типоразмеров, упрощение ряда деталей сложной конфигурации, организация специализированных участков из однотипных станков и их оснастка.

— И зашиваешься, миленький?

— Как все,— вздохнул Марат.

— А ты что, думал, все новое то, что блестит?

— Да ладно тебе!— сказал Марат.— Признался, дал повод, так ты уж меня за уши трепать. Ну, сырая, недоработанная модель, с ограниченными функциями.

— А говорил, новую технику любишь. Разве так любят?!

— Про любовь поговорили, хватит,— рассердился Марат.

— Что, не нравится, когда поучают, а тебе меня можно?

— Сама же напросилась.

Помолчали.

— А Октябрина твоя как?

— Переживает, ест себя. Все решает вопрос, тянет на человека или не тянет?

— Это понятно. Нелегко ей.

— А у тебя с отцом как?

— Ох, воюем! Он против применения манипуляторов в сборке.

— Не доверяет?

— Нахватал себе спецов с высшей квалификацией, а их надо освобождать от простейших операций.

— Ну и что, правильно!

— Правильно-то, правильно. Да когда сверхмощный пойдет, каждая, даже простейшая операция станет сверхответственной.

— А ты ему скажи: устанавливаем станки с программным управлением, многопозиционные, для специальной обработки сложнофасонных поверхностей. Производительность больше в два-три раза, точность — высший класс, могут выполнять несколько десятков разных операций. А на простейшие поставим роботов.

— Он знает. Тем более, говорит, нужны теплые человеческие руки. Манипуляторы-то, говорит, старые, прежних выпусков, а ребята в его цеху все прошли курсы повышения, значит, на порядок выше этих манипуляторов соображают.

— Ну, ладно, он наверняка тебя этим просто дразнит. Ты только со мной так разговорила или с ним тоже? Вы ведь отцов не балуете.

— Почему? Я с отцом тоже обо всем говорю. Просто сверила мнения.

— Ну и как, совпадают? Какие выводы делаете?

— Вы сами собой довольные, а мы, как ты сказал, недовольные.

— Так это у кого как по жизни сложилось. Думаешь, мало шишек в жизни получили от своих промашек?

— А как этих промашек избежать?

— Да никак. Сам натворил, сам и поправь.

— Все не исправишь.

— Все, может, и не надо. А вот то, что совести не соответствует, то поправь. У кого ее не хватает, те, конечно, не могут.

— Ты про что?

— А про все,— горестно сказал Марат.— И про мою Октябрьину тоже. Взяла на себя, неси до конца жизни. Не фасонь, что не такая, как все.

— А Нелли?

— Тут совсем другое дело,— задумчиво произнес Марат.— Природа ее красотой сильно одарила, другие бы только радовались, а она считала, что такой дармовщиной ей пользоваться совестно. Ну, вот и решила.

— А Игорь из-за этого...

— Брось, не так, все это ваши выдумки, — рассердился Марат. — Надеялся он, а силы воли не хватило.

— А у тебя бы хватило?

— Хватило, — твердо заявил Марат, — хотя бы для того, чтобы Эльзу не расстраивать.

— Хочешь, я тебя сейчас расцелую?!

— Нет уж, — сказал Марат, — а то Эльзе расскажу, начнет допрашивать, зачем, почему, за что?

— А ты не рассказывай.

— Как это, не рассказывай. Она мне про все, и я ей про все.

— И все должны так, про все?

— Иначе нельзя. Раз вместе — вроде как одно целое.

— Счастливые вы, — завистливо сказала Света.

— Счастливыми сразу не бывают, ими только в течение жизни становятся. — Спросил деловито: — Ты мне все экономические обоснования по гидровзрывной штамповке приготовила? А то, говорят, капиталовложение значительное — докажете эффективность, может, дешевле мощными прессами обойтись? Гидровзрывная скоростная штамповка, может, и обойдется дороже, зато изделия дешевле станут. Так?

— Так, так, — нетерпеливо согласилась Света. — На вот, забирай. Ума и нервов мы затратили уйму. Вам премию, а нам — шиш.

— Ладно, стимулируем как-нибудь. А ты, выходит, материалистка?

— От себя могла бы поднести тебе такой подарок, породственному. Но за умственные затраты, будьте любезны, платите.

— За умственные тарифа нет.

— Значит, нет на земле полной справедливости.

— По всей планете — нет. Но вот то, что у нас твердых расценок нет на работу ума, надо поправить, — улыбнулся Марат.

— Вот и поправь, выпроси у Кузьмича нам денег для приобретения предметов роскоши.

— Так мы тогда прямо этими самыми предметами и стимулируем.

— Много вы в этом понимаете!

— Если ты про парфюмерию, то Эльзе я сам покупаю. Спрошу продавщицу, какая покрасивее, чем она сама мажется, то и покупаю.

— Ну и как? Эльза не ругает?

— Раз на раз не приходится, один раз угадаю, в другой раз мимо. Ничего, не сильно сердится. Главное — порыв души ценит.

— Ну, ступай, счастливый супруг. Рекламируй в других местах радость своей семейной жизни.

— А что, она у меня нормальная. Ну, живи!

— И буду жить!

Марат одобрительно подмигнул и тихо притворил за собой дверь.

* * *

Для Марата Должикова наступил один из самых радостных дней: в бетонном ограждении завершился монтаж гидровзрывной установки и начался период пусконаладочных испытаний.

Из недр этого бетонного дота, из его литой каменной массы доносились приглушенные частые очереди, как из зенитной пушки.

Периодически массивная плита двери, движимая механизмом, отодвигалась, и все кидались глядеть, ощупывать горячие заготовки, сверкающие своей зеркальной поверхностью. Все ликовали так, будто в их руках оказались слитки золота. И когда при новом запуске Марат увидел прибывшую сюда всю родню, он не удивился, а только спросил:

— А деда что, позабыли?

Костя, потупив глаза, сказал:

— Ему что-то неможется.

Подошел Геннадий Семенович, лицо его было мрачным, озабоченным. Тронув Марата за плечо, он сказал сипло:

— Эльзу привезли.

Марат встрепенулся, обрадовался, засиял, но спросил капризно:

— Чего же она телеграмму не прислала? Поехал бы с вами, встретил. А сейчас, видишь, занят на пуске.

Геннадий как-то странно посмотрел на брата, смятенно произнес:

— Понимаешь, она сейчас не дома.

— А где? — взметнулся Марат. — Я без нее весь высох, а она, видите ли, со своими закупщиками никак не расстанется, могла бы в конце концов прямо сюда приехать. Вон

какой сюрприз отгрохали, — махнул головой в сторону установки. — Небось у них такой нет, радовались бы.

Геннадий как-то трусливо отступил на шаг и, не глядя на Марата, сказал потерянно:

— Тут вот товарищ Сергеев из посольства, он все объяснит.

— Марат Васильевич. — К нему шагнул статный седоволосый человек. — Мой долг — сообщить вам...

— А в чем дело? — встревожился Марат.

— Я вас понимаю, — сказал Сергеев. — Но вы меня тоже поймите, моя миссия не из приятных. Ваша супруга...

— Да не темни! — крикнул Марат.

— Ваша супруга стала жертвой уличного происшествия.

— Жива?!

— Жива, жива, но положение тяжелое.

Марат судорожно глотнул, потом спросил:

— Как это случилось?

— После работы она возвращалась в гостиницу. Надо было перейти улицу подземным переходом. Но было поздно, у нас там ночью небезопасно — случаются нападения и даже убийства. Поэтому она стала переходить поверху, а тут автомашина. Свидетели, их было двое, показали, что Эльза стала метаться. Машина за ней и сбила. Водитель разбился насмерть, а его собачка, такса, осталась, представьте, живой.

— Да что вы мне про собаку! — возмутился Марат.

— Ну, так, деталь, — смутился Сергеев, — виновник был человек пожилого возраста, одно странно — ночью и в черных очках. В первом некрологе о нем почти ничего не было сказано. А затем, в Мюнхене опубликованы подробности, в годы войны служил в «СД», награжден рыцарским Железным крестом.

— Да зачем мне все это?! Где Эльза? — жалобно воскликнул Марат.

— Едем, — сказал Геннадий Семенович. Он хотел взять Марата за руку, но тот бегом устремился к выходу.

Сергеев, сев на переднее сиденье, обернулся к Марату, спросил:

— Вам жена ничего о каком-нибудь старике не рассказывала?

— А какое это имеет значение?

— Теперь юридически никакого, преступник мертв.

— Так он нарочно?

— Увы, свидетели отказались от своих первоначальных показаний. А подсудимый — труп. Но ваша жена обмолвилась, что узнала его. И мы не знаем, как растолковать ее слова — «этот старик с собачкой»... Простите, Марат Васильевич, может, сейчас такой разговор неуместен, — сказал работник посольства, — но представитель фирмы, с которой вела переговоры наша закупочная делегация, явился, чтобы выразить сочувствие и сожаление по поводу случившегося, и уже в неофициальном порядке сообщил, что виновник происшествия после войны длительное время проживал в США и по обнаруженным у него документам является подданным США.

— Да какое это имеет значение! — снова раздраженно сказал Марат.

— Для фирмы большое. Она чрезвычайно заинтересована в благоприятном развитии отношений с нами, поэтому представитель фирмы, исходя из ее интересов, счел нужным уточнить, что если случившееся и было спровоцировано, то не гражданином ФРГ, а США, правящие круги которых, как известно, пытаются воспрепятствовать взаимовыгодным экономическим отношениям с нашей страной. Пожалуйста, как только будет возможность, сообщите об этом вашей супруге. Тем более что договор, в обсуждении которого она принимала столь деятельное участие, уже подписан. А это кирпичик в том здании сотрудничества, которое мы возводим.

— Да вы кто? Человек или чурка? Мою жену у вас там чуть не убили, а вы мне про договор?

— Я понимаю ваше состояние. Извините!..

Марат задумчиво произнес:

— Выходит, вон какая была начинка у этого фашиста. А может, он на Эльзу нацелился не только как на свидетельницу своего прошлого?..

— Версия возможная, но прямых доказательств нет... Не исключено, что ваша жена — и в самом деле жертва тех... Но не получится у них, не выгребут против течения. Я течение жизни имею в виду — торговлю на пользу всем и мира. Фирма, видите, хочет закрепить с нами контакты... Ну вот, — с удовлетворением заявил дипломат, — теперь вы, кажется, взяли себя в руки. Явиться в больницу в том состоянии было бы невозможно. Это вредно подействовало бы на вашу жену. — Ободряюще толкнул дверь: — Теперь прошу!..

Чем больше люди отдаляются от того, что они пережили, тем увереннее считают даже незначительные события тех лет вехами своего времени. И это не только дань уважения прошлому, но и уверенность в том, что ничего случайного не приходит и само по себе не уходит. Ведь худшее не сразу сменяется лучшим. И не по давности времени старое уступает новому. Ничто не изживает самое себя без причины.

Люди могут по-настоящему оценить случившееся только по прошествии времени.

А то, что они теперь за один день могут сделать больше, чем могли раньше за год, считают столь же нормальным, как холод зимой и жару летом. Поэтому давним, старым считают не только события детства, юности, но даже произошедшее в прошлом году. Люди не замечают скоростного хода времени, почти так же, как пассажиры самолета, парящего выше облаков, скорости его полета.

Всем теперь некогда, все теперь при деле, и мерой времени служит им созданное их руками.

Так вот, упомянутый нами завод снова находится в состоянии реконструкции. Созданный им сверхмощный двигатель уже не сверхмощный. Появился другой, мощнее сверхмощного.

И снова волнения, снова переживания, стычки, огорчения и радости. Раньше здесь говорили про одно изделие, что оно последнее слово техники, теперь говорят то же самое про другое, и, надо думать, последнего своего слова техника здесь никогда не скажет. Уж очень быстро лишают ее такого права — на последнее слово.

Примыкающая к заводу главная улица носит теперь имя Семена Фомича Должикова.

А другие Должиковы, спросите? Что ж, они работают, думают, чувствуют. Но какой в их жизни день был самый значительный, а может, и легендарный, не скажут. Разберутся потомки, им из своей дали будет виднее.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ **произведений, вошедших в Собрание сочинений**

	Том	Стр.
Акварели	1	56
Александр Иванович	1	102
Белая ночь	4	307
Бессонница	1	296
Битва на рубеже	1	456
Бойцы	2	135
Большое небо	1	178
Бухта Полярная	2	365
Ваза	1	215
Варвар	1	144
В городе, где счастье и горе	2	81
В дальнем плавании	4	372
В доме отдыха	2	150
Веселый человек	1	105
Весенние ручьи	1	407
Видимое и невидимое	2	450
Водолазы	2	215
Воинское счастье	1	461
В полдень на солнечной стороне	8	7
Встреча	2	100
Всю неделю дождь	2	291
Высшая огневая точка	1	420
Высшее стрелковое образование	2	77
Ганси Киля	1	319
Гвардейская гордость	1	330
Гвардейский гарнизон дома № 24	1	338
Гневное море	1	168
Горные вершины	2	103
Григорий Кисляков	1	311
Гудок	1	264

	Том	Стр.
Данила	1	288
Дарья Гурко	2	85
Два друга	1	281
Два связиста	1	474
Два солдата	2	429
Два товарища	1	379
Две жизни	2	392
Девушка, которая шла впереди	1	333
Девятое знамя	1	59
Декабрь под Москвой	1	304
Дерево жизни	2	378
Десант	2	13
Дженни	2	126
Дивный	1	150
Директор зверинца	1	172
Дождь	1	64
Дом без номера	1	386
Душа солдата	2	385
Жаркий июньский день	2	408
Живая и мертвая вода	2	25
Заведующий переправой	1	302
Заре навстречу	5	7
Знакомьтесь — Балуев!	3	221
Иван Ефимович	4	450
Испорченное настроение	1	27
Казачи	2	7
Как-то ночью	1	236
Каменный Брод	2	155
Катя Петлюк	2	49
Каша	1	71
Кипяток	1	42
Кирилл Орловский	2	115
Клоп	1	50
Клятва	1	430
Конокрад	1	82
Концерт	1	413
Корни и крона	9	7
Кузьма Тарасюк	1	441
		459

	Том	Стр.
Лейтенант Колобухин	1	450
Леночка	2	165
Лилась река	4	353
Линия	1	395
Лицо человека	1	77
Лунная ночь	1	75
Любимый товарищ	2	17
Любовь к жизни	1	314
Мальчик с окраины	3	134
Март—апрель	1	349
Мастера расчета	2	67
Мать	2	38
Мера твердости	1	399
Моментальная фотография	1	182
Монтажники	2	272
Москвичка	2	28
Мост	1	299
На берегу Черного моря	2	61
На дальнем Севере	2	174
На огонек	2	416
На перекрестке	2	435
На старом заводе	1	410
На тяжелом бомбардировщике	1	294
Необыкновенные приключения Акима Курячего, а также мелкие подробности из его ничтожной биографии . . .	1	110
Необыкновенный день	1	434
Неспокойный человек	1	345
Нина	2	331
Новогодний рассказ	2	142
Ночной разговор	1	229
Обыкновенный рейс	2	342
Огни	1	208
Однополчане	2	455
О хлебе	2	402
Павел Филиппович	1	284
Парашютист	2	90
Первые десантники	2	131
Песня над Нилом	2	326
Петр Рябинкин	3	521

	Том	Стр.
Пироги	1	35
Подвиг	2	147
Поединок	1	368
Под ледяной крышей	1	468
Под небом Африки	2	265
Под синим небом	2	442
Поле жизни	4	394
Полюшко-поле	4	210
Преступление Остапа Чудя	1	97
Приказ есть приказ	1	415
Происшествие	1	30
Простая история	2	43
Пустыня	4	261
Пятый номер	1	290
 Разведчик Захар Спягин	 1	 405
Рассказ о любви	2	19
Расписка	1	38
 Свидание	 2	 422
Сеанс	1	100
Семьдесят четвертая параллель	2	242
Семь дней	1	375
Сережа Измайлов	1	324
Сидор Цыплаков	3	470
Сильные люди	2	278
Сорок труб мастера Чибирева	1	244
Ссора	2	22
Старинная карта	1	161
Старший сержант	2	95
Степан Буков	4	7
Степной поход	3	7
Сын народа	2	123
 Так было	 4	 465
Там, где нет ни пыли, ни мух	4	421
Товарищ Елкин	2	187
Трасса	2	257
Труженики войны	2	33
 У лошадей был праздник	 1	 93
У нас на Севере	2	119
		461

Цыплячий обоз	1	154
Черный ерик	1	86
Человек с топором	1	342
Школьная история	1	223
Штурманское самолюбие	1	423
Щит и меч	6, 7	7
Это сильнее всего	2	109
Я вижу	1	426

СОДЕРЖАНИЕ

КОРНИ И КРОНА

Роман

Часть первая	7
Часть вторая	218
Алфавитный указатель произведений, вошедших в Собрание сочинений	458

Кожевников В. М.

К58 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 9. Корни и корона:
Роман.— М.: Худож. лит., 1988.— 463 с.

ISBN 5-280-00126-0 (Т. 9)

ISBN 5-280-00125-2

Автор прослеживает судьбы трех поколений рабочей династии
Должиковых, людей, отдавших всю свою жизнь заводу, творчески отно-
сящихся к своему делу.

К 4702010200-021 подписное
028(01)-88

ББК 84Р7

Вадим Михайлович
КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений
Том 9

Редактор Т. Х а л и л о в а
Художественный редактор Т. С а м и г у л и н
Технический редактор В. К у л а г и н а
Корректоры О. С т а р о д у б ц е в а, Г. Н е н а ш к о

ИБ № 4835

Сдано в набор 27.02.87. Подписано к печати 04.12.87. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 26,73. Тираж 100 000 экз.
Изд. № III—2805. Заказ № 870. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

